

# **ЗАРУБЕЖНЫЕ Za- Za ЗАДВОРКИ**

## **МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО – ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ БУМАЖНЫЙ ЖУРНАЛ/ «БУМЖУР»**

**№ 4 (34), апрель 2017**

### **В НОМЕРЕ:**

<b>Редакторская страничка</b>	<b>2</b>
<b>Александр Цыбулевский. Разговор о Блоке</b>	<b>3</b>
<b>Наталья Емельянова. Уныние – смертный грех. Стихи</b>	<b>26</b>
<b>Виталий Щигельский. Испарение. Рассказ</b>	<b>30</b>
<b>Олег Абрамов. Гора желаний. Повесть</b>	<b>34</b>
<b>Анна Креславская. Петербург. Мосты времен</b>	<b>89</b>
<b>Михаил Полюга. Созерцающий с Марком. Повесть</b>	<b>94</b>
<b>Алекс Трудлер. Вечная жизнь. Стихи</b>	<b>143</b>
<b>Муса Мураталиев. Поэт и писарь. Нон/фикшн</b>	<b>149</b>
<b>Демьян Фаншель. Стихи разных лет</b>	<b>186</b>
<b>Константин Емельянов. Черные тени над Белой Церковью. Очерк</b>	<b>190</b>
<b>Олег Ващаев. Жизнь была разминкой... Стихи</b>	<b>209</b>
<b>Сара Бендетская. Шанс. Профессор идиша. Два рассказа</b>	<b>212</b>
<b>Георгий Тарасов. Эмбрион. Рассказ</b>	<b>220</b>
<b>Сергей Кузнечихин. «...Что нещаднее колышет Душу – совесть или честь? Стихи</b>	<b>235</b>
<b>Алексей Зикмунд. Куклы Фараона. Рассказ</b>	<b>240</b>
<b>Игорь Федоров. Есть в имени твоём. Стихотворения</b>	<b>260</b>
<b>Тамара Ветрова. Про школу, которая была и нету. Рассказы</b>	<b>265</b>



**Дюссельдорф**

**2017**

## Редакторская страничка

### Небольшой комментарий к оглавлению

Открывает номер фрагмент новой книги выдающегося поэта Александра Цыбулевского (1928–1975) — его написанная, но не защищённая диссертация о творчестве А.А.Блока. Книга, большинство материалов которой публикуется впервые, составлена поэтом, переводчиком, филологом Павлом Нерлером. Фактически читатели нашего журнала, являются первыми, кто прикасается к этой книге, так как именно в эти дни она впервые увидит свет. Нет нужды пересказывать то, что через несколько минут вы получите из первых рук, я только хочу поздравить нас всех с соучастием в этом литературном событии.

Сразу хочу обратить ваше внимание на обилие поэтических подборок в апрельском номере. Это, наверно, весна виновата.:)) Известные авторы Анна Креславская, Демьян Фаншель и Олег Вацаев впервые печатаются в нашем журнале, а Наталья Емельянова и Сергей Кузнечихин, ранее публиковавшие у нас свою прозу, впервые выступают на Задворках как поэты.

Проза представлена во всей своей жанровой красе, тут и роман, и повести, и рассказы, циклы рассказов, и даже очерк! И все талантливые, и все разные, — и это прекрасно! Хотя, только семеро авторов из семнадцати представляют русское зарубежье. Почему их так мало, это понятно — во множестве стран Старого и Нового света новые литературные журналы растут как грибы. Остальные десять имен — россияне. Почему их так много? Ответ простой. Как же я желаю вам, дорогие мои авторы, свободного доступа к российским журналам и издательствам!

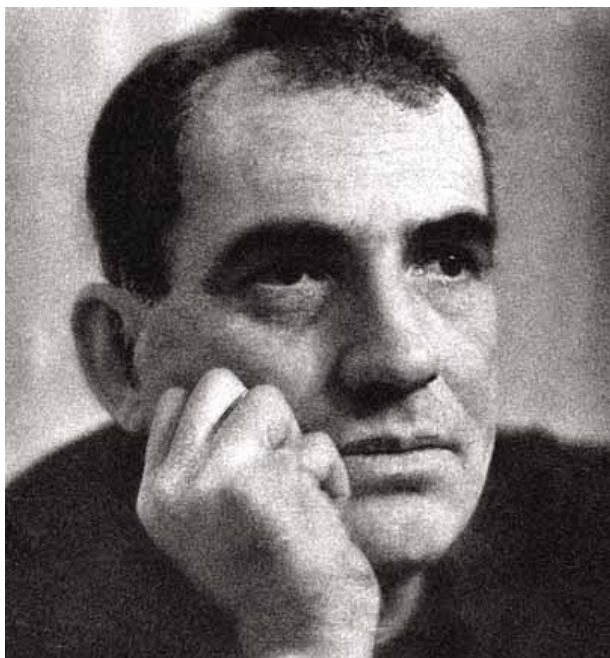
И пусть это поскорее произойдет.

На этой мажорной ноте я прощаюсь с вами. Приятного чтения, дорогие друзья.

Евгения Жмурко

## Александр Цыбулевский. Разговор о Блоке

### Живая точность тайн...



**Цыбулевский Александр Семенович** (1928–1975), русский поэт, прозаик, литературовед. Родился в Ростове-на-Дону. В 1930 г. семья переехала в Тбилиси, здесь Цыбулевский окончил среднюю школу. В 1947 г. поступил на филологический факультет Тбилисского университета. В 1948 г. был арестован и приговорен к десяти годам заключения в лагерях за «недонесение» на студенческую подпольную организацию «Смерть Берии». В 1956 г. освобожден, в 1957 г. реабилитирован. В 1959 г. окончил Тбилисский университет. В 1961–75 гг. заведовал фотограмметрической лабораторией Института востоковедения АН Грузии. Увлекался фотоискусством — в Тбилиси состоялись две выставки его фоторабот.

В 1964 г. подборка стихотворений Цыбулевского была опубликована в «Литературной газете». В 1967 г. в Тбилиси был издан поэтический сборник «Что сторожат ночные сторожа» (редактор Е. Евтушенко, вступительная статья С. Чиковани). Стихи и проза Цыбулевского публиковались в альманахе «Дом под чинарами» (Тбилиси, 1969, 1970, 1972, 1974, 1975).

В 1973 г. в Тбилиси вышел сборник Цыбулевского «Владелец шарманки» (стихи и проза), в 1974 г. Цыбулевский защитил диссертацию «Переводы поэм Важа Пшавела О. Мандельштамом, Б. Пастернаком, М. Цветаевой, Н. Заболоцким» (издана отдельной книгой «Русские переводы поэм Важа Пшавела», Тбилиси, 1974). Этой же теме посвящено эссе Цыбулевского «По ту сторону подстрочника» (1974), которое вызвало огромный интерес в литературной среде. После смерти Цыбулевского были изданы повесть «Левкина история» (журнал «Родина», №40, Иер., 1982), сборник прозы и стихов «Левкина история и другие произведения» (Иер., 1984), сборник стихотворений «Ночные сторожа» (М., 1989).

### **Об А. Цыбулевском, его новой книге и журнальной публикации фрагмента из нее:**

*В московском издательстве «НЛО» выходит книга **А.С. Цыбулевского «Поэтика доподлинности: Критическая проза. Записные книжки. Фотографии»** (Редактор-составитель П. Нерлер).*

*Имя автора книги многое говорит знатокам русской и грузинской культуры. Поэт, прозаик и литературовед Александр Семенович Цыбулевский (1928–1975), номинальный уроженец Ростова-на-Дону, но коренной де факто тифлисец, вместе с Гией Маргвелашвили был чем-то вроде «посла доброй воли» ее величества Русской Поэзии в поэтолюбивой Грузии. Тот, кто был знаком с ним, навсегда оставался под обаянием его тонкой и мягкой личности. Он во всем был поэтом — и тогда, когда писал стихи, и тогда, когда прозу (принципиально лирическую), и тогда, когда фотографировал, и даже тогда, когда писал квалификационный филологический текст — кандидатскую диссертацию о русских*

переводах поэм Важа Пшавела, и сегодня поражающую — в том числе неакадемичной раскованностью формы<sup>1</sup>.

Большая часть стихов и прозы Цыбулевского уже выходила к читателю<sup>2</sup>. Готовящаяся книга сконцентрирована на его критической прозе и, в особенности, на записных книжках, причем большинство материалов публикуется впервые.

Корпус текстов Цыбулевского состоит из двух больших разделов. Первый — это критическая проза поэта, составленная из нескольких своего рода «разговоров»: о переводах поэм Важа Пшавела (предмет защищенной диссертации), об Александре Блоке (чьи записные книжки — предмет другой его диссертации, не защищенной, точнее, не защищавшейся) и об Осипе Мандельштаме (предмет читательской любви Цыбулевского на протяжении всей его жизни). Второй и главный раздел — это 68 записных книжек поэта за 1964-1973 гг.: это своего рода подстрочник, причем и поэзии, и прозы. Третий раздел — изобразительный, состоящий из двух блоков. Первый — это фотобиография Александра Цыбулевского, изображения его самого и его близкого семейного и дружеского круга, а второй — художественные фотографии, сделанные им самим. В приложениях — подборка из обнаруженных в архиве литературоведческих текстов Цыбулевского разных лет, «Венок» (собрание стихотворений, ему посвященных; среди его авторов — Б. Ахмадулина, Е. Евтушенко, Б. Окуджава, М. Синельников и др.) и библиография Цыбулевского.

В публикуемую подборку включены два текста, составившие подраздел, названный мной «Разговором о Блоке», — по аналогии с «Разговором о Мандельштаме» Цыбулевского, названным так, в свою очередь, по аналогии с «Разговором о Данте» самого Мандельштама. Оба текста являются набросками к так и не защищенной диссертации Цыбулевского об Александре Блоке.

Тему диссертации он дважды менял: сначала это было «Возмездие», а потом записные книжки и дневники Александра Блока, только-только появившиеся как завершение превосходного синего блоковского многотомника. Его условным научным руководителем был Георгий Гиголов, но консультировался он и общался еще и с ленинградским блоковедом Владимиром Орловым. Диссертация так и осталась ненаписанной: шоком и камнем преткновения для Цыбулевского стал блоковский антисемитизм, в который он уткнулся.

Публикуемые тексты<sup>3</sup> — не единственные заметки Цыбулевского о любимом поэте: отдельные наблюдения о Блоке разбросаны и по записным книжкам Цыбулевского<sup>4</sup>. Диссертацию же Цыбулевский защитил — анализ лучших переводов поэм Важа Пшавела на русский язык: произошло это, увы, незадолго до смерти.

Для публикации текст заново пересмотрен, исправлены отдельные неточности. Публикатор благодарит А. Трейвиша, Б. Победину и С. Крючкову за помощь и замечания.

Павел Нерлер

\*\*\*

<sup>1</sup> См. об этом в: *Нерлер П.* Этюды о Владельце Шарманки. Александр Цыбулевский и художественный перевод // Дружба народов. 2016. № 5. С.235-252.

<sup>2</sup> *Цыбулевский А.* Что сторожат ночные сторожа. Тбилиси, 1967; *Цыбулевский А.* Владелец Шарманки. Тбилиси, 1975; *Цыбулевский А.* Левкина история и другие произведения. Иерусалим, 1984; *Цыбулевский А.* Ночные сторожа. М., 1989.

<sup>3</sup> См. их первые публикации: *Цыбулевский А.* «Живая точность тайн». Фрагмент из неоконченной работы А. Цыбулевского о Блоке // Литературная Грузия. 1980. № 11. С. 181—194; *Цыбулевский А.* Читая поэта [Наброски об А. Блоке] / Публ. К. Вольфензон, коммент. П. Нерлера // Литературное обозрение. 1980. № 11. С. 102--106.

<sup>4</sup> См. часть из них в публикации: *Цыбулевский А.* Из записных книжек Александра Цыбулевского / Публ. и вступит. статья П. Нерлера // Вопросы литературы. 2017. № 1. С.320-357.

\*\*\*

...А как с «определением поэзии», как с ее тайнами и секретами? Поэзия ставит на пути своего определения преграды непреодолимые. (Причем не глухие, а какие-то маневрирующие...) Кажется, нет ничего яснее блоковских стихотворений, они созданы по закону предельной ясности и простоты, и тем не менее в этой ясности тайна, которая, и раскрываясь, не перестает быть тайной. Ничего общего с раскрытием фокуса. Тайна тут связана с сокровенным... Может случиться и так: чем больше постигается тайна, тем больше она ею остается... Блок писал: «Но мир прекрасен — втайне». Область прекрасного — тайна. (Убивая тайну, можно убить и прекрасное.) Открытие — тайна. Тайна, которая как открытие. Открытие, сохраняющее святость тайны. Поэтому приходится говорить о некоем, не совсем обычном, способе постижения.

Видимо, удовлетворительного с формально логической точки зрения определения поэзии быть не может, потому что в формуле поэзии все равно окажутся такие величины, как неопределимость, необъяснимость и т.д.

Блоковские стихи тем и околдовывают, что невозможно определить, что в них главное, — это заданная неопределенность. Если возможно сказать: вот это главное в этом стихотворении, значит, оно не великое произведение. Блок утверждал (зрелый Блок в 1920 году): «...во всяком великом произведении главное то, чему нет имени, чего не назовешь, неразложимое, необъяснимое, о чем говорят только такими общими словами, как "творческий дух", "хмель", "музыка"». И еще: «Чем более стараются подойти к искусству с попытками объяснить его приемы научно, тем загадочнее и необъяснимее кажутся эти приемы... искусство неразложимо научными методами, искусство и наука суть области, глубоко различные в самой сути своей, и смежны лишь на поверхности». Видимо, определение поэзии возможно лишь средствами самой поэзии... Вспомним стихотворение Пастернака, так и называющееся — «Определение поэзии»:

...Это — круто налившийся свист,  
Это — щелканье сдавленных льдинок,  
Это — ночь, леденящая лист,  
Это — двух соловьев поединок.

Нужно не смешивать эту неопределимость поэзии с неопределенностью. Это не значит, что в поэзии нет главного — раз главному нет имени, раз главное неопределимо.

Неопределимость и неопределенность — разное. (Неопределенность — всегда недостаток, неопределимость выступает обычно как достоинство. Неопределенность конечна. Неопределимость — бесконечна.) Таким образом, в поэзии есть своя особая неясность, которая суть определенность.

Эти и последующие рассуждения нужны не сами по себе, а для уяснения таких качеств и сторон поэзии, которые могут не только сбить с толку читателя, но и поэта привести к конфликту с самим собой. Более того — существуют объективные свойства и качества поэзии, дающие основания и повод не только к различному, в том числе прямо противоположному, непримиримому их толкованию, но и служащие, так сказать, теоретико-психологической базой и основой поэтических направлений, школ и течений, даже таких крупных, как, скажем, условно, пушкинское и некрасовское начала. Во многих своих аспектах эти противоречия внутри единой поэзии — вечные, неустранимые, — существующие по сей день и независимые от со-

циальных преобразований. Тем больше оснований ими заняться. Блок — величайший лирик — писал о своей ненависти к лирике, а это значит (помимо всего остального) и то, что какие-то свойства поэзии, может быть, вводили в заблуждение самого Блока. Как никто, он знал, что поэзия и наука — разное, а сам, быть может, ловился в сети их поверхностного сходства. Это значит, что поэту, «прежде чем начнет петься», приходится выпутываться и продирается в лесу противоречий. И вполне законен вопрос: а может быть, «ненависть к лирике» — неизбежный этап любого творческого процесса? Говорят, Шалапин на вопрос: «Что нужно для того, чтобы запеть?» — ответил: «Это так просто — достаточно открыть рот!» Блок представляется нам «поющим» поэтом, пение которого возникает само собой, без усилий. Многие (не только сам Блок) ценят и любят поэзию именно за это ее качество — легкость, нескованность произнесения, как бы самопроизвольность, ничем не стесненную. «Достаточно открыть рот». «Да, так диктует вдохновенье», — писал Блок. Поэзия не терпит вымученности, трудности; «так написалось» — это законный ответ поэта на вопрос «почему». «Так написалось — и не подлежит обсуждению». Именно так, а не иначе, и именно так потому... что это в конечном счете не поддается объяснению. (Занятно, не правда ли? Необъяснимость, выступающая в качестве убедительного аргумента.)

В этой связи интересно письмо Блока редактору С.К. Маковскому по поводу правки «Итальянских стихов»: «...Хочу только ответить Вам на Ваше недоумение относительно моего несогласия исправлять стихи. Я писал Вам, что ничего не имею против некоторых Ваших замечаний “грамматических” — внешним образом... Для меня дело обстоит вот как: Всякая моя грамматическая оплошность в этих стихах **не случайна**, за ней скрывается то, чем я **внутренне** не могу пожертвовать; иначе говоря, мне так “поется”, я не имею силы прибавить, например, местоимение к строке “вернув бывалую красу” в “Успении” (сказать, например, “вернув ей прежнюю красу” — не могу — не то)».

Знаменательны и попытки самого Блока исправлять свои стихи после того, как они «написались»: «После упорной работы я увидел, что мои переделки стихов (главным образом сокращения) были напрасны. Поэтому я восстанавливаю многие выкинутые строфы и строки».

Конечно, не следует из этого делать фетиш, мы знаем, как улучшались стихи Блока после его собственной редактуры (как правило, первоначальные варианты стихов слабее окончательного текста). Но все это не отменяет и не опровергает момента (и, может быть, самого существенного) в творческом процессе — необъяснимой правоты строк, пришедших сразу, по наитию.

Вся эта неаргументированная оснащенность поэзии, где в качестве основания, кажется, выступает «прихоть певца» — «так поется», — может отвлеченно привести к некой замкнутости, кастовости, исключительности поэзии. Кажется, что особенности поэзии могут поглотить ее без остатка. В ней в конце концов не окажется ничего, что не было бы поэзией, что могло бы иметь какие-то другие связи, источники и основания. Стихи говорят о стихах — и ни о чем больше, поэзия ради поэзии и даже — «искусство для искусства»... Специфичность поэзии катастрофически растет, она готова заслонить собой все, еще немного, и мы перестанем видеть в лирике Блока что-либо, кроме чистой струи лиризма. И вдруг настораживающее:

Молчите, проклятые книги,  
Я вас не писал никогда.

И тот же самый Блок пишет о лирических ядах, о наваждении лирики, причем для него это не вопрос теоретический — в нем бессонные раздумья...

Значит, это не так просто петь — «достаточно открыть рот»? Значит, скорее происходит, по Маяковскому:

Прежде чем начнет петься,  
Долго ходят, разомлев от брожения,  
И тихо барахтается в тине сердца  
Глупая вобла воображения.

У Блока наоборот — ходьбы не было; все создавал сидя. И дело не в брожении. Ходьба не обязательный предшествующий творчеству акт. Но неужели, чтобы петь, нужно познать и ненависть к пению? Чтобы быть лириком — пройти самому и школу ненависти к ней? В самом деле, есть состояния, когда ненависть к лирике кажется естественной необходимой. Так представлялось Блоку. Как можно совместить чистую лирику — «восторг души первоначальный» и «нищих на мосту зимой» — весь «трепет этой жизни бедной»? Блок писал в «Записной книжке»: «Одно только делает человека человеком: знание о социальном неравенстве». Блок, веривший в будущее, писал о том, что «оптимизм — самое небогатое и примитивное мироощущение». «Жизнь прекрасна, как всегда» — для Блока не следствие оптимизма, а вывод, который вынесен из знания трагичности и неприглядности жизни. «Жизнь прекрасна» — говоря по-блоковски — это «тайное знание»... («Но мир прекрасен — втайне».) Да ненависть к лирике логически закономерна, если считать, что она убаюкивает, отравляет сладкими ядами, уводит от насущной борьбы. Все правильно:

Но песня песней все пребудет  
В толпе — все кто-нибудь поет.

Как же совместить отрицание песни с вечностью песни, с тем, что она «пребудет»?

И Блок все время подсознательно ощущает противоестественность своей войны с лирикой, какую-то ошибку в постулате, в отправном пункте логически неуязвимой системы. И поэтому он всегда рад ее крушению, рад творчеству, которое опрокидывает ее построения. Вот что он пишет А. Ахматовой 14 марта 1916 года: «Прочтя Вашу поэму, я опять почувствовал, что стихи я все равно люблю, что они не пустяк, и много такого — отрадного, свежего, как сама поэма».

Итак, с одной стороны — чистая стихия, песня с качеством песни, поэзия с качеством поэзии, чья суть неуловима, — «поэзия дышит там — где она захочет», — и, с другой стороны, начинаются опосредствования: зависимость поэзии от времени, от государства, от общества, от политических симпатий и антипатий... Значит ли, что «ненависть к лирике» Блока — нечто временное, исчезающее автоматически с уходом «страшного мира»? Или это категория вечная? И через много лет Маяковский выразит ее еще страшнее, еще трагичнее:

Наступать на горло собственной песне.

Что если это вечная категория, которая будет всегда, покуда жив на свете «хоть один пиит»?

А может быть, это своего рода супертема любого стихотворения — то, что скрывается в нем за всеми покровами. О чем бы ни говорило стихотворение,

о чем бы ни была его тема — это сквозит за его темой? Противоборство, боре-ние лирики с антилирикой (Блок приписывал антилирические качества эпосу)...

Блоку издавна было свойственно понимание того, что «социальный вопрос есть великий двигатель настоящего времени». Да, конечно, судьбы поэзии зависят от общества и государства, поэзия может быть поставлена в зависимость и на службу тех или иных интересов. И в то же время ее течения и истоки проходят «на глубинах, недоступных для государства и общества».

Эту независимость поэзии в такой ее проекции, как вопрос «назначения поэта», Блок вновь с особой остротой ощутил на заре рождения первого в мире социалистического государства. Блок субъективно стремился направить свое перо на службу революции. В понимании независимости поэзии не было у Блока ничего контрреволюционного. Это был объективный взгляд на положение вещей. Не только нераздельность, но и неслиянность поэзии со всем происходящим, — Блок писал об этом в предисловии к «Возмездию»... Маяковский предпринял героическую попытку перепрыгнуть этот рубеж, эту диалектическую грань противоречия, закрыть глаза на то, что:

Поэзия пресволочнейшая штуковина:  
Существует — и не в зуб ногой.

Время показало, что более правильное представление пропорций принадлежало Блоку...

Блок считал, что все истинно великие произведения двойственны по своей природе. В отзыве на перевод Холодковским «Фауста» для издательства «Всемирная литература» Блок написал следующее: «...надо брать перевод Холодковского, не редактируя его, только местами чуть-чуть тронуть. Эту последнюю оговорку заставляет меня сделать одно из самых темных мест второй части. Когда Эвфорион летит со скалы, хор поет: "Ikarus! Ikarus! Immer genug!" То есть: "Икар! Икар! Довольно стенаний!"

Фет переводит: "Все ты, Икар, Икар, все погубил!"

Холодковский: "Горе! Икар! Икар! Горе тебе!" (как в издании Гербеля 1878 года, так и в издании Девриена 1914 года).

Таким образом, у нас искони держатся одного только толкования этого места, то есть в восклицании хора видят только заключительную страдательную ноту. Кажется, его можно толковать и по-другому, — то есть в голосе хора не одно страдание, но и крик освобождения, крик радости, хотя и болезненный. Во всяком случае, этому месту надо дать ту же **двойственность** (выделено Блоком), которая свойственна всем великим произведениям искусства. "Предел стенаний" имеет, по существу, великий, а следовательно и двойственный, символический смысл».

Крайне интересно употребление понятия двойственность в ответе Блока на вопрос анкеты о Некрасове: «Как вы относитесь к народолюбию Некрасова?»

«Оно было неподдельное и настоящее, то есть двойственное (любовь — вражда). Эпоха заставляла иногда быть сентиментальнее, чем был Некрасов на самом деле».

Это не случайные мысли Блока, рожденные случайным поводом (отзыв, анкета), напротив, тут скорее применение по случайному поводу того, что постоянно его занимало. Случайность повода — только подчеркивает постоянство этих мыслей, непрестанность и углубленность в них Блока. Это особенно ощутимо по кажущейся мизерности замечания в отзыве о переводе Холодковского: в необъятном море «Фауста» обратить внимание на сущую



«безделицу», но в том-то и дело, что безделица — ответила думам Блока. В мизерности ее заложен гигант принципа; возможность преодоления в искусстве однозначности логического мышления, возможность одновременного объединения прямо противоположного — жары и холода, ночи и дня. Так в некрасовской анкете Блока не в первый для него раз произносится: любовь — вражда, а в отзыве на перевод Фауста в реплике хора Блоку слышно не одно страдание, а и радость освобождения. Вместе. Этот к тому времени (1919 год) четко осознанный, почти сформулировавшийся принцип двойственности стихийно присутствовал с самого начала в блоковском творчестве, им пронизаны самые вдохновенные взлеты; вспомним песню Гаэтана из драмы «Роза и Крест» с его странным для уха Изора и Бертрана и непонятно воздействующим чарующим припевом: «Радость — страданье — одно».

Блок не дал досконального разъяснения, что он имел в виду под двойственной природой искусства, он только дал говорящее о многом общее наименование для ответов на большой круг недоуменных вопросов в отношении загадочных свойств искусства. Не нужно отмахиваться от этого слова — «загадочный». Отнимите у поэзии загадку — и поэзии может не стать. Загадка — как раз и находится в самой сердцевине, в самой сфере двойственной природы искусства. Заметим, именно двойственности, а не двусмысленности; двойственности, а не неопределенности. Вспомним Б. Пастернака:

Поэзия, не поступайся ширью.  
Храни живую точность — точность тайн...

Живая точность тайны! Тайна со свойством точности. Это тоже в сфере двойственной природы искусства, двойственности, которая не отменяет требование точности, конкретности, ясности, «неслыханной» простоты изложения, а напротив, подразумевает ее. Она не имеет ничего общего с неопределенностью, неясностью, двусмысленностью, туманностью — идущих от нечеткости мысли или выражения. Это тайна. Но не мертвая тайна фокуса, а живая тайна, подобная тайне бытия.

Тайна, остающаяся тайной...

Я помню нежность ваших плеч --  
Они застенчивы и чутки.  
И лаской прерванную речь,  
Вдруг, после болтовни и шутки.

Волос червонную руду  
И голоса грудные звуки.  
Сирени темной в час разлуки  
Пятиконечную звезду.

И то, что больше и странней:  
Из вихря музыки и света --  
Взор, полный долгого привета,  
И тайна ВЕРНОСТИ... твоей.

С одной стороны, тут все ясно, все может быть расшифровано и раскрыто, в том числе... «и тайна верности» и почему о ней говорится таким образом в те годы, когда, по Блоку же:

...в любом семействе дверь  
Открыта настезь зимней вьюге,  
И ни малейшего труда  
Не стоит изменить супруге,  
Как муж, лишившийся стыда.

С другой стороны (и тут начинаются проявления двойственной природы искусства), в этом стихотворении все в конечном счете остается... необъяснимым. Все. Да и должно оставаться. Чудом. Тайной.

Если человека не будет необъяснимо волновать даже знак препинания, скажем, вот это тире:

Я помню нежность ваших плеч —  
Они застенчивы и чутки... —

этот человек, вероятно, окажется глухим к поэзии, его будут удовлетворять лишь ее объяснимые, рационалистические основания. В самом деле, в какой мере поэзия Блока открыта и говорит о ясности ее постижения, в той же мере поэзия Блока закрыта и не может быть исчерпана «всеобъемлющими» истолкованиями и объяснениями.

В этой, так сказать, антиномии есть своя положительная сторона: отказ от исчерпывающего, до последнего винтика, понимания поэтического «феномена» с помощью средств понимания и приближает нас к пониманию поэзии. Таков парадокс. Понимание поэзии включает в себя и отказ от ее понимания. «Непостижимо!» — вот первое движение и первый возглас души, постигающей музыку.

Два равновеликих наслаждения доставляет поэзия: наслаждение пониманием и непониманием ее. Кто не испытывал удовольствия, «понимая» стихи, но кто не знал его, «не понимая»? Кто не любил поэта, еще не до конца вникая в смысл им сказанного? В какой-то мере запрограммированная непостижимость... Восприятию искусства свойственна не только схема — от «незнания, от неполного знания — к более полному знанию и к знанию», — но и нечто обратное — от знания к незнанию! Это, может быть, самое поразительное в искусстве.

Конечно, только понимая, мы более полно можем наслаждаться поэзией и можем испытать счастье понимания. Чем больше мы знаем о произведении, тем больше оно воздействует на нас эмоционально. Но многое зависит от качества этого знания (есть знания, которые можно уравнивать с незнанием — они ничего не дают для восприятия поэзии, они могут быть ей даже враждебны). Объяснить поэтический образ — значит и в чем-то ограничить широту его охвата. Есть объяснения, претендующие на полноту, от которых пропадает ощущение полета. Полет превращается в передвижение, транспортировку по воздуху. Объясняя стихотворение, нужно помнить, помнить Блока: «Прав тот критик, который творит свою волю, который на основании собранных им фактов строит свою систему, например, социологическую. Но горе тому, кто вздумает толковать художественные произведения. Ему удастся истолковать только всякую дрянь: чем злободневнее (то есть “безыскусственнее”) произведение художника, тем более оно поддается толкованию. И наоборот: чем больше в нем элементов **искусства** (выделено Блоком), тем в более смешное положение попадает критик, его толкующий.

Произведение искусства оживет в следующем поколении, пройдя, как ему всегда полагается, через мертвую полосу нескольких ближайших поколений, которые откажутся его понимать. Толкование его там не оживет уже, потому

что оно, по существу своему, **логично** (выделено Блоком) (ибо толкование не может не руководствоваться логикой): а произведение искусства спаяно не логикой, а иною спайкой».

Эта цитата взята нами из заметки Блока «Об искусстве и критике», написанной в 1920 году и навеянной ему чтением романа «Милый друг» Мопассана. В нашу задачу не входит останавливаться на пророчески звучащих словах Блока о прохождении произведением искусства мертвой полосы нескольких ближайших поколений.

В этой заметке представляет особый интерес то, как оперирует Блок понятием Художник, каким образом он ставит Художника вне логики и переносит его на почву великой двойственной природы искусства (Почва природы!). Что может быть отвратительнее ситуации «Милого друга»? Трудно представить, какой силой и твердостью должна была обладать рука, чтобы довести это произведение до конца. Конечно же, это — сатира! Но Блок вопреки этой, казалось бы, естественной логике видит и другое в этом романе. Блок пишет, что, читая роман, он словно находился «в какой-то радужной клетке». В чем же дело? «...Он-то (Мопассан), художник, “влюблен” в Жоржа Дюруа, как Гоголь был влюблен в Хлестакова. И вообще в этом романе, как и в других, он обожает пошлость жизни». Вот тут-то мы и находимся в самой сердцевине этого таинственного агрегата — «двойственной природы» искусства. Не имея целью разбираться в его механизме, мы только укажем на те предупредительные вехи, которые поставлены Блоком перед входом в искусство. Осторожней! — предупреждают они. Не делайте поспешных умозаключений — искусство захватывает не логикой, и нужно иметь в виду все эти возможные тонкости, такие как, например, это: выражение отвращения через тайное обожание. (Непостижимо!!!) Тут мы вступаем в сферу, которая может называться: право художника.

Еще один пример. Из отзыва Блока в редакционную коллегию издательства Гржебина на стихи Д. Семеновского, которые были даны на рецензию Блоку Горьким. (Это в письме к Семеновскому прозвучали гениальные и неожиданные слова Горького о Блоке: «Блоку — верьте, это настоящий — волею божией поэт и человек бесстрашной искренности».)

«...у Семеновского, кажется мне, недостаточно культуры, поэтому он сходен с разными образцами во второстепенном; а иногда чувствуется просто даже “насвистанность”».

За землю, за волю, за хлеб трудовой  
Идем мы с врагами бороться,  
В ком сердце горячее бьется,  
На бой, на бой, на бой.

Это есть в каждом номере каждого пролетарского журнала. Подлинный поэт чувствуется в авторе второй тетради...

Громадны очи на лице  
Спокойном, высохшем и смуглом,  
Каменья теплятся в венце,  
Как месяц золотом и круглом.

Это — по-настоящему сказано. Дальше поразило меня приятно, после насвистанного и просвистанного “Взвихришь, полымя алого стяга” — следующее:

Горя дрожащей бахромой,  
Хоругви в небесах полощат.  
Кзаки с важностью немой  
С коней оглядывают площадь.

Или:

С иконостасом на груди  
С борами на багровой вые,  
Кричат народу: "Осади!"  
Сердитые городовые.

Поэт любит и казаками, и городовыми и не может иногда не любоваться, потому что он поэт и непременно спорит с тем другим своим "я", которое дробно барабанит: "Но восстанья пылающий сполох сжег дотла вековую тюрьму". То "я" никогда не простит другому, для которого "толпа колеблется, как рожь", которое слышит, как

Гремит расстроенный орган:  
"Когда б имел златые горы"...  
Скотины рев, божба цыган...  
Как все это хорошо!..»

Обращает на себя внимание сходство между понравившимися Блоку стихами и «Возмездием». В них есть нечто очень русское, эпическое, то пушкинское, упоительно реалистическое, останавливающее неожиданной музыкой в «прозаическом предмете»: «Морозной пылью серебрится его бобровый воротник».

Все это разные аспекты двойственности, двойственной природы искусства... Но нужно иметь в виду — все ее основания не могут быть заданы, запрограммированы заранее. В двойственности находит свое не предусмотренное выражение, пожалуй, не столько природа искусства, сколько натура поэта — ее сложность, ее ничем не стесненное физическое присутствие в произведении. Она проявляет себя даже вопреки заданности. И это тоже пушкинское: так Пушкин любит державным городом в «Медном всаднике» — любит просто, непредвзято, по-человечески (например, его парадами) — несмотря на все антидержавное этой поэмы. Может быть, потому что в этом любовании есть своеобразный обывательский демократизм, поддавшийся чисто зрелищной стороне парадной государственности, которая, кстати, будет изображена в поэме Блока «Возмездие» в сценах марширующей после похода пехоты. И в этом плане самое поразительное чудо, непревзойденное, — чудо описания Пушкиным приготовления Ольги к свадьбе с уланом. Ни одной нотки осуждения! Пушкин любит Ольгой. В этом чудо Пушкина — чудо свободного (тайная свобода!) непредвзятого отношения. Бесмертная классичность — отнюдь не олимпийски бесстрастна, а напротив, вся — чувство, вдруг выкристаллизовавшееся в слове.

Нужно сказать, что у Блока его двойственность проходила по другим линиям. Блок, пожалуй, нигде никогда не любит ни чисто зрительно, ни духовно «страшным миром». «Да, и такой, моя Россия, ты всех краев дороже мне» — имеет очень узкий смысл — дороже других краев — да, но я не люблюсь тобой. Пузатой, перинной, купонной...

«Нет законов для искусства, есть только им самим для себя созданные. Это начало, с этого — пушкинского — произведения судятся по собственным, им для себя созданным законам — начинаются и кончаются "суждения об искусстве"».

Но продолжим «неблагодарное» дело рассуждений об особенностях поэзии. Почему неблагодарное? Нужно помнить, что говорить «...об особенном месте, которое занимает поэзия и т.д. и т.п. — это может быть иногда и любопытно, но уже не питательно и не жизненно».

Рассуждения об особенностях важны постольку, поскольку предупреждают о возможности подставления законов толкования, имеющих свою ничем незаменимую силу, взамен — собственных, им для себя созданных — законов искусства...

В дальнейшем мы еще вернемся к этой теме взаимоотношения поэтического и логического (тут дело не обязательно должно доходить до конфликта), а пока заметим, что особые свойства поэзии не ставят ее в какое-то исключительное положение по сравнению, например... с физикой. Так, для А. Эйнштейна, оказывается, не всегда «грешить против разума» — означало — грешить против истины: «Поистине никогда и ни при каких условиях понятия не могут быть логическими производными ощущений. Но дидактические и эвристические цели делают такое представление неизбежным. Мораль: если вовсе не грешить против разума, нельзя вообще ни к чему прийти...»

Или еще более ошеломляющее у Н. Бора: «...Нет никакого сомнения, что перед нами безумная теория. Вопрос состоит в том, достаточно ли она безумна, чтобы быть правильной».

Что это на первый же настороженный взгляд, как не «лирическая» так сказать, методология в науке?! Видимо, если идти вглубь, то не окажется ничего исключительного в исключительности поэзии. Поэтическое мышление, при всей его необычности, не божественного, а человеческого происхождения, оказывается естественным и... научным.

Может быть, в этой связи есть основания упомянуть здесь о том, что Блок писал о парадоксе времени до Эйнштейна.

Рассуждения об особенности искусства, о его незаменимости можно было бы длить до бесконечности. Они росли бы, как растет снежный ком, пока, уже повинувшись инерции и логике самих рассуждений, а не действительному положению вещей, — мы бы оказались готовы провозгласить, что в искусстве важно только искусство, но тут снежный ком, которому была уготована гладкая дорога, разбивается о первое же препятствие: «Во всяком произведении искусства (даже в маленьком стихотворении) — больше неискусства, чем искусства».

Никакой особой литературы, «никаких особенных искусств не имеется...» Вот — первая истина, первый урок Блока, под которым он клянется веселым именем Пушкина. Блок в искусстве меньше всего склонен был ценить именно искусство. Даже в символизме — наиболее близком ему литературном течении — ценил сокровища «отнюдь не «чисто литературные». Символическое, по Блоку, «связано с вопросами религии, философии и общественности».

Быть писателем для Блока значило включиться в магистральную линию русской литературы, которая не знает разделения поэзии и прозы, которая «тесно связана с общественностью, с философией, с публицистикой». Блок писал, что писатели старые самоопределялись не по литературным признакам и особенностям, а по «миросозерцаниям (славянофилы, западники, реалисты, символисты)». «Ненависть к лирике», отвращение к так называемым литературным особенностям вплоть до крайности «молчите, проклятые книги — я вас не писал никогда» — это живой голос Блока, но не следует забывать, что это — «голос в хоре», в полифонии, так как другой его голос тут же клянется Пушкиным, что не следует давать имя искусства тому, что называется не так, что искусство нужно уметь делать.

Об этом голосе в хоре не следует забывать.

Итак, две истины?

Блок называет эти истины — истинами здравого смысла. Это не случайное уточнение. Тут скорее две правды. Две правды — тоже из терминологии Блока. И, видимо, нужно не задаваться вопросом, какой из двух правд отдать предпочтение, а искать пути их объединения, слияния в чем-то большем, чем одна правда. Именно в Истине. Однако Истина эта особая — она из области поэзии, а потому в формуле ее окажутся неизвестные величины. Оговоримся сразу, блоковские искания не дадут нам окончательного, в «последней инстанции», ответа на «проклятые вопросы», но любопытно и полезно оказаться в их водовороте, в их потоке. Может быть, этот поток и является сам по себе истиной, так как трудно себе представить некую статическую истину (логически выразимую!), которая внятно скажет о том, что обладает другой, чем эта истина, природой...

Вступая во внутренне и нерасторжимо связанный круг блоковских мыслей, мы вступаем в подвижный мир — в нем «все течет». С Блоком мы в мире диалектики. К неподвижным, окаменелым понятиям Блок прикасается волшебной палочкой — и они начинают переливаться...

Блоковская подвижность понятий отвечает требованию гибкости и незаконченности их, **которое содержится в ленинском наброске «О диалектике»**. Причем блоковский поток соответствует не только букве, но и духу диалектики. Он взрывчат, как взрывчат в блоковском понимании романтизм — это дух, который струится под всякой застывшей формой и наконец взрывает ее...

Понимание стихотворения идет, как бы вясь между осознанием его и ощущением того, что не может быть осознано. Равностепенно.

Дома растут, как желанья,  
Но взгляни внезапно назад:  
Там, где было белое зданье,  
Увидишь ты черный смрад.

Так все вещи меняют место,  
Неприметно уходят ввысь.  
Ты, Орфей, потерял невесту, --  
Кто шепнул тебе: «Оглянись...»?

Я закрою голову белым,  
Закричу и кинусь в поток.  
И всплывет, качнется над телом  
Благовонный речной цветок.

В этом стихотворении (несмотря на то что в нем все как бы оказывается подчинено идее, смыслу) акустически прежде всего слышна музыка. Несмотря на строго выверенный смысл, стихотворение в чем-то родственно даже зауми... Оно нравится до понимания. Благовонный речной цветок — непостижимо! Это выше разума. Он так необходим, незаменим тут, но откуда он взялся — непонятно и не может быть постигнуто. Это стихотворение может быть полноценно воспринято, даже если ничего не знать об Орфее. Хотя он тут не случаен: есть легенда — Орфей спускается в подземное царство за своей умершей женой Эвридикой, которую все же теряет, так как, выводя ее, оглянулся, вопреки запрету. (Первая строфа — пророчество — предчувствие — нечто большее, чем сказанное — бесконечность...) Интересно, что жена Орфея превращена Блоком в невесту — и в общем это не суть важно, хотя, быть может, звучит вопиюще для придирчивого и дотошного педантичного

читателя. Может быть, тут невеста — возникла только из-за рифмы. Может быть. Казалось бы, нарушено обязательное правило для Поэта — не заниматься «подрифмовкой», ничего не делать ради рифмы — но и это нарушение оправданно: согласитесь, что «невеста» звучит сильнее, чем прозвучала бы «жена». Прозвучало бы при всей его соотнесенности с легендой — не так музыкально.

У Блока — мысль, мысль, мысль, в итоге — музыка, музыка, музыка. Музыка — не прямое следствие мысли. Но они нерасторжимы... Диковинно звучащий закон об отсутствии законов и правил для поэзии естественно дополняет в качестве еще одного закона — «безумная прихоть певца» — строка из стихотворения Фета «Псевдопоэту», которой любил оперировать Блок в качестве термина (в свое время он расширит этот термин и скажет о «безумном артисте»).

В стихотворениях все закономерно: одно следует из другого, но направляет это следование «безумная прихоть певца». Поэтому в стихах вместо ожидаемого — неожиданное. Предугадать при всей закономерности появления, например, «благовонного речного цветка» — невозможно (даже если заранее отгадана рифма). Все правильно, все закономерно в стихотворении благодаря безумию, а не «разумию», логике. Достаточно ли стихотворение — безумно, чтобы быть логичным? — Можно так перефразировать Н. Бора применительно к поэзии. В стихотворении должно быть некое «безумие», но это «должно быть» — чуждо стихотворению, так как оно — вне догмата. Оно само создает свое «должно быть», а не ему его навязывают со стороны. (Правильно сказать: мы ценим стихи за некоторое «безумие» в них, — но это уже другое...) Безумие, закономерность стихов — такого рода, что они не могут быть заранее запрограммированы, заранее встать перед стихотворцем в качестве цели.

В предисловии к «Возмездию» Блок писал о «нераздельности и неслиянности искусства, жизни и политики». Именно в тот период, когда он больше всего искал и жаждал слиянности и зависимости, целенаправленности искусства, он ощущал одновременно его неслиянность со всем происходящим, его «улетающий характер», «дышащий там, где захочет».

О соединенности искусства с действительностью, о том, как в «эпохи бурь и тревог нежнейшие и интимнейшие стремления души поэта так же преисполняются бурей и тревогой», написаны тома. Ощущение своего как общего, мирового, даже космического — великое ощущение Блока. Но очень мало говорилось о другой стороне единства противоположностей, мало, почти ничего о неслиянности, нераздельности. Вероятно, настало время второй половины формулы.

Пройдя школу «ненависти» к лирике и отвращения к лирическим началам поэзии, Блок вновь и вновь возвращается к теме «неслиянности» поэзии, которая тесно связывается, но не ограничивается темой «свободы творчества, невмешательства в дела поэзии». Вот что он выписывает из Поттебни в свой дневник в 1921 году: «Поэт может настаивать на своем праве (на личную свободу), потому что цель его деятельности не может быть определена ни им самим, ни другими заранее. Но ведь и там, где эта цель заранее со стороны определима, вмешательство в самый способ ее достижения портит дело. И извозчик, нанятый до места или на час, хочет, чтобы не дергали и не мешали править лошадьми».

Вслед за этим Блок снова вспоминает «безумную прихоть певца». Дело в том, что именно эта свобода, эта прихоть тесно связана с «неслиянностью» поэзии... Наличие дара, таланта — того, что не может быть заранее запланировано — может быть, и есть самый антисоциальный момент в искусстве. Но

и тут мы оказываемся во власти текучести, гибкости — диалектики. Талант, дар, по Блоку, не принадлежит человеку — ему принадлежит только мастерство. Дар общества.

## ЧИТАЯ ПОЭТА

*Но песня — песней все пребудет<sup>5</sup>.*

*Есть как бы два времени, два пространства;  
одно — историческое, календарное, другое —  
исчислимое, музыкальное<sup>6</sup>.*

Стихи. Поэзия. Поэт... И сразу выплывает имя — короткий выдох: Блок. Но стихи Блока не просто и не только Поэзия. Они явление жизни, в которой Блок — явление Поэта.

Не все пишущие стихами — Поэты. Есть поэты — явления Поэзии, они рождены стихами Поэтов. Блок — явление Поэта. Явление Поэта редкостно. «Дай бог раз в столетие», — пишет Марина Цветаева<sup>7</sup>.

Слова «поэзия», «стихи», видимо, вошли в обиход позже, когда появилась возможность подражания, имитации дела рук поэта. До этого говорилось просто: Поэт. Так у Пушкина: «Поэт», «Поэту», «Поэт и толпа», «Разговор книгопродавца с поэтом», а не разговор о поэзии. Это с фининспектором пришлось говорить о поэзии, так как он не понимает — если о Поэте. Но у Маяковского разговор в итоге обернулся Поэтом, о вечной миссии Поэта:

Слово поэта —  
ваше воскресение,  
ваше бессмертие,  
гражданин канцелярист.

Высказывание Маяковского: «Я поэт, тем интересен, об этом и пишу»<sup>8</sup> — гениальная формула. Поэт доминирует над личностью поэта, творчество над биографией. Так, Поэт-писатель — над заслугами летчика Экзюпери.

Но предоставим слово Блоку: «Что такое поэт? Человек, который пишет стихами? Нет, конечно. Он называется поэтом не потому, что он пишет стихами; но он пишет стихами, то есть приводит в гармонию слова и звуки, потому что он — сын гармонии, поэт»<sup>9</sup>. Иными словами, дело — поэта — больше, чем просто стихи, «но он пишет стихами», и сами стихи его потому становятся большим делом.

Есть высшая логика в этом обороте речи: «но он пишет стихами» — смешном и наивном для низшей... Но, как говорит Редактор в «Поэме без героя» Ахматовой: «И к чему нам **сегодня** эти рассуждения о поэте?..»<sup>10</sup>

Да потому, что с Блоком мы вступаем в мир Большого Поэта... Кажется, это особенный, отличающийся от обычного мир, но если присмотреться, то при желании их можно совместить, одним обнять Другой. Да это и есть наш

<sup>5</sup> Из пролога к поэме «Возмездие». У Блока: «Но песня — песнью всё пребудет».

<sup>6</sup> Блок А. Крушение гуманизма.

<sup>7</sup> Неточная реминисценция из статьи М. Цветаевой «Эпос и лирика современной России (Владимир Маяковский и Борис Пастернак)». У М. Цветаевой: «...То, что дай бог единожды в пятидесятилетие, здесь же в одно пятилетие дважды явлено природой; цельное, полное чудо поэта» (Литературная Грузия. 1967. № 9. С. 59).

<sup>8</sup> Маяковский Вл. Я сам. Цитата по памяти, в тексте: «Я — поэт. Этим и интересен. Об этом и пишу».

<sup>9</sup> Блок А. О назначении поэта.

<sup>10</sup> Ахматова А. Поэма без героя. М.: Художественная литература, 1974. Ч. II. С. 432. Слово «сегодня» подчеркнуто Цыбулевским.



мир; в нем те же дали, деревья, рассветы, что и за нашими окнами. Но в нем несколько иначе проходит время, и течет оно, может быть, в непривычно смещенном пространстве. «Жизнь протекает, как бы подчиняясь другим законам причинности, пространства и времени...»<sup>11</sup> В этой жизни выступают на первый план и очень весомыми оказываются неожиданные понятия. Например, такое — «Братство Поэтов»... И сразу вспоминается Пушкин:

Издравле сладостный союз  
Поэтов меж собой связует:  
Они жрецы единых муз;  
Единый пламень их волнует;

Друг другу чужды по судьбе.  
Они родня по вдохновенью.  
Клянусь Овидиевой тенью;  
Языков, близок я тебе<sup>12</sup>.

Можно вспомнить и Блока, стихотворение «Поэты» («За городом вырос пустынный квартал»).

«Когда родное сталкивается в веках, всегда происходит мистическое», — читаем на первой странице первой записной книжки Блока. Запись от 30 октября 1901 года. Блоку 21 год.

Поэты разобщенные, рассеянные по миру, оказываются в том другом пространстве рядом, по времени же их перестают разделять даже столетия. Так Анна Ахматова по этому особому календарю оказывается ближе к Пушкину, чем современники Пушкина...

Более того, там, в том пространстве и времени, может быть, вообще нет поэтов «хороших и разных», а есть только один вечный поэт на все времена и страны. Вот почему сокровенные мысли Блока — это мысли и Пушкина, и Толстого, и Рабиндраната Тагора, и Хемингуэя, и Маяковского, и Пастернака, и Цветаевой. Все они разные и все об одном. Один поэт под разными именами, разные имена одного поэта. Будь иначе, поэты бы безнадежно устаревали. Отрицание такого братства, такого единения и союза поэтов равносильно отрицанию, например, живого воздействия Шекспира в наши дни. Это значит не увидеть чуда его воскресения в Блоке:

Я — Гамлет. Холодеет кровь,  
Когда плетет коварство сети,  
И в сердце — первая любовь  
Жива — к единственной на свете.

Чтобы через десятилетия прозвучало:

Предначертан распорядок действий  
И неотвратим конец пути.  
Я один. Все гибнет в фарисействе.  
Жизнь пройти — не поле перейти<sup>13</sup>.

---

<sup>11</sup> Блок А. Катилина.

<sup>12</sup> Пушкин А. К Языкову.

<sup>13</sup> Пастернак Б. Гамлет. Приводится Вяч.Вс. Ивановым в примечаниях к книге Л.С. Выготского «Психология искусства» (изд. 2-е. М.: Искусство, 1968. С. 555). См. также «День поэзии» (М., 1900). Цитата по памяти. Надо: «Но продуман распорядок действий», и «Я один, все тонет в фарисействе...».

На каждого живого поэта есть его мертвый монумент. Различаются и враждуют друг с другом монументы. Есть живой Пушкин, с которым разговаривал Маяковский, и Пушкин — монумент, обязательный в школьной программе. То же и с Блоком. Его два. Один — тот, о котором «напишет себе Пастернак»:

Но Блок, слава богу, иная,  
Иная, по счастью, статья.  
Он к нам не спускался с Синая,  
Нас не призывал в сыновья.

Прославленный не по программе,  
Великий вне школ и систем,  
Он не изготовлен руками  
И нам не навязан никем<sup>14</sup>.

Другой Блок заключен в переплеты собственных сочинений, он ничего не отдает, он только сам приобретает. Так, о нем можно прочесть, что он из тома в том обогащается за счет реализма. И ни звука — о встречном движении, о том, что реализм, в свою очередь, тоже обогащается Блоком.

Но живой Блок не приобретает — он отдает. Вот с этим Блоком, у которого не отнят Блок, и хочется иметь дело. Некогда им была недописана поэма «Возмездие». О ней и речь. Если только возможна речь о магните, о магнитных свойствах, отвлеченная от всего, что притягивается. А сфера притяжения «Возмездия» не менее интересна самой «железки»...

\* \* \*

Первые наброски поэмы относятся к 1910 году. Первоначальный замысел поэмы, которая будет писаться с перерывами на протяжении 12 лет, возникает под впечатлениями поездки в Варшаву. Там Блок хоронит отца. Самый первый подступ к поэме — это заметка, оставленная в записной книжке двадцать девятой 30 ноября 1909 года, в поездке по дороге в Варшаву: «Ничего не хочу — ничего не надо. Длинный коридор вагона — в конце его горит свеча. К утру она догорит, и душа засуетится. А теперь — я только не могу заснуть, так же как в своей постели в Петербурге.

Передо мной — холодный мрак могилы.  
Перед тобой — объятия любви.

Отец лежит в Долине роз и тяжело бредит, трудно дышит. А я — в длинном и жарком коридоре вагона, и искры освещают снег. Старик в подштанниках меня не тревожит — я один. Ничего не надо. Все, что я мог, у убогой жизни взял, взять больше у неба — не хватило сил. Зброшен я на Варшавскую дорогу так же, как в Петербург. Только ее со мной нет — чтобы по-детски сучать, качать головкой, спать, шалить, смеяться...» Запись 1 декабря, вечером. «Подъезжаю к Варшаве. По обыкновению, томлюсь без Любы — не могу с ней расстаться. Что-то она? — Среди редких искр — несколько звезд. Мерцает свечка. Отобрали билет. — За четверть часа уже видно зарево над Варшавой — проклятый спутник больших городов».

---

<sup>14</sup> Пастернак Б. Кому быть живым и хвалимым... (из цикла «Ветер (Четыре отрывка о Блоке)»). Цитата по памяти. У Пастернака 4-я строка первой из приводимых строф: «Нас не принимал в сыновья»; 2-я строка второй строфы — «И вечный вне школ и систем».

Может быть, тогда уже под стук колес намечается тема «Отец и сын» и приходят ритм и размер поэмы:

Отец лежит в Долине Роз<sup>15</sup>  
И тяжело бредит, трудно дышит...

Автобиографическая тенденция замысла поэмы сохраняется Блоком и впоследствии, хотя повествование от первого лица в первоначальном варианте, названном «Варшавская поэма» и посвященном сестре Ангелине, заменяется третьим лицом — самого Блока, на страницах появляется герой поэмы — сын. Заметим вскользь, что такая автобиографичность является не случайной «прихотью певца», а необходимым и неотъемлемым принципом, важнейшим качеством и атрибутом, без которого нет Поэзии, нет Поэта...

Вот из планов поэмы в записной книжке тридцать второй от 1911 года:

«У моего героя не было событий в жизни. Он жил с родными тихой жизнью в победоносцевском периоде. С детства он молчал, и все сильнее в нем накапливалось волнение беспокойное и неопределенное. Между тем близилась Цусима<sup>16</sup> и кровавая заря 9 января. Однажды с совершенно пустой головой, легкий, беспечный, но уже с таящимся в душе протестом против своего бесцельного и губительного существования, взбежал он на лестницу своего дома.

На столе лежало два письма: одно — надушенное, безграмотное и страстное... Потом он распечатал второе. Здесь его извещали кратко, что отец находится при смерти в варшавской больнице.

Оставив все, он бросился в Варшаву. Одиночество в вагоне. “Жандармы, рельсы, фонари”... Первые впечатления Варшавы.

Но пока успеет догореть свеча в дальнем коридоре вагона, отложим чисто личные побудительные мотивы и предпосылки возникновения поэмы «Возмездие» и займемся некоторыми соображениями общего порядка. Выясним в самых обобщенных чертах объективную основу, ту почву, на которую упадут зерна личных впечатлений, включая и надушенное письмо, «безграмотное и страстное»...

В творчестве Ал. Блока поэма «Возмездие» если не высится вершиной, то необозримо раскинулась подобно озеру — в него впадают и от него берут начало бесконечные рукава. Если бы было возможно подняться над поэзией Блока, то вид сверху даст зрелище этой сложной сети. Поэма связана со всем творчеством Блока и неотторжима от общей гигантской карты русской литературы.

Однако в определенном ракурсе поэма «Возмездие» выглядит довольно одиноко. Пространство вокруг поэмы разрежено. Можно говорить даже о ее одиночестве. Прежде всего обращает на себя внимание большая дистанция до ближайших поэм, предшествующих «Возмездию». До него в русской эпической поэзии со времени Некрасова нет ничего выдающегося. Кроме того, при всей обусловленности и закономерности своего возникновения, находясь в средоточии сокровеннейших дум и устремлений поэта, «Возмездие» отстоит от окружающей лирической стихии самого Блока (как ядро от электронов). Но одиночество поэмы не отменяет, а уточняет и углубляет факт связанности «Возмездия» и с русской литературой, и с творчеством Блока. Одиночество поэмы относительно, оно свидетельствует о трудности ее соз-

---

<sup>15</sup> Улица в Варшаве.

<sup>16</sup> Остров в Корейском проливе на Дальнем Востоке. Место крупного поражения Русского флота во время Русско-японской войны 1905 г. Топоним приобрел нарицательное значение крупного, трагического поражения.

дания. Поэт не мог воспользоваться ближайшим опытом своих современников и найти непосредственную опору в своей лирической практике.

В создании поэмы участвуют диаметрально противоположные силы отталкивания и притяжения, преодоления и приобщения; импульс противоборства окружающему декадентству, включая собственные тонко действующие «лирические яды». И тяга к далекому по времени классическому наследству, к его ясным формам и вечному гуманистическому содержанию.

Обстановка, при которой Блок приступил к поэме, вводит нас как бы в поле высочайшего напряжения, в накал общественно-литературных страстей эпохи. Это было переходное время, время, когда, по выражению А. Ахматовой, наступал «не календарный, настоящий XX век»<sup>17</sup>. Это было время, когда человечество не только прощалось с идиллической медлительностью XIX века, не только осваивало новые скорости, приветствуя «первый взлет аэроплана в пустыню неизвестных сфер»<sup>18</sup>, но в полную меру начало дышать грозным воздухом тревожных предчувствий близких катастрофических сдвигов. Необозримо раскинувшаяся кровавая заря предвещала над серым Петербургом

Неслышанные перемены,  
Невиданные мятежи<sup>19</sup>.

Эпоха уже тогда требовала рождения поэта нового типа, поэта нового времени, поэта XX века, и, в свою очередь, сам Блок ощущал всю настоятельность в создании нового. Но он был далек от установки создавать нечто принципиально новое, новое во что бы то ни стало, новое ради нового, новое, которому ближе «модерн», чем «новь». В статье «Пеллеас и Мелизанда» Блок писал по поводу постановок В. Мейерхольда: «...если нового пути еще нет, — лучше, во сто раз лучше — совсем старый путь». В устах Блока «старинность» — всегда похвала, он глубоко ощущал очарование старинности в искусстве, ведь процессы старения в искусстве не аналогичны необратимым процессам живого организма. Искусству, его долголетию ближе аналогия с драгоценными винами...

Восприятие прошлого искусства как искусства, не изжившего и не исчерпавшего себя, оградило Блока от той аналогии XX века с его скоростями, которая заслонила для иных писателей социальную подоплеку века — спичи, ассигнации и запах пороха, переносила центр тяжести на лихорадочные поиски новых форм.

Это было время непримиримого обострения социальных противоречий... В аспекте художественных настроений эпохи хаотически сочетаются закрытые пути и открытые горизонты, тупики и выходы.

В предисловии к «Возмездию» Блок пишет, что в тот год (1910) дали о себе знать и стали во враждебное отношение друг к другу многочисленные литературные течения. Такой большой и предельно честный художник, как Блок, не мог удовлетвориться чем-то мелким, всецело примкнуть к какому-либо ярко вспыхивающему и быстро гаснущему течению, не чуткому к грядущим переменам.

К периоду работы над «Возмездием» литературные настроения Блока претерпели значительную эволюцию. Если в начале своего творческого пути,

---

<sup>17</sup> Ахматова А. Поэма без героя. Ч. I. Гл. III.

<sup>18</sup> Блок А. Возмездие. Гл. I. Стихи 67 — 68.

<sup>19</sup> Там же. Стихи 75 — 76.

примкнув к «новому» искусству, Блок еще в записной книжке 1901 года замечает совершенно справедливо: «Малявин совсем не декадент. Широкою манеру письма нет оснований относить к декадентству», то в записной книжке 1913 года, подводя итоги своего отношения к модернизму, Блок отдает себя во власть воинственной непримиримости: «Яд модернизма. <...> Современный натурализм безвреден, потому что он — вне искусства <...> Модернизм ядовит, потому что он с искусством» (март 1913 года)<sup>20</sup>. Такого рода высказывания несколько ошеломляют, но следует иметь в виду, что в устах Блока, предельно честного и искреннего художника, подлинно озабоченного судьбами современного искусства, слова эти не имеют ничего общего с тем позднейшим, наступившим через десятилетия злобствующим наклеиванием ярлыков «модернизма» на произведения, выполненные в «широкой манере».

Поражение революции 1905 года обнажило для Блока в период реакции социально-общественную несостоятельность и неприглядность большинства современных ему литературных течений. И теперь это основное чувство Блока — отвращение к литературной среде, к ее узким кастовым интересам и целям. Это отвращение, более того — гнев. (Блок различал гнев и злобу: «Художнику надлежит пылать гневом против всего, что пытается гальванизировать труп. Для того чтобы этот гнев не вырождался в злобу (злоба — великий соблазн), ему надлежит хранить огонь знания о величии эпохи, которой никакая низкая злоба недостойна»<sup>21</sup>.)

Этот высокий гнев — одна из побудительных движущих сил в его новой работе. Адресат гнева, конечно, не исключительно современная литература, а первопричина причин — социальное зло и социальная несправедливость:

Дай гневу правому созреть,  
Приготовляй к работе руки...

Пусть день далек — у нас все те ж  
Заветы юношам и девам:  
Презренье созревает гневом,  
А зрелость гнева — есть мятеж.

Это из цикла «Ямбы» — отрывки, вначале входившие в поэму «Возмездие». Или из Вступления к поэме:

О том, как зреет гнев в сердцах,  
И с гневом — юность и свобода.

Итак, Блоку было не по пути с современной ему литературой. Он не мог всецело примкнуть ни к одному из существующих течений. Как поэту ему необходимо было «писать на века», подключиться к существенной магистральной линии развития русской литературы, преодолеть «относительное одиночество», встать в том пространстве рядом с неумирающим и неустаревающим искусством прошлого. Нужно было писать так, чтобы созданное явилось вехой, звеном в главной цепи. Оглядка на прошлую поэзию была необходима для создания такой поэзии настоящего, которой было бы обещано будущее.

17 октября 1911 года, в разгар работы над «Возмездием», Блок записывает в своем дневнике следующее: «Происходит окончательное разложение

<sup>20</sup> Запись датирована ошибочно, надо — март 1914 г. (Блок А. Записные книжки. М.: Гослитиздат, 1964. С. 214).

<sup>21</sup> Блок А. Из ответа на анкету «Что сейчас делать?» (VI. С. 59).

литературной среды в Петербурге. Уже смердит <...> Стадия поэмы (семидесятье годы, о двух полюсах в искусстве, семейное, Чацкий, Демон).

Надо, побеждая восторги (частые) и усталость (редкую — я здоров), писать задумчиво. Это написать [что я задумал] — надо. "Помогай бог". Но — минимум литературных дружб: там отравишься и заболеешь».

Знакомому с поэмой «Возмездие» и с историей создания ее все понятно в этой записи, за исключением «двух полюсов в искусстве». Непосредственно ни сама поэма, ни многочисленные материалы, тесно связанные с поэмой, не дают ключа к разгадке. Что же имел в виду Блок, что значат эти таинственные полюса?

Это своего рода иероглиф (допустимый в дневниковой записи, не предназначенной для публикации), шифр, условный знак, внятный лишь самому автору, Который таким самым сокращенным, кратчайшим образом и способом обозначил для себя большой круг проблем, включивших не только принятые представления, представления, имеющие, так сказать, права гражданства, но и сугубо личные блоковские мысли.

«Два полюса в искусстве» — это и два полюса в искусстве России и два полюса в искусстве вообще — в искусстве, взятом в масштабе мира.

Два полюса — это, иными словами, две противоположности, два пути, причем пути такие, которые не просто разошлись мирно, но во многих своих аспектах стали в противоборствующее, антагонистическое, взаимоисключающее отношение друг к другу. Два полюса — это своего рода тезис и антитезис, и потому не будет большой смелостью предположить, что Блок стремился к синтезу, к объединению, к претворению в одно целое противоположных качеств, в свое время соответствовавших каждое определенной ступени развития.

Какие же два полюса стояли за плечами Блока в русской литературе?

Думается, это прежде всего поэзия первой четверти XIX века, благодаря Пушкину и Лермонтову получившая мировое значение. Условно, крайне условно назовем и будем считать этот полюс аполлоническим началом русской поэзии. Это начало будет отрицаться противоположным полюсом — литературой 40--60-х годов.

Конечно, не следует допускать, что тут всегда полный антагонизм, принципиальное непонимание друг друга, какое было, например, в случае Писарев — Пушкин, что гладко, без трагедии и внутренней борьбы достается сороковым--шестидесятым годам отказ от той «жертвы», которую «требует Аполлон». С другой стороны, аполлоническое начало в химически чистом, беспримесном составе дебютировало только в программных выступлениях. Кредо: «Мы рождены для вдохновенья, для звуков сладких и молитв» — оставалось своего рода манифестом, последовательно не подкрепленным и не поддержанным поэтической практикой. Нечто подобное происходило, хотя и не так отчетливо, и с лозунгом противоположного лагеря: «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан».

Короче, в самой литературе начала XIX века и литературе 40--60-х годов существовали объективные предпосылки для взаимопроникновения. Это антагонизм, но антагонизм особый. Пользуясь терминологией Блока: «любовь — ненависть», «братья — враги»<sup>22</sup> (такое совмещение противоположных понятий характерно для Блока. Ср.: «Вот этот яд ненавистнической любви, непереносимый для мещанина...»<sup>23</sup>).

---

<sup>22</sup> Блок А. О списке русских авторов (VI. С. 139).

<sup>23</sup> Блок А. Искусство и революция.

Блоку близки оба начала: начало, условно названное аполлоническим, которое зиждется на обожествлении искусства; «Но мрамор сей ведь бог» (Пушкин, «Поэт и толпа»), и отрицание этого начала, отрицание Поэзии в высших целях. Психологически это особое состояние души, которое не раз убедительно будет выражено Блоком:

Ты, знающая дальней цели  
Путеводительный маяк.  
Простишь ли мне мои метели.  
Мой бред, поэзию и мрак?<sup>24</sup>

\* \* \*

Творчество Блока — своего рода учебник поэзии, универсальная модель ее строения.

Стихи Блока представляются настолько характерными, то есть стихи у него настолько стихи, что кажется, — это сама Поэзия доверяет нам свои главные тайны и менее важные секреты. Вот почему чтение Блока может вызвать странный соблазн — дать точное определение Поэзии: раскрыть содержание этого, вероятно, самого неопределенного понятия...

Но как это ни огорчительно — поэзия Блока, хотя и вызывает этот соблазн, — она тут же, на этом пути и, можно сказать, к счастью, ставит непреодолимую преграду. И в этом мы убеждаемся с первых же шагов. Как только мы максимально приближаемся к сути — она если не оказывается мнимой, то отступает на столько же шагов, насколько приблизились к ней. Постоянство этого явления наводит на мысль, что тут действует какой-то «закон», который можно было бы назвать законом ускользающей сути. Закон этот, видимо, является частным и производным более общей закономерности. Блок неоднократно писал о том, что все истинно великие Произведения — двойственны по своей природе (заметим; двойственны, а не двусмысленны)<sup>25</sup>. Блок не оставил исчерпывающее объяснение, что он имел в виду под двойственной природой искусства, он только дал этому явлению название — призвал задуматься над ним.

Мы еще не раз будем возвращаться к этому положению Блока о двойственной природе великих произведений искусства. А пока заподозрим, что оно порождает и это явление, которое мы самонадеянно назвали законом ускользающей сути поэзии. В самом деле. В той же мере, в какой поэзия Блока, с одной стороны, вызывает представление о легкости и ясности ее постижения, она, с другой стороны, в равной степени дает понять и почувствовать, что любая претензия на постоянство этого явления наводит на мысль, что тут действует какой-то закон. А может быть, вообще нет никакой сути, и мы гонимся за чем-то несуществующим, — за померещившимся призраком? Иными словами, есть поэзия, а сути поэзии нет и быть не может. Или же именно ускользание и является сутью поэзии?<sup>26</sup>

Все это происходит при попытках дать непротиворечивую общую концепцию сущности или сути поэзии.

---

<sup>24</sup> Блок А. Под шум и звон однообразный...

<sup>25</sup> Ср.: «У Блока: критерий определенности и неопределенности. // Требование точности—отсутствие двусмысленности не отменяет, а предлагает некую двойственность. Все великое — двойственно» (Зап. книжка № 4). Интересно, что восходящая к Блоку мысль о двойственной природе искусства была использована Цыбулевским при анализе переводов поэм Важа Пшавела (РПШВП, 32).

<sup>26</sup> Ср. у самого Цыбулевского в стихотворении «Мзи»: «Зачем писать о нем, к чему? Смешно в той области старанье. По разуменью моему— Поэзия — вся — ускользание» (ВШ, 79).

Противоречие — разума или причины. Исчерпывающее и всеобъемлющее объяснение поэзии окажется состоятельным, ограниченным и будет лишь более или менее подходить к тому или иному конкретному факту поэзии.

В этой антиномии есть своя положительная сторона. Осознание невозможности исчерпывающего истолкования поэтического феномена, отказ от всепонимания и приближает нас к пониманию поэзии. Таков парадокс. Понимание поэзии включает в себя и отказ от ее понимания. В этом нет ничего сверхъестественного. Просто в нас бунтует сама мысль; в силу собственной своей природы она не может примириться с тем, что не все ей подвластно, что не все может быть адекватно выражено и переведено на ее верховный язык логики и умозрительных понятий.

Можно поверить алгеброй гармонию — но заменять гармонию алгеброй нельзя. Ведь в том-то и дело, что объяснение поэзии и искусства имеет часто скрытую тенденцию к перестановке, к подставлению себя взамен объекта, подлежащего объяснению. Объяснения имеют свою ничем не заменимую собственную силу и свои собственные законы движения. Законы движения мысли могут не совпасть с законами движения произведения искусства. Отсюда может показаться, что не право искусство, потому что оно им не следовало. Но это кажущаяся победа. Через секунду алгебра поймет, что гармония имеет свои собственные законы; — и Сальери отравит Моцарта.

Все дело в том, от чьего лица ведутся рассуждения об искусстве. Если, допустим, литературоведение выступает от имени своей науки и приписывает искусству открытые им законы, то такое литературоведение есть отдельная и посторонняя самостоятельная область.

Если же критика, литературоведение говорят от лица поэзии, исходят из поэзии, то они обладают всеми полномочиями и правами быть в сфере и области искусства.

В основе всех этих несколько отвлеченных рассуждений — простое, элементарное игнорируемое положение — о том, что мысль и образ суть вещи разные, расхождение их необходимо с целью объединения в Истине, а не в подмене друг друга.



Книгу А. Цыбулевского и настоящую журнальную публикацию представил **Павел Маркович НЕРЛЕР** (настоящая фамилия ПОЛЯН) — поэт, переводчик, филолог, историк, географ. Родился в 1952 году в Москве. Как литератор и филолог печатается под псевдонимом Павел Нерлер.

Друг и ученик А. Штейнберга, С. Липкина, А. Тарковского и В. Микушевича. Член Русского Пен-Клуба (вышел в 2017 г.), Союза писателей Москвы и др. творческих ассоциаций. Инициатор и председатель Мандельштамовского общества, директор Мандельштамовского центра Школы филологии НИУ «Высшая школа экономики». Издатель произведений О. Мандельштама, Б. Лившица и др. поэтов. Автор более 600 публикаций по широкому кругу культурологических и филологических проблем, в том числе книг стихов «Ботанический сад» (1998) и «Високосные круги» (2013), а также книг о Мандельштаме — «Мандельштам в Гейдельберге» (1994), «С гурьбой и гуртом... Последний год жизни Осипа Мандельштама» (1995), «Слово и "Дело" Осипа Мандельштама. Книга доносов, допросов и обвинительных заключений» (2010), «Осип Мандельштам и Америка» (2012 — 2 издания), «Сop amore. Этюды о Мандельштаме» (2014), «Осип Мандельштам и его соллагерники» (2015), «"Посмотрим, кто кого переупрямит...": Надежда Яковлевна Мандельштам в письмах, воспоминаниях, свидетельствах» (2015; автор идеи и составитель) и др. Переводчик стихотворений Р.-М.Рильке (цикл «Рилика»), В. Шекспира, Г. Табидзе и др., автор многочис-

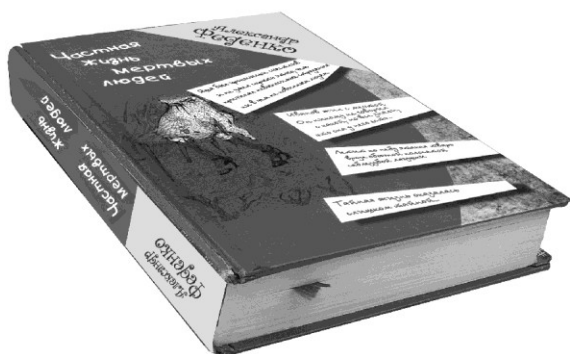


ленных статей о художественном переводе и российских переводчиках, а также о переводах русской поэзии на иностранные языки.

Лауреат премии имени А. Блока (2015), премий журналов «Новый мир», «Вопросы литературы» и сетевого журнала «Семь искусств» (все 2014), финалист ряда других премий («НОС», «Писатель XXI века» и др.). Книга «Слово и "Дело" Осипа Мандельштама. Книга доносов, допросов и обвинительных заключений» финалист премии «НОС» 2011 года, книга «Сop amore. Этюды о Мандельштаме» вошла в число 50 лучших книг 2014 года по версии «Независимой газеты — Экс Либрис» и в шорт-лист премии «Писатель XXI века». Отдельные главы книги, опубликованные как статьи, отмечены премиями журналов «Новый мир» и «Вопросы литературы», а также сетевого журнала «7 искусств». Книга «Сop amore. Этюды о Мандельштаме» — не механическое собрание статей и не монография о Мандельштаме. Тут другой тип связи — концентрический, наподобие букета, сочетающийся с авторским, глубоко личным переживанием каждого материала и выстраиванием из их разнообразия определенного и целостного сюжета. Книга «Осип Мандельштам и его солагерники» входила в лонг-лист премии «НОС» (2015).

## Частная жизнь мертвых людей

### Александр Феденко



Что делать, если тебе подарили гроб? Каково жить с чужой мечтой? Можно ли стать счастливым? С кем изменяют кролики? Продается ли Родина в бидоне? Ироничные и трагичные истории Александра Феденко помогут сориентироваться даже в таких странных ситуациях и выйти из них с достоинством Шалтай-Болтая. Для всех любителей современной абсурдистской прозы.

Книга доступна во всех крупных книжных магазинах и интернет-сервисах. В частности:

OZON: <http://www.ozon.ru/context/detail/id/138584893/>

Лабиринт: <http://www.labirint.ru/books/560423/>

Amazon: <https://www.amazon.com/Chastnaya-mertvyh-lyudey-Fedenko-Aleksandr/dp/5386096362/>

ISBN: 978-5-386-09636-6

## Наталья Емельянова. Уныние — смертный грех. Стихи



Наталья Емельянова. Родилась 8 октября 1981 года в Нижнем Новгороде. Окончила филологический факультет Нижегородского государственного педагогического университета им. К. Минина. В настоящее время работает преподавателем церковнославянского языка и инструктором по фитнесу. Литературным творчеством начала заниматься в девятилетнем возрасте. Является автором поэтических и прозаических текстов. Публиковалась в альманахе «Земляки» и журналах «Нижний Новгород», «Зарубежные Задворки», «ЛифФт», «Bellissimo». Лауреат конкурса «Мой город», проводимого журналом «Нижний Новгород» в номинации «Проза» с повестью «Почтальон» (2015 год). Проживает в Нижнем Новгороде.

*В стихах Натальи Емельяновой прорастание боли, ожидание чуда. Вот-вот — и этот странный процесс завершится рождением жизни. В ее стихах рингтонность строчек, некая тихая набатность. Она простукивает наши сердца на слышимость веры. На умение человека сохранить свою человечность и любовь при любых условиях. Автор, пишущий так — имеет сильные корни и необыкновенно раним. Что и является теми сами параметрами для создания прекрасных стихов.*

*Ирина Жураковская*

### **ЗИМА**

Почти зима, почти снега, почти безмолвье,  
Почти белёсый мальчик у окна,  
В руках ракушка — в ней почти что море,  
Почти что жизнь с утра и до утра  
Дрожит в трамвайных сморщенных вагонах,  
Почти водитель, щупленький стажёр,  
Ведёт трамвай, бежит с крутого склона  
Вперёд трамвай, почти что разговор  
Ведут почти знакомые мужчины,  
Почти зима глядит на них в окно.  
Один из них заплачет без причины  
И закричит навзрыд: «Мне всё равно!»

«Мне всё равно», — зима ему ответит.  
«Нам всё равно», — шепнут ему снега.  
Синица жёлтая летит сквозь облака.  
Синицу жёлтую рисуют краской дети  
И иногда в кормушку семена  
И крошки хлеба щедро насыпают.  
Синица ест, синица точно знает,  
Что за зимой всегда идёт весна.

А за весной идёт Господне лето.  
Почти никто не думает об этом.  
Синица жёлтая красива и легка.

Ноябрь, 2015.

## **ВЕРЬ**

*Посвящается подруге Е.Д.*

Художник нарисовал круг и говорит: « Это квадрат».  
Художник нарисовал круг и говорит: « Это квадрат».  
Художник нарисовал круг и говорит: « Это квадрат».  
Художник нарисовал круг и говорит: « Это квадрат».

Музыкант сыграл «ля» и говорит: « Это «соль»».  
Музыкант сыграл «ля» и говорит: « Это «соль»».  
Музыкант сыграл «ля» и говорит: « Это «соль»».  
Музыкант сыграл «ля» и говорит: « Это «соль»».

Человек появился на свет и говорит: «Вот, я зверь».  
Человек появился на свет и говорит: «Вот, я зверь».  
Человек появился на свет и говорит: «Вот, я зверь».  
Человек появился на свет и говорит: «Вот, я зверь».

Не верь.  
Никому не верь.  
Прошу: никому не верь.  
Прошу тебя, пожалуйста, никому из них не верь.

Звезда осветила небо. Этому верь.  
Звезда осветила небо. Вот этому верь.  
Звезда освятила небо. Вот этому, этому верь.  
Ему одному верь. Художник нарисовал небо и говорит: «Вот открытая дверь».

5-6 февраля, 2016.

## **ВЕСНА**

Таксист пропускает на перекрёстке  
Бабушек и говорит:  
"Весна просочилась даже в полоски  
Зебры". Таксист рулит,  
На солнце щуря в морщинках веки.  
Счастливый такой таксист.  
Смотри, распускается в человеке  
Зелёный весенний лист.  
Смотри, разливается по дорогам  
Талый, топлёный снег.

"Я, знаете, всюду вдруг вижу Бога", —  
Таксист говорит мне.

Таксист пропускает на перекрёстке  
Школьника с колой в руке.  
"Весна просочилась даже в подростка", —  
Шепчет таксист мне.

20-21 марта, 2016.

## **ИОАНН**

Иоанн держит свою голову на блюде.  
Мимо проходят люди.  
Мимо проходят люди.  
Мимо проходят люди.  
Втайне мечтают о чуде.  
А, между тем, Иордан  
Воды свои разливает.  
Люди идут и мечтают.  
Люди идут и зевают.  
Люди идут и не знают,  
Что берега исчезают  
Даже под стопами их.  
Иоанн держит свою голову на блюде.  
Соседка справа о чистой посуде  
Мечтает ночью и днём.  
Люди, люди, куда мы идём?  
Иордан шумит за окном,  
По утрам меня рано будит.  
Иоанн держит свою голову на блюде.  
Одной тонкой рукой  
Свою голову  
На красиво расписанном блюде.

5-6 июня, 2016.

## **УНЫНИЕ — СМЕРТНЫЙ ГРЕХ**

Уныние — смертный грех.  
Весь вечер и сижу на балконе,  
Ковыряю грецкий орех,  
Пытаюсь расколоть крепкую скорлупу,  
Ветер вовсю завывает: "У-у".  
А между тем  
В каждом из нас поселилась смерть.  
Давным-давно,  
Почти с самого начала.  
Ещё до того,  
Как всех нас зачали.  
Адам и Ева узнали об этом первыми.  
С тех пор люди стали немного нервными.  
Лазают по чердакам и подвалам,  
Ищут, ищут, ищут...  
Никак не могут найти,  
Не понимают, что потеряли.  
Вот и я битый час ковыряю

Грецкую скорлупу.  
Не понимаю, что же такого  
Я там найду.

Уныние — смертный грех.  
Средь ночи подняться с постели  
И разбудить всех,  
Хватать за пижамы, за волосы,  
Кричать, не жалея голоса,  
Упасть на колени и шарить  
Рукой под диваном, под шкафом,  
Искать меж страниц,  
Читать между строк,  
Высматривать среди букв  
И всё повторять — повторять  
Про себя, а потом вслух:  
"Мы потеряли там, не знаем где,  
Мы потеряли то, не знаем что.  
Мы ищем там, не знаем где,  
Мы ищем то, не знаем что.  
И мы будем счастливы только тогда,  
Когда найдём ЭТО"

Октябрь-ноябрь, 2016.

### **ТЫ ЗНАЕШЬ**

Ты знаешь, ночью, в тоске, в больнице  
Ты видишь Бога через окно  
И медсестре говоришь: "Сестрица",  
И понимаешь, что так давно,  
А, может быть, за всю жизнь ни разу  
Ты это слово не говорил.  
Ты знаешь, ночью, в больнице разом  
К тебе является целый мир.  
Небрежно хлопает белой дверью,  
И ты хватаешь его рукав,  
И начинаешь кричать о вере  
И об апрельских шептать цветах.  
Ты знаешь, ночью, в тоске, в больнице  
Ты видишь Бога через окно,  
Ты знаешь, в бледных больничных лицах  
Порой мелькают черты Его.

Май, 2016.

## Виталий Щигельский. Испарение. Рассказ



Виталий Щигельский — петербургский прозаик и публицист. «Автор года 2009» по версии литературного портала «Литсовет». Рассказы, очерки и статьи автора опубликованы в печатных и электронных СМИ, в частности таких как «Мой район», «Час пик» (г. Санкт-Петербург); «Эхо Москвы»; «Королевская панорама», «Одинцово-Инфо» (Московская обл.); еженедельник «Обзор» (Чикаго, США) и др. В 2010 г. в журнале «Сибирские огни» (г. Новосибирск) опубликован роман «Время воды», в журнале «Edita-club» (Германия) — роман «Наночеловек. Политические технологии сновидения». Отдельной книгой в Петербурге издан роман «Обратное уравнение».

*Горькая фантастика. Ироничная реальность.*

*Гигантская метафора — фору даст всем мегаметафорам.*

*Грань трагического сумасшествия. Смех над самим собой.*

*Искра надежды, почти бессмысленной; смыслы, то давящие разум, то будоражащие чувства, чтобы через секунду стать воздухом, зеро, пустотой.*

*Все это — рассказ Виталия Щигельского, и в то же время это далеко не все, что таится за вербальным частоколом, за решеткой строгих слов, внутри которых бьется чужое живое сердце, ходит кровь в нем, колыхается, как вода в аквариуме, как вода в реке и море.*

*Человек линяет. Страны линяют и исчезают. Время линяет — да, да, само время, у которого есть лишь одно преимущество перед пространством — оно необъяснимо.*

*Что человеку нужно для счастья? Стать асоциальным? Стать неподвластным силам природы? Полно, да возможно ли это?*

*Это рассказ о жизни и смерти — его финал ужасает; быть может, это самое устрашающее изображение смерти в литературе последних лет.*

*Думайте. Принимайте. Спорьте. Здесь есть о чем подумать.*

*Елена Крюкова*

Виной всему стало лето. Или, вернее, отсутствие солнца. Или что-то еще. Наверняка что-то еще. Теперь вспомнить трудно. Однако ему нужно было зацепиться за что-нибудь.

Николай Иванович помнил: лета не было точно. Вместе с июнем в город пришли осадки глобализации в виде тропического муссона. По телевизору объявили, что страна вступает в затяжную полосу водяных фронтов. В связи с этим физических лиц обложили дополнительным обременением в виде подушно-капельного налога, который предполагалось взимать упреждающе с лицевых счетов граждан, также объявлялась всеобщая мобилизация тела и духа. Заявление обрадовало и напугало Николая Ивановича — он любил власть и одновременно не доверял ей. Особенно в сфере денежных индексаций. Лицевой счет он проверял самостоятельно: каждое утро, оттерев влагу с зеркала, встроенного в стенной шкаф, Николай Иванович делал фотографический снимок, после чего пристально всматривался в себя.

— Я еще здесь, — говорил он, указывая пальцем на несколько смазанное, тронутое туманом изображение. — Есть еще порох в пороховницах. Есть еще чем показать кузькину мать.

А дождь не переставал.

Душный ветер задирает юбки, катал шляпы по тротуарам, выворачивал зонты наизнанку, затруднял выдох и вдох. Небо с головой закуталось в грязный темно-сиреневый ватник, перегревалось в нем, потело и без остатка текло на город тяжелым горячим дождем.

Струи дождя, сталкиваясь с потоками воздуха и фонтанами брызг из-под автомобильных колес, взбивались до парообразного состояния. Едкий и липкий пар впитывался в стены домов, в асфальт и тела прохожих или угрожающе висел серыми клочьями в подворотнях. «Бульон из потрошков» или «Январь во Вьетконге», — такое название Николай Иванович придумал этому испорченному июню.

Одежда не спасала от влаги, да и, вообще говоря, можно было не одеваться — людей друг от друга скрывал туман. Но Николай Иванович, выходя из дому, всякий раз надевал длинный болоньевый дождевик, одинаково мокрый изнутри и снаружи, и резиновые сапоги, сочно чмокающие при ходьбе по размытой дорожке парка. Парковая аллея напрямик выводила к метро. Время от времени где-то над головой грохотал гром, тогда с деревьев срывались ветки. О чем думал Николай Иванович в эти опасные для жизни моменты? Кажется, ни о чем. В голове слышался лишь шелест прибоя, словно окружающий туман диффундировал в голову, разжижая серое вещество.

Оставляя за спиной потерявший берега пруд, в центре которого плавали пристань с пришвартованными к ней катамаранами и покрытые ржавчиной, тяжело поскрипывающие карусели, Николай Иванович оказывался у станции метрополитена, оснащенной киоском со слипшимися газетами и ларьком, торговавшим морепродуктами. Газеты он продолжал покупать по привычке, хотя их невозможно было читать в мокром виде и нигде было высушить, а морепродукты обходил стороной — этим летом потреблять себе подобных казалось ему неэтичным: переполненные пассажирами и их испарениями вагоны напоминали ему большие промышленные аквариумы, и всякий раз, оказавшись в них, Николай Иванович чувствовал себя рыбой.

Те же аквариумные ощущения не покидали его на работе. Хотя водного пространства здесь было чуть больше, а качества продуктов чуть меньше. Последние проплывали мимо то поодиночке, то небольшими клиновидными стайками черно-белого окраса согласно внутривидовому дресс-коду. Мелкие, как положено, располагались позади крупных. Шли метать икру прибавочной стоимости. Сам он тоже был черно-белый — белая рубашка, черный костюм и ботинки. Правда, со временем дресс-код естественным образом эволюционировал в серый различных оттенков — линяла одежда. Резиновые сапоги Николая Ивановича стояли под рабочим столом рядом с ведром для ненужных бумаг. За день и сапоги, и ведро заполнялись водой. Поскольку оргтехника — компьютеры, принтеры, факсы, шредеры, планшеты и гаджеты — вышли из строя, а бумага намокла, деловая переписка велась на деревянных дощечках, покрытых тонким пластилиновым слоем. Переговоры осуществлялись через старые кабельные телефоны. Другое дело, что никто не мог разобрать надписей на дощечках, а из телефонных трубок доносилось лишь бульканье...

Осознав это в какой-то момент, Николай Иванович начал халтурить — ставил вместо букв загогулины, а на вопросы коллег одинаково отвечал: буль-буль-буль.

Впрочем, зарплату выдавали исправно. С индексацией только было неясно: цифры стерлись с купюр вместе с цветом. Но Николая Ивановича уже не интересовали цифры. А работа его вообще никогда не интересовала. В принципе, с работы можно было уходить раньше положенного, слившись с серым туманом, чем он периодически и занимался. Таким образом, освобожд-

далось время для винного погреба, где вино зачерпывали прямо из воздуха, согласно подвешенного под муссонность меню. Николай Иванович заказывал себе двойную порцию «темной», которая была на самом деле не столь темной, сколь мутной и сразу после употребления выходила с потом наружу, оставляя на теле серые струпья. При этом Николаю Ивановичу делалось незначительно хорошо — ровно настолько, чтобы, не замечая дождя, дойти до дома.

«А живу, — думал он, — как и все. И в муссон люди живут. Главное, чтобы стабильность: если муссон, то стабильный муссон, а если засуха, то тоже стабильная...»

Домой он шел тем же маршрутом, что и на работу, только в обратном порядке. Он жил, как и все здесь (эти размытые термины «все» и «здесь» благодаря дождю становились уместны), в скособоченной блочной двушке с обоями неопределенного цвета, свисавшим над головой пузырем навесного потолка и расползшимся ламинатом. В этом доме Николай Иванович раздевался и, не принимая душ (зачем принимать душ, когда целый день душ?), ложился на мокрый матрац.

Дождь вызывал апатию и подавлял высокие устремления, да чего там высокие, самые низменные. Раньше он часами мог рассматривать блондинку в окне напротив. Та сидела на подоконнике в шелковом халате — ядовито-зеленом, с такими же ядовитыми, но красными, с намеком на райские наслаждения и первородный грех, яблоками. Не вынимая изо рта сигареты, она делала себе педикюр. Николаю Ивановичу хотелось подуть ей на пальцы, чтобы лак быстрее высох, а затем наброситься на нее и ее халат. Так ему мечталось совсем недавно — в мае. Теперь же он не раздвигал шторы, дабы не увидеть ненароком ее жалкие серые жидкие пакли и пожелтевшую сигарету в ее серо-желтых губах.

Незаметно базовые нужды Николая Ивановича постепенно свелись ко сну. Есть и пить не требовалось: вода впитывалась кожным покровом, а еда... вероятно, необходимые микроэлементы еды находились в воде.

Подымаясь с матраца, Николай Иванович включал телевизор. Передатчик работал исправно. На цветастом экране мелькали хорошо знакомые лица, ни разу не вылинявшие, загорелые, яркие, бодрые.

— По многочисленным просьбам зрителей незначительные осадки продлятся еще неделю, — улыбался, сведя глаза к носу, один и тот же метеоролог.

— Добрый муссон очень даже хорош для будущих урожаев, особенно это касается такого волатильного продукта, как полба, — вторил ему известный экономист.

— Водные процедуры, выполняемые на открытом воздухе, укрепляют здоровье, — запевал на всю страну теледоктор.

— Благодаря подушно-капельному налогу закрома родины заполнились полностью, рубль затвердел как никогда, — увещевал финансовый аналитик, лицо которого так сияло, что Николай Иванович жмурился.

— Наше дело мокрое, — искрился народный конферансье.

— Не забудем, не простим! — на мгновение высовывался из водопроводного люка похожий на утопленника оппозиционер. Дальше шла реклама наручников.

— Водяной мой, мокренький, — напевала безголосая девичья группа, в блестящих рыбьих чешуек.

Николай Иванович проваливался во влажный муссонный сон. Ему снилось, что он тонул, и огромные глубоководные рыбы то проглатывали его, то вы-



плевывали обратно в темные воды. И от этих регулярных манипуляций его тело становилось прозрачней и тоньше.

Так проходил день за днем. Месяц за месяцем. Николай Иванович уже не чувствовал времени, фотосъемку он продолжал, но делал ее автоматически, перестав анализировать изменения собственной внешности.

Озарением или расплатой ясность наступила внезапно и с большим, непоравимо большим опозданием. Сделав и проявив очередной снимок, он с трудом разглядел на карточке свою едва уловимую тень — это было все, что от него осталось. Завтра он исчезнет — смоется, сотрется, испарится — смешавшись с туманом, став его миллиардной частью...

И только тогда Николай Иванович возмутился: как они допустили такое? В чем обещанная польза муссона? Где спасатели? Где правители? Где его персональный лицевой счет? Где его персональность?

Он включил телевизор: по экрану ползали опарыши белого шума. Все слиняли: от любимых медийных лиц до последних членов правительства...

Николай Иванович раздвинул шторы и увидел пустую улицу. Единственным доказательством того, что здесь когда-то кипела жизнь, была надпись на оконном стекле соседки: «Дурак! Я уеду в Америку!».

«Никуда не уедешь, дура», — подумал Николай Иванович и бросился к зеркалу, точнее, к тому месту, где оно прежде висело...

— Такую страну испарили! — набрав полные легкие мокрого воздуха, закричал он. — Такого меня!!!

Со стороны его слова казались стружкой табачного дыма, за считанные секунды впитавшегося в туман. Слово его и не было.

И самого Николая Ивановича больше не было — он вложил в крик последние свои силы — все, до последней испарины.



## «Влажный ветер»

Георгия ТАРАСОВА

Эта книга **О МЕЧТЕ.**

Если **ТЫ ЧЕЛОВЕК**, то именно **ОНА** тобою управляет, ведет тебя и награждает.

И совсем необязательно ее оформлять  
**В СЛОВА И ПОНЯТИЯ....**

ЛИТЕРАТУРНОЕ **zaza** ИЗДАТЕЛЬСТВО  
VERLAG

## Олег Абрамов. Гора желаний. Повесть



*Абрамов Олег окончил Казанский Университет, живёт в Казани, работает инженером и никогда не устаёт жаловаться на отсутствие времени на сочинительство. В «Зарубежных задворках» публикуется с февраля 2016 года.*

*Когда все плохо, и кажется, что стоишь на краю бездны, загляни в нее и попытайся измерить глубину. И, когда ты поймешь, что у бездны нет дна, может, тогда только начнешь ценить жизнь, и сможешь вернуть потерянное.*

*Повесть о Лёхе Дмитриеве потерявшем многое, пережившем страх несуществующего убийства, и встретившем на своем пути человека, который подарил ему "Гору желаний"...*

*Олеся Янгол*

Громкоговорители в вагоне ожили, выдав тихий смешок и едва различимое «ну и надо было её...», и тут же хорошо поставленный голос объявил: «Остановочная платформа — "Лагерная"». Раньше никакой ассоциации с тюрьмами и зонами от этого названия у Алексея не возникало. Он вышел на мокрый, разбитый дождями асфальт перрона, огляделся и через несколько секунд запрыгнул в соседний вагон. Несколько секунд он ещё вытягивал шею, выглядывая из тамбура. Середина рабочего дня, платформа практически пуста, даже красно-синие скамейки мокры и одиноки. Если бы и был тут наряд милиции, то не заметить было бы трудно.

Пожилая семейная пара — дачники — суетливо просеменила к ближайшему вагону. То ли помогая, то ли мешая друг другу, стали затаскивать тяжёлые сумки-коляски. Худой старичок с отвисшей как у петушка кожей на подбородке что-то раздражённо бубнил из под огромного козырька синей бейсболки, а его спутница оправдывалась задыхающимся от быстрой ходьбы тонким голоском. Попеременно придавливая железнодорожную платформу высокими платформами своих туфель, томилась ожиданием стройная светловолосая "джинсовая" девушка с неугомонным пудельком персикового цвета на поводке, напоминающим кораллового аспида. Не увидев своего кого-то в электричке, барышня нахмурилась и стала названивать по мобильному. Вот и всё, пожалуй.

Его никто не искал. Алексей поймал себя на ощущении даже некоторой разочарованности. Рано или поздно ведь всё равно найдут. Ему некуда деться. У него нет счёта в Швейцарском, да хоть даже и не в Швейцарском банке. Был на вокзале — возникла мысль уехать ближайшим поездом в Стерлитамак, туда где живёт сестра Галина с мужем и детьми. Но паспорта нет, а билет без документов не купишь. К тому же его вычислят немедленно, и через день-другой следом за гостем во всегда аккуратно прибранную двухкомнатную хрущёвку войдут суровые представители власти. Наверное, они даже обувь не станут снимать для составления протокола задержания. Соседей вызовут понятыми. И на глазах у сестры и племянника...

Электричка всё ещё стояла, пропуская встречный "скорый". Алексей устал прислонился к гладкому пластику стены тамбура, вытащил из нагрудного

кармана энцефалитки небольшой серенький телефон с хорошо потёртыми временем кнопками, набрал номер Галки:

— Привет, Галыч.

— Ой, Лёша! Только сегодня тебя вспоминала! Ты теперь так редко звонишь. Уж не в гости ли к нам собрался? Звук, словно в поезде. Помехи квакающие.

— Нет, Гал, это поезд рядом проехал. Около железки работаю. Тут связь не очень. Но я... я это... я тоже скоро ... далеко уезжаю. В Сибирь, наверное.

— Что значит «наверное», и почему в Сибирь?

— Не «наверное». Это я так... случайно сказал. Позвоню как-нибудь, когда устроюсь. Работа, короче, выгодная подвернулась.

— Тебя дождёшься... По полгода не слышно, а потом очередной сюрприз. Надеюсь, ничего больше не случилось? — голос у Галки всё более насторожённый, надо менять тему.

— Да нет, всё нормально, Гал. У тебя самой как? Маме давно звонила?

— Звонила вчера, она там всю огородничает, тебя со дня на день поджидает. У нас — тьфу-тьфу-тьфу — всё хорошо. Рустам на повышение пошёл. Оценили его, наконец. Шесть лет в заместителях проходил. За себя и за того парня, как говорится, вкалывал. Русланчик четвертую четверть без троек закончил, новый компьютер выключивает. У тебя точно всё в порядке? Голос какой-то ватный.

— Говорить здесь неудобно, и перебрал вчера немного. Ладно, я тебя совсем перестал слышать. Привет там всем своим...

Он поспешно нажал кнопку "отбой" и сунул руку с телефоном в карман. Лёша и сам не смог бы объяснить, зачем он звонил сейчас сестре. Так, просыпаясь от кошмарного сна, пытаются нащупать что-то материальное вокруг себя, чтобы убедиться, что сон уже закончился. Но Лёхин кошмар продолжался. Он поднял глаза и застыл. Прямо на него двигались два милиционера. Откуда они? Спрыгивать с электрички теперь уже поздно: пыльные автоматические двери надёжно прижались друг к другу резиновыми уплотнителями, и поезд зажужжал электродвигателями. За спиной последний вагон, и он может скрыться сейчас только туда. Это продлит его свободу ровно на одну минуту.

Телефон снова завибрировал и издал скрип открываемой двери. Пару дней назад Лёша установил такой необычный сигнал для сообщений, и сам ещё не привык к нему, оттого и рефлекторно вздрогнул. Текст на экране призывал немедленно ехать на улицу Гвардейскую на диагностику двигателя, чтобы получить скидку в двадцать процентов. Очередная рекламная рассылка, МТС этим частенько грешит. Алексей тупо вчитывался в текст, не понимая, чего от него хотят.

Патруль поравнялся с ним, и мельком взглянув на человека, поглощённого изучением содержимого своего телефона, прошёл мимо. Знали бы они кто он...

А кто он такой наш Лёша Дмитриев? Лёша Дмитриев есть убийца, автор кровавого преступления. Вы не верите? А он и сам в это не совсем верит, но все факты, чёрт бы их побрал, налицо.

Если по порядку, то всё началось с развода, абсолютно неожиданного и, если вдуматься, вполне закономерного. То, что до этого они с Лариской уже почти полгода жили на разных половинках кровати, вызывало в нём саднящее ощущение неправильности, но всегда казалось, что всё должно вот-вот наладиться. Он же её любит, и от неё слышит то же самое. Ну да, сегодня поругались из-за денег, а вчера она себя неважно чувствовала, за день до этого он поздно пришёл, тут ещё тёща надрывно кашляет за стенкой каждый вечер...

У тётчи целый ворох болячек, поэтому возразить было трудно, когда год назад его Лариса взяла нежно Лёхину руку и, глядя прямо в глаза, предложила сделать родственный обмен: их двушка и квартира тётчи из холодного Сыктывкара превращалась в трёхкомнатную. Нельзя сказать, что был он безмерно счастлив от этого предложения, но усвоил Алексей, что если жена смотрит вот так особенно ласково и доверительно, значит стоит ему только не согласиться, и его жизнь на неопределённое продолжительное время превращается в полный ад. Он сам не понимал, как удаётся Ларисе создавать вокруг него такую звенящую тишину в доме. Даже шестилетний Стасик, который в любое другое время готов был висеть на Лёхе день и ночь, старался пореже показываться из детской, отводил глаза от отцовского взгляда, а уж двенадцатилетняя Ленка — та просто исчезала, приходя каждый день к девяти. Пытаешься её вразумить — молчит. Ему всегда становилось очень зябко, когда он представлял, сколько же ещё может продлиться это общее молчание. Лёха, как правило (почему «как правило»? — "всегда"), не выдерживал первый, и автоматически становился во всём неправ. Несколько дней ходил он с непонятно почему виноватым лицом и хрипло задавал короткие вопросы в напряжённую спину жены, в её склонённую шею, прямо в выступающую шишечку позвонка, получая односложные ответы или глухие пожимания плечами. Потом в их мире вновь устанавливалась гармония, и Стасик радостно забирался на отцовские колени, требуя военного сражения на мохнатом туркменском ковре. Алексей иногда с ужасом думал, что Лариса ради принципа легко дойдёт и до развода, если он не сделает свой шаг навстречу, тогда становилось ему от этого тоскливо и крайне одиноко. Правда, потом, когда они мирились, она каждый раз в слезах твердила, что именно он жестокий и холодный, и насколько невыносима для неё была эта размолвка, и как она боялась все эти дни его потерять.

Вырученные от размена квартир деньги они договорились положить в банк. Алексей втайне надеялся, что оказавшись в их благословенном Краснодарском климате тётча быстро пойдёт на поправку, и скоро им потребуется вновь произвести обмен квартиры, а если и нет, то эти деньги всё равно лучше приберечь. Например, для будущего жилья Ленки. Ей, конечно, всего двенадцать, но время летит быстро. Букет роз на Восьмое марта принесла. Говорит, что подарил старшеклассник. Ничего так себе подарочек — каждая роза по сто рублей будет, а в букете семь штук. Не поленился Алексей до школы пойти, глянул на этого обожателя. Мальчишечка ростом выше самого Лёхи вытянулся, кудрявые волосы в хвостик сзади сцеплены, голос как у тромбона, а на носу прыщи-хотюнчики. Созревший совсем женишок.

Деньги до банка так и не дошли, очень легко разлетелись они цветными бумажками, рассосались кусочками быстрорастворимого рафинада. Лёха даже возмущаться пробовал, но Лариса объяснила, что в их бюджете накопилось слишком много дыр, которые им долго приходилось не замечать, вот именно сейчас все эти траты и назрели. К тому времени они уже разменяли последний полтинник, и Лёха махнул рукой.

Но теперь вся эта прошлая жизнь кажется ему совершенно недостижимым счастьем, о котором можно только мечтать.

Однажды Лариса вдруг засобиралась в Москву к Симочке, своей давней подруге, которую не видела сотню лет. Что-то дёрнулось в кишочках у Лёхи, сомнение какое-то; предложил вместе поехать, когда он тоже сможет. Нет, ей нужно было именно сейчас, к тому же так будет дешевле, и у Симочки условия очень стеснённые. Ему даже не удалось тогда её проводить до Краснодара: завезли металл на базу, и нужно было срочно разбираться. А потом она не вернулась. Просто «не вернулась» и всё. По телефону сообще-

ла, что разрывает с ним, что он ей испортил всю жизнь, что у неё в Москве живёт друг Арсен, и вот он — настоящий мужчина. Когда будет возможность, она заберёт к себе и детей, а пока её мама поможет ему ухаживать за Ленкой и Стасиком. Квартира, кстати сказать, была записана на Екатерину Сергеевну, теперь уже бывшую Лёхину тещу. Так сделали, чтобы не платить налогов на недвижимость, поскольку теща была пенсионеркой. Лариса надеется, что у него осталась хоть капля совести, и он не бросит своих детей, и что не будет в доме устраивать оргии с «этими вашими потаскухами».

Потаскухой Лариса обычно называла Нинку Соболенко. Нинка работала бухгалтером на базе и славилась тем, что могла настолько лихо вернуть ласковое мужское словцо в беседе, что оторопело замолкали даже грузчики, да и выпить могла на равных в любой компании. Лариса всегда утверждала, что Лёха постоянно заглядывается на Нинкин задик. Лёха это категорически отрицал, но не будем лукавить, все мужчины невольно оборачивались на играющие Нинкины ягодицы, которым явно не хватало места в светлой обтягивающей трикотажной юбке, и Лёха тут исключением не был.

После того телефонного звонка Алексей долго не мог прийти в себя. Он набирал её номер, чтобы выкрикнуть всё самое мерзкое и унижительное, но задышался и в изнеможении опускал руку, так и не нажав на ехидно прищурившейся зелёный глаз кнопки вызова. Через минуту ему хотелось умолять её всё забыть и вернуться, но услышав твёрдое «Слушаю» на том конце связи, спотыкался голосом, и едва выдавливал из себя глупое : «А где у нас порошок? Ладно, найду...», «Справки для лагеря...? Понял...» Он ещё полгода ждал, что завтра его разбудит звонок в прихожей, и заплаканная Лариса бросится ему на грудь с мольбой о прощении... Пусть даже без просьб, и ничего, если и не заплаканная, но вернётся. Он готов терпеть и тещу, и двухнедельные Ларискины молчанья, лишь бы она, наконец, открыла своим ключом эту долбанную металлическую дверь, из-за которой они не разговаривали почти неделю, только бы не эта кошмарная пустота. Стасик стал тихий, совсем по-маминому замолчала Ленка. Теща, стараясь меньше кашлять, бочком выходила на кухню, чтобы приготовить что-нибудь себе, внукам и неудачнику зятю (или уже не зятю?), потом снова скрывалась в своей комнате, надолго погрузив глаза в телевизор.

Лариса звонила детям каждый день. Алексей даже стал узнавать её звонки. Никакие другие не проникали такой острой болью в грудной отдел позвоночника, пережимая нервы и сосуды, заставляя холодеть конечности. Он продолжал без движения сидеть перед экраном компьютера, а Ленка, тоже, словно чувствующая их, вспархивала и первая хватала трубку: «Да, ма... привет». Иногда дочь, пряча глаза, передавала телефон ему и коротко говорила : «Мама хочет сказать...»

Лариса, словно ничего не случилось, скороговоркой наставляла и давала поручения. Он снова делал всё не так, как следовало, и упрёки сыпались один за другим. Потом он узнал, что его жена ждёт ребёнка от Арсена, и почувствовал, что она сделала ещё один шаг от него. Это его, как ни странно, немного успокоило, он как бы вычеркнул её из своей жизни. Это вошедшее в моду ничего не значащее «как бы» и здесь ничего не решало. Вычеркнул легко стирающимся карандашом, нежирно, в любую минуту готовый переписать всё заново. Лариса снова и снова вторгалась в его существование, и Алексей снова тратил силы, чтобы найти какое-нибудь равновесие после этого очередного вторжения. Трижды она приезжала к детям, первый раз вошла немного стыдливо, пряча взгляд, но потом уже решительно и похозяйски, вместе со своим новым избранником, гордо демонстрируя свой

формирующийся животик. Алексей уходил на эти дни из дома, жил в подсобке, лоя на себе соболезнающие взгляды сослуживцев.

— Так дай ей пинка, — советовали ему. — Сколько она будет кровь из тебя пить?

— Дам, — отвечал он тускло. — Обязательно дам. Но не сегодня — детей жалко, они её любят.

К нему в подсобку приходила Нинка, и убеждала его, что он мужик, и даже лучше её мужа во сто раз. Она упиралась своей твёрдой бронзовой грудью ему в плечо, но он не чувствовал от этого касания никакого волнения, а только полную безысходность.

А потом вообще всё стало сыпаться, как карточный домик. Хозяин базы, на которой работал Лёха, решил свернуть свой бизнес в России. Объяснил, что «бандиты очень много кушать хотят». Базу он передал местному депутату, а тот, распродав со скидками остатки товара, распустил организацию, чтобы построить на этом месте пятиэтажный отель и магазин в два этажа. Ничего, что до городского пляжа не слишком близко. Он же всё-таки депутат, обеспечит: и чтобы дорожка к морю была удобная, и чтобы автобус рядом останавливался. Сильно захочет, и сам пляж сюда придёт. Не за свои же деньги всё это — за бюджетные, ну и на благо населения, разумеется.

Обычное дело, вот только лишился Лёха хорошей работы. В сезон ещё можно туристов ублажать — способов много, но что делать остальные девять месяцев? Надеялся извозом зарабатывать, но вылетел на своей «Нексии» с ночного шоссе. Сам отделался ушибами и ссадинами, но вот машина — в хлам. В тот же день звонок Ларисы, словно ждала этого случая. Так дальше, мол, продолжаться не может. Она начинает обмен квартиры на Подмосковье. У него есть месяц, чтобы подыскать себе жильё. В конце концов, он может поехать в свою Кожласолу и собирать там грибы, раз ничего другого в жизни не умеет.

Кожласола — небольшое марийское село, прижавшееся одним боком к лесу, где-то на стыке дорог между Казанью, Чебоксарами и Йошкар-Олой. Не подумайте, что это какое-то диковинное и редкое название, на карте Мари Эл вы встретите его многократно, потому что переводится оно — «деревня в ельнике», а мало ли таких деревень в марийских лесах.

Лёхину Кожласолу ищите рядом с Красногорском и Илетью. Красногорской школой номер два и была та школа, где работала Лёшина мама, и куда он и сам вприпрыжку бегал все годы от сопливого детства до прыщавой юности, старательно обходя по другой стороне дом Николаевых, где из под ворот высывалась хрипящая злобная морда Джека, самого тупого и злобного представителя собачьего мира, недостойного носить звание «овчарки».

Зимой одноэтажная Кожласола спит под толстыми коврами снега, чистого, как и все воспоминания детства. Только не сходи с протоптанной тропинки — тут же провалишься по колено, а где-то и по пояс. Осенью и весной грязь, потому как асфальта нет нигде. Но если не вздыбят дорогу своими колёсами тяжёлые грузовики, то пройти можно, потому что подарили еловые леса Кожласоле не только название, но и песчаные почвы, хорошо уплотняющиеся от очередного дождя.

Лето... Если вы попали сюда летом, то поспешите к озеру. Сначала надо — непременно с разбега! — окунуться в прозрачную воду, а потом по полузагрязненным чёрным мосткам вылезти на берег и улечься на Дунькин Пуп. Пупом тут называют небольшой зелёный холмик недалеко от воды. Положить под голову рубашку и штаны и под дружное стрекотание кузнечиков смотреть на почти застывшие облака, лениво меняющие свою форму. Трава впечатывается в кожу, и спина на несколько минут становится похожа на цинковку.

Старики говорят, что в полдень или в полночь здесь иногда можно услышать подводные колокола. Там, глубоко в озере, до сих пор стоит ушедшая под воду старая церковка и стонет, плачет по всем, кто уже не вернётся.

Все мальчишки, как один, уверяли, что хотя бы раз слышали эти колокола, да и сам Лёшка на всякий случай заявлял тоже самое. Втроём с Саней и Генкой они выплывали на самую середину озера, толкая впереди большое скользкое сучковатое бревно и до изнеможения ныряли, в надежде дотянуться рукой до креста. Да, видно, озеро слишком глубокое, или плохо умели нырять мальчишки. Веснушчатый Саня однажды заявил, что сегодня он нырнул особенно ловко, на метр глубже, чем всегда, и задел что-то металлическое. Но Саньке верить нельзя, Саня всем известный хвастун, и не менее известный бузотёр и выдумщик. Кличку «Леший» Лёхе он выписал — по имени, наверное. Ещё у Саньки была голубятня, и он умел свистеть пронзительно и залиvisto, лучше всех в Кожласоле. У Лёхи выходило только жалкое шипящее подобие этого реактивного звука.

Алексей как-то привозил свою семью сюда. Лариса, глядя на озеро хмыкнула и сообщила, что после его рассказов ожидала увидеть НЕЧТО, а тут — жалкая лужа. Дочка вторила маме, она откровенно скучала в деревне без своих подружек и домика Барби с полным набором шкафчиков, посуды и совершенных маленьких копий стиральной машины и пылесоса. Алексей спорил, что лужи не бывают в полкилометра в ширину, но и сам чувствовал некоторые угрызения совести, оттого что притащил их сюда, в деревню без элементарных удобств, лишь с двумя достопримечательностями: озером и лесом.

К чести Ларисы, нужно сказать, что она произвела прекрасное впечатление на маму Алексея своей вежливой предупредительностью. Лариса родилась в Самарканде в семье военного и восточную обходительность впитала вместе с ароматом узбекского плова, который она, кстати, готовила безупречно. Так уж действует пряный воздух Востока, что и внешне бывшая жена чуточку стала похожа на узбечку: приобрела разрез глаз с чуть заметной миндалевидностью и кожу более смуглую, чем у матери, и даже говорила особенным образом мягко, по-восточному. В Сыктывкар они переехали, когда отец подполковником вышел в отставку. Военной пенсией ему долго попользоваться не удалось, через несколько лет его не стало. Лариса говорила, что инфаркт.

Второй раз удалось приехать в Кожласолу всей семьёй, когда родился Стасик. Потом уже Лариса всегда находила предлоги, чтобы остаться дома. Несколько раз Алексей навещал малую родину один или с кем-нибудь из детей. Мать начинала радостно суетиться, чтобы угостить внуков чем-нибудь очень вкусным, чего они не поедят дома. Здоровьем она не хвасталась, но когда Лёха предлагал ей перебраться к ним или хотя бы поближе, всплёркивала руками: «Что же это я вам мешаться-то буду. Ноги есть пока — хожу».

\*\*\*

Сейчас, стоя в тамбуре электрички, он понял, что сел сюда не просто так, а рефлекторно. Поезд шёл прямо через родную Кожласолу. Смешно искать защиту у старенькой матери. Она сама сейчас нуждается в его защите, а он вместо этого приносит ей одни неприятности. Фотографию Ларисы мать так и не убрала со старого трюмо.

— «Может образуется ещё», — шепчет, — «Ведь семь годков вместе прожили».

Внимательный читатель заметит несоответствие и усмехнётся: «Автор запутался или заврался. Какие семь годков, если дочери уже двенадцать?» Что ж, не хотелось, но, видимо, придётся всё объяснить и рассказать всю историю от самой первой встречи Алексея и Ларисы в Туапсинском автобусе. Только это чуть позже, если позволите. А сейчас мы всё-таки покинем Кожласолу, как оставил её в свои семнадцать Лёха Дмитриев, устремившись душой к звёздам. Учился Лёша очень даже неплохо. Да что неплохо — лучше всех в классе из семи человек, почти на одни пятёрки. А вот с выбором профессии тормозил до последней минуты. А как выбирать? Фельдшер Сергей Иванович советует идти в медицинский, агроном — представьте, и он тоже Сергей Иванович — в сельскохозяйственный, мать — поскольку учительница — о пединституте робко говорит.

Где на селе про другие специальности узнаешь? Только из справочника абитуриента, естественно. В Москве много институтов, но туда не сунешься. Рядом Казань и Йошкар-Ола. Йошка чуть ближе, но в Казани Ленин учился, и ещё там есть кафедра астрономии. А что же может звучать волшебнее для подростка начала восьмидесятых? Космические корабли, крабовые туманности, межгалактические туннели — весь этот бред имеет малое отношения к современной астрономии, представляющей нынче математику в особо издевательских формах, зато позволяет и до сих пор держаться высокому курсу на эту специальность.

Неожиданно для себя Лёха получил на экзаменах жалкие четвёрки, и даже трояк. Баллов не хватало, пора забирать документы и дуть в родную Кожласолу — с позором.

В приёмной комиссии шумно, повышенная влажность от родительских слёз. Кто-то настаивает на апелляции, другие пытаются шепнуть сокровенное словечко секретарям. А что шепнёшь им, делающим важный вид студентам старших курсов, их слово ни на что не влияет. Им — бланки бы правильно заполнить, с документами не напутать. Над листом Лёши Дмитриева симпатичная черноглазая девушка задерживается и говорят: «Ой, Вам лучше на кафедру астрономии сначала сходить к профессору Кашину». Тут же чья-то мамочка нависает в цветастом, дыша духами и мускусом: — «Ой, а нам тоже можно? Мы на любой вариант согласны. Иначе ведь ребёнка в армию заберут. Вы не представляете, что там сейчас творится? Ой!» — «Нет, вы же на другую кафедру поступали...»

Вот примерно так и очутился Лёха со своими баллами на той же кафедре, но на специальности «астрономо-геодезия». Я не знаю, что общего у астрономии с астрономо-геодезией, но в чём разница астрономо-геодезии с геодезией знаю совершенно точно: в названии. Вместо расчёта коэффициентов поглощения какой-нибудь там небесной ерунды, стал Лёха считать невязки теодолитного хода и уравнивать превышения.

Как потом оказалось, это и неважно, потому что прошедшая перестройка тяжёлой океанической волной с самурайским названием «цунами» снесла и перевернула на своём пути всё. Астрономы становились менеджерами, врачи — торговцами, педагоги — авто-слесарями, а химики — геодезистами. Можете добавить от себя любые две профессии и продолжить этот ряд. Появились и совершенно новые профессии, такие как киллер и проститутка. Даже анекдот, помню, был: м-м-м, пришёл киллер к проститутке, а деньги дома забыл и ... Чёрт, как же там? Вспомнил! Она говорит ему, что всё понимает — времена тяжёлые. Ты, мол, по бартеру расплатись. Многие сейчас так делают: стоматолог за это дело ей зубы бесплатно лечит, сапожник — обувь ремонтирует, кто-то мясо с комбината таскает. Ты, мол, сам кто будешь? — «А-а-а, понял!» — обрадовался киллер, достаёт пистолет с глушителем.



лем и в лобешник ей — бац. А потом сел и задумался: «Вот блин, продешевил. Её же услуги всего сто баксов стоят, а мои-то целых пятьсот. С кого же теперь взять?»

Вот так: обвинишь своего героя в преступлении — и анекдоты тут же про киллеров в голову приходят. Кстати, если вы думаете, что Лёха жену свою бывшую заказал или тещу отравил, то ошибаетесь.

\*\*\*

Окончив кафедру и потоптав болотистые земли Севера и бесконечное скалистое плато Устюрт, Алексей осел в тёплой среднеазиатской республике. Нравится ему, когда тепло. И даже когда жарко — тоже терпимо, это гораздо лучше, чем холода, впивающиеся беспощадными иглами в суставы. В девяностых оторванная от крепкой советской сосудистой системы экономика братской республики перешла на подножный инжир, и геодезическая работа надолго оказалась здесь не востребованной. Привыкшие к ежедневному труду мужики по инерции каждое утро собирались в двухэтажном здании Управления, играли в нарды на широких столах, где ещё недавно их уверенные пальцы «поднимали в туши» карандашные чертежи на фанерных планшетах и, вытянув ноги в спортивных штанах, с тоской разглядывали в окне бездействующую «буханку» и буровую установку, от которой каждую ночь кто-то отвинчивал деталь за деталью. Молодой сторож Юнус только пожимал плечами и дружелюбно улыбался: «Никого-мана не было. Караулил весь ночь».

Скоро все анекдоты и истории из жизни были рассказаны, работа не появлялась, и тягучее ощущение безнадежности зависло в комнате серым дымом дешёвых сигарет. Когда УАЗик и буровая исчезли из-под окон окончательно, это стало для многих знаком, что делать тут больше нечего. Пришедший милиционер двигался очень неторопливо. Он прошёл в комнатку начальника партии, сунул в рот спичку и с глубоким прискорбием начал писать показания свидетелей, коими оказались трое первых попавшихся сотрудников. Алексей тоже был среди них и пытался рассказать, что уже не в первый раз воруют, и всегда при одном и том же стороже, но милиционер лениво цыкнул языком, горестно переместил спичку из одного угла губ в другой и произнёс лениво и дружелюбно: «Не надо так. Давай напишем, что ничего не знаешь. Так лучше будет». Алексей понял, что смысла уточнять «чем лучше» нет, и поставил под текстом свою неловкую закорючку.

Последним милиционер говорил со сторожем около ворот. Алексей видел из окна, как они по очереди прижимали ладонь к груди, покачивали головой и разводили руками. Наконец, милиционер посмотрел на окна и показал сторожу, что тому нужно следовать за ним. Сторож пришёл на следующий день. Лицо его не выражало ничего, а ноги светились чистой радостью от новых белых кроссовок «Адидас». Вечером он подошёл к Алексею и отозвал его во двор.

— Это Азат был, — сообщил он дружелюбно. — Он из нашего аула, а теперь вырос — милиционером стал, очень хороший человек. Если нужно что — через него устроим.

Лёха не очень понял, к чему ему эта информация и только криво улыбнулся, не глядя в глаза Юнусу. Сторож однако не хотел оставаться непонятым:

— Лёха-джан, там у вас в сейфе приборы-ма всякий есть: теодолит-минодолит, нивелир-мивелир. Покупатель есть. Сам из Китая приехал. Продавай Лёха. Двадцать процентов мне... Если ещё найдёшь — ещё продавай. Время такой больше не будет.

\*\*\*

— «Следующая станция Обсерватория», — сообщили динамики, и электричка снова радостно завывала. В тамбур уверенно вошли два контроллера: высокий чернявый мужчина с отсутствующим землистым лицом и полная женщина с презрительным взглядом на рыхлой физиономии. Пощёлкивая компостером, словно наручниками она потребовала билет, и внимательно изучив его, зачем-то стала уточнять:

— Докуда едем?

— До Яльчика, — ответил Алексей первое, что пришло на язык.

Контроллёра подняла на него свой презрительно-недоумённый взгляд и спросила:

— А зачем тогда до Йошкар-Олы билет покупали? Деньги некуда девать?

— Я это... я передумал, к родственникам решил заехать, — забормотал Лёха.

— А что в тамбуре стоите? Вон сколько мест пустых, — начальственным голосом произнесла женщина. — Заходите. Нечего в проходе мешаться.

— Да я не мешаю здесь никому, — ответил Лёха, словно оправдывающийся подросток, тем не менее, прошёл за ними и пристроился на ближайшем сиденье, сразу отвернувшись к окошку. Там, за мутноватыми стёклами торопливо пробегали высоковольтные опоры. Лёха привычно отсчитал количество изоляторов на столбах, как учил его Петька Шубин: семь штук на провод, значит сто десять киловольт. Справа проносился лес, а слева — дачи, дорога и Волга на горизонте. Сколько раз он смотрел на эти пейзажи. Поезд притормаживает, и словно в замедленной съёмке: сосны, дорога, круто уходящая вверх.

По этой дороге спускались они к реке во время летней практики в обсерватории, и по ней же — скользкой и снежной — поднимались как-то 31 декабря не помнится уже какого года, чтобы сдать злополучный зачёт по сферичке проживавшему там профессору Семёнову. А потом чуть ли ни кубарем вниз, чтобы успеть на последнюю электричку.

В вагон вошли ещё несколько человек, один из которых сел наискосок от Алексея. Хорошо, что не к самому окну, Алексей не любит, когда кто-нибудь незнакомый сидит в электричке совсем напротив, изучая от скуки пятна на его брюках или прыщи на лице.

После Зеленодольска их электричка стала плавно забирать на север, гудком попрощавшись с пассажирским Казань — Адлер. Тот скоро свернёт налево, осторожно пробежит по тонкому железнодорожному мосту через Волгу и — на юг к тёплому Чёрному морю, к Лёхиной детской мечте, к началу его неудач.

\*\*\*

Это Юнус позвал его в своё время работать в Краснодарский край. Юнус к тому времени изрядно разбогател и числился в предпринимателях, обзавёлся седьмой моделью «Жигулей» с овечьими шкурами на сиденьях и широко улыбался золотыми зубами. Он организовал небольшую базу для торговли стройматериалами на побережье рядом с курортным посёлком и предложил Алексею «пока поработать». Юнус объяснил, что ему понравилось, что Лёха не стал воровать из сейфа нивелиры. Значит и у него ничего украдёт. Нивелиры те и теодолиты, кстати, чуть позже списал Лёхин начальник как неисправные, но китайца они устроили.

Утром Алексей бросал своё загорелое тело в море, а потом бежал вверх по каменным ступенькам, и ещё метров пятьсот по тропинке, через пустырь налево к огороженной листьями металлопрофиля территории, которая служила ему и домом и работой одновременно.

С девяти и до четырёх он встречает и провожает машины на этой раскалённой сковородке уложенной ровными штабелями задавленных собственной тяжестью мешков с цементом, чёрными дельфиньими спинами рулонов рубероида, шалашиками полотен стекла и гремучими связками труб и швеллеров. Если становится невмоготу, то Серёгу, помощника, можно оставить сторожить, а самому сбежать вниз и снова оказаться в прохладной солёной волне.

Море принадлежит ему, а остальные здесь случайны. Они словно ошипанные цыплята на вертеле крутятся на протёртых голубеньких и зелёных покрывалах, подставляя свои плечи солнцу, пытаюсь наспех загореть. Вот отдыхающие первого дня, бледные, словно из темницы, вот розовые окорочка дня второго. Укутанные в простыни и платки с третьего по пятый, обгорельцы наконец становятся чуть смелее к шестому, но уже осторожные сидят под зонтами, ежеминутно проверяя пальцем кожу: — «Не пора ещё?» — «Пора, пора» — заявляют им плечи на девятый день и начинают шелушиться, обнажая неуместные розовые пятна. Но скоро домой, и друзья по работе уважительно скажут: «Прекрасный загар!», глядя на щёки и незакрытые кисти рук. — «Ну, это погода ещё была не очень», — ответят курортники, ощутив, наконец, что отдых удался.

На бронзовый загар Алексея, очень к месту пришедший к его гибкому, окрепшему от физической работы телу, одни смотрят с мало скрываемой завистью, другие с ревностью, а третьи со столь же мало скрываемым желанием. Эти третьи улыбаются ему белозубыми улыбками, поднимают обеими руками вверх локоны над плечами и чуть сильнее обычного начинают покачивать бёдрами.

Я уж не знаю, что у него и с кем было, а чего не было, но счастье его летнее заканчивалось в конце сентября. Наступала скучная, очень скучная, осень, а за ней зима, посылающая холодные сырые ветра с гор, и фанерная комнатуха его становилась совсем неуютной даже с двумя обогревателями типа «козёл». В далёкой геодезической конторе в тёплом среднеазиатском городе давно уже никто не брал трубку, там же пустовала однокомнатная квартира со всеми удобствами, но жить там было не на что, а тут был Юнус, который регулярно каждые две недели отсчитывал по несколько бумажек из толстой пачки. Этого было вполне достаточно для жизни и приятны были слова Юнуса: «Потом будет больше, Алла берса». Юнус сменил ВАЗ-овскую «семёрку» на довольно свежий красный «Ауди»-А80, округлился животом и лицом, а улыбка его стала ещё лучезарнее. Этот, как он сам утверждал, потомок Чингиз-хана решил завоевать всё побережье Чёрного моря своими строительными магазинами на открытом морском воздухе.

— Ты мой компаньон, Лёха-джан, — говорил он, заглядывая прямо в глаза. — Поручу тебе новые базы открывать. Потом руководить будешь всеми сразу. Офис будет, машина будет, секретарша будет пухлый.

Каждый год Алексей переезжал на новое место, помогал Юнусу оформлять землю, искать работников, а потом с парой помощников из местных сам и торговал, измеряя погонные метры, считая мешки и килограммы, ругаясь с ленивыми грузчиками. От Туапсе до Новороссийска, в самых неожиданных уголках возникали заборчики из металлопрофиля, и всё начиналось сначала. Рос ассортимент, и Лёха узнавал всё больше новых слов: фитинги, пенополистерол, вагонка, сайдинг, блок-хаус...

— Давай, давай, — говорил Юнус. — Молодец, Лёха-джан. Потом больше будет.

Зарплата у Алексея не спешила расти. Это его не особенно смущало, ведь когда-нибудь он станет директором всей этой сети, а пока ему одному хватает и этого.

\*\*\*

По дороге от Туапсе автобус делает по серпантину несколько изрядных виражей. Лихач-водитель из вернувшихся на Черноморский берег адыгов всем телом наклоняется, чтобы хоть мысленно помочь своему «коню» удержаться на крутом развороте у пропасти. Угрюмая серая стела со словами писателя Серафимовича мало сочетается с курортным настроением пассажиров. Совершенно не запомнилось, а ведь было это в школьной программе: белые, красные, «железный поток»... Напротив Ларисы сидит молодой человек в серой футболке и потёртых джинсах и каждую минуту бросает на неё заинтересованные взгляды. Серые волосы, чуть скуластый — ничего особенного. Очень загорелый, наверное, местный. Сейчас подкатывать начнёт. Лариса такие вещи очень чутко улавливает. Любая красивая женщина чувствует мужские взгляды, даже если смотрит в противоположную сторону — где-то подушечками пальцев, а может и кончиками волос. Подруга Оксана толкает в бок и подмигивает, что означает: «Этот на тебя запал».

Она выходит на остановке «Аэропорт» и, надев тёмные очки, оглядывается. Никакого аэропорта здесь нет и в помине. Есть металлический навес остановки, заросшие склоны гор, обнимающих небольшую долину, где протекает речка Агой и стоит посёлок с тем же названием, пыльные кусты ежевики вдоль дороги. Оксана бойко идёт впереди, чуть согнувшись от тяжести сумки. Она здесь уже не в первый раз, в Агое живёт её тётушка, всегда готовая приютить родственников, даже если они приезжают «в сезон» и уменьшают своим присутствием число человеко-коек в доме. Ларисе придётся заплатить, но поменьше, чем, если бы она явилась сюда без Оксаны.

Этот, из автобуса, идёт за ними, мягко ступая по горячему асфальту лёгкими ногами в старых кроссовках. Если пойдёт дальше, придётся отшивать его достаточно грубо. Лариса вовсе не собиралась заводить тут бесконечные романы с молодыми людьми в китайских футболках и потрёпанных кроссовках. Если не найдётся преуспевающего бизнесмена, то лучше уж совсем никакого. У неё уже есть жизненный опыт отношений с парнем в виде четырёхлетней дочери, последующих истерик матери и пьяных оскорблений бывшего вечно навеселе отца, умершего год назад от полутора стаканов метилового эквивалента. Она приехала сюда, чтобы хорошо загореть, «принять форму». Если здесь не найдётся приличного варианта, то остаток отпуска лучше провести в Москве.

Лариса резко развернулась, презрительно и громко бросила в лицо преследователю:

— Может, хватит пялиться? Идите своей дорогой!

Молодой человек смутился, даже сквозь загар его проступил румянец:

— Простите, — промямлил Алексей, и обогнав их, зашагал быстрее. Когда он скрылся за поворотом, Оксана хохотнула и заявила:

— Зря ты его прогнала. Он вроде ничего. Тебе не надо — оставь мне.

Оксана свернула к синему домику с увитой виноградом шпалерой и розовыми кустами, бросилась в объятия вышедшей навстречу хозяйке, на время забыв об изнашивающей на солнце подруге. Лариса же снова увидела того же молодого человека в серой футболке, выходящего с пакетом из магазина, и демонстративно отвернулась. Не хватало ещё, чтобы он около их дома тёрся.

Перекусив и собрав крема и полотенца, девушки двинулись на пляж. Море было тёплым и ласковым, и загорающих на удивление не слишком много. Спускаясь сюда от посёлка, Лариса заметила в кемпинге несколько дорогих машин с московскими номерами и теперь пыталась развивать интуицию, оценивая, кому из тех, кто на пляже, они могут принадлежать. Обширная

простыня тента реяла над головами девушек, закрывая их молодые тела от палящего солнца, а может, символизируя белый флаг, вывешенный над воротами крепости.

— А мы Вас, кажется, уже сегодня видели! — раздался воркующий голосок Оксаны, и Лариса приоткрыла глаза. Пока она дремала, подруга не только, судя по каплям на спине, успела искупаться, но и уже заводит знакомства. Через вязаные поля панамы Лариса разглядела, что её подруга обращается к тому самому попутчику, которого сама она так твёрдо сегодня отбрила. При этом Оксанка откровенно кокетничала, улыбалась и даже приблизилась к молодому человеку почти вплотную, глядя в лицо снизу вверх и по-кошачьи потягиваясь.

— А меня Алексей, — услышала она довольно приятный голос её собеседника, — Но я побаиваюсь около Вас задерживаться. Ваша подруга меня так запугала сегодня, что проходя мимо, я только и жду летящего в голову булыжника. Благо, их тут вокруг много.

Какой-то чертёнок овладел Ларисой, и когда Алексей с Оксаной, неприуждённо разговаривая, стали удаляться, она подобрала мелкий камушек и пульнула им в красивую загорелую спину. Алексей обернулся, и глаза их встретились.

Так странно устроена, я хотел сказать «женская», но, наверное, не только, психология. Ещё минуту назад ей и дела никакого не было до добирающегося на автобусе «безлошадного» молодого человека, но как только возникла конкуренция, вскипело и вечное «не отдам». Через три дня навсегда закончилась делящаяся с восьмого класса дружба с Оксанкой, и Лариса переехала в квартирку, которую снимал Алексей. Юнус оплачивал ему только пятьдесят процентов стоимости жилья, чтобы Лёха не увлекался роскошными апартаментами. Утром Лёха шёл на свою базу, а Лариса спускалась на каменистый берег, не торопясь прогуливалась или опускала своё красивое тело на большое махровое полотенце. Оксана отгораживалась от неё журналом, если Лариса проходила мимо, и вообще всячески не замечала. Оказалось, что найти здесь приличную партию практически невозможно. Лариса уже идентифицировала всех владельцев дорогих машин, но это оказались люди семейные; ещё были самоуверенные ребята из Грозненского нефтяного института, проживающие в пансионате через речку, от которых она старалась держаться подальше, опасаясь их непредсказуемости.

Два раза приезжал Юнус на тонированном «Мерседесе», и Лариса слышала, как он говорил громким доверительным шепотком на балконе:

— Потом будет больше. Мы одна команда, Лёха-джан. Будешь директором над всеми моими базами. Их будет десять, а потом ещё.

Лариса год проработала бухгалтером, и представляла, какие суммы проходят через такие базы. Она стала смотреть на Алексея как буддист смотрит на ещё не распускающийся цветок лотоса. Потом она будет говорить ему, что это он её обманул, хоть он, видит бог, ни разу ей ничего не обещал.

Были новые переезды, новые базы, начинающиеся с нуля. Наконец, они надолго осели в активно застраиваемом Дивноморске. К ним переехала от бабушки дочь Ларисы (хотел сказать «от первого брака», но брака как такового не случилось), там родился и Стасик. Юнус постепенно перестал обещать Алексею золотые горы. Он уже не заезжал к ним домой, не тряс долго руки при встрече и расставании. На роль директора дивноморской базы Юнус поставил своего дальнего родственника, как впрочем, сделал и в остальных своих магазинах. Алексею осталась роль помощника. Было немного досадно, тем более, что жизнь в стране налаживалась, и выдаваемые Юнусом деньги смотрелись уже не столь солидно в общей денежной массе стра-

ны. Но Алексей не унывал, ведь у него оставалось море, любимая женщина и пара замечательных детишек. Он продал свою среднеазиатскую кооперативную квартиру, добавил все свои накопления и приобрёл жильё в Дивноморске. Затем торжественно избавился и от узбекского паспорта.

Вы меня, конечно, сейчас начнёте уличать, что не могло у него быть двух паспортов –нашего и их, нет у нас этого — как там его? — института двойного гражданства. Мне придётся устало снять очки, протереть их краем рубашки, потом глубоко вздохнуть и спросить: «Вы вообще, в какой стране-то живёте, ребята?».

\*\*\*

— Станция Помары, — энергично проголосили динамики.

Закончился самоуверенный Татарстан. Зелёный край Мари, зыбкий, дышащий фитонцидами сосновых лесов и горечью невспаханных, заросших высокотравьем полей, понёсся навстречу, вбирая в себя голубую электричку с ярко-оранжевым индейским татуажем на морде.

У Алексея всегда были проблемы с национальной идентификацией. На марийском он мог сказать совсем немного. Когда бабушка или кто-нибудь из гостей в доме начинали говорить на «черемисском», отец всегда ворчал: — «Ну вот! Начали на своём птичьём: курлы-курлы». Большой и шумный, он занимал в доме всё пространство, и все невольно подстраивались под него. Лёха не взял от отца ни золотистых кудрей, ни пудовых кулаков. Может только улыбку и глаза, всегда немного удивлённые. Отец был водителем, и в обычные дни не пил, разве только перед выходными. На дороге был как заговоренный: ни одной аварии, даже самой мелкой. Умер глупо. Лёха уже студентом в то время был. На охоте случайно подстрелили его, прямо у коистра. Шутка такая неудачная получилась. Но и после его смерти в доме продолжали говорить только на русском.

Сосед напротив сменился, теперь тут разместился пожилой гражданин, напомнивший Алексею Вуди Аллена. Не полная копия, конечно же, но есть что-то общее и в лице, и в фигуре. Алексей уже видел эту рубашку в клеточку и тёмно-вишнёвую трикотажную безрукавку перед посадкой на вокзале. «Вуди Аллен» пристроил у окошка пустую корзину и синий поношенный рюкзачок с надписью «Discovery» по кругу, сунул в боковой кармашек билет.

— Павел Афанасьевич, — представился он чуть скрипуче, и даже коснулся кончиками худых узловатых пальцев полей выдавшей виды светлой сетчатой шляпы, — в прошлом врач, а нынче — начинающий пенсионер. Пришлось перейти из соседнего вагона. Представляете, там один единственный бомж создал вокруг себя такое исключительное амбре, что постепенно освободил для себя все места.

Алексей не собирался ничего отвечать, тем более представляться, он лишь неопределённо кивнул головой из вежливости. После этого «Вуди Аллен» достал из рюкзака небольшую белую коробочку, выложил пару таблеток и, запрокинув голову, запил их водой из небольшой пластиковой бутылки.

— У меня к Вам, молодой человек, есть некоторый технический интерес, — обратился он к Алексею. — Нет ли у Вас с собой консервного ножа? Понимаете, с моей гастроэнтерологией необходимы своевременные приёмы пищи, а я не могу вскрыть вот эту банку.

Банка рыбных консерв поблёскивала в протянутой руке, невольно выводя Алексея из состояния оцепенения. Он вздохнул и полез в свой карман. «Швейцарский офицерский нож», купленный на Колхозном рынке, не соответствовал своим европейским братьям по качеству, но консервный нож в нём имелся, и даже пару раз в был в деле. Вскрытая банка ароматно запахла

сардинами в масле и расположилась на газетке прямо напротив Алексея. Желудок Лёхи вспомнил, что кроме утреннего кофе с привычными бутербродами он сегодня ничего не потребил, и жалобно забурчал.

— Простите, молодой человек. Не обидитесь, если я попрошу Вас разделить со мной эту скромную трапезу. Дело в том, что мне этого многовато, а банку назад уже не закроешь, — попутчик выложил на газету ломти хлеба, ложку и пару небольших томатов.

— Вы мне льстите, называя молодым человеком, — буркнул Алексей, — мне за сорок.

— Всё сравнительно, молодой человек. Я мог бы обращаться к Вам и по имени, если бы Вы представились. Но, видимо, у Вас есть достаточно веские основания не делать этого. Вот пожалуйста, держите ...

Большой ломоть с аккуратно уложенными кусочками сардины оказался на уровне груди Алексея, и он нерешительно его взял.

— Вам что-нибудь навеяло моё имя-отчество из школьной программы? — лукаво поблёскивая очками, спросил попутчик и откусил сразу четверть своего бутерброда.

Алексей несколько растерялся от такого неожиданного экзамена.

— Фет? — вопросительно произнёс он первое, пришедшее на ум.

— Вот и не угадали. Фет, если вы нашего поэта имели ввиду, то он — Афанасий Афанасьевич.

— Может из «Матери» Горького, там был Павел Власов.

— Ну Вы мне ещё Корчагина или Чичикова припомните, или Павлика Морозова, не на ночь будь упомянуто. Да нет же, я имел в виду Фамусова Павла Афанасьевича от господина Грибоедова. Помните такого?

Алексей не заметил, как втянулся в разговор:

— Да, но он же, я помню, отрицательный герой? Там только Чацкий — благородный человек.

Павел Афанасьевич удивлённо поднял брови, сложив лоб в мелкую складку:

— Я и не утверждал, что Павел Афанасьевич — положительный персонаж, а вот насчёт Чацкого... Вы вряд ли читали Грибоедова, мой дорогой, если так смело это утверждаете. Я полагаю, Вы его учили: «что хотел сказать автор», «о чём говорит произведение»...

Алексей неопределённо пожал плечами. Он силился воспроизвести какую-нибудь цитату, подтверждающую свои знания, но кроме «злые языки страшнее пистолета», и «где утомлённому есть сердцу уголок» ничего на ум не приходило. Собеседник отложил на газету бутерброд, чуть наклонился вперёд и доверительно продолжил:

— Этот наш Александр Андреич Чацкий... он же параноик. Да-да, и настоящий мизантроп, никого и никогда не желающий выслушивать. Разве таков благородный человек? Он не любит никого — за что же другим его любить? Кстати, даже Пушкин говорил про Чацкого, что тот глуп, и ценен только тем, что набрался хороших цитат у Грибоедова.

— Смешно... — пробормотал Лёха, принимая в руки ложку, — А что Фамусов?

— Он, разумеется, не образец для подражания, это человек своего времени и своих обстоятельств, он объясним и понятен. А его фразу «что за комиссия, Создатель, быть взрослой дочери отцом» вы ещё оцените, когда у Вас самого дочка будет на выданье. У Вас, кстати, есть дочка, молодой человек?

— Алексей. Меня зовут Алексей, — хмуро доложил Лёха. — Дочка... Дочка есть.

\*\*\*

Ленусю он всегда считал дочерью, а теперь получается, что он и не при чём тут. Да, тогда он принял её сразу и безоговорочно. Ленуся смотрела на него теми серьёзными детскими глазами, которые ни за что не обманешь.

— Дядя Лёша, ты будешь нашим папой?

— Конечно, Одуванчик, если ты, разумеется, не против. Мы будем жить на море и ловить крабов среди камней.

Ленуся махнула светлыми кудряшками, соглашаясь одновременно и с морем, и со своим новым прозвищем. Когда стала подростком, прозвище нравиться ей перестало. Она просила называть её «Элен», но было ей это имя, словно не по росту бальное платье, и дома она оставалась Ленусей.

Сейчас дочь совсем отдалилась. Понятно, конечно, мать ей всё же ближе, а ему остаётся только присылать ей подарки и получать короткое «спасибо, па...» по телефону. Да и с сыном, со Стаськой, всё труднее с каждым разом. Приезжал месяц назад в Москву, около школы встретил, а Стаська словно в скорлупку залез, когда его увидел. Видимо, Лариска наговаривает всякую дрянь. Может, и впрямь плохим отцом был? Лариска при разводе спросила: «Судиться будешь? У детей отнимать?» — «Нет, не собираюсь». Теперь вот без гроша и без квартиры, а у них — полная семья, и жильё, теперь уже ему не принадлежащее.

Вызывали в военкомат, старшего лейтенанта присваивали. Семейное положение нужно было написать. А там варианты: "не женат", "женат" и "холост". Написал "холост". Такое противное слово, оказывается, никчемное. Словно бесполезный патрон. Ещё дикий визг поросёнка Борьки вспомнился, которому ему тестикулы сапожным ножом сосед вырезал, выхолащивая.

Работы у Лёхи в Дивноморске больше не было, семьи не стало, квартиры тоже. Искупался он последний раз в бодрящей октябрьской солёной водице и — в Краснодар, а там на поезд.

На казанском вокзале мы с ним встретились и хлопнули друг друга по плечу.

— Здоров! А ты сесть начал.

— Здоров! На себя посмотри.

— Недельку поживу?

— Без проблем.

— Как в Казани с работой?

— Всяко. Ты про геодезию?

— Ну и это тоже...

— Геодезистов полно. Кафедра выплёвывает по тридцать человек в год, ещё и строительный институт тоже. Кто хочет заработать — на север едут.

— Север так север, — вздохнул Лёха. — Если жену с квартирой здесь не найду — поеду.

— Не боишься снова всё сначала начинать? Десять лет — или больше уже? — прибор в руки не брал. Сейчас таких уже почти и нет, какими раньше пользовались.

— Так и так всё заново начинать. Законы геометрии вроде остались те же, — буркнул он угрюмо, — справлюсь.

\*\*\*

В кочевом образе жизни есть одна прелесть: редко остаёшься один на один с тревожащими мыслями и серой тоской. Две недели он пожил у меня — перебрался к дальнему родственнику в Соцгороде. Потом три недели шашки реечником по трассе нефтепровода с общим знакомым Петькой Шубиным. Работа тяжёлая, но заплатили быстро и вполне прилично. В Средней Азии на эти деньги год можно жить, только он уже не там, а в финансово-



благополучной, а потому и дорогой Казани. Брался Лёха за всё подряд, и работа, казалось, сама к нему идёт. Снял по какому-то древнему знакомству комнату в нашем бывшем общежитии. Для этого его даже электриком на полставки устроили, и получилось — как сотруднику. Зарплату эту он, разумеется, отдавал благодетелю, но и делать ему за неё ничего не приходилось.

В комнате его стояла обычная панцирная кровать и шкаф семидесятых годов. Около окна — застеленный клеёнкой стол, в правом углу — некогда полированная, а теперь облупленная и трижды прожженная тумбочка. Такие же — выдавшие виды — книжные полки украшали стену. Правую половину приставленного к подоконнику стола оккупировал старенький компьютер, издающий утробный шум вентилятора при включении, левая половина служила Алексею трапезной.

С дамами, в особенности с обеспеченными квартирами дамами, Лёхе не везло. А увидев его пристанище, и прочие тоже быстро теряли интерес. Я несколько раз заходил к нему, и пару раз обнаруживал следы недавнего женского присутствия, но Лёха только безнадежно махал рукой: это, мол, всё не всерьёз.

— Я тут посчитал... — заявил он мне однажды, — что на самую захудалую квартирёнку мне тринадцать лет копить надо в таком темпе. Это если я не сдохну. Мне же ещё детям надо что-то отсылать, в Москве всё ещё дороже. Короче, надо что-то придумывать другое.

У меня с этим «придумывать другое» всегда плохо. Когда жена произносит эти магические слова, я тут же впадаю в депрессию. Завидую тем, кто может вот так легко и просто сказать «надо что-то придумать», а потом куда-то идёт и приносит домой лукошко денег. Судя по Лёхиному взгляду, он уже держит в руках этот мысленный миллион, осталось только пойти и забрать.

— Я тут Маратика встретил, — начал он, — помнишь Маратика? Ну того, который на «оптике» учился? Он со мной вместе альпинизмом занимался.

По Лёхиным словам, крутой это Маратик сейчас стал, вальяжный как американский сенатор, «Лексус» серебристый водит. Чем занимается — прямо не говорит, в разговоре промелькнуло что-то вскользь про обналичку, напрямую с московским банком завязан, огромными суммами ворочает. Лёха у него про ипотечный кредит спросил, можно ли в этом банке взять, а тот скривился. Говорит, что кредиты берут только дураки и те, кто не собираются эти деньги возвращать. У Маратика на словах получалось, что деньги всюду, и надо только протянуть руки и не бояться эти деньги брать. Лёхе он предложил сделать элементарный бизнес: купить пару простейших игровых автоматов и поставить где-нибудь около рынка или на остановке. На квартиру за год-два собрать можно. Причём Маратик готов и с оборудованием помочь, и с ментами договориться, чтобы сильно не кусали. Связи у него всюду. А братва сейчас особо не душит — кончились кровавые девяностые. Конечно, ему за это проценты надо будет отдавать, но вполне божеские.

Визитку он свою дал Лёхе: Генеральный директор консалтинговой компании. Не простая визиточка, а из студии модного московского дизайнера.

Карточку Лёха в карман сунул, но особо всерьёз разговор этот не воспринял. Потом уже, дожидаясь автобуса, стал обращать внимание, что автомат игровой, притулившийся на тротуаре напротив выхода из магазина, без дела не стоит, и деньги в него граждане так и сыплют. Причём автомат в ответ щедрой взаимностью не отличается. Лёха даже забыл, куда он едет, а целый час смотрел зачарованно на падающие одну за другой в щель монеты. Даже бросил несколько пятёрок сам, не получив, разумеется, никакой ответной любви.

— А что сам Марат этим не занимается, если это так выгодно? — интересуюсь.

— Он говорит, это надо постоянно рядом быть и контролировать. Самому уже не с руки, он более серьёзными вещами крутит. Родственники при делах, а ставить кого-нибудь чужого бесполезно. Народ быстро соображает, как можно хозяина с носом оставить, а прибыль в карман положить. К тому же для него эти деньги — такая мелочь, что он даже не нагнётся за ними. Он себе вертолётную площадку около дома проектирует, представляешь?

Загорелся Лёха этим делом, и деньги нашлись. Сестра Галка с мужем собирались новую машину брать, но решили годок ещё на старой поездить, мать тоже что-то наскребла, и Лёха все свои сбережения в эту кучку добавил. Посчитал — вроде хватает.

Приехал он из очередной командировки и — бегом к Марату. Тот к тому времени уже и забыл об их разговоре — «извини, браток, умотался, столько проектов», но от своих слов не отказался, и «через неделю, максимум две, автоматы будут».

Было это под Новый год, и Лёха побаивался, что оборудование доставят в праздники, и у него могут возникнуть трудности с транспортом и со складом, но Новый год отшумел, а за ним и Рождество, и даже Дополнительный Русский Новый год. После праздника Лёхе пришлось отказаться от выгодной шабашки, работа была на выезде, и он не смог бы принять груз. Подождав ещё неделю, он позвонил Маратику, и тот объяснил, что на праздники поставок обычно не делают, а оборудование надо ещё растаможить и перечиповать... Иными словами, надо ещё немного подождать. Лёха спросил, есть ли возможность где-то хранить автоматы до его приезда, в случае, если его не будет. Маратик отвечал: «Нет проблем, звони, как приедешь», и Алексей успокоенный уехал на очередной нефтепровод.

Потом Маратик стал сбрасывать его вызовы, или просто не брал трубку. Лёха начал звонить с других телефонов. Тогда тот вежливо отвечал, что сейчас говорить не может, что сам обязательно сообщит, когда будет какая-нибудь информация. Так прошёл месяц, за ним ещё один и ещё. Наступила весна, а вместе с ней докатилось до Казани решение о запрете игровых автоматов. Лёха, с трудом очередной раз дозвонившись, попросил отменить свой заказ, потому что теперь ни к чему уже это бесполезное железо. Маратик был раздражен, сказал, что всё уже в Москве и осталось только довести сюда, но он попробует что-нибудь придумать. В следующем разговоре он сообщил, что притормозил отправку, но им придётся пожертвовать четвёртой частью суммы, чтобы вернуть остальное. Он так и сказал: «нам», словно и сам несёт на этом потери. Лёхе ничего не оставалось, как согласиться. По крайней мере, он вернёт долг сестре и матери, а то уже и немного неудобно перед ними.

Время шло, но деньги не появлялись.

— Что ты хочешь, это же бизнес! — успокаивал Марат в трубку. — Бывают задержки! Случается, что просто кидают. Тут такого не будет, у нас каналы проверенные.

Подошла к концу весна, а деньги так и оставались «на подходе». Однажды Лёха, крайне смущаясь, попросил Марата вернуть из своих, раз для него это пустяк.

— Ну нет, — обиделся Маратик, — для меня это действительно не сумма, но тут дело принципа. Каждый человек определяет в бизнесе свои риски.

\*\*\*

Лёха безучастно смотрел в окно, на проплывающую мимо родную станцию. Если сейчас выбежать и рвануть вон туда, налево, то уже через десять минут будешь на своей улице. Уткнёшься в материны колени, расплачешься,

и всё пройдёт... Нет, не пройдёт, да и не сможет он выговорить этих слов, даже покаяться не сможет.

Электричка снова лихо зажужжала и плавно тронулась с места. Павел Афанасьевич движением фокусника вытащил из пакетика большое зелёное яблоко и протянул его Алексею. Лёха отрицательно мотнул головой. Павел Афанасьевич пожал плечами, отрезал половинку и жизнерадостно захрустел, причмокивая и вытирая руку от брызнувшего яблочного сока.

— М-м-м да, — произнёс он нерешительно, — не нужно быть психоаналитиком, чтобы заметить, что с Вами что-то не то, Алексей. На Вас нет лица. У Вас случилось несчастье? Могу я чем-нибудь помочь?

— «Только если Вы господин Бог...», — мысленно ответил Лёха, но вслух ответил сухо, что не планирует визитов ни к невропатологам, ни к психотерапевтам.

— Простите, что грубо вторгся. Только одна вещь... — сосед, кажется, ничуть не обиделся. Он грустно улыбнулся, на секунду умолк, и продолжил, словно сам с собой, глядя куда-то вниз на замусоренный пол:

— Любое несчастье первоначально занимает всё внутреннее пространство человека, каждый его миллиметр. Но когда Вы говорите о нём, оно видоизменяется, становится как огромный неподъёмный шар. Заметьте, этот шар уже имеет некую границу, за пределы которой можно иногда и выйти. Рассказывая, Вы становитесь чуть-чуть сбоку от своего несчастья, и его уже как-то можно пережить. Со временем шар станет легче, а невыносимое горе обратится в светлую грусть. Не спешите принимать решения сейчас, когда несчастье бесконечно. Нужно отсидеться, отплакаться, что ли. Потом уже, выйдя за границу этой сферы... Вы, кажется, меня совсем не слушаете? Извините...

\*\*\*

Был девятый час вечера, когда Лёха возвращался из офиса к себе в общежитие. Сегодня допоздна готовили к сдаче работу: проверяли, распечатывали, клеили ярлычки на пухлые тома, подписывали страницы. Завтра свободный день. Ближе к ночи надо снова позвонить Маратику. Тот говорил, что деньги, возможно, будут после одиннадцати вечера. Может, в этот раз не обманет? Шёл Лёха, глядя на спешащие машины, на многочисленные розовые, зелёные и синие рекламные листы на столбах и обветшалых стенах, на пыльную листву деревьев, которым явно не повезло с местом произрастания, слишком уж тут много машин. Девятый час, а ещё совсем светло. Середина июня — самое любимое время. К тому же скоро светит командировка в Подмоскovie, удастся снова встретиться с сыном и дочкой. Он попробует уговорить Ларису забрать Стасика (а может и Ленусю тоже, если получится) в Кожласолу. Там наверняка уже первые ягоды пошли, и на рыбалку пацана нужно будет сводить.

Тротуар был вдоль и поперёк перерыт коммунальщиками, пришлось обходить через заставленную иномарками площадку перед входом в бывший ДК Строителей. Если вы думаете, что владельцы этих авто занимаются здесь по старинке бальными танцами или вышиванием крестиком, то ошибаетесь. В бывшем ДК теперь есть и магазины, и склады, и офисы, но самое главное заведение тут — казино. Странно конечно же смотрится горящая неоновыми огнями английская надпись среди окружающих убогих хрущёвок, но у нас и не такое бывает, Задорнова послушайте.

Алексей обошёл вольно припарковавшийся «BMW» и около стеклянных входных дверей чуть не упал, наступив на собственный развязавшийся шнурок. Два крепкоголовых, беконоподобных джентльмена в светлых футболках поло одновременно взглянули на него профессионально набычившись, но

тут же потеряли интерес. Дверь хлопнула и на улицу сильно пошатываясь вышла фигура в белом костюме, показавшаяся Лёхе знакомой.

— Марат Камилевич, Вам такси вызывать? — услужливо спросил один из «беконов».

Маратик, а это был несомненно он, пьяно засмеялся и заявил:

— Обижаешь, Колян, ё! У меня автопилот в башке, мне главное мимо своей тачки не промахнуться.

— Приезжайте ещё, Марат Камилевич! — бодро отсалютовал второй «беконов».

Маратик изобразил какой-то неопределённый жест растопыренной пятернёй и стал обшаривать взглядом площадку в поисках своего «Лексуса». Тут-то его взгляд и упёрся в поднявшегося от своих шнурков Лёху.

— А-а-а, Лёха... Чё надо? — вопрос прозвучал резко и зло.

Лёха был несколько растерян: неожиданное появление, странная грубость. Он сглотнул слюну и неуверенно спросил:

— Я н-насчёт денег, Марат. Ты обещал... сегодня.

— Денег нет, — отрывисто отрезал Маратик, он отодвинул Алексея и прошёл к дверям своего автомобиля. — Нет и не будет.

— В каком смысле "не будет"? — не понял Лёха.

— "Не будет" — это "не будет", — Марат достал из стильного кожаного портфеля брелок и, нажав на кнопку, пикнул центральным замком.

— Я понял, что не будет. Когда мне позвонить? Завтра?

— Я же ясно сказал — «не будет», — пьяно захихикал вдруг Маратик, шаря по карманам в поисках сигареты — Завтра не будет, через неделю не будет, никогда не будет.

Он бросил свой портфель на заднее сиденье. Потом неторопливо и значительно закурил, вальяжно махнул расслабленной кистью руки и синхронно мотнул головой. Машина снова встала на сигнализацию, мигнув габаритными огнями. До Лёхи постепенно стал доходить смысл сказанного. Кровь отлила от его лица, он совершенно оторопел и, цепляясь за здравый смысл спросил как можно более твёрдо:

— Маратик, где мои деньги?

Похоже, эта фраза крайне удивила или насмешила собеседника. Кажется он стал раскачиваться ещё сильнее, сделал пьяно-глумливое выражение лица и указал на вывеску «казино»:

— Может здесь. Вон, спроси у Коляна. Он тебе насыплет... полную задницу. А может ещё где-нибудь: в Москве, в Монте-Карло, в Карсон-Сити... Я, млин, не запоминал.

— Ты что, все мои деньги проиграл?

— Ну-у-у, Лёха, ты лучше считай, что ты их «инвестировал» не очень удачно, — причмокнув губами, проговорил Маратик. Его похоже забавлял этот спектакль.

— Всё нормально! — крикнул он сделавшим в их сторону стойку вышибалам, сложив пальцы в жесте католического благословления.

— Марат, — Лёха дрожащими руками взял его за лацканы белого пиджака. — Ты мне вернёшь эти деньги в течение недели или я просто подаю на тебя в суд.

— Да пошёл ты, гнида, — лицо Маратика приобрело яростное и брезгливое выражение. — Ты же полный урод, ты чмо, ты даже расписку с меня взять постеснялся. Так что забудь и живи. И не суй ручонки, а то это я на тебя в суд подавать буду. Вали отсюда, дерьмо! Кто ты такой тут, вообще?

Он затащился сигаретой и выпустил облако в лицо Алексею. Толкнул его тогда Лёха, вроде и не сильно толкнул, но видно хорошо набрался Маратик,

на ногах не устоял, головой об собственное авто шмякнулся — об зеркало. Завыла сигнализация, огни замигали. Алексей обернуться не успел, как «беконы» уже рядом оказались. Один Маратику помогает подняться, а другой к Лёхе, и в грудь бьёт. Свалился Лёха на землю, а тот уже ногой его цепляет. Третьего удара ждать совсем смысла не было. Перевернулся — и бежать. Не зря когда-то Алексея Дмитриева за факультет в эстафете на самом изматывающем этапе ставили. Короче, отстал «бекон» метров через тридцать уже, а Лёха ещё сотню бежал не снижая темпа. Только потом боль почувствовал от ударов.

Добрался до своей комнаты, рубаху снял — гематома на груди, и болит всё: то ли ребро сломано, то ли просто ушиб, да и плечо тоже побаливает.

Ночь прошла в полусне. Кое-как нашёл положение в котором не больно лежать, да вот мысли снова и снова лезут в голову. Что за невезение такое его преследует? Какого дьявола он вообще связался с этим прыщом? Как теперь всё сестре рассказать? Он конечно постепенно отдаст ей эти деньги, только когда? Галка добрая, она даже словом не попрекнёт, но Рустам... Алексей представил, как тот презрительно цедит сквозь зубы что-нибудь типа «дурная кровь», как он говорил про всех непутёвых неудачников, и с осуждением смотрит на жену.

Ближе к полуночи загрохотала гроза. Казалось, что над самым общежитием раскаляется небо, посылая вниз могучие огненные всполохи. Пошёл шумный, похожий на аплодисменты в театре, ливень, забарабанило по подоконнику, пришлось встать и закрыть форточку.

Утро разбудило Алексея не солнцем, потому как светило было надёжно укрыто плотными облаками, а громким брэнчанием по кафелю металлического ведра за стеной, где находилась кухня первого этажа. Он старательно спрятал голову под одеяло, надеясь урвать ещё часок сна, но через пару минут к бряканью ведра и стуку швабры добавились ещё и истеричные крики. Это техничка с древне-римским именем Клавдия стала делиться с вахтёршей тётей Машей последними новостями своего ничтожного существования. Ерунда, что тётя Маша находилась в другом конце коридора. Голос уборщицы, громкий и отвратительный в своей пронзительности, доходил не только до вахты, но и пожалуй, до любой точки пятиэтажной общаги, даря заснувшим далеко за полночь — летняя сессия — студентам радость утреннего пробуждения. Если тётя Маша что-то недопонимала со своей склонностью к тугоухости, Клавдия высовывала голову в коридор и повторяла всё то же самое ещё раз, сдабривая текст послания многочисленными ругательными вставками. Через пять минут Лёха знал и о прокисшем молоке, и о сволочи Кольке, Клавкином сожителе и проклятии, отмотавшем срок и теперь бухающем с утра до ночи, и конечно о соседке, которая «стоит на рынке» и поэтому зазналась и перестала здороваться.

Заснуть после всего этого было крайне затруднительно, и Лёха, выполнив в кровати несколько ленивых потягиваний, предназначенных для разгонки крови по телу, встал на прохладный крашеный пол и взял в руки телефон. Часы на нём показывали начало восьмого. Вчерашнее событие отозвалось болью в груди, но кажется всё цело.

Сначала думал чуть позже, когда тот проснётся, позвонить Марату, чтобы получить от него исчерпывающее объяснение. Но потом понял, что делать этого не станет. Марат, скорее всего, не первый месяц водит его за нос, если он даже чего-нибудь снова пообещает — это опять будет обман и пустословие. Как это не прискорбно, но с потерей этих денег тоже придётся смириться. Стыдно перед Галкой, и перед мамой тоже стыдно. Что же не везёт-то так в последнее время?

Сварил кофе, слопал объёмный бутерброд с сыром и маслом, набрал пару сообщений в «Одноклассниках». Сегодня среда, но так получилось, что у него впереди пара дней отдыха. Самое время навестить матушку. Звонить он не стал. Он любит приезжать без предупреждения, стучаться в дверь, словно чужой, чтобы мама выходила к порогу, радостно удивлялась и всплёскивала руками: «Ах ты, батюшки, и не сообщил, у меня же совсем ничего не готово...». И тут же появлялись на столе свежие щи и яичница на непременно сливочном масле, любимые его плюшки с вареньем. Потом он пойдёт в лес. Не может быть, чтобы после такого дождя не проклюнулись молодые подберёзовики. Будь это суббота, электричка была бы как банка зелёного горошка набита грибными охотниками в защитного цвета одеждах, с пустыми дурлами вёдер и корзин наперевес.

Лучше, сначала он пройдёт по лесу, а потом с полным пакетом грибов появится дома. Оделся по лесному: крепкие кроссовки, энцефалитка поверх свежей футболки, панама. По карманам распихал кошелёк, телефон, пакет для грибов, «швейцарский офицерский» складной нож. Потом туда же добавил зажигалку — лес всё-таки, мало ли что...

Он уже брал с гвоздя ключ, когда в дверь уверенно постучали. Алексей крикнул «войдите», но стучавший уже и сам вошёл, не дожидаясь приглашения. Это был среднего роста милиционер лет тридцати пяти при капитанских погонах. Пухлая, потёртая на сгибах, чёрная папка в руках. Короткие тёмные вьющиеся волосы с тонкими ниточками ранней седины. Плотное, как увесистый кулак, лицо. Цепкий взгляд карих глаз скользил по Алексею и по его комнате, долго ни на чём не задерживаясь.

— Дмитриев Алексей Алексеевич... — проговорил вошедший, больше утверждая, чем задавая вопрос. Не снимая обуви он прошёл к столу, отодвинул одним движением Лёхину кружку и хлебные крошки около неё. Водрузил на их место чёрную папку, а сверху — свою фуражку.

— Да, — подтвердил Лёха. Он не знал причины появления в его доме милиционера, но ничего хорошего это не предвещало. Скорее всего, это дело рук Маратика.

— Капитан ...мнлин, — неразборчиво представился вошедший. Он уже уверенно скрипнул продавленным стулом и жестом потребовал сесть напротив.

— Вам знаком такой человек Каримов Марат Камилевич? — его глаза с ироничным любопытством и даже с некоторым сарказмом изучали Лёхину реакцию.

— Да, — сглотнув, кивнул Лёха. Конечно, всё как он и предполагал.

— Когда и где вы его видели в последний раз?

Лёха коротко рассказал о вчерашней встрече. Капитан стал задавать дополнительные вопросы о стычке между Лёхой и Маратиком, о том каким образом упал «гражданин Каримов».

— Что случилось то? — не выдержал Лёха, ему всё меньше нравился этот разговор.

Капитан ещё раз пристально взглянул на него и ровным голосом, словно тщательно пережёвывая пищу стал докладывать о том, что вчера в 20–55 по московскому времени гражданин Каримов был доставлен в больницу скорой помощи в бессознательном состоянии, где и умер в 21-15. Врачи констатировали смерть в результате черепно-мозговой травмы. Вызвавшая скорую охрана «Казино-Шанс» сообщила, что примерно в 20-25 гражданин Каримов имел конфликт с неким гражданином, которого он называл Лёхой. Результатом этой потасовки стало падение гражданина Каримова, закончившееся

травмой головы, которая и привела к летальному исходу. Нападавший скрылся с места преступления.

Лёха пытался проснуться. Он никак не мог понять, что именно сейчас происходит. Слова капитана капали в его сознание, словно тяжёлые ртутные шарики падают в пустое ведро, отдаваясь дрожанием и холодом в голове. Его «Я» сжалось до размера булавочной головки, этому «я» было слишком велико пустое огромное тело, а влетающие в уши фразы перекрывали воздух для дыхания. Он бы и хотел их не слышать, но они неумолимо входили в него: «...возбуждено уголовное дело по статье убийство по неосторожности»... «после допроса гражданской жены Зотеевой Аллы...»... «...Алексей Дмитриев по кличке «Лёха» предъявлял претензии по деньгам, неоднократно угрожал применением насилия...»...«...переквалифицировано на статью...»... «...с отягчающими..»

Лёха никак не мог понять, что это за чушь, с какой дури эта безмозглая пигалица Алла, состоящая из длинных ног, яркого маникюра и большого количества силикона решила, что он им чем-то угрожал. Может она путает его с кем-нибудь?

— Я его только толкнул... Не сильно. Он был живой, только пьяный. Я не мог... Я не хотел... О, боже! Это какой-то бред!

Милиционер смотрел на его истерику молчаливо и холодно, его брезгливо саркастически приподнятый уголок губы делал Лёхины попытки что-либо объяснить ещё более ничтожными.

— Вот бумага, пишите показания. В Ваших интересах дать самую полную картину происшедшего: обстоятельства, причины случившегося и так далее, чтобы суд мог это квалифицировать, как сотрудничество со следствием.

— Суд... — тихим эхом прошелестел Лёха и замолк. Сероватые листки тонкой бумаги формата А4 лежали перед ним на столе, а он держал ручку и не мог написать не слова. Прошло несколько минут, а на листке кроме "*начальнику ОВД Советского района*" так ничего и не появилось. В этом полубомбочном состоянии он бы мог сидеть, кажется целую вечность. Через серую пелену проступил резкий контур лица капитана. Но теперь это было не строгое лицо блюстителя закона, а лицо маргинального бизнесмена, проводящего выгодную операцию.

— Слушай, преступничек, — негромко и хрипло прозвучал голос около самого уха. — Мне абсолютно по барабану, залетишь ты на шесть или на все десять. Сам видишь, тут всё против тебя. Но пособить я тебе могу. Гляжу, ты мужик нормальный, с понятием. Короче, все эти показания — они могут исчезнуть из дела. Понял? Три показания исчезнут, а вместо них три других появятся. Там какие-нибудь другие прохожие скажут, что гражданин Каримов шёл в сильном подпитии, оступился и головой о бордюр, так сказать, приложился. Могло же такое быть, так ведь? И дело закрыто в связи с отсутствием состава преступления.

Лёха мотнул головой и с надеждой посмотрел на милиционера.

— Сам понимаешь, такие вещи бесплатно не делаются. Червонец это будет стоить...

— Десять тысяч рублей? — Лёха не мог поверить своему неожиданному возвращению к жизни.

— Ага тысяч, но только не наших рублей, а американских, — радостно ухмыльнулся капитан.

Лёха стал в голове истерично перебирать всех знакомых, у которых он может занять на время.

— Но это только сегодня, чувачок. Завтра дело будет у начальника, и тогда сумма взлетит в несколько раз. Понял? Короче, в четыре на остановке

около «Корстона» передашь деньги человеку, который скажет, что он от Рамзая. Сам я, как ты понимаешь, светиться не могу. У тебя на всё про всё целых... шесть часов. Если передумаешь — суши сухари, они тебе очень пригодятся. Утром, мы будем считать, тебя дома не было. И не пробуй удрать — разговор будет совсем другой.

Милиционер ушёл, серые листочки остались на столе.

Резкой болью отозвался в желудке застарелый гастрит. Алексей несколько раз вздохнул, пытаясь расслабиться, но ничего не получалось. Образ Маратика, то истекающего кровью, то безжизненно лежащего на холодном металлическом столе криминалиста-патологоанатома, всплывал в его пылающей голове. Он бы всё отдал сейчас, если бы это оказалось только шуткой. А что если...

Лёха схватил телефон и выбрал из списка «Марат К». Вызов. Длинные гудки. Ещё раз. Нет, снова те же гудки. Не берут.

Это он, Лёха, сотворил страшное злодеяние. Но он всего лишь... или всё-таки... Теперь ему уже представилось, что он и в самом деле совсем не так уж и легонько толкнул Марата. Ведь он, действительно, ненавидел его в тот момент, он желал всего самого отвратительного этому типу, он хотел бы и сотню раз ударить в эту противную самодовольную рожу. Неужели, все эти желания сконцентрировались и небольшим толчком произвели такую ужасную вещь?

Теперь он может купить свою свободу и всю жизнь жить с ужасом совершенного. Не знаю, почему ему в голову пришла эта мысль, но она сверкнула фотовспышкой в полной темноте: «Бежать».

Лихорадочно оглядываясь, он шёл к остановке, подгоняемый своим ужасом, словно промозглым ветром. Он ещё не осознал, куда он убегает и от чего. Автобус первого маршрута, ему казалось, ехал сегодня настолько медленно, что хотелось выскочить, чтобы подталкивать его своими руками. Около вокзала он понял, что паспорт остался в общежитии, в тумбочке, в синей пластиковой папке. Лёха потоптался на остановке, но не дождался обратного автобуса, а решительно направился к пригородным кассам.

\*\*\*

"Вуди Ален" сложил вещи обратно в рюкзачок и, пожелав всем в вагоне счастливого пути, направился к тамбуру. Лёха делал вид что дремлет и сквозь узкие щёлочки прикрытых глаз поглядывал в окно. Вагон остановился напротив названия посадочной платформы, около таблички стояли два милиционера, а с ними ещё один — в штатском. Они напряжённо вглядывались в окна электрички. Возможно, они искали не его, но сердце болезненно ёкнуло. Он лихорадочно встал и рванул вправо дверь тамбура. Убедившись, что милиционеры вошли в соседний вагон, решительно выпрыгнул и, не оглядываясь, зашагал к маленькой металлической лестнице на краю платформы.

Логически рассуждая, его не должны искать до вечера, но страх был сильнее логики. Электричка предупреждающе взвизгнула и, легко набирая скорость, помчалась дальше без него.

— Что же вы, Алексей, не предупредили, что Вам тоже выходить здесь, так ведь и проспять могли? — всплеснул руками Павел Афанасьевич.

— Ничего страшного, мне... не важно, — не глядя в лицо старичка пробормотал Лёха, — Я просто... побродить. Всё равно где. Грибы, наверное, везде есть...

— Тогда это просто замечательно. Вам необходимо пойти со мной. Я Вас проведу к озеру. Во-первых, там грибные места... Нет, это во-вторых, а во-первых — это просто чудесное место. Я бы сказал, что это место силы, хотя



один мой приятель, большой материалист, на дух не выносит такие определения, требуя привести формулу этой силы. Пойдёмте, пойдёмте. Остальное я Вам расскажу по дороге. На вечернюю электричку мы успеем.

Алексей поднял глаза. От этого бодрого пенсионера исходила чудесная волна доброжелательности и участия, от которой дрогнули напряжённые нервы и даже чуть расслабились, и чувство похожее на благодарность заставило Лёху кивнуть и молча следовать за своим неожиданным попутчиком.

Они вышли на песчаную дорогу. Павел Афанасьевич уверенно шагал вперёд, Лёха то отставал, то потом догонял и шёл рядом. Дорога долгая, а значит, есть время, чтобы присмотреться к нашему новому знакомому и даже что-нибудь о нём узнать.

Павел Афанасьевич был невысок, телосложение имел, скажем так, довольно шуплое. Это же про него можно было сказать и десять, и тридцать, и пятьдесят лет назад, но с возрастом он потерял ещё с десятков килограммов. Теперь он весил пятьдесят пять, и жена его, Полина Ивановна, всегда стеснявшаяся своей полноты, стала называть его «Освенцим». Впрочем, ни годы и ни худоба не мешали до сих пор Павлу Афанасьевичу зимой бегать на лыжах на «золотой значок ГТО для своей возрастной категории», как он любил сообщать друзьям и коллегам. А друзей у Павла Афанасьевича было огромное множество, и для всех находилось время у Полины Ивановны, чтобы испечь её знаменитые пироги. Кроме пирогов жены и неплохой домашней библиотеки был до недавнего времени ещё один повод для гордости у хозяина дома: его коллекция «Биттлз» на виниловых дисках, собранная ещё в семидесятые-восьмидесятые уже прошлого века и бережно охраняемая, и прослушиваемая нечасто, только «для обретения особого душевного подъёма». В прошлом году бывшие студенты мединститута подарили ему сразу «весь Биттлз», купив его в гипермаркете бытовой техники. Новые пластинки были идеального качества, но у Павла Афанасьевича вызвало это почему-то не радость, а грусть. Он поставил новые диски в уголок, а сам так и продолжал слушать потёртые, со щелчками и с подпрыгиванием на «Хей, Джуд».

— Вот так, Поля, — сказал он грустно жене, — пластинки мои уже никакой ценности сейчас не представляют. Идешь в магазин и вместе с булкой хлеба покупаешь себе «Сержанта Пеппера». И библиотека наша теперь — макулатура рядом с нынешним Интернетом и с электронными книгами. Только вот твои пироги вечной ценностью и останутся.

— Да ну, скажешь тоже, — стыдливо махала рукой Полина Ивановна, — зайдут в «Бэхэтле» и купят. Мы своё отжили.

А коллеги и бывшие студенты всё так же часто навевались в их двухкомнатную квартиру на четвёртом этаже, восторженно хвалили пироги, которые, по словам Полины Ивановны "сегодня что-то не удались", удивлялись фотографиям выросших внуков, а потом раскладывали бумаги, и начинались обычные медицинские споры, в которых Полина Ивановна ничего толком не понимала.

Павел Афанасьевич, несмотря на почтенный возраст, оказался довольно шустрым спутником. Может только пару раз на небольших подъёмах он останавливался, чтобы перевести дыхание, однажды присел на стволе упавшей сосны, радостно сообщив, что всегда тут отдыхает.

— Когда смотришь на лес с одного и того же места, особенно хорошо заметно, что он живой, что он всё время изменяется, — сообщил он, словно по секрету. — Вот эта ветка, вижу, совсем засохла, а там — новая поросль. Вон, на поляне — совсем синё от люпинов, а раньше их тут вообще не было. В прошлом году торчало всего несколько штук.

Лёха и сам не был новичком в лесу. Ещё бабушка учила его разбираться в деревьях и травах. Правда названия у неё были часто не те, что в книжках, но « что в рот можно положить, а что нельзя» научила крепко. А ещё и рыбалка с отцом, походы студенческие, сплавы весенние: по Илети, по Юшуту. На охоту Лёшку не брали, да он и не просился после того, как впервые в жизни выстрелил из дробовика по стае куропаток, и сразу несколько окровавленных тушек остались на снегу. С тех пор если и стрелял, то только по жестяным банкам.

«Лес, он добрый, но строгий, — поговаривала бабушка Катя, — кланяйся ему да не зазнавайся».

\*\*\*

— Я по этой дорожке уже лет сорок хожу, в мае на ней змей бывает много, — нескончаемо лился скрипучий говорок Павла Афанасьевича. — Гадючки, и в основном мелкие. Они сюда греться выползают. Песок на солнце тёплый. Идешь, думаешь: проволочка серенькая или веточка, а эта проволочка вдруг раз — и прочь заструилась. Под ноги постоянно приходится смотреть, чтобы не наступить.

Алексей оглянулся по сторонам: справа лес совершенно зарос ивняком, а слева болото, самая натуральная трясина. Павел Афанасьевич теперь ему напомнил Ивана Сусанина. Заведёт сейчас в трясину и скажет: «Извините, панове, заблудился я», а потом запоёт: "Чуют правду! Смерть близка..." и так далее по тексту про зарю, которая последний раз взойдёт. Лёха усмехнулся своим мыслям. В другой день он, может, и поёжился бы от таких мыслей, но сейчас жизнь его совсем не стоила того, чтобы за неё держаться. Он сунул руки в карманы, в правом пальцы привычно сжали пластмассовый обмылок. Телефон — теперь это совсем ненужная вещь, лучше его выключить или даже выкинуть. Кто-то рассказывал, что любой оператор может определить местоположение абонента по двум станциям. Лёха даже ярко представил себе кружащиеся в небе жёлто-синие вертолёты, высматривающие сквозь сосновые ветви его — беглого убийцу.

Дорога пошла вверх, и спутник его ещё раз остановился. Он аккуратно сложил свою безрукавку в рюкзачок и прищурился, глядя на всё шире растекающуюся голубую лужу в облачном небе.

— Тепло сегодня, — торжественно сообщил он, словно благую весть. — Я хоть и не потею никогда, как бедуин синайский, и то немного перегрелся. Ну ничего, тут осталось идти полчасика.

Алексей давно уже скинул энцефалитку, завязал её на поясе, и шёл в футболке, отмахиваясь веточкой от радостно жужжащих крылатых обжор. Основная дорога уходила вправо. Павел Афанасьевич сообщил, что там в нескольких километрах деревня, и даже сельский магазин имеется, по крайней мере, был когда-то. Сейчас, мол, многие деревни вымирают: мужики спиваются, молодёжь уезжает, старухам одним на себе всего не вытянуть. Но их путь не в деревню. Здесь недалеко от поворота уходит влево едва заметная заросшая просека. Там куда они сейчас идут, тоже когда-то было поселение, но очень давно: до войны или раньше. Сейчас даже печей не осталось. Кирпичи печные легко выбиваются, потому как не цементный раствор — глина. Пока ещё дорога какая-никакая существовала, всё и распотрошили. Дешевле, чем новый покупать, да и трудно было ещё лет десять назад со стройматериалом. Сейчас всё появилось.

Мелкая поросль на просеке росла густо и превратила её в непроходимые джунгли. Оказалось, что проще передвигаться по узкой тропинке, идущей метрах в двадцати правее. Алексей нагнулся за подберёзовиком, а рядом с

ним — ещё один. А ведь он сегодня собирался принести грибы матери. Принёс... Произошедшее снова накатило чёрной волной отчаянья и некоторое время он совершенно не слышал Павла Афанасьевича.

— Алексей, Вы отстаёте. Давайте уж доберёмся до конечной цели нашего путешествия. Тут совсем недалеко. Место там очень симпатичное, но самое ценное то, что дороги автомобильной сюда нет, а ногами топать человечество за последние годы совсем разучилось. Поэтому и родник тут чистейший, и озеро словно первозданное, и ещё есть одна замечательная вещь — Гора Желаний.

— Гора? — удивился Алексей. — Какая здесь может быть гора? Тут рельеф всюду плоский, как стол.

— Ну, не совсем уж «как стол», и не гора это, разумеется. Эльбрусу тут взяться неоткуда. Холм, больше похожий на курган. Мне про это место рассказал пожилой мариец, наверное, уже лет тридцать назад. Я его сына лечил после автокатастрофы. Травма позвоночника в области шеи. Четыре месяца за парня боролись: операция, тракции, гипсы, уколы. Встретил отца через год с небольшим после лечения. «Свадьба скоро», — говорит, — «приходите!» Я ему:

— «Счастличик Ваш сын, шансов совсем немного было», а он мне заявляет: «А я знал, что Вы его поднимете. Я Гору Желаний попросил» — «Ну вот, — смеюсь. — Значит я мог ничего и не делать?» — «Нет, нет. Как это? Но Гора тоже помогала. Она как инструмент. Без неё у Вас сил могло бы не хватить». А я много тогда в походах прошёл по Мари Элу, интересно стало.

— «Рассказывай, — говорю, — где твоя гора. Сам на неё взгляну. Тоже спасибо ей скажу». Старик схемы вообще не умеет рисовать, а объясняет ещё хуже. Я совсем в другом месте её ожидал увидеть. Потом и забыл про этот случай. А однажды...Ну вот мы и пришли.

Они сделали ещё пару десятков шагов и вышли на открытое место.

— Вот здесь и была деревня, — махнул рукой на заросли высокого кустарника Павел Афанасьевич. — А озеро... вон оно спряталось.

Алексей и сам уже разглядел воду сквозь расступившиеся деревья.

— Карстовый провал, — объяснил Павел Афанасьевич, — поэтому озеро довольно глубокое. Мы однажды не поленились: соорудили небольшой плот, стали леской глубину измерять. Уже в паре метров от берега три метра глубины. На середине так и не измерили. Десятиметровой лески не хватило, а более длинной в тот момент с собой не оказалось.

— А где же гора?

— Нужно ближе к озеру подойти. Тут деревья плотной стеной, закрывают её. Гора Желаний с той стороны озера, сразу за родником, если обходить слева. Там она почти подступает к воде. Мы с коллегой моим Эдуардом Стрельниковым, когда впервые здесь оказались, захотели, разумеется, обойти это озеро. И вот этот холм над всеми деревьями торчит, и макушка у него не заросшая. Решили, что оттуда хорошая фотография озера может получиться. А у Эдика — камера "Зенит" с отличным объективом и плёнка для слайдов немецкая. Кадры он делал такие, что хоть в журнал посылай. Забрались мы, отдышались, осмотрелись. Тут я обратил внимание, что на вершине один единственный мощный дуб на всю округу растёт, словно его перенесли откуда-то. Ты видел здесь рядом дубы?

Лёха неопределённо пожал плечами. По правде говоря, он и не разглядывал. Но вопрос, судя по всему, ответа и не требовал. Павел Афанасьевич, увлекаясь всё более, продолжал:

— Есть сейчас или нет — не знаю, но тогда "на дубе том" лосиные рога были прибиты, и рядом валун лежал: огромный, коричневый, мхом зарос-

ший. Валун — кто его унесёт?— и сейчас там, он в пять тонн, наверное. Я так думаю, что если не мальчишки с этими рогами баловались, то, значит, местные жители раньше какому-нибудь «вадыжу» или «керемету» молитвы слали. Залезали мы на этот валун фотографироваться, и озеро, и лес бескрайний сверху, вид там действительно роскошный. Жаль слайды так и не получились: плёнка в проявочном бачке склеилась, что-то неровно там Эдька вставил. Бывает иногда и на старуху проруха. Вот тут я и вспомнил про того мариЙца. Как звали его — из головы уже вылетело, а может и не спрашивал. Это ведь пациенты помнят врачей по имени-отчеству, а мы вас всех только по пятнам шоколада и коньяка на карточке. Чем больше пятен, тем лучше пациент. Вы, надеюсь, поняли, Алексей, что старый доктор шутит?

История, рассказанная "старым доктором", показалась Лёхе литературной глупостью, придуманной, чтобы позабавить собеседника. Павел Афанасьевич отправился бродить по озеру, а наш безутешный герой опустил на траву и лёг на живот, упершись лбом в сложенные кренделем руки. Зачем он здесь? Весь этот лес и Павел Афанасьевич, и озеро — это всё ненастоящее. Настоящий — только труп Маратика на столе из нержавеющей стали. Нужно бежать, растормошить его. Кричать: «Марат, подъём! Хватит шутить!»

Не сможет он, Лёха, жить дальше с таким грузом. Беги не беги, а ноги мертвеца быстрее. Единственный шанс — самому оказаться там и попросить прощения. Это надо сделать немедленно. Озеро... Глубокое, больше десяти метров. Это ужасно — задыхаться в его глубине, но это недолго. Детям он всё равно больше не нужен, у них есть новый отец, который дарит им дорогие игрушки и смартфоны. Про Ларису и говорить нечего. Галка будет плакать... Она поставит его фотокарточку в чёрной рамке на старомодный комод, доставшийся от прежних хозяев квартиры. Но она не пропадёт, у неё рядом есть сын, и Рустам найдёт подходящие слова, чтобы её успокоить. Как это там говорил сегодня этот неугомонный Павел Афанасьевич: «горе сменяется светлой грустью»? Мама... Мама... Мама, твоему сыну уже хорошо, не плачь по нему. Его простили, а он искупил своё преступление. Лёха вспомнил лицо матери во время похорон отца. Она тогда не просто постарела — она пропала, она так и не вернулась до конца. Эти тёмные круги под глазами. Врачи говорят, что это почки. Нет она просто очень часто смотрит в темноту, в которую ушёл отец. Умереть сейчас — погубить и её. Но легче ли ей будет видеть его через решётку? Наверное, легче... Ему труднее.

Кто-то коснулся плеча. Он повернулся и увидел Маратика. Тот стоял в белом костюме и чёрной рубашке и скривившись смотрел на него.

— «Я предупреждал: не суй ручонки», — проговорил Маратик, не открывая рта.

За плечо тронули ещё раз, и Лёха поднял голову.

— Я рад, что Вы поспали пару часиков, Алексей, — проскрипел голос Павла Афанасьевича. — Если человек способен уснуть, то и жить он тоже способен. У нас не так много времени. Давайте поедим — и пора в обратный путь, чтобы успеть к последней электричке.

Лёха очумело поднялся. Он совершенно не заметил, как уснул. Недалеко от него горел небольшой костёрчик, где стоял чугунок, и запах грибного супа щекотал ноздри.

— Откуда это? — кивнул Алексей на костёр, на воткнутый в бревно топорик, на алюминиевые миски на пеньке. — Вы сбегали в соседнюю деревню или на Горе Желаний есть магазин?

— Почти угадали, — радостно блеснул очками Павел Афанасьевич. — Я же говорил Вам, что люблю бывать здесь. Я ведь даже зимой сюда иногда выбираюсь. Всякое бывает, иногда и задержишься. Но моя Полина Ивановна

знает, что есть тут у меня комфортное жилище, и всё что нужно для жизни. Одной крупы — запасов на неделю. Лет пятнадцать назад мы тут и Новый год даже справляли.

Выяснилось, что соорудил Павел Афанасьевич вместе с друзьями тут когда-то землянку. Отличная получилась постройка, долговечная. Потолок из лиственницы, две широкие лавки, чтобы было, где спать, утварь самая необходимая. Топорик здесь оставили, чугунок нашли в заброшенной деревне, и лампа керосиновая там же отыскалась. За это время дважды пришлось перебирать бревенчатые стенки, печка-буржуйка тоже уже вторая, но землянка до сих пор вполне пригодна для жизни. Так получилось, что приятели Павла Афанасьевича по разным причинам со временем интерес к этим местам потеряли, а он так и приходит к озеру, словно к старому другу.

Найти это жилище оказалось не так-то и просто. Алексей дважды прошёл мимо ничем не примечательного маленького холмика, зажатого со всех сторон кустарником. Только от озера можно было рассмотреть небольшой входной лаз. Он заглянул внутрь и подсветив себе экраном мобильного: тёмные стены, подпорки, чуть провисший потолок, два широких топчана, обложенная камнем печка. Насчёт комфорта Павел Афанасьевич немного загнул.

\*\*\*

— Честно говоря, Алексей, я полагал, что лес сможет Вас расшевелить, — задумчиво произнёс Павел Афанасьевич, выскрёбывая остатки густого грибного супа или, скорее, пшённой каши с грибами. — Может, стоит взять, наконец, себя в руки? От Вас, я так понимаю, ушла любимая женщина? Угадал?

Алексей неопределённо пожал плечами, он растерялся от этого прямого вопроса. Отложив свою миску в сторону, ещё некоторое время подбирал слова, которые бы всё объясняли и не требовали дополнительных вопросов. В конце концов он смог выдавить из себя только хриплое: «Я человека убил...»

Звякнула миска Павла Афанасьевича. Лицо его покрылось пятнами, словно ему дали пощёчину. Кажется, впервые он замолчал сегодня так надолго.

— То есть... Вы вроде как в бегах сейчас? — спросил он, очень напряжённо посмотрев в бледное лицо Алексея, и получив в ответ короткий кивок, задумчиво проскрипел:

— Да... я... Я не мог предположить... Вы не очень похожи на человека, способного... на такое. Хотя... я не психолог, к сожалению, я всего лишь хирург... Но ... всё равно...

Павел Афанасьевич отставил в сторону ставшую неуместной миску. Он достал носовой платок с новогодним рисунком и стал неторопливо протирать стёкла своих «вуди алленовских» роговых очков.

— Я надеюсь, Вы, молодой человек, не серийный убийца, а случайный, и не вылавливаете по лесам старичков в качестве очередной жертвы?

— Вроде нет, — тоскливо произнёс Алексей.

— Уже легче, — грустно пошутил Павел Афанасьевич. — Что ж, раз уж Вы начали с главного, остальное будет рассказывать проще. Пожалуйста, продолжайте.

Лёха и не собирался что-то рассказывать, но отрывистые слова постепенно сами стали собираться в смысловые группы и предложения, обрастая деталями и переживаниями. Рассказ Лёхин получился ещё более извилистым, чем наш. В отличие от читателей, было одно преимущество у Павла Афанасьевича: он мог сколько угодно переспрашивать и уточнять детали. И он это делал. Он задавал очередной вопрос, когда рассказ замирал, порой удивлялся, порой кивал головой.

В результате Алексею пришлось рассказать всё: про Ларису и про детей, про Университет и про студенчество, про Узбекистан и про Юнуса, и про Марата с его игровыми аппаратами, разумеется. Немного подумав, нехотя сообщил про визит милиционера. У старого профессора брови полезли наверх:

— То есть, именно сейчас Вы должны были передавать ему десять тысяч долларов, а Вы здесь прохлаждаетесь? Забавно, забавно...

Лёха попытался объяснить почему он не стал этого делать, но понял, что и сам не знает. Нашёл бы он эти деньги. Брат двоюродный в Казани живёт, друзья понемногу бы скинулись, если не докладывать на что, если просто сказать, что очень важно.

— Что Вы, что Вы... не оправдывайтесь. Это характеризует Вас скорее положительно, если это подходящие слова для такой ситуации.

После этого рассказа Алексей почувствовал совершенную усталость. Но как ни странно, ещё и маленькое временное облегчение, словно его пытались топить, а теперь вот отпустили, чтобы он несколько раз вздохнул перед очередными пытками.

— Вы думали о самоубийстве? — вопрос прозвучал резко и неожиданно, Алексей не был готов к нему.

— Н-нет... н-не-знаю... вообще-то..., ну, то есть, я думал сегодня... но сейчас... сейчас ... нет. Сейчас уже нет, — закончил он вдруг неожиданно твёрдо для себя.

— Уф-ф-ал-ла, — выдохнул Павел Афанасьевич, — Ладно хотя бы так. Кажется, не зря я сегодня поехал в лес. А теперь скажите мне, Лёша, что же Вы дальше-то предполагаете делать? Остаться жить в лесу и стать Тарзаном? Я Вам сразу скажу: ничего не получится. Сейчас лето, и то пищу достаточно трудно добывать. Ловить и кушать проходящих мимо старичков? Ходить в деревню — деньги нужны, к тому же там тоже участковый бывает, заинтересуется рано или поздно. А зимой в наших краях в лесу можно выжить от силы день или два. Если есть запасы — недели две-три, и даже имея такую вот землянку. И, потом, человек — существо социальное. «Оставьте меня в покое», — кричим мы окружающим, — «но, пожалуйста, не бросайте меня одного». Может, Вы собираетесь пешком пройти до финской или ещё какой-нибудь турецкой границы? Тоже, видимо, абсурдно. Будете биты, как Остап Бендер.

— Я вернусь ... сдамся, может, через неделю или немного больше. Но я хочу ещё немного побыть свободным... без страха, что за мной сейчас придут. Я, наверное, сделал себе хуже тем, что сбежал...

— Ну, в этом я не уверен, вовсе не уверен. Я не юрист, но... Вам ведь не было вручено постановления об аресте, не так ли? Вот... И подписку о невыезде с Вас тоже не брали. Этот Ваш «товарищ капитан» сам будет старательно отрицать, что видел Вас. Вообще у меня какие-то... сомнения крутятся относительно всего этого. Говорите и показания не взял? Странно... Что-то тут не стыкуется. Может этот капитан какую-то свою игру ведёт... Я вот про твоего этого приятеля послушал и понял: у него ведь куча серьёзных врагов могла быть. Что если они воспользовались этим случаем и уколошили бедолагу. Ведь ты говоришь, что он поднимался после того, как упал?

— Не знаю, — неуверенно протянул Лёха, — Вроде ему помогли встать... Я могу насочинять, у меня фантазия такая. В детстве ругали: придумаю, а потом сам верю.

— Иногда это бывает полезно, — улыбнулся Павел Афанасьевич и, вспомнив о маленькой белой коробочке с таблетками, снова полез в синий рюкзачок. — Простите, приходится поедать эту дрянь пачками. Что ж, теперь, когда мы прояснили ситуацию, давайте заварим чай. Вот тут я трав собирал.

\*\*\*

После чая Павел Афанасьевич заявил, что раз уж Алексей решил занять вакантное место лешего здешних лесов, то и ему самому тоже нет смысла торопиться на электричку. Тем более, что у него давно было желание побывать здесь с ночёвкой. Полина Ивановна, конечно, опять будет завтра бурчать, что не спала всю ночь, но не впервой же, привыкла. А раз так, не может ли Алексей соорудить новую дверцу для землянки?

Дело оказалось непростое, потому что новых гвоздей было совсем мало, а старые, хорошо заржавевшие, приходилось добывать из прежней дверцы и выпрямлять их на камне. Павел Афанасьевич настаивал, что дверка должна быть достаточно лёгкой, но плотной и прочной. Мало ли какой четвероногий захочет воспользоваться этим убежищем.

— А что, здесь и волки могут быть? — осторожно поинтересовался Алексей.

— Лес... — неопределённо пожал плечами старик. Сам он старательно вычищал и проветривал свою нору, а потом затопил буржуйку, чтобы просушить этакое вот убежище. Горьковатый дым поднимался выходил из небольшой жестяной трубы, изогнутой коленцем, поднимался к небу, на время застревая в верхушках сосен. Это вызывало серьёзные нарекания у местной вороны, гортанно взывающей к разуму устроивших такое безобразие.

На просушку были выброшены два туристских коврика-пенки, старый спальник и слегка заплесневевшая солдатская шинель, о происхождении которой не знал и сам Павел Афанасьевич. Сейчас он лихо выбивал из неё пыль палкой, выструганной в форме биты для лапты.

— А скажите мне, Лёша, как же Вы собирались ночевать в лесу? Конечно сегодня довольно тепло, но и сейчас я не советовал бы спать на голой земле.

— У меня было такое... я ночевал... Лапник наломал. Неудобно немного, но можно. Ещё один раз — тогда на дереве спал. Заблудился в лесу... со своей группой разминулся. А вечером вой вдалеке услышал. Я на сосну толстую залез, сучок нашёл более или менее удобный, ремнём пристегнулся, чтобы не слететь во сне.

— Ну и как волки? Ходили под ёлкой хороводом и пели песни?

— Под сосной... Да нет, вроде не было.

— Да Вы, я погляжу, турист со стажем. И дверца у Вас тоже отличная получается. Жаль только, жизнь в лесу сильно от туризма отличается.

— Я знаю, — тихо сказал Алексей, — я, честное слово... мне трудно объяснить, почему я здесь...

— Давайте, я помогу Вам закрепить. Нам с Вами надо ещё добыть пропитание на вечер, а до заката я Вам хотел ещё показать вид на наше озеро с Горы Желаний.

\*\*\*

Они поднялись на холм, когда солнце золотило верхушки деревьев. Озеро отсюда казалось тёмным и глубоким. Пристальным зеленоватым оком смотрело оно вверх, обрамлённое ресницами-соснами, словно это сам лес оценивает тебя, пытается понять, кто ты здесь.

А на дубе действительно висели лосиные рога, а рядом громоздился замшелый валун, невесть как попавший на самую вершину. Такие "камушки" Алексей видел во множестве около Выборга, куда ездил с Петькой Шубиным делать топографию в садовых обществах, которые они называли между собой "пионерлагерями". Но там всё понятно: грунты скальные, языки ледникового периода всё перевероршили. Валуны эти встречаются в самых причудливых местах. Но здесь откуда?

Павел Афанасьевич прислонился спиной к этому камню, сложил на груди руки и, чуть прищурившись любовался озером.

— Каждый раз чувствую радость, когда я здесь, — проговорил он удовлетворённо. — Я так понимаю, что везде, где есть горы, всегда найдётся хоть одна, которую объявляют Горой Желаний. В Башкирии был — там гора Иремель желания выполняет. В Интернете по такому запросу целый список выскакивает: Монсеррат в Испании, Хелгафель в Исландии... В России их вообще пруд пруди: на Алтае есть, на Кавказе, на Южном Урале, даже на Самарской луке.

— И все они исполняют?

— Ну, этого я не знаю. Думаю, что туристов они, по крайней мере, привлекают. Кстати, человек, который рассказал мне про это место, научил и как правильно загадать желание. Нужно прийти перед восходом, встать на камень лицом к солнцу и, пока оно не оторвётся от горизонта, стоять с закрытыми глазами и думать только об этом, представлять, что это уже случилось. — Павел Афанасьевич зажмурил глаза, словно что-то уже загадал.

— И сколько желаний Вам эта гора уже исполнила? — в Лёхином голосе прозвучал усталый сарказм. Ему всё это очень напомнило рекламу модных медицинских препаратов, которые излечивают от чего угодно, а заодно и тучи руками разводят.

— Ни одного, — мягко улыбнулся Павел Афанасьевич. — Я ещё не загадал своего желания. Нет, у меня конечно есть много, чего бы я хотел. Но тут ведь всё непросто. Гора может исполнить только один раз. Когда приходишь к ней, то начинаешь оценивать: стоит ли это желание того, чтобы на него тратить единственную попытку.

— А Ваши друзья? Они загадали? У них исполнилось?

Павел Афанасьевич хмыкнул и поскрёб пальцем висок:

— Точно знаю, что Лёвка себе просил: уехать в Израиль. Сейчас он в Канаде, а до этого, действительно, три года прожил в Хайфе. Не могу утверждать, что это Гора ему помогла ... Через десять лет выехать стало очень несложно, безо всякой магии. А что заказал себе Вадим, я и не знаю, сам он не признался. Поехал на научную конференцию в Италию, там и утонул. Тогда это большая редкость была — приглашение на международный симпозиум за границу.

— Сейчас по телеку постоянно: об экстрасенсах, о магии, о летающих йогах, о телепатии. Всё равно не верится, сам ничего такого не встречал. Те экстрасенсы, которых я видел, только пустыми рассуждениями занимались и саморекламой. Может, фальшивые попадались, или нет других, и всё это чушь. Вот и Вы меня не убедили.

— Я и не сильно старался. Но тут Вы можете, по крайней мере, проверить. Вот она — Гора, загадывайте! Судя по тому, что я сегодня услышал, Вам есть что пожелать. — Павел Афанасьевич сунул руку в карман и нащупал коробочку с таблетками, вытащил и потряс около уха, потом улыбнулся грустно и продолжил:

— Но ближайший восход, чур, мой. В этот раз мне, кажется, тоже есть что спросить у небес...

Обычно спокойный голос его странно дрогнул. Было похоже, что он с трудом подыскивает слова:

— У меня тоже есть одно... один маленький секрет. Дело в том, что мне осталось жить... не больше месяца. Эти таблетки спасают от боли, но не от болезни. Скоро Вы сможете проверить действие горы если не на себе, то хотя бы на мне.

До Лёхи медленно стал доходить смысл сказанного. Он так был поглощён личными своими переживаниями, что все чужие казались мелкими и невесо-



мыми, а тут стоит человек и буднично, без слёз и истерик, рассказывает, что жить ему осталось... нисколько не осталось

— Я гляжу, Алексей, и Вас эта новость смутила, хоть Вы и знаете меня всего-то полдня. Я же себя помню уже семьдесят лет, и мне эта штука оказалась куда как более неприятной. Читаешь иногда или в кино смотришь: старый солдат заявляет, что мол, я достаточно пожил, и умереть теперь не страшно. Чушь полная! В семьдесят жить хочется не меньше, чем в двадцать, а может и побольше. Во-о-от. Позади, получается, семьдесят лет, которые пролетели как один миг, а остаётся... жалкий месяц, дней двадцать или тридцать, щедро сдобренных болью и страданиями. Вот и клянчишь у судьбы: «ну ещё хотя бы годочек». И ерунда, что этот год рядом с теми семьюдесятью — плевочек маленький рядом с океаном. Вот так, Лёша...

— Вы будете просить выздоровления? — Лёха не знал каким тоном, разговаривают со смертельно больным, чтобы не огорчить и чтобы не оскорбить дешёвыми соболезнованиями. Он боялся поднять глаза, и от этого тоже было стыдно.

— Быть может... В любом случае, другой возможности чего-либо пожелать жизнь мне больше уже не предоставит.

\*\*\*

Воробьиные ночи коротки. Уже десять, а темнота так до конца и не съела остатки летнего дня. Но уже хочется быть ближе к костру. Не холодно, просто костёр — это кусочек цивилизации, пусть даже самой древней, но он соединяет тебя со всем человечеством, если ты один. Ведь именно огонь и создал эту цивилизацию. Мой кот впервые увидев свечу на столе, запрыгнул и долго смотрел, как зачарованный на колыхание огонька, но потрогав его лапой, потерял всяческий интерес. Человек, даже обжегшись, возвращается к огню.

Чугунок занял своё место на двух, сложенных рельсами кирпичах, коврик-пенки расположились в метре от костра. На одном, сложив ноги в «полулотос», сидел Павел Афанасьевич и выстругивал «швейцарским офицерским» ложку из липового бруска

— Это дикий лук, — объяснил Алексей, вытаскивая пучки травы из паке-тика — А это сныть, она съедобная и очень полезная, говорят. Её как салат можно есть. Бабушка ей и цыплят кормила тоже.

— Да-да, конечно-конечно, — жизнерадостно подтвердил Павел Афанасьевич, — Я Вам более того скажу: святой Серафим Саровский три года одной только этой снытью питался и даже засушивал впрок. Кстати, Алексей, а вы знаете, кто такой Серафим Саровский?

— Святой... православный.

— Ладно, что хотя бы так, а то я этот вопрос тринадцатилетней внучке задал — она мне ответила, что это ювелир, который «кристаллы Саровские» придумал.

— Она «Сваровски» имела в виду.

— Вот видишь, а я этого не знаю, — Павел Афанасьевич вынул из рюкзака тушёнку, покрутил её в руке, взглянул на Алексея и отнёс банку в землянку. Вернувшись сообщил:

— Кстати, преподобный Серафим Саровский — преподобным он тогда ещё не был и старцем не был тоже — жил в лесу, в уединении, вдали от остальных монахов. Потом он на камне три года стоял, не спускаясь на землю. Много ещё чего на себя накладывал. Зато, говорят, потом стал обладать даром предвидения, и людей исцелял налево и направо. Так, глядишь, и Вы у нас скоро практиковать вовсю начнёте.

— Мне до святости далековато.

— А ты купи веник да мети почаще келью. Как будет выметена твоя келья, так будет выметена твоя душа. Это его фраза, не моя. Но больше мне у него нравится про то, что дух уныния — самый пагубный грех. Возьми на вооружение.

— Постараюсь. Грибы закидывать?

— Кидай. А мне вот раньше в голову не приходило: а не мог ли преподобный Серафим грех какой-нибудь тяжёлый замалывать, а через это и к святости пришёл, а?

— Не знаю. Я думаю, что ... — начал Лёха и осёкся. — Я думаю, что убийство — самый большой грех, а не уныние.

— Я сказал па-губ-ный! Не самый большой, а самый пагубный, — поднял указательный палец Павел Афанасьевич, — этот грех незаметно уничтожает человека каждую секунду.

Алексей взялся за топор, чтобы наколоть дополнительных дровишек для костра. Он ловко раскалывал толстые сосновые ветки, складывая их в некое подобие поленницы. Отблески огня меняли выражение его лица, и казалось, что он спорит сам с собой.

— Нет, — произнёс он через несколько минут молчания, — Убийство — это самый пагубный грех.

Павел Афанасьевич не возражал, он вертел в руках почти готовую ложку, разглядывая со всех сторон: что и где необходимо убрать, подправить. Последняя фраза так и осталась висеть в воздухе, медленно поднимаясь к небу с горьковатым дымом.

\*\*\*

Алексей проснулся от того, что левая рука затекла и совершенно теперь его не слушалась. Он перевернулся на жёстком коврике на спину и правой закинул левую руку на грудь. Попытки двигать пальцами долго ничего не давали. Наконец, ладонь чуть сжалась, вслед за болью стала появляться чувствительность. Алексей ещё некоторое время лежал с закрытыми глазами, словно не желая возвращения в этот мир. Ночью кошмары сменялись снами, где всё чудесно разрешается. Потом новые ужасы и пустота. Здесь, наяву, кошмар остаётся, как ни трясى головой. Неужели это было только вчера. Казалось, что он уже целую вечность живёт с этим грузом.

Лёха оторвал голову от коврика и увидел рядом любопытствующую белку. Стоило ему чуть приподняться, и она лёгкой стрелой пронеслась по траве и словно взлетела на сосну. Он ещё несколько мгновений провожал её взглядом, пока она окончательно не растворилась среди ветвей.

Алексей осмотрелся: второй коврик и шинель лежали по другую сторону от потухшего кострища, Павла Афанасьевича на коврике не было. Неужели действительно пошёл загадывать желание? Вот ведь, серьёзный человек, наукой всю жизнь занимался, медициной, а вчера почти всерьёз о мистике... Конечно, в его положении... Лёха бы, впрочем, тоже не отказался сейчас от парочки чудес. Солнце, кстати, встало давно, а старика нет. Может, он просто по-английски, не прощаясь, отправился обратно на электричку. Не захотел будить? Или действительно испугался, что Лёха «замочит» его «за то, что слишком много знал». Лёха представил удирающего со всех ног старичка и горько усмехнулся. Станный он, этот Павел Афанасьевич. Если ему на самом деле осталось жить так немного, то зачем было землянку эту просушивать, двери чинить — для кого? Или он не в себе немного, вот и несёт чушь всякую. Непонятно...

Алексей сунул руку в карман, и выудил зажигалку. Вспомнилась о двух туристах, один из которых гордился, что разводит костёр одной спичкой, а вто-

рой — одной зажигалкой. Он чиркнул колёсиком несколько раз, вспыхнула береста и лапник, а за ними постепенно занялись и аккуратно уложенные шалашиком с вечера нарубленные дрова.

— Доброе утро, доброе утро, — торжественно проскрипел бодрый голос. Из кустов показалось удилище, а вслед за ней торжественно выплыл Павел Афанасьевич с уловом из нескольких плотвичек и двух карасей на проводочном кукане. — Вы очень кстати разожгли костёр. Сегодня четверг, а значит у нас рыбный день.

— Здравствуйте, Павел Афанасьевич. Я не заметил, как Вы ушли.

— Вы так громко храпели, Алексей, что за этим шумом и взлетающего самолёта бы не услышали. Пришлось досыпать на озере с удочкой.

— Извините, — буркнул Лёха, — я забыл предупредить. У меня всегда так, если я не на правом боку.

— Ничего, ничего. Я вполне выспался. Вода, кстати, за ночь практически не остыла. Можете искупаться. Это придаст бодрости. Я вот и сам... помолодечески. Купаться удобней заходить прямо напротив землянки. Тут берег почти пляжный: песочек и дно ровное. А левее немного всё камышом заросло. Рыбачить лучше рядом с Горой Желаний — сразу около берега глубоко, можно на обычную удочку-донку. Ну я, если честно, рыбак неважный. Несколько червей прозевал. Кстати, я же совсем забыл вчера сообщить, что загадав желание, тоже необходимо непременно искупаться в озере — хоть летом, хоть зимой.

Алексей оставил одежду около костра и пошёл к озеру босиком, в одних трусах. По пути он больно ударился большим пальцем об корень дерева, но не стал возвращаться за обувью. Осторожно ступая по плотному песку он вошёл в воду по колено, дальше дно резко уходило вниз, и Лёха, сосредоточившись и глубоко вздохнув, плавно нырнул. Сколько себя помнил Алексей, вода всегда притягивала его, как магнит. Не только море — и Волга и озеро в Кожласоле, немного похожее на это, только людей там много стало, бутылки, пакеты по берегу. Летом не проходило и дня, чтобы они с Санькой и Игорьком не прибегали бы к мосткам. И почти всегда — восторг. Совсем неважно при этом: гребёшь ли ты по-собачьи или вальяжными саженками разрезаешь воду. Если даже просто висишь на бревне, которое так и норовит крутануться, чтобы оставить тебя под собой, сердце твоё колотится радостно и часто. Пока жил на море, плавать научился очень прилично. Однажды, где-то недалеко от Анапы, где ещё не начинается предгорье, в волну уплыл так далеко, что потерял берег. После лёгкой паники, раскачиваясь, делал усилие, чтобы вытянув шею на гребне волны всё-таки рассмотреть заветный берег. Тогда всё обошлось.

Утренняя вода озера была приятной, чуть прохладной, но чувства восторга не приходило. Совершенно механически Алексей переплыл озеро, а когда плыл обратно — вспомнил о своём вчерашнем желании нырнуть так глубоко, чтобы уже не выплыть. Он даже остановился на самой середине, едва перебирая ногами. Вот оно решение: заманчивое и лёгкое. Всего несколько минут — и тебя нет. Нет, ни одной проблемы. Только пустота. Жуткий и удушливый страх овладел им. Кажется, и руки и ноги перестали слушаться. Он даже изрядно хлебнул воды и закашлялся. Свело обе ноги, болезненно и цепко.

— «Может так и надо», — мысль растекалась в сознании, словно чернила по вате, — «Так всем лучше».

— Алексей, — прокричал с берега скрипучий голос, — Что же Вы так долго? Мне нужна Ваша помощь.

Лёха вздрогнул и снова закашлялся хлебнув воды. Он не может шевельнуть ногами. В море можно плыть на одних руках, море держит, оно солёное. Здесь он судорожно лупил руками по воде но, кажется, совсем не двигался к берегу. Потом успокоился, вдохнул быстро и глубоко, погрузил лицо в воду и выполнил широкий гребок рукой, ещё один. Снова быстрый вдох и снова пара гребков. Он почувствовал, что судорога левой икры немного ослабла, сделал ногой небольшое движение.

\*\*\*

— Ну вот... — Павел Афанасьевич развёл руки, — мне пора. Сегодня ещё нужно встретиться с коллегами. Они очень настаивали. Я так понимаю, что Вы пока остаётесь здесь? Спасибо Вам, Лёша, что помогли мне собрать грибы для Полины Ивановны. Сам бы я не успел. Это же полная корзина получилась.

— Вам спасибо, Павел Афанасьевич... — Алексей не знал, что добавить. — Я Вас до дороги провожу.

— Если Вы никуда не торопитесь, — с шутливой учтивостью кивнул, вручая Алексею свою корзину.

Они шли по узкой тропинке, и Павел Афанасьевич за этот час успел расспросить его и про маму, и про смерть отца, и про сестру, про то, каким бы он, Лёха, хотел видеть сына, когда тот вырастет. Алексей почему-то отвечал, хотя, в обычной жизни редко распахивался перед незнакомыми людьми. В поездах он обычно прикрывался книгой, если особенно настырный сосед начинал изливать душу, и уж точно не был готов делиться чем-то личным.

Они выбрались на песчаную дорогу, и Павел Афанасьевич перехватил у Алексея свою корзину.

— Советую, пока Вы тут около дороги — сходите в деревню. Считай, треть пути уже прошли. Купите себе сухарей, картошки. Дорогу запомнили?

Старик достал из кармана блокнотик, написал несколько слов на листочке и передал Алексею.

— А это мой адрес и домашний телефон. Вы заходите ко мне, Алексей, когда всё разрешится. Неважно когда и как... Это рядом с «Домом обуви». Если потеряете бумажку — зайдите на мою кафедру в мединститут. Там объяснят. Даже если меня уже не будет — с Полиной Ивановной поговорите. Хорошо?

Алексей на секунду опустил глаза. Его снова задела эта близость смерти собеседника. Переборов замешательство он спросил:

— Вы были утром на Горе Желания, Павел Афанасьевич?

Вместе с кивком головы блеснули стёкла очков, и старичок снова повторил:

— Приходите, Лёша. Обязательно приходите.

Дорога в этом месте делала изгиб, поэтому тощая фигура в клетчатой рубахе быстро исчезла за поворотом, стихли и шаги. Словно и не было никогда никого рядом.

Алексей сел прямо на землю около дорожки и обхватил руками колени. Сколько времени он так просидел, сложно сказать. Может несколько минут, а может больше часа. Сначала он не чувствовал ничего, потом возникло ощущение потери, а вслед за ним нахлынуло абсолютное одиночество. Теперь нет рядом даже этого странного, но вполне добродушного старичка. Но сам он ещё жив, и с этим надо как-то считаться. Он встал и медленно побрёл назад к озеру. В одном месте он сбился с пути, потеряв тропинку. Только что шёл по ней — и вот уже упёрся в непроходимые заросли. Солнце подсказало ему, как можно вернуться назад. По крайней мере он при этом выйдет на дорогу. Алексей развернулся и вскоре снова был там, где расстался с Пав-

лом Афанасьевичем. Вторая попытка оказалась более удачной. Он потерял тропинку совсем недалеко от озера, и пройдя сотню метров, вышел к воде.

\*\*\*

Итак, он остался один. Чешутся руки расписать обо всех Лёхиных нравственных, так сказать, переживаниях, да ещё и максимально подробно, чтобы Толстой с Достоевским одобрительно цокали языками. Но не буду, можете вздохнуть спокойно и с облегчением. Дело в том, что я постеснялся активно приставать к нему с такого рода расспросами, а сам он не распространялся на эту тему. Глаза у него при этом стекленели, и понятно было, что тут лучше не нажимать. Сказал он только, что когда было совсем тяжело, забирался на самый верх холма и садился на камень. Когда смотришь на мир сверху, то всегда немного от него отдаляешься: от всех его проблем и несовершенства. Даже собственное несовершенство отходит на время на задний план. Или действительно становишься лучше? А может быть, наоборот, сверху ты видишь мир таким, как он есть, без глупых и уродливых бытовых деталей в виде пластикового мусора под ногами и пьяных истерик соседей. Поэтому, наверное, стремятся в горы альпинисты, рискуют ежедневно жизнью пилоты, а толпы людей ищут по всему миру свои Горы Желания. Там на холме Лёхина боль немного ослабевала, и он ещё долго сидел не шелохнувшись, опасаясь потерять последнюю точку опоры своего нелепого существования.

Куда охотней он мне расписывал, как готовил супы из корней лопуха и молодых стеблей камыша, и как хороша травка мокрец, когда к ней добавишь горсть земляники. У меня этот мокрец растёт в огороде весьма обильно, соревнуясь с одуванчиком в скорости захвата грядок. После Лёхиных рассказов я не поленился, воспользовался его рецептом, но, я так понимаю, вкус огородного мокреца сильно отличается от лесного: съел я всего одну ложку и отправив в компост оставшееся затхлое месиво. Жалко было испорченных ягод.

Живность он ловить так и не научился, мышей, птичек не ел. Личинки короедов, о съедобности которых он слышал по телеку, даже поджаренные на костре, не вызывали у него бурного восторга. Он с брезгливостью впихнул их в себя однажды, но тут же понял, что это было в последний раз. Дважды доставал яйца из гнёзд, благородно оставляя половину пернатым мамашам. Но это так, биологически активная добавка. Куда надёжнее было дойти до деревенского магазина. Туда и обратно — почти двадцать пять километров, зато такая родная «человеческая» еда. Первый раз он сделал вылазку через четыре дня своей лесной жизни, потом ещё через неделю.

На лесной дороге он нашёл мобильник. Приличный такой телефончик с большим экраном блеснул хромированным боком в траве. Лёха не раз облизывал глазами эту модель в салонах связи. Обидно, наверное, такой потерять. Приёма в этом месте не было, но в аккумуляторе ещё теплился заряд. Около деревни Алексей с удивлением обнаружил две палочки антенны. Полистал адресную книгу, нашёл «моё солнышко» — явно близкий владельцу человек — и нажал вызов.

«Солнышко» ответило сразу и агрессивно. Оно орало визгливым женским голосом, что он «чмо вонючее, ворюга долбанный», что он должен сегодня же принести этот телефон им, иначе его всё равно вычислят. Он, мол, ещё не знает, кто они. Дальше следовали чередующиеся с матом угрозы, где самая добрая была — это запихивание данного устройства в его, Лёхино, заднепроходное.

Алексей усмехнулся и нажал кнопку «отбой». Что теперь делать с этой ерундовиной? Около магазина стоял единственный в деревне бачок для му-

сора, выполненный в виде открывшего клюв пингвина. Хромированное чудо скользнуло в тёмную глотку и брякнуло о металлическое дно.

На седьмой день, а точнее вечер, пошёл дождь. Пошумел предварительно ветром, поугал громом, посветил молниями, а потом уже основательно и планомерно стал поливать всё кругом. Лёха переместился в землянку, пришлось даже растопить печку, чтобы просушить одежду. Спать было душно-вато, но это всё же лучше, чем мокнуть на улице.

Бабушка Катя говорила, что если дождь пошёл с утра, то это до вечера, коль с вечера, то до утра, «а с полдён — на семь дён». В этот раз бабушкины предсказания не слишком оправдались. Закончившийся было к утру дождь снова расплакался через пару часов, только стал более мелким и холодным. Кроссовки промокли, и Лёха уже подумывал, как бы это сплести лапти, но вовремя обнаружил под топчаном старые сапоги с подвёрнутыми голенищами.

Не правда ли, напоминает Робинзона Крузо. Тому тоже — спасибо авто-ру — море приносило всё необходимое в самый ответственный момент. Впрочем, жизнь нашего героя всё же отличалась от жизни этого Крузо. Чем? У Крузо была чистая совесть и огромное желание вернуться, а у Лёхи... у Лёхи — ни того и ни другого. Поэтому и тянул он со своим возвращением, каждый раз откладывая его ещё на парочку дней. Сапог один, кстати, оказался дырявым, и Алексей вынужден был ходить в нём слегка выворачивая наружу левую ступню.

Двенадцатый день ознаменовался появлением медведя. Утром Алексей стал вылезать из землянки под мелкий дождичек, и обнаружил мохнатую спину похозяйски разгуливающего зверя совсем недалеко от выхода. Медведь был некрупный: чуть больше собаки-водолаза, таких местные называют «мурашами», объясняя это тем, что медведю не хватает еды, и он не вырастает до нормальных медвежьих размеров. Проверять миролюбивость такого «мураша» Алексею не захотелось. Да что уж там говорить, испугался Лёха здорово. Сразу вспомнил и то, что бегают эти зверюги быстро, и на деревья лихо залезают. На окраину Кожласолы в школьные Лёхины годы забредал один такой — телёнка на глазах хозяев разодрал. Сам Лёха этого, слава богу, не видел, но мужики во всех красках расписывали. А теперь такой вот Топтыгин совсем рядом, а никакое кораблекрушение нашему Крузо сундука с автоматом Калашникова не выбросило. И даже хорошей рогатины не подкинуло с инструкцией, как ей пользоваться. Залез Лёха обратно в свою нору, дверь на засов закрыл, замер с ржавым туристским топориком в руке.

Через несколько минут тёмный силуэт ворча и сопя приблизился к дверям, несколько раз царапнули твёрдые когти по дверям, похожий на каблук нос просунулся в щель, нахально вынюхивая содержимое. Не выдержал Лёха, зарорал, схватил котелок и стал со всей дури бить им по топору (или наоборот?). Медведь, не ожидавший такого громкого приветствия, отпрянул и что-то обиженно буркнул. Через две-три минуты он снова приблизился и стал потягивать ноздрями воздух. Тут уже Лёха приблизился к самой двери и стал громко стучать около самого уха зверя. Ничего не понимая, медведь с достоинством удалился, а Алексей ещё полдня боялся даже на мгновение высунуться из своего убежища. Он уже приготовился жечь резину сапог, чтобы запах человека не привлекал толстолапого и даже готов был пойти на крайнюю меру.

Один наш общий знакомый ещё в студенческие годы всерьёз всех уверял, что человек, не имея ни зубов, ни когтей разработал против хищников свой метод борьбы — «медвежьей болезнью». Хищник, мол, засранца есть не станет, а вежливо обойдёт стороной. Так что крайней мерой было — наложить небольшую кучку у самого выхода. В данном состоянии это было сделать не сложно.

Проверить эту премудрость на практике не удалось. В середине дня Алексей осторожно выглянул наружу и никого вокруг не увидел. Потом он еще долго кружил вокруг своей «берлоги» на полусогнутых, готовясь в любую секунду стремглав броситься под её защиту. Зверь ушёл, словно его и не было. Несколько следов около озера — вот и всё, что осталось на память, но одного этого появления хватило, чтобы даже походка у Лёхи изменилась и стала осторожной, с оглядкой. Он не хозяин здесь, у него те же права, что и у лесной мышки, несущейся со всех ног при встрече с опасностью, как и у замирающих и словно исчезающих в листве птиц, щебетавших мгновением раньше. Он начал внимательно прислушиваться к малейшему звуку: к треснувшему сучку, к стрекотне сорок, к ночному шороху. Спать Лёха полностью переместился в землянку. «Кланяйся, да не зазнавайся», — права бабушка Катя. Словно и не было у него никогда мобильного и Интернета, и телевизора с «Евронуяс» на третьей кнопке и президентом на всех остальных. Кланяться он стал лесу, как и далёкие его предки кланялись деревьям. Срезает гриб, а губы сами шепчут: — «Спасибо, матушка-земля».

Так прошёл месяц или, пожалуй, чуть меньше. Щетина на щеках Алексея оформилась в некое подобие бороды, кожа покрылась загаром: не тем морским золотисто-коричневым, а сероватой бронзой нашего северного солнца. Одежда слегка потрепалась, и хотя она периодически общалась с водой и куском хозяйственного мыла, терракотовая футболка полиняла и приняла цвет скорее серый. Судя по известному мультику, Маугли бегал по тропическому лесу обнажённый, в одних непонятно откуда взявшихся трусах. Не знаю, как у них, но у нас бы его сожрали тучи ненасытных комаров и слепней. Вон, у Лёхи по вечерам только кисти рук и лицо открыты — всё равно все в укусах и расчёсах. Зинаида, продавщица из сельпо, увидев такую потёртую личность, лениво зевнула и доверительно сообщила, что водку раскупили, но у неё есть самогон — недорого. Лёхин холостяцкий заказ из круп, хлеба, макаронных изделий и пары носков её даже немного расстроил.

— А чё такой небритый? — поинтересовалась она лениво, пристраивая свой тяжеловесный зад на отполированный от постоянного сидения деревянный табурет, — Вахабитый, что ли, тоже?

— Какой? — не понял Алексей.

— Вахабитый... Не слышал, что ли? Эти...с бородами. Тут у нас приезжал один такой. Бумажки какие-то раздавал нашим татарам. А они и не читали, говорят. Мол, как приехал, так и уехал, — Зинаида привстала и взглянула на дверь, после чего добавила заговорщицки громким шёпотом: — А я у Соньки видела, хранят они на серванте эти листочки. Я ей: «Чё, Сонь, эт такое у тебя?» А она: «не знаю, мол, бумажки какие-то». Да всё она знает. Это она сейчас добрая, перемячами своими всех угощает, а в один прекрасный день раз — и бомбу под сельсовет.

Зинаида, похоже, так ярко представила взлетающий от взрыва сельсовет, что решила выйти и посмотреть: не повредит ли такой взрыв её магазину. Здание давно уже именовалось поселковой администрацией, но у жителей так и осталось сельсоветом.

Перед дверью Лёха взглянул на себя в висящее справа от входа засиженное мухами зеркало. В памяти всплыл детский стишок про нечистых трубочистов, только звучал он теперь примерно так: «а небритым ваххабитам — стыд и срам». Алексей распахнул продукты по пакетам и двинулся... тьфу, чуть не сказал «домой». Хотя, что сейчас называть его домом? Старую землянку? Комнатку в общежитии? Кожласолу? Или как у героя знаменитой комедии: «твой дом — тюрьма»? Лёха брёл «назад» (вот самое подходящее слово), беззвучно повторяя языком за сомкнутыми зубами: «а небритым

ваххабитам, а небриттым–ваххабиттым, а небритым... стыд и срам, стыд и срам».

\*\*\*

Однажды ему приснилось, что он спит. Да-да, именно так. Спал он на крохотном уступе на краю пропасти, и любое движение его должно было привести к падению. Надо бы, конечно, проснуться и перебраться на местечко поустойчивей, но невыносимо хотелось спать, и он с трудом сохранял неловкое напряжённое равновесие. Камни под ним дрогнули и полетели вниз. Он тоже должен был сорваться, но проснулся. Или почти проснулся. Очень душно. Силился понять — где он. Нет это не скалы, и он останется жив. Коснулся рукой сыроватых брёвен. Это колодец? Возможно, но зачем он в нём? Может быть это монашеский скит? Или тюрьма? Или он один на острове, а вокруг вода? Он осторожно сел и увидел сидящего напротив Павла Афанасьевича. Наверное, на старика падал чуть забрезживший свет, иначе как ещё его можно было разглядеть в этой полной темноте.

— Это тюрьма, — согласился Павел Афанасьевич, с Лёхиными мыслями. — Одиночество — это всегда одновременно и колодец, и тюрьма, и остров. Всё зависит от того, что ты сам себе создашь. Серафим Саровский создал себе колодец, чтобы лучше видеть небо, писатель создаёт остров, чтобы понять себя, а кто-то строит свою собственную тюрьму. Пора выходить. Скоро рассвет. Постарайся успеть, пока ещё не поздно. Нужно его обязательно спасти!

Алексей вздрогнул и вскочил так резко, что закружилась голова. Павел Афанасьевич тоже был сном, но что-то надо было взять из этого сна, что-то очень важное, теперь, пока он ещё помнит каждую фразу. Тюрьма. Колодец. Остров. Спасти. Да — спасти! Это и есть самое главное! Гора Желаний. Он не признавался себе, что думает об этом всерьёз. Он долго подбирал слова под единственное своё желание. Что бы он произнёс, если бы действительно верил: «Хочу чтобы всё было хорошо», «хочу быть богатым, здоровым, счастливым, любимым, молодым», «чтобы всё было по-старому», «чтобы меня не посадили», «хочу немедленно найти клад», «чтобы Лариса вернулась, и мы жили счастливо».

Только одно и на всю жизнь. Дали тебе волшебную палочку на мгновение — распорядись с умом. В детстве обсуждали такие варианты как что-то совершенно реальное, что должно однажды непременно произойти. Главное — не оплошать. У золотой рыбки нужно было попросить на постоянное пользование волшебную палочку, а из одной волшебной спички сделать миллион других, таких же волшебных. Есть она, абсолютная формула желания!

Конечно, что-то не так в этих «абсолютных» желаниях: жульничество, передёргивание. Какие уважающие себя волшебные силы исполнят такое?

Но сейчас не об этом. Сейчас есть намного более важная вещь — жизнь, которую есть маленький шанс спасти. Призрачный шанс. Он помнит Марата другим. Был же он нормальным человеком: добрым, общительным, умным. И довериться ему тогда было можно, и песни они горланили вместе, трясясь в кузове грузовика: «слева нас рать и справа нас рать, хорошо с перепоя мечом помахать».

Сейчас всё всерьёз. Лёха проснулся окончательно. Он знал, что просить у Горы Желаний. Он будет умолять: «Если есть на свете чудо, то пусть Маратик будет жив!» Невозможно перенести эту муку. Квантовая физика, результат зависит от наблюдателя. Пока не вскрыешь шкатулку с котом, нельзя однозначно сказать, жив он или мёртв. Лёха же, в конце концов, не видел его мёртвым!

\*\*\*



Лес чутко дремал. Последние, самые сладкие крохи сна. Скоро выглянет солнце, и всё вокруг заголосит, зашевелится, зашелестит листвой. Ещё немножечко. Лёха шёл по мокрой от росы траве. Именно в эту минуту он почувствовал своё единство с лесом, с озером, с бездной над головой. «Одиночество — это колодец из которого лучше видно небо». Кто это сказал? Кажется это из его сна. Он подошёл к склону и взглянул вверх. Последняя замешкавшаяся звезда ещё висела на светлеющем небосклоне, растерянно моргая, и выбирая путь для отступления.

По-обезьяньи цепляясь за влажные корни и траву, Лёха ловко преодолел крутой подъём. Сердце забило в панике от резкой нагрузки. Оно пыталось выпрыгнуть вместе с его дыханием. Алексей приблизился к камню и обнял его — валун оказался не мокрым, и даже чуть тёплым, словно живым. Забрался наверх и огляделся.

Он пожалел, что не приходил сюда каждое утро, потому что это было так пронзительно прекрасно: и темнеющее одеяло леса, и безмятежное озеро, так похожее на окно в неведомый мир, и последние тающие звёзды. Солнце наполняло горизонт желтовато-розовым прозрачным мармеладом, но не торопилось показаться во всей красе. Так театральная прима, выхода которой ждёт набитый зрителями зал, вдруг перед самым выходом замирает, а партнёр на сцене уже произнёс фразу, и зритель затаил дыхание и ждёт, а она... Неужели что-то случилось? Нет, конечно, нет. Вот она улыбнулась, сделала шаг и уже врывается на сцену, неся колышущиеся складки платья, шлейф славы, и яркий блеск глаз — и общий выдох зала: «Она — чудо! Какая импровизация. Ну разве телевидение может такое передать?»

Кажется, прошла целая вечность, прежде чем солнце плеснуло ему в лицо первый тёплый луч. Желание простое и понятное, не требующее даже слов, зазвучало в нём, и вместе с ним запело откуда-то свалившееся и не совсем уместное на этом языческом камне «и прости долги наши, так же как и мы прощаем должникам нашим».

Потеряв счёт времени, он стоял, ловя солнечные лучи как слова прощения. Когда снова открыл глаза, солнечный корабль уже оторвался от своего берега-горизонта, поплыл в свой ежедневный поход. Лёха осторожно спустился вниз, скинул с себя одежду и плюхнулся с головой в прохладное озеро, задержал дыхание и проплыл метров двадцать под водой, двигая телом по дельфиньи. Это самый быстрый способ, особенно если есть ласты. Жаль, Чёрное море осталось в таком недавнем, но бесконечно далёком прошлом. Когда он выбрался на берег, решение созрело в нём и окрепло. Сегодня он возвращается в Казань. Он не будет ждать, когда за ним придут, а немедленно, сегодня же сам прибудет в отделение милиции. Дальше — будь что будет. Но сначала он позвонит на телефон Марата. Ещё раз. Не со своего телефона.

Перекусил Алексей остатками полузасохшего хлеба с солью и черемшой, аккуратно сложил инструменты и посуду, привалил тяжёлый камень к двери в землянку. Собирался недолго. Всего вещей-то: мобильник да кошелёк, завёрнутые в пакетик и упрятанные под корнями вывороченной сосны. Залил костёр. Ещё раз обернулся, как оглядываемся мы, когда собираясь в отпуск, проверяем выключен ли утюг, перекрыта ли вода, закрыта ли форточка. Решимости в нём не убавилось, просто он вдруг ясно осознал, что тонкая ниточка связала его с этим местом навсегда. Постоял около озера и бросил в воду монетку. Пора.

\*\*\*

По неприметной тропе, именуемой так больше из вежливости, он дошёл до песчаной дороги и повернул направо. Шёл не торопясь и не останавливаясь.

Впереди издали слышались голоса, и из-за поворота навстречу ему вышли мужчина и женщина с корзинами в руках. Мужчина лет пятидесяти пяти, невысокий и невзрачный, в старом мешковатом пиджачке и таких же брюках казался чуть смущённым из-за вытянутой вперёд шеи и постоянной застенчивой улыбки. Кепка со сломанным козырьком прикрывала его тонкие светлые волосы, а свободная от корзины рука явно не находила себе место. Она то пряталась за спину, то теребила верхнюю пуговицу пиджака, то снимала и надевала кепку.

Женщина была лет на пять моложе своего спутника, темно-русая, насколько можно судить по выбившейся пряди из под завязанного сзади светлого платка с красным орнаментом. Она словно сошла с иллюстраций книги о народных мариийских костюмах. Где ещё сейчас увидишь такое платье из простой светлой ткани со всеми полагающимися красными геометрическими вышивками на груди и по краю подола, с цветными кисточками и с красным пояском, ещё и с передничком в придачу. У бабушки Кати было похожее, но она его надевала только по большим праздникам: на Троицу, на Первое мая. Обещала, что наденет и на Лёхину свадьбу, если доживёт. Может быть у этой женщины тоже сегодня праздник?

Мужчина время от времени задавал робкие вопросы своей спутнице, а та отвечала певучим голосом иногда развёрнуто, иногда совсем коротко, но практически с одной и той же интонацией. Словно две птицы перекликаются в лесу.

Они подошли ближе и Лёха стал разбирать некоторые слова. Они говорили на языке мари о грибах, о пёстрой курице, о покосившейся загородке, об общих знакомых и о том какой будет урожай помидоров. Их лица были так светлы и счастливы, что Лёху вдруг что-то словно кольнуло. Он понял, что о чём бы они не говорили — это всё о любви.

Женщина поздоровалась, а мужчина снова снял кепку и смущённо кивнул Лёхе, словно чуточку стыдясь своего счастья. Они пошли дальше, а их голоса ещё долго звучали среди сосновых ветвей — вопрос, ответ, вопрос, ответ — пока не слились с шорохами леса.

Заслушавшись, забыл Лёха спросить у них дорогу, но вроде что-то помнилось. Вот здесь то самое место, где Павел Афанасьевич присел отдыхать в прошлый раз. Многочисленные люпины на поляне за это время отцвели и теперь только похожие на бобы семена торчат на высоких стеблях. Почему Павел Афанасьевич больше не появился на озере, если он так чтит это место? Лёхе очень хотелось ещё раз его увидеть и поговорить, он даже ждал его появления все последние дни. Возможно дела, а может что-то совсем уж нехорошее. Но если болезнь всё же скрутила его, то и Гора Желаний — всего лишь глупый ни на что не способный холмик. Да и, собственно, чего ещё можно было ждать? Крекс-пекс-фекс — и всё исполнилось? Смешно. А всё-таки жаль. И Павла Афанасьевича тоже жалко.

До электрички около часа ходьбы. Алексей залез в кошелёк. Там тысяча шестьсот с копейками.

— «Не только до Казани доехать, но и до тюрьмы дожить хватит», — подумал и сам криво усмехнулся собственной шутке. — «Потом на всём готовеньком буду.»

Его обогнала старенькая синяя ВАЗовская «семёрка» с двумя пассажирами, аккуратно переезжающая бугры и ямы на дорожке, и почти сразу навстречу выскочил серебристый внедорожник, поднимая столбы пыли. Алексею пришлось прижаться к кустам, чтобы не оказаться под колёсами. Мелькнула хромированная эмблема «Лексуса» на радиаторной решётке, и Лёха вздрогнул. Именно такая машина была у Маратика. И номер... три семёрки. Букв он не помнит, но это точно — те же три семёрки и шестнадцатый регион. За тонирован-

ными стёклами ничего не разглядишь. Алексей выскочил на середину и энергично замахал руками, в надежде, что его увидят в зеркалах заднего вида, но машина не снижая скорости пропылила дальше, оставив его в замешательстве.

Поколебавшись несколько мгновений, Лёха постепенно набирая скорость побежал за ней вслед. Он, конечно, понимал, что ему не догнать внедорожник с двухлитровым движком, но оставалась надежда, что машина уедет недалеко, и скоро остановится или свернёт на какую-нибудь боковую дорожку. Характерные отпечатки протектора на песке как следы дичи приведут его к месту водопоя, лишь бы другие не успели их заездить. Утверждают, что человек настолько вынослив, что своим долгим бегом по следам антилопы может загнать её до бездыханного состояния. Это, правда, относится к африканским охотникам, да и автомобиль не антилопа, к тому же номер мог быть просто похожим, но Алексей бежал так, как не бегал даже на Ленинской эстафете. Ноги едва касались утрамбованного песка, а тело, казалось, не вешило ничего. Ни на секунду его не остановили сомнения. Видимо, жизнь в лесу учит звериной интуиции, а может быть, он просто решил для себя, что если даже он бежит зря — всё равно ничего не теряет. По крайней мере не будет сожалеть, что не попытался.

\*\*\*

Через полтора километра он заметил, что следов знакомого протектора уже нет. Проскочил. Назад. Теперь неторопливой трусцой. Заодно восстановить дыхание. Вот тут съезд на несколько заросшую дорожку, и следы именно сюда. Судя по всему, водитель не сильно заботился о лакокрасочном покрытии — со всех сторон жёсткие сучья и ветки. А вот тут автомобиль оставил следы, переезжая яму с водой. Для такой машины яма не преграда, "Лексус" даже не буксовал. И опять всё то же чутьё заголосило: «Осторожно, Лёха, не торопись. Неизвестно, что это за зверь. Лучше подобраться незамеченным. Открыться ты всегда успеешь».

Он увидел машину, застывшую около поваленного ветром дерева. Пассажиров рядом не было, дверка багажника — открыта. Это не поляна, всё в зарослях. Странное место для пикника... Алексей осторожно заглянул в салон — никого. Дыхание ещё не совсем вошло в норму, в висках стучало. Что дальше? Кажется, какой-то голос — впереди и справа. Алексей осторожно двинулся на голоса. Он научился ходить тихо, ни одна веточка не хрустнула. Шагов через пятьдесят он заметил движение за листвой и присел на четвереньки. Звуки, похожие на звуки ударов. Подбираясь шаг за шагом, он всё больше чувствовал страх. Эти люди, они делают что-то ужасное. Может быть, они убивают человека сейчас, и если они увидят его, то вряд ли и его самого ждут почищенные апельсины на тарелочке. Не могу сказать, чтобы отличался Лёха какой-то особенной смелостью или дерзостью: в школе от драк он старался уходить, и с парашютом не прыгал, но тут как опилку металлическую к магниту его туда потянуло. Подкрался совсем близко — метров пятнадцать всего. Специально сбоку зашёл, чтобы возвращаясь Эти прямо на него не вышли. Куст, дерево — хороший наблюдательный пункт. Надвинул капюшон энцефалитки на голову — тоже для маскировки.

Их там трое. Один лежит на траве, и он связан. Второй, крепыш в водолазке и широких коричневых штанах, методично пинает лежачего. По тому, как он бьёт, заметно, что он не чувствует к своей жертве ни злобы, ни жалости. Спокойно выбирает незащищённые места и методично наносит чувствительные удары носком ботинка. Жировые складочки на стриженном затылке, руки как окорока — весьма знакомый типаж из девяностых. Третий стоит, глубоко погрузив руки в карманы кожаной куртки, демонстрируя в профиль

пузыри на коленях вельветовых джинсов. Этот напряжённо улыбается одной верхней губой, поблёскивая металлическими коронками. «Скалозуб» (это Алексей его так окрестил) прижимает локтем пластиковую папку с бумагами. Вся эта молчаливая сцена озвучивается только короткими стонами лежащего.

— Теперь садись, гнида, — говорит, наконец, стриженный. Голос его оказывается совсем не подходящим для такой фигуры — тусклым и высоковатым.

Зато у «скалозуба» голос оказался совершенно брутальный: хрипящий и прокуренный, пахнувший татуировками и романтикой зоны.

— Садись Маратей, щас в натуре ещё интересней будет.

«Стриженный» приподнял связанную жертву и прислонил к стволу дерева.

Да, это был Маратик, и Лёха ничуть не удивился этому. Он уже был готов к его появлению на этой сцене. Руки жертвы были связаны за спиной скотчем, и тот же скотч надёжно смыкал бледные губы. На скуле красовался приличный кровоподтёк. Судя по тому, что он был в яркой голубой пижаме, похитили его прямо из постели.

— Ты в приметы веришь, Маратей? — глумливо играя голосом, «скалозуб» явно работал на зрителя, а точнее на двух — на несчастную жертву и на своего напарника. — Я что-то не слышу... Ах, ну да, я забыл, мы не можем говорить. Ну, так ты хоть головой кивни. Кивни, я сказал! Вот так, умница. Я тебе прямо скажу, что это плохая примета — оказаться в багажнике своего автомобиля, да ещё связанным, и особенно в лесу. Очень плохая.

Марат что-то жалобно промычал, затравленно глядя на истязателей.

— Не надо было тебе серьёзных людей кидать, не надо. Они люди интеллигентные, тихие, сердечные, но очень обидчивые. И Роман Викторович — он очень чувствительный. Отцепи ему эту липучку, Фофан.

«Стриженный» Фофан наполовину освободил рот связанному. Марат быстро-быстро залепетал, а висящий кусок скотча болтался у него на скуле, норовя приклеиться обратно:

— Я всё отдам, всё отдам. Скажите Роману Викторовичу. Я квартиру отдам, машину. Я отыграюсь.

«Скалозуб» хмыкнул и воздел руки к небесам.

— Нет, правда. Я честный человек Я же всегда отдавал раньше. Всегда отдавал. Вчера я десять тысяч баксов выиграл. Если бы не поставил опять всё — сегодня бы... в качестве процентов. А так, деньги должны прийти по одному проекту — рассчитаюсь в течение месяца-двух.

— Ай-яй-яй, дечячь тычячь?! — коверкал язык «скалозуб». — Обалдеть! А то что ты, урод, по счётчику уже астрономию должен, ты это понимаешь? А кто с акциями нефтехима по номиналу кинул нас, помнишь? А 80 гектар в Боровом около Волги кто обещал устроить? Тоже, между прочим, под это дело денег отвалено недуром.

— С участком всё нормально. Там немного подождать надо. Я почти... договорился. Некоторые сложности.

— Ну да, а под эти сложности тебе ещё бабла надо подсыпать, правильно я понимаю? Тебя, конечно, долго за серьёзного держали. С виду на короткой ноге со всеми. Да вот не поленились мы, проверили. Ни хрена у тебя, дорогой, за душой нет: ни денег, ни бумаг, и квартира твоя хоть и на Тельмана, и люксовая, а съёмная, и тачке твоей уже четыре года, и дача твоя крутая в залоге. Да и Шаймиеву ты тоже никаким боком не родственник. За лохов всех держишь, вшивый... Короче, поступила просьба тебя немного укоротить.

— Я всё сделаю, — чуть слышно пролепетал связанный, — не убивайте...

— Понятливый, — скалозуб наклонился глядя ему прямо в глаза. — Вот договор купли-продажи твоей рухляди — подписывайся, и что деньги получил в размере миллиона рублей — тоже пиши расписку...

«Скалозуб» достал из папки бумаги, а стриженный Фофан освободил Маратику руки. Тот стал разминать пальцы, вглядываясь одновременно в листочки.

— Но тут же не на Романа Викторовича, а на какого-то Горюнова.

— Это не твоё дело, — неожиданно увесисто рявкнул стриженный, — Подписывай, братан!

— Я подпишу... — сипло произнёс Маратик, — только давайте сделаем это у нотариуса. Всё равно же без него это будет недействительно на такую сумму... и машину снять с учёта надо будет...

Скалозуб и Фофан переглянулись и расхохотались.

— Ты за нас так не переживай, брателло, мы справимся, — блеснул металлом во рту «Скалозуб». — Подписывай.

\*\*\*

Неожиданно прозвучал телефонный вызов, и Лёха вздрогнул. Как могло такое случиться, что ему позвонили именно сейчас. Он выдал себя с головой! Собирался рвануться и побежать, пока эти двое не взялись за него, но тут же застыл потому, что в трёх шагах за кустами вдруг раздался громкий и бархатный голос:

— Слушаю, Роман Викторович... Да-да, мы на месте, Роман Викторович. Минут пятнадцать-двадцать здесь, закончим, а потом туда... Да, всё проверим... Хорошо... Без вопросов...

Да, это не его телефон. Справа от Алексея, выискивая тропинку среди зарослей пробирался ещё один тип из этой весёлой компании. У третьего бандита куртка была светлой замши и джинсы светло-голубые, волосы красиво уложены. Лопата в вытянутой руке, чтобы не испачкаться, телефон возле уха. Прошёл совсем рядом, Алексей даже увидел блеск золотого браслета на руке. Если б звонок не отвлёк, «замшевый» мог заметить стоящую на четвереньках фигуру. Вот тебе и осторожность! Как же Лёха умудрился не услышать шаги, и не придал значения негромким, но явным звукам работы лопатой за спиной?!

Видимо, понял в эту минуту всё и Марат. Он резко вскочил на ноги и бросился бежать. Затёкшие ноги плохо слушались, и уже через секунду на удивление подвижный для своей комплекции Фофан сбил его с ног. Маратик заорал «На помощь!», но через секунду получил ещё один удар, а затем скотч намертво склеил ему губы.

Алексей, воспользовавшись тем, что все заняты потасовкой, отполз в сторонку. Тут было практически ничего не видно, но бандиты разговаривали достаточно громко, и можно было понять, что там происходит.

У Марата, похоже, быстро иссякли силы к сопротивлению, он снова был скручен скотчем, теперь и по рукам и по ногам. «Замшевый» отправил «скалозуба» докапывать яму, а сам отчески объяснял жертве, почему Роман Викторович попросил закопать его живым в землю. Мол, мы тебя не убиваем, в землю ты давно сам себя живьём закапываешь — таков твой логический конец. Даже ведро тебе на голову наденем, чтобы у тебя было немного времени всё понять и осознать. За тачку, мол, не беспокойся, мы всё в лучшем виде оформим. Так что спи с миром, падла. Ещё один удар и слабые поскуливания.

Волокли беднягу по земле. Бросили в яму и ловко, в две минуты, засыпали. «Скалозуб» немного потоптался сверху для уплотнения, и троица, пере-

ключившись на разговор о скорой поездке «замшевого», которого они называли Лёнчиком, в Испанию, двинулась к машине. При этом, Фофан, кажется, совсем потерял ориентировку в лесу и если бы не приятели, пошёл бы к машине в прямо противоположном направлении.

Лёха не стал дожидаться звуков отъезжающего автомобиля, а сразу бросился к могиле. Разрывать её без каких либо инструментов неудобно и тяжело. Через несколько минут у него болели сорванные ногти на руках, а он истово грёб и грёб, помогая себе и локтями и пятками. Никогда в жизни он так не боялся опоздать. Наконец руки его скользнули по жёлтому пластиковому ведру, и он услышал истерические всхлипывания. Можно было сделать небольшую паузу, и немного перевести дух.

\*\*\*

Лёху била дрожь. Он никак не мог остановиться. Он понял, что переживал за Марата так, словно его самого закапывают в землю. Только теперь, когда освобождённый сидел на земле в трёх шагах от него и тихонечко выл, держась грязной рукой за голову, напряжение стало спадать, вылившись в этот дикий озноб. Марат его не узнавал, а Лёха и не разговаривал с ним. Вытягивать изрядно погрузневшее со студенческих времён тело Маратика оказалось совсем не просто, тем более, что было не понятно, больше помогает или мешает он своими конвульсивными движениями. Вытащив полуживой груз, Лёха взрезал скотч на руках и ногах своим «швейцарским офицерским». Честно говоря, он опасался, что у спасённого поехала крыша. Марат сидел и выл даже не освободив рот от клейкой ленты.

Чтобы немного успокоиться и согреться, Лёха стал разжигать костёр. Довольно чудно, при двадцати двух градусах в тени или что-то около того. Когда костёр разгорелся, Лёха взял ведро и пошёл вниз по рельефу поискать, нет ли здесь воды, чтобы хоть немного отмыть руки. Ему повезло: совсем недалеко, не больше сотни метров, протекал светлый ручеёк, куда он и опустил ноющие, в ссадинах, пальцы. Умывшись, набрал в ведро воды и вернулся к несостоявшейся могиле и её хозяину.

Марат уже сидел неподвижно около костра, держась левой рукой за правое плечо, скотча на его лице не было. Лёха поставил ведро рядом, но тот даже не повернулся.

Что теперь делать? Пойти и оставить Марата здесь? Очухается – выберется. Что с ним будет дальше? Вроде не Лёхино это дело. И не друг он ему давно, скорее — наоборот.

Маратик совсем не был похож сейчас на того лощёного бизнесмена, каким казался совсем недавно, больше на себя двадцатилетней давности, без страховки полезшего на утес и прокатившегося, в результате, по всем острым камням. Девчонки тогда охали и перебинтовывали его многочисленные ссадины, а руководитель их, Костя, хмуро поблагодарил Маратика, что тот остался жив и пообещал, что сроду его больше в горы не возьмёт.

— Я сначала решил, что ты с ними, — наконец нарушил тишину Марат и зашёлся в сухом кашле. — Думал, отрывают, чтобы ещё мучить, а потом всё равно убьют.

— Умойся, — показал на ведро Лёха, — давай полью.

Марат попытался снять с себя пижаму, но не смог: рука опухла в плече и не поднималась. Пришлось Лёхе самому отмывать ему руки и разбитое лицо. Приложил листы подорожника к ранам.

— Куда ты теперь? В милицию? Я так понимаю, что они тебя не оставят, если увидят живым.

— Не оставят, — мотнул головой Марат, — Факт. И не только они. Мне сейчас многие угрожают. Даже ты, вон.

— Я?! — удивился Лёха. Вот как оно, оказывается. Тут его осенило: — Слушай-ка... Что же, это ты сам ко мне тогда того капитана подослал?

Маратик съёжился под его взглядом, долго ничего не отвечая.

— Я... — промямлил он, — я тогда в шоке был. У меня к тому времени всё развалилось. Алка моя слиняла. Я ей предлагал расписаться официально. С неудачниками, говорит, только дуры живут. Ребятки эти бандитские жёстко наезжать стали, проигрался в пух и прах в тот день. В этот момент ты со своими угрозами.

— Да не угрожал я!

— Может и не угрожал, — вздохнул Марат. — Может это я так воспринял. Я же говорю... весь мир против. Вот я на тебя и окрысился. Приятеля своего попросил тебя разыграть жёстко, чтобы неповадно было. Думаю, что если ты такой болван, что деньги принесёшь, то я тебе эти же деньги может и верну, а нет — так хоть в штаны наложишь.

— Наложил... — горько подтвердил Алексей.

— Извини... Я никак не ожидал, что ты ещё и дёру дашь. Хотя, мне это, конечно, на руку было.

— Ну и сволочь же ты, Каримов... — только и выдохнул Лёха.

— Знаю я, — уныло кивнул Маратик. — Сволочь. Сам себя в такое болото засадил, что ... Это как в шахматах говорят: в плохой ситуации могут быть только плохие ходы. Вот и я... как зверь загнанный. И что Алка ушла — тоже сам виноват. Я с этой рулеткой человеком быть перестал. Хуже наркотика — как воздух нужно. Размеров проигрыша уже не оцениваешь. Потом обернулся... Мать моя! Долги такие, что за тысячу лет не расплатишься. Это в начале девяностых всё лихо выходило: сегодня пусто — завтра король. Я на бумагах тогда хорошо поднялся. Программистом в банке работал. А тогда колхозам живых денег не давали, платили векселями. Наш банк как раз проводил платежи. Я свёл несколько человек вместе удачно, обналичивали это дело. Сейчас это «преступная схема» называется, а раньше в порядке вещей было. Колхозники тут тридцать процентов теряли, а если бы по официальному каналу и с тогдашней инфляцией — половина бы выходила. Короче, всем хорошо. Потом меня, правда, из этой схемы выдавили, как лишнее звено, но с такими деньгами можно было много чего повернуть. Карманы государственные нараспашку. В казино тогда только из любопытства ходили. Сама жизнь как непрерывное казино. Девяностые на убыль пошли, а не все это заметили, и я тоже пропустил. Мне бы, дураку, в депутаты или в чиновники, а я на них свысока... А они уже сообразительные стали, и к сладким пирогам никого не подпускают, только сами нарезают. Ситуация новая, но на жировых запасах ещё можно было жить, я же контрольный пакет акций на небольшой кирпичный заводик приобрёл практически бесплатно. Но в тот год я в Алку втюрился, ну как пацан просто. В казино её и встретил. Она с подругой была. Мне в тот день фантастически везло, а тут ещё и её бездонные глаза. Вот так и понеслось. А жена бывшая — она же дочка прокурора. Ну и объяснил мне её папаша, что если я ей этот заводик не передам, то верну его отечеству, а сам буду на нарах загорать, а дырки в законодательстве он своим прокурорским телом прикроет. Выбор, сам понимаешь, небольшой.

Марат замолчал, и некоторое время казалось, что на этом его рассказ иссяк. Алексей сидел, прислонившись спиной к шершавой липе и опустошённо смотрел в небо. Рассказ этот он сопоставлял с собственной историей. Какой же могучий водоворот перетряхнул их судьбы! Эх, если бы всё оставалось как в те времена, когда они светлыми юношами покинули стены

родного университета! Сам он, возможно, стал бы в своём отделе начальником геодезической партии, женился бы, и был бы уверен в завтрашнем дне: в пятницу — собрание, десятого — зарплата, в мае — праздничная демонстрация, а после неё шашлыки на природе. Маратик бы работал в своём институте прикладной оптики в Дербышках, куда попал по распределению, и наверняка защитил бы уже диссертку к этому времени и начальником отдела ходил. Нет, время сделало немыслимую загогулину, стряхнув их со своих плеч, и оставило в этом лесу: выбирайтесь сами, если сможете.

Наверняка и Марат думал о чём-то подобном. Он вздохнул и пробормотал: — Неужели я это про себя рассказываю? Словно в чужой жизни побывал... Голливудский фильм. Из чемоданчика достаёшь пачку — не по сумме, а по толщине — резинкой обернул и пошёл. Часть Алке вместе с утренним поцелуем, чтобы не скучала в тёплую ладошку сунул. А потом постепенно чемоданчик пустеть начал, и новых бумажек в нём не появляется. Денег долго нет — у Алки тут же истерика. Я, чтобы успокоить её, беру в долг, обманываю, что сделка прошла. Чтобы напомнить о нашем романтическом знакомстве — в казино её сводил. Вот тут, похоже, что-то во мне переключилось. Может от того, что не хватало азарта девяностых, когда можно, ничего не имея, вдруг очутиться наверху, а отчасти, возможно, пытался зашить дыры бюджета таким вот простым способом. Я всю жизнь считал себя везунчиком, и тут мне тоже порой везло фантастически. Был у меня счастливый месяц, так я каждый день с выигрышем уходил, понемногу, но каждый день, понимаешь? Правда, потом за неделю всё это спустил и даже гораздо больше. Тогда я смог остановиться. Хватит, думаю, судьбу испытывать. Но это как пожар на киноплёнке: стоп-кадр делаешь, а снова горит уже не сначала, а именно с этого момента. И этот месяц, когда я выигрывал, он так прочно в башке застрял, что всё время ждал его повторения. Бизнес у меня уже хиленький был, хотя многие за крутого принимали, кредиты легко давали. Внешне я старался соответствовать. Одно время обналичку через Москву гонял. Два процента моих. Не густо, но на новую шубу для Алки и на тачку приличную можно рассчитывать. Когда этот канал закрылся, я понял, что хана пришла. К знакомым в менеджеры пойти, и то не могу. Они и не предлагают, думают у меня успешный бизнес, а я тоже не могу карты свои раскрыть. Не согласится человек, а о моей несостоятельности слухи пойдут. Так я хоть боком на плаву держался: комиссионные при сделках, проекты проталкивал по старым знакомым... Может и зацепился бы за что-нибудь ценное, но тут у нас с Алкой первые серьёзные конфликты пошли, и стал я чувствовать, что теряю её. Подарок делаю — она вроде ничего, а потом опять холод. А денег брать неоткуда — я снова к рулетке. Алле я не говорил об этом, она всегда думала, что я на работе или в командировке. Пару раз тачку мою около казино заметила, выпрашивала... Я её успокоил, что к коллегам по бизнесу заезжал. Стал в Москву чаще ездить, там ставки крупнее. В один ужасный момент проиграл всё и намного больше. Я наверное неделю практически не спал, искал деньги и снова ехал и продувал всё до копейки, и опять искал, у кого можно занять. Три раза из Казани в Москву прокатился. Алке кто-то из знакомых сообщил, она меня там и выловила. Я её даже и не узнал сразу. Она сбоку стояла, наблюдала некоторое время, а потом подошла и сумочкой по лицу — хрясь.

Потом были слёзы, мать её к нам из Чебоксар примчалась, волком на меня глядела. А для меня в тот момент этого мира вообще не существовало: я перед собой колесо вижу, и угадать пытаюсь, где шарик сейчас будет, и только думаю, где же ещё денег взять. До удачи-то всего один шаг. Короче она меня к психотерапевту повела. Тот спрашивает: «Если подарю миллион, пойдёте в



казино или долг кому-нибудь отдадите?» — «Пойду», — отвечаю. Короче за семь сеансов и пятьдесят тысяч рублей он меня типа в норму привёл, закодировал. Ну, этого на три месяца хватило. Я тебя как раз в этот период и встретил, когда с автоматами советовал. А когда ты деньги притащил, меня уже новая волна накрыла, и твои припасы тоже в этот суп ушли. Потом я уже и квартиру свою продал. Алке сказал, что в новую переезжаем, а реально снял её сразу на два года. Остальные деньги — на долги. Мы с ней официально не зарегистрированы были, эта продажа мимо неё прошла, она даже не заметила. Со счетами на чужое имя только всё время удивлялась, но я ей объяснял, что это фамилия бывшего хозяина, коммунальщики у нас тормозные.

\*\*\*

— Дальше там уже всё просто. Алка не выдержала — не только мне, но и ей угрожать стали. Отправилась в свои Чебоксары к маме. Я только тогда понял, как она мне нужна. Приехал к ним, но мне и двери не открыли. Мамаша её через домофон пообещала вызвать милицию, если я не отстану от Алочки. На улице подкараулил — она на меня словно на слизняка смотрит. В следующий приезд с другим её увидел... Остался я один. Нет не один — с долгами. Хотел дачу продать, чтобы хоть с кем-нибудь рассчитаться, но она в залоге под кредит и под арестом сейчас. Предлагал я её в своё время Банану за долги — не захотел. Теперь ничего не получит. Хорошая дачка: три этажа, бассейн, сауна, гараж. Недалеко, кстати, отсюда, на территории заповедника, рядом с ещё несколькими такими же. Покупателя на такую найти не просто, поэтому сразу её тогда и не продал. Сегодня я думал, что это приставы с утра ломаются, а это — живодёры Банана.

— Какого банана? — не понял Лёха. — Они о каком-то Романе Викторовиче говорили.

— Ну да, — согласился Маратик, — Сейчас он Роман Викторович, всеми уважаемый человек, владелец заводов-газет-пароходов, а раньше просто Бананом был — рэкет, убийства. Лидер ОПГ — организованной преступной группировки.

Марат снова умолк, ничего не спрашивал и Алексей, смотрел на тлеющие угли, и думал, что он просто счастливчик рядом с этим человеком.

— Не верну я тебе денег, Лёха, не верну... Прости. — глухо сказал Марат. — Нет у меня денег и, знаю, что не будет. В рулетку я больше не игрок, и взяться им теперь неоткуда. Оставаться я тут тоже уже не могу — если не Банан, то кто-нибудь другой расправится, есть у меня ещё парочка таких же друзей.

— И что ты собираешься делать? Жить в лесу? Не выживешь, — Лёхе пришла мысль, что разговор их становится похож на его диалог с Павлом Афанасьевичем.

— Ты же выжил, — криво усмехнулся Маратик и в глазах у него впервые за это утро мелькнуло что-то живое. — Я в самом деле хотел сбежать. У меня есть даже израильский паспорт, когда-то думал — для бизнеса, а теперь вот... поеду хумус жарить где-нибудь около Хайфы. Можешь называть меня Мешулам. Мешулам Коэн

— Ты разве еврей? — удивился Алексей

— Когда страна прикажет быть евреем, у нас евреем становится любой, так теперь говорят, — Маратик поморщился, снова попытаться пошевелить плечом. — Мне до дачи как-то добраться надо. Паспорт у меня в тайнике в гараже припрятан. Эти живодёры вряд ли его найдут. Знать бы, куда идти.

— До электрички я тебя доведу. Только... выглядишь ты не очень.

— Ты себя не видел.

— Я может, и смахиваю на бомжа, но в окровавленной пижаме не бегаю. Давай-ка мы сделаем так. — Лёха поднялся с земли и стал стягивать с себя энцефалитку. — Надень вот это.

Легко сказать, ведь энцефалитку надевают через голову, а любое движение рукой вызывало у Марата дикую боль и стон. Тогда Алексей распорол свою куртку по бокам, и она стала надеваться как мушкетёрская накидка. Один домашний тапок Марата валялся около ямы, второй удалось найти там, где прежде стояла машина. Через несколько минут на дорожку вышли два бомжа. Один худой и обросший, в туристических штанах и футболке, второй — в грязных голубых штанах, в домашних тапочках и в рваной накидке защитного цвета. Этот второй лицо имел опухшее, с многочисленными ссадинами, держался за плечо и чуть прихрамывал.

\*\*\*

— Алло! Саня, привет, это Лёха, ты сейчас дома?

— О-о-о, Леший, ёлы-моталы! Ну да, дома, сегодня же суббота, а чё надо-то?

— Саньк... А ты того... сегодня не употреблял? — Алексей знал, что его кожласолинский друг детства стал большим любителем выпить, поэтому внутренне напрягся, ожидая ответа.

— Да вот, стакан уже налитый. Прямо сейчас и хряпну за твоё драгоценное.

— Слышь, Сань, не пей а? Помощь твоя нужна. У тебя ведь машина на ходу?

— Ну да, а что ей будет?

— Придётся тебе, Саня, таксистом поработать. Бензин мой.

— Да нет вопросов, Леший. Говори, куда едем.

\*\*\*

Когда они подошли к станции, старенькая «Нива» оливкового цвета уже ждала их с распротёртыми дверями. Санька называл это «система "русский кондиционер"». Сам хозяин дымил сигаретой, прохаживаясь вокруг своего сокровища. В чём был, в том и приехал: в дырявых на коленках джинсах и в застиранной футболке, имеющей некогда розовый цвет и английскую надпись «Puma» во всю грудь. Санька не без оснований читал эту «пуму», как «Риту» и каждый раз объяснял продавщице сельмага Ритке, что это он только ради неё такую футболку носит, а значит с неё кое-что причитается. Ритка радостно фыркала и каждый раз заявляла: «Не дождёссся».

— Вы чё, мужики, месяц в лесу бухали? Ну и видуха у вас. — встретил Саня подошедших ворчливым говорком.

Лёха, не вдаваясь в подробности, объяснил, что произошло этим утром, и это вызвало огромный энтузиазм на веснушчатом Санином лице.

— Поехали догоним! У меня дрына классная есть — у одного «артиста» отнял. Он меня этой дрыной хотел обработать, когда я его тачку чуть не задел. Потом сам же и извинялся, и дрыну подарил. — он вытащил бейсбольную битку из-под сиденья. Саня никогда не выглядел Гераклом, но в драке он был неподрожаем. Откуда что бралось.

— Нет, Сань, — улыбнулся Алексей, — давай-ка, мы просто доведём товарища до его дачи, а потом вместе двинем в Кожласолу. Что-то я от этих приключений устал.

\*\*\*

— Где-то тут должен быть поворот налево, — объявил Марат, разглядывая дорогу с заднего сиденья автомобиля.

Оливковая «Нива» сбавила скорость, пропустила встречную и уже собиралась выполнить манёвр, как со стороны дач им просигналил чёрный внедорожник и на полном ходу, по-хозяйски выпрыгнул на трассу, за ним второй — серебристый.

— Вот уроды, — возмутился Саня, — столб им в бампер.

— Это они, — взволнованно произнёс Марат, отпрянул от бокового стекла и вжался в сиденье.

Чёрный BMW, а за ним серебристый Маратов Lexus понеслись в сторону Казани.

— Саня, ты куда? Нам налево здесь! — Лёха тоже почувствовал себя несколько неуютно, осознавая, что «Нива» их стала энергично набирать скорость, приближаясь к двум тонированным «чемоданам».

— Мужики! Никогда живых киллеров не видел. Дайте хоть одним глазком... Роскошная у твоего приятеля тачка. Может, вернём её?

— Саня, если они Марата увидят — ему не жить. — тревожно заскороговорил Лёха

Даже если не сейчас... они его потом найдут.

— Не бойсь, не увидят. — Лёха ещё в детстве не единожды видел такое выражение Санино лица. Этот прищуренный взгляд и поджатые губы означали, что у Сани есть какая-то мысль, и он уже от неё не отступится. — Там брезентуха вон на заднем сиденье — пусть прикроется, или в багажник его спрячем.

— В багажник не надо, — грустно прозвучал голос с заднего сиденья, — там я сегодня уже накатался.

— Разворачивайся, Саня. Или ты решил их до Казани проводить?

— Нет, мужики, вы не чухаете. Работа киллера трудна и опасна, а они же с утра трудятся в поте лица — голодные явно, а тут недалеко по дороге шашлычная. Григорий хозяин. Шашлыки там знатные, язык проглотишь. Там не только дальнобои, там и крутых тачек всегда полно. Эй, убитый, а у тебя какой-нибудь секретный фокус в машине есть, чтобы она не поехала?

— Кнопка, — восторженно воскликнул Марат, — там кнопка под водительским сиденьем, около двери, коврик только немного отогнуть надо. Зажигание блокируется.

— Они её всё равно на тресе утащат! — Лёхе очень не нравилось такое неожиданное развитие событий.

— Точно, — ухмыльнулся Санька, — соображаешь. Тесёмка у них наверняка есть. У них тесёмка, а у нас — Сёмка. Ты же знаешь Семёна, свояка моего? Он же в ДПС трудится, сегодня он на трассе в сторону Казани, там где пост у них. На полном ходу он их, конечно, чёрта с два остановит — пролетят на ста семидесяти. А на буксире далеко не убежишь, извините-подвиньтесь.

Внедорожники сбавили скорость и остановились на площадке около шашлычной. «Нива» притулилась в нескольких метрах позади.

— Я их отвлеку, — Санька отстегнул ремень, не отрывая взгляда от машин впереди. — Главное, чтобы они на сигнализацию не успели поставить, момент надо поймать... Убитый, ты не высовывайся, а ты, Леший, аккуратненько ищи там эту хитрую кнопку.

Алексей видел, как сначала из передней машины вышли двое, затем открылась водительская дверь «Лексуса», и из неё выбрался Стриженный и взглядом задумчивой гориллы просканировал окрестности. Не слышал Лёха, чего такое ляпнул ему подошедший Санька, но лицо гориллы моментально

приняло озадаченный вид. Стриженный, оставив дверь распахнутой, стремительно бросился за удаляющейся в сторону шашлычной розовой футболкой, пытаясь схватить за плечо её содержимое, а Саня так же ловко уходил от этого захвата. Действие переместилось вправо от машин. Там уже стриженный Фофан размахивал кулаками, безуспешно пытаясь нащупать ими Санино лицо, а замшевый Лёва и «скалозуб» стояли, спрятав руки в карманы курток, и с интересом смотрели на это представление. Саня покрывал всех налево и направо ругательствами, достойными того, чтобы их вписали в какой-нибудь «Сборник самых отвратительных выражений», если такой существует.

— «Пора», — Лёха вылез из машины. Быстро обошёл «Ниву» сзади и, убедившись, что на него никто не обращает внимания, проскользнул к открытой двери «Лексуса», из салона пахло запахом натуральной кожи и дорогим одеколоном. Сердце колотилось кузнечным молотом. Где этот чёртов выключатель? Он несколько раз провел рукой под креслом, пока не обнаружил небольшую складку, вроде кармашка, а под ней углубление с кнопкой. Нажал. Вроде ничего не произошло, только еле слышный щелчок. Назад. На сцене события развивались. Санька устроил настоящий гвалт, доказывая всем в округе, что стриженный «подрезает и ездить ни черта не умеет, и пусть на тракторе сначала научится». Футболка его уже основательно разодрана, а голова взъерошена. Выглядел он точно, как петух-задира, который жил в Санькином дворе. На шум вышли несколько водителей дальнотойщиков, боясь упустить самое интересное. Но тут «замшевый» взял Фофана за руку и отвёл его в сторону шашлыков, а с Саней остался беседовать «Скалозуб». Видимо он сказал ему что-то такое, после чего Саня стал рассыпаться в извинениях, прижимая руки к груди и тряся виновато головой. Потом он подбежал к «Стриженному» и стал униженно просить извинений и у него, и у его замшевого друга.

\*\*\*

— Вот сволочи, футболку порвали. Классная футболка. Как же я Ритку теперь подкалывать буду? — завопил Саня, когда они развернулись и стали быстро набирать скорость.

— У меня есть, я подарю, — сообщил Марат из-под брезента.

— Да ладно, — протянул Санька. — У Ритки теперь хахаль красногорский, поймёт ещё неправильно. Телефон давай, Семёну звонить буду.

— Может не стоит, — поёжился Марат, — ребятки крутые, у них и оружие, наверняка есть.

— Это они у вас, в Татарстане, крутые яйца, а у нас будут всмятку... Сёма? Привет, отличник боевой и политической! Как там у вас с законом Бойля и Мариотта, соблюдаете? А правило буравчика? Отлично, Сём... Ну да... Нет, за рулём никогда, ты же знаешь... Ладно-ладно, это когда было, это два месяца уже. Слушай, тут дело такое — щекотливое. По твоему участку «Бумер» скоро поедет, на прицепе у него «Лексус» серебристый с тремя семёрками на корме. Короче, второй в угоне, а хозяина эти, вроде как, замочили. По крайней мере, они так думают, и пусть себе думают. Стволы у них, сам понимаешь должны быть... Что? Да абсолютно серьёзно, Сём, не до шуток. Трезвый я, трезвый. Бандюки самые конкретные... Ну что, в штат меня берёшь? Ладно давай осторожненько там, бронешилеты и всё такое, а то с кем я без тебя квасить буду. Пока.

Потом отвозили Марата в медпункт, вправляли плечо, убеждая медсестру, что человек скатился в нетрезвом виде с лестницы и прямо на клумбу с цветами, поэтому никакого смысла нет сообщать куда следует. Оттуда напрямик доставили на дачу.

Саня стоял около камина в английском стиле и почёсывал небритый подбородок:

— Ого, вот так Дом Культуры! Знал бы — двойной тариф за перевоз назначил. А погуляли тут ребята сурово, всё перевернули. Ладно Марат, телефон я тебе Сёмкин оставил — заберёшь свою тачку, если всё нормально будет. Семёну — литр коньяка, он это любит, но больше не ставь — сопьётся, зачем моей сеструхе алкоголик. А нам пора, Лёха, Катька там баню топит, ехать надо, пока не остыла. В смысле, пока Катька разгорячённая.

Маратик лепетал «спасибо, спасибо» и откуда-то снизу заглядывал им в глаза. В своём перевёрнутом вверх ногами особняке он смотрелся чужеродным телом, мелкой соринкой. Лёха испытал огромное облегчение, когда они, наконец, сели в машину и отправились домой. Да, тут он произносил «домой» без всяких сомнений. Сейчас именно там, в Кожласоле, его самый главный и единственный дом. Но сначала он будет мыться в бане у Сани и Кати, тоже, между прочим, Лёхиной одноклассницы и сбреет, наконец, эти заросли на щеках, иначе мамка совсем перепугается.

— Хороший выходной получился, — довольно ощерился Саня, нахлёстывая себя берёзовым веником и снова опуская его в холодную воду, — сейчас ещё граммов сто пятьдесят примем, и как заново родились. Я только одного не понимаю, Леший: ты вот мне про этого Марата рассказываешь... Или я ничего не понял, или он кинул тебя самым воровским образом, и поглумился ещё. Зачем же ты его спасать тогда полез? Придушили бы они его, и твоя совесть спокойна. Он же никогда твоих денег не вернёт. Гнида он.

— Не знаю... А сам ты зачем рисковал? Слушай, не плечи больше на камни, не то задохнусь скоро.

— Ладно...Ну, я-то думал — он твой приятель и вообще... интересно, а то живешь... каждый день работа, телек... бухло, а ведь уже пятый десяток пошёл. Ещё немного и...привет.

— А я, Сань, анекдот про козла вспомнил. Слышал, наверное: у мужика всё хреново в жизни было, а ему мудрец посоветовал козла завести. Мужик ещё хуже, а мудрец снова тут как тут. Всё отлично, мол, всё по плану, ты продай теперь козла-то. Мужик продал, и так ему хорошо стало. Вот и я также. Думал, что самый несчастный: жена ушла, квартиры нет, работа потеряна, долгов куча. А тут случилось такое, что я вроде как бы убийцей оказался. Мало того, что тюрьма светит, ещё и душа мучается. А как узнал, что никого не убивал, понял, что жить-то хорошо, и что сын у меня растёт, хоть и не со мной. Позвоню ему сегодня же, соскучился я ужасно. Так что, как это не смешно, а благодарен я этому Марату.

— Да, не зря я тебя в детстве Лешим прозвал. Это ж надо — целый месяц в лесу прокочковаться. Слушай, давай вываливаться отсюда, а то перепаримся, и кончится твоё счастье, не начавшись.

Вышли в предбанник, где уже лежало чистое бельё обоим.

— Молодец, Катерина, соображает... — гордо произнёс Саня, набрасывая махровое полотенце на свою розовую спину.

— Ага... Слушай, Сань. Тогда в детстве, когда в озеро ныряли, ты точно креста церковного под водой касался, или придумал всё?

Санька перестал вытираться, повернул лицо к Алексею, посерьёзnel совсем и произнёс тихо и значительно:

— Точно, Лёх.

Но Санька, он ведь и соврать может на серьёзном глазу. Такой он. На него и обижаться трудно. Поскачет, вон сейчас по дорожке на одной ножке и заголосит как в детстве: «Обманули дурака на четыре кулака, а дурак послушал — все очистки скушал».

\*\*\*

Позвонил в Москву, а там и Ленуся и Стасик наперебой трубку выхватывают, вроде бы и впрямь соскучились. Лариса опять делала строгий голос, выговаривала, что он детям совсем не звонит. Не чужие, между прочим. Договорились, короче, что на следующий день она отправляет их поездом к нему на целых две недели, он им и Казань покажет, и в Кожласоле побудут, не в Москве же им в такую жару изнывать.

Сестре позвонил, признался ей во всём, а Галка будто и знала уже всё.

— Ладно, — говорит, — Лёш, не бери в голову. С машиной мы как-нибудь потом, а Рустам, он только с виду суровый. Побурчит чуть-чуть и успокоится. Когда будет возможность, тогда и будешь возвращать, только не лезь ни в какие авантюры из-за этого, ладно?!

И ещё один звонок прозвучал в этот день:

— Алло, это ты Лёха-джан? Юнус говорит, помнишь такого? Салам, салам. Потерял тебя, целый месяц звоню-звоню. Олимпиаду в Сочи строить пора. Без узбеков Путин не справляется, а узбеки без тебя не справятся, Лёха-джан. Приезжай быстрее. Начальником у нас будешь. Геодезию знаешь, стройку знаешь, а самое главное — доверять тебе можно. Без тебя пропадёт олимпиада. Я тебе пока тридцать пять тысяч платить буду, потом больше будет, давай Лёха-джан, тут года на три ещё точно нам работы хватит.

— Нет, Юнус. Сразу семьдесят тысяч и жильё оплачиваешь, — твёрдо заявил Лёха и сам удивился своей наглости. — «Потом будет» мне не надо. Если устраивает — через две недели выезжаю.

Юнус на секунду замолк и продолжил всё так же жизнерадостно:

— Хоп, Лёха-джан, будет тебе семьдесят. Молодец. Сам себя ценить надо, тогда и другой будут ценить.

И это были замечательные две недели: с аквапарком и кинотеатрами, с походами к друзьям, с книгами, с чудными уголками старой Казани. Ленка совсем взрослая, красивая становится и заботится о Стасике, как мама, а он растёт замечательным мальчуганом.

Тут уж, как начинает везти, то во всём. Когда однажды вечером вернулись в общагу, вахтёрша передала ему толстый конверт. Лично в руки, мол, просили, вежливый такой приходил, в костюмчике. Алексей вскрыл конверт и на стол посыпались стодолларовые купюры, ещё была маленькая записка: «Машину с учёта снял, продал в Чебоксарах. Не слишком дорого, но быстро. Эти деньги — твои. С уважением и бесконечной благодарностью, Мешулам Коэн», так что рассчитался Лёха со своими долгами и подарки детям купил.

А потом — Кожласола, счастливая бабушка, грибы, ягоды, рыбалка. Алексей организовал поход до Горы Желаний, с ночёвкой в землянке, с костром, а на рассвете он привёл детей к камню на холме и объявил, что они могут загадать себе любое желание, и оно непременно сбудется. Ленуся и Стасик, серьёзные, стояли на этом валуне, взявшись за руки, и Лёха подумал, что и сам он готов сделать всё что угодно, чтобы сбылись их желания. А потом купались в озере, фыркая и сотрясая утренний лес радостным смехом, и просили папу когда-нибудь привести их сюда ещё раз. Вот тут и вспомнил Лёха снова о Павле Афанасьевиче, и сердце его тревожно ёкнуло.

Он посадил детей на поезд, и тут же пошёл отыскивать дом, в который его тянуло, и сдерживал страх неминуемой потери. Найти оказалось совсем несложно, но уже около подъезда ему сообщили, что Павла Афанасьевича больше нет. Он всё-таки поднялся в квартиру, и его впустили, не спрашивая, кто он и зачем. Там за столом сидели незнакомые Алексею люди и смотрели фотоальбом. Это были фотографии молодого Павла Алексеевича: на Памире и около моря, около Букингемского дворца. Очень много фотографий

со студентами и с бывшими больными. Полина Ивановна переключивала их дрожащими пальцами и таким же ненадёжным голосом рассказывала о каждой свою историю. На одной из фотографий Павел Афанасьевич, лет пятидесяти, стоял на фоне неба на большом камне в одних чёрных «семейных» трусах и, видимо, о чём-то весело говорил.

— Это же... на Горе Желаний? — осторожно задал Лёха вопрос.

— Да, — подняла на него глаза хозяйка, — а Вы тоже знаете эту историю? Ой, Вы же, наверное, Алексей?

Лёша молча кивнул.

— Извините, я приняла Вас за сотрудника Паши. Лёшенька, а ведь Павел Афанасьевич оставил Вам небольшое послание. Вспомнить бы сейчас, где оно... — Полина Ивановна тяжело поднялась и направилась в другую комнату.

Сидящие за столом негромко переговаривались. Лёха не вслушивался в их беседу. До него долетали лишь отдельные фразы: «основатель целого направления», «разносторонняя эрудиция», «не до конца оценено»...

Старушка вернулась и подала Алексею конверт. Он был сложен треугольничком, словно письмо с фронта Великой Отечественной. Лёха поблагодарил хозяйку и сунул конверт в карман, ему хотелось прочитать это одному — не пробежать суетливо глазами, а с благодарностью вчитываясь в каждое слово.

Он пробыл в квартире Павла Афанасьевича ещё около часа. Полина Ивановна поднялась и сказала, что сейчас они будут пить чай, потому что Паша очень просил всех, кто придёт, угощать его любимым пирогом с яблоками. Правда сейчас она такая растерянная, что часто всё забывает, и совсем не уверена, что положила в пироги всё, что полагается. В пирогах в самом деле не оказалось соли, но никто в этом не признался, и очень хвалили хозяйку.

В душном, с искрящим контактными щётками, троллейбусе Лёха доехал до центра. В нагрудном кармане у него — билет до Сочи. В этот «горячий» отпускной период купить билет — большая удача. Завтра он сядет в поезд и отправится к своей новой жизни. Он уже сдал свою комнату в общежитии, и теперь его тяжёлый рюкзак и здоровенная сумка приютились в моей прихожей. Но ко мне он приедет только поздно вечером, потом, когда простится с городом. День грузно оседает вместе с уставшим солнцем, скатившимся к горизонту. Окна на восточной стороне улиц пылают солнечным пожаром, на западной — усталились пустыми тёмными глазницами. Начало августа, воскресенье. Обезлюдивший центр Казани напоминает вечерами пустой колодец. Над крышами ещё властвует светило, а тротуары уверенно захватила вечерняя тень. Именно в такие минуты открываются заржавевшие заслонки в душе, и она смотрит вверх и, возможно, соприкасается с другими такими же распахнутыми.

Ноги привели Лёху в притихший университетский двор, к выщербленным ступеням позади астрономички, с её почти религиозными куполами. Для Лёхи это центр мироздания или, вернее, один из центров. Живёт человек, по земле идёт. Где-то и следа не оставляет, хоть и топчется десятки лет, а где-то только коснётся — и остаётся огромный кусок души. Для Лёхи это море, Кожласола, вот это место в Казани, а теперь ещё и прозрачное озеро с замшелым валуном на холме посреди бесконечного марийского леса.

Алексей открыл треугольный конверт и начал читать строку за строкой. Я имею возможность передать не только смысл, но и текст письма, конвертик этот остался у меня на журнальном столике после нашего с Лёхой затянувшегося до глубокой ночи разговора. Ну ничего, мне с утра на работу не надо, а Лёха в поезде отоспится.

\*\*\*

«Здравствуйте, дорогой Алексей!

Я совершенно уверен, что Вы прочитаете это письмо, и даже ни секунды не держу мысли, что Вы можете быть в тюрьме или как абрек прятаться всю жизнь в лесах. Мне кажется всё-таки, что я немного разбираюсь в людях.

(Своей смертью — *зачёркнуто*) Своим уходом из жизни я, возможно, лишил Вас веры в чудо, а я бы не хотел этого делать.

Мне придётся честно признаться в некоторых вещах. Я и в самом деле слышал некую байку от одного из моих пациентов, что существует такое место, где можно пожелать чего угодно и оно обязательно сбудется. Ему об этом рассказывал дряхлый старик из его села, но даже и тот не знал, где это место находится и как выглядит.

Озеро и холмик этот живописный, они мне в своё время так понравились, что я с удовольствием пристроичил к ним эту старую легенду, и лосиные рога приделал к дубу тоже я, а ещё и ленточки цветные поначалу накрутил на ветви, пояски с марийской вышивкой. Сам я в это, конечно, ни минуты не верил, придумал, чтобы друзей потешить и удивить. Но однажды был случай, когда больному для выздоровления не хватало совсем немного веры в себя. И ему помогло. Примерно так же исцеляют святые мощи — на одной вере. Потом это повторилось ещё пару раз. Одного больного туда на коляске жена везла и вдвоём мы его затаскивали наверх. Тут, по правде говоря, и я уже не особенно предполагал успеха, но выздоровление случилось.

Что удивительно, многие из моих друзей тоже утверждали, что их желания сбываются. В той или иной степени, в том или ином смысле, но сбываются. До сих пор неожиданно звонят и сообщают об этом. Они крайне разочаровываются, когда я им честно рассказываю о том, что это всего лишь маленькая инсценировка и моя фантазия. Как человек науки, я и сам готов поверить в чудо, если это научно проверяемое чудо. Критерии простые: воспроизводимость и повторяемость. Но, как гласила легенда, выполняется всего только одно желание в жизни. Кто же захочет единственный раз воспользоваться чудом и попросить для себя какую-нибудь легко проверяемую ерунду, вроде шоколадки в пустом кармане? Таких нет. К тому же желание должно быть сильным, всеобъемлющим. Истина каждый раз ускользает из рук, чудо пугливо и непредсказуемо.

Только находясь (на грани между — *зачёркнуто*) у последней черты, перестаёшь сопротивляться своей вере. Сейчас я нисколько не сомневаюсь, что Гора исполняет Желания, пусть даже я сам её придумал.

В тот день я действительно собирался попросить пару-тройку годков для себя, забрался наверх, сижу и думаю: «Ну что ты, Пашка, суетишься? Разве плохое окончание замечательной твоей пьесы? Разве будет лучше, если ты станешь дряхлым и немощным, обузой для детей и внуков? Не лучше ли это желание другим подарить?»

В общем, не грусти, Алексей! Всё будет у тебя хорошо, это я тебе как опытный врач говорю.

С уважением, Лоскутов Павел Афанасьевич»



## **Анна Креславская. Петербург. Мосты времен**



Анна Креславская, поэт и литератор, профессиональный филолог, преподаватель, переводчик. Преподавала русский язык, всемирную и русскую литературу в лицеях и гимназиях Украины. Несколько лет жила в Великобритании, где преподавала русский язык и литературу в университете Ньюкасла, работала переводчиком-синхронистом. В соавторстве с мужем-профессором опубликовала в Великобритании научную книгу об Украине. Несколько лет жила в Бельгии. Победитель конкурсов «Эмигрантская лира» разных лет в двух номинациях: поэзия и переводы. Лауреат конкурса им. Ольги Бешенковской. Публикации в твердых и интернет-изданиях разных стран, среди которых сборники «Серверное сияние» (Россия), «Талисман» (Россия-Германия) «Альманах поэзии» (США), журналы «Эмигрантская лира»(Бельгия), «Радуга»(Украина), «Ренессанс»

(Германия), интернет-журналы «Буквица», «45-я параллель», «Еврейский журнал»(США), «Московский комсомолец» и другие. Была редактором отдела малой прозы журнала «Эмигрантская лира». Сейчас живет в Нидерландах.

*Всякое стихотворение Креславской — явление трехмерное, объемное, до краев наполненное смыслами. Гобелены стихотворений Анны Креславской с отсутствием пунктуации, разрешают читателю такую свободу, когда от каждого нового прочтения создается и новое впечатление. Сквозь искусную вязь образов, мы получаем доступ в изысканный и сложный мир мыслящего существа, все благославляющего и все подвергающего сомнению. О, как талантлива грусть Анны Креславской, как таинственно прекрасны глубины ее восприятия всего сущего! Легко владея формой, поэтесса ничего не пожертвовала рифме. Любой обертон ее голоса звучит подлинно и чисто, полностью подчинен лишь одному кумиру — тонко выверенной мысли.*

*Наташа Борисова*

*Так мне хочется, чтобы  
появиться могли  
Голубые сугробы  
с Петербургом вдали.  
(А. Ахматова)*

1

Виденье нечетко. Сознание закутано в шарф.  
Строений точеные образы. Прозелень бронзы...  
В пространстве морозном дрожащие отзвуки арф.  
И кони взлетают. И львы как надменные бонзы.

Вот солнце рождается, в талой воде раздвоясь.  
И царственной сказкой - в замесе болота и славы -  
Дворец возникает, решетки ажурная вязь  
И всадник на камне фасада разбитой державы.

2

Ах, няня, позволь постою на чудесном мосту.  
Да помню я, помню, что надо мне делать уроки.  
Какую б судьба ни достала мне с неба звезду,  
Я здесь проведу отведенные Господом сроки,

Лишь в городе этом. Ну, разве вот только война...  
Волнуется мама? Наверно. "Ах Коленька, где ты...?" —

Вот вечно кричит мне, как маленькому, из окна!..  
А нищий, смотри, на морозе — почти что раздетый...  
Мешает мне ранец. Вон дама в промерзлом окне.  
Тяжелое солнце, как всплывшая в облаке рыба...  
Зачем же сегодня привиделось страшное мне  
Во сне нехорошем? Но Богу сказал я спасибо,

За то что ведь сон это был. Только сон... Но какой!  
Мне там говорили, что больше я жить недостоин.  
И бил по лицу меня дядька, наотмашь — рукой.  
Но я был спокоен. Как старый и опытный воин...

Ах, Господи, няня, да что ты все крестишь меня?!

3

Во сне проплывает забытою лодкой весна.  
Открылся канал... То есть, по утрам вскрылась Канавка.  
И Летнего сада нагая стоит тишина...  
И в воздухе колокол музыкой медного сплава.

Намокшею птицей нахохлилась Мойка моя.  
И в прорези веток скрипит по дороге телега.  
Следы от полозьев разлезлись остатками снега.  
И плачет зима закипающей струйкой ручья...  
И тайные клады свои подымая со дна,  
Я ключиком сна отпираю прапамяти ящик.  
И прошлого рай воскрешаю в экране окна  
Рассеянной роскошью звуков и красок дразнящих.

Там разные борозды жизнью моих пролегли.  
И питерской строчкой прошили мне личное дело...  
Там сердца кораблик в залива промозглой дали  
Непрошено реет над рябью тоски поределой.

4

Мой город, распаренный солнечной баней весны,  
Я вновь осязаю глазами под куполом неба  
Колонны твои и виденья пролетов сквозных,  
Где былью становится вся моя здешняя небыль.

Проржавлены ванны твоих коммунальных квартир.  
Задернуты шторками тайны дворовых колодцев.  
Здесь книги читали до пулей оплавленных дыр.  
И строчка литая державной стопой отдается.

5

"Наверно, с моста сиганула", - прохожий сказал.  
Зачем-то и я, будто столб, в этой куче народу.  
Гляжу, как сомнамбула в мутные эти глаза...  
Счастливая женщина. Ты обретаешь свободу.  
"Ах, кажется немка. Ну что с нее, глупой, возьмешь," -  
Вздыхнула какая-то дама в толпе за каретой.

Меня пробирает предательски мелкая дрожь.  
А лекарь с колена встает, дескать, смысла-то нету...  
Она и не женщина. Водка прожгла до нутра.  
В обиде запекшийся рот уж не сплюнет упрека...  
Орет полицейский, что всем расходиться пора.  
И только шарманка с почтеньем замолкла до срока.

6

И вывернул залп на поверхность ущербное дно,  
Где город мой стал революций убийственным Родей.  
Допросов ночных он цедил чумовое вино  
И взводом расстрельным командовал утром на взводе.

Тускнеет реальность на жизни разъемном мосту.  
Закутаюсь в шарф, разгляжу у гранитной скрижали  
Заветного города гибельную красоту,  
Чью славу подонки в кровавое зелье смешали.

7

Полозья саней погребальных по сердцу скребли.  
Ресничного инея ветры коснуться не смели.  
Всех лучших уже увезли с этой мерзлой земли:  
Их время смертей укачало в летальной качели.

Я шарфом своим подбородок тебе подвяжу.  
Здесь все наважденье. Здесь нет никакого просвета.  
Такую тоску и такую кромешную жуть  
Не вспомнят, мой птенчик. И нет за зимой этой лета.

И нас больше нет. Наши вёсны зима унесла.  
Цветочек мой нежный, мой лучший... На всем этом свете  
Такая тоска. Ни рубашечки, ни волоска  
Уже не поправить. И в стайке детей не заметить.

8

До полночи жгут чернокнижную память мою  
Фонарные луны сквозь бисерно-черную морось.  
До полдня мне ангелы песню прощально поют  
И слово плывет, будто лебедь, рыдающий в голос.

Там женщина плачет без слез. Ее очи сухи.  
Она только память и горя обугленный ветер.  
Она выпевает немислимой силы стихи.  
И в каждой строке воскресают умершие дети.

9

Закутанный шарфом, свой ранец подросток несет.  
И будочник мерзнет. И пушки еще не стреляли.  
Шарманка поет о разбитой любви и печали.  
Вплывает мой город в последний, тринадцатый год.

## **Мандельштам**

Куда ты, один, ребёнок? Там лес до небес и тьма. Там плачет луна спросонок  
И глухо вопит сова.

Куда ты, щегол, проказник! Там лагерь и Колыма. Спешешь, ротозей, на праздник? А вместо него - чума.

Да - бред а беда, да — бездна. За посох, что взял, не спросив, — И кости твои исчезнут, И вещей строки курсив.

А пыль - это тоже - Камень, Измученный за века, И звезд первозданный пламень, И даже... поэт в облаках...

И ты вспоминаешь слово, Забытое навсегда, Найдя его, как подкову, За советный дёготь труда.

Того, кто с веком сражался, И равному не убить. Стиха виноградное мясо Тебе удалось пригубить.

Дверными звеня кандалами В подъездах чумных эпох, Посмеешь остаться с нами — Расхожий чертополох. —

Ты всё не устал метаться: За спичкой жилья, житья И жечься ещё и рваться Стежкам твоего шитья!

Стигийские бьются птицы О Дантовых дисков стан. И клетка пуста! Клубится Страницы морской туман.

\*\*\*

На ясном небе империи ни облачка ни тучки  
их все разогнали на то и технические средства  
пишут детишки в тетрадях буквы-закорючки  
сверив с передовицей счастливое свое детство

империя всюду расслышит гармонию неземную  
радуется императору и всемудрейшим указам  
по ладанкам землю рассовывая и матерей целуя  
мстить неразумным собирается с помощью вещей спецназов

солдаты лихи и прекрасны а барышни томно плачут  
от счастья окунуться в привычные ожидания  
а матери улыбаются их лица светло не иначе  
иначе весь мир услышит ненужные их рыдания

и мускул у них не дрогнет на этих чеканных лицах  
они осчастливлены знанием что ратные их сыночки  
из всякой далекой провинции а может уже из столицы  
воины справедливости пусть и сгинут поодиночке

будут глядеть недвижным оком в чужое небо  
там поджидает каждого ангел белесокрылый  
там облака расстреляны и земля не родит хлеба  
там великой империей оставленные могилы

### **Атропос**

сразу все обесценилось даже стихи стихи  
в этих глухих арпеджио новостей  
прокрастинация и абстиненция дней лихих  
спекшихся улочек тлеющих тел и стен

веретено кружится ниточка ох тонка тонка  
грубый обрыв да памяти узелок  
где-то уже плавится в петельках узелках  
остроконечный ножичек детонатор курок

лезвие затрапезное будто ничто ничто  
гибель литая гладкая девять грамм  
тикает и топорщится под пальто  
льёт грозовой прозой дождь-вальсингам

что тебе там видится в тишине тишине  
в антимирах неведомых нам частот  
то же ли что провидице усталой мне  
атропос ли костлявая бездна вод  
сорванные линии мысленных проводов  
жизней былых ниточки на куски  
брошенные косточки вымерших городов  
и желтизна пустынная пески пески

### **Ариадна**

Забывая давно миновавшие казни и дружбы и козни,  
размотаю клубок бытия к тихим северным странам.  
хоть и сложно в процессе старения стать и добрей и серьезней,  
но стервознее - слишком легко. я такого, тезей, и пытаться не стану.

мой дионис не очень-то крут, но вернее и чище минувших.  
или, может быть, будущих (кто здесь за что поручится?)  
все, что было, конечно же, к лучшему или, точнее, все лучшим.  
что тут строить обиды и злиться и скалиться старой волчицей...

есть венец и хоромы и милость божественных горцев.  
есть любимые звери, стрекозы и птицы. и смелость поэтов.  
если что-то по жизни так долго и яростно не удастся -  
что скорбеть непрерывно и плакать всю вечность об этом?

и покуда нервозные сны, улетая на волю из спальни,  
обнимаются с красной листвою соседнего бедного сада -  
с каждым днем все печальнее песни мои, безначальней  
небеса над землей. и - клянусь я - наверное надо,

чтобы к вечеру лаяли чайки, гудя пролетал пассажирский  
самолет в облаках, залежавшихся в лоне небесном.  
чтобы музы крылатый размах надо мною подольше кружился.  
чтобы слову просторно, а сердцу в груди было тесно.

чтобы тесто из туч не без дрожи всходило почти дрожжевое,  
дождевая вода пахла влажной истомой и темным вечерним затоном.  
чтобы смех детворы не устал над дорожкой звенеть и газоном  
чтобы сырость пространства ветрами взрывалась и не застоялась от зноя.  
и сквозило и веяло в мире щемяще озоном.

чтобы тень уходящей, дразнящей, изменчивой жизни  
растопила всей памяти горечь законом прощенья.  
чтобы плакали женщины тихо в подушку отчизны  
от напевов чужбинных моих. по прочтении.

## Михаил Полюга. Созерцающий с Марком. Повесть



Полюга Михаил Юрьевич — поэт и прозаик, автор девятнадцати книг поэзии и прозы, член Национального Союза писателей Украины и Союза российских писателей. Родился 29 марта 1953 года в городе Бердичеве на Украине. Служил в армии, окончил Харьковский юридический институт, работал на разных должностях в прокуратуре Житомирской области. В 1992 году заочно окончил Литературный институт им. М. Горького в Москве. Роман «Прискорбные обстоятельства» был включен в «короткий список» Бунинской премии 2015 года.

*Это прекрасная, настоящая проза; искусство подлинное и неуловимое. Написанная жестко и упруго, сотканная из сильных мыслей и эмоций вербальная ткань повести Михаила Полюги "Созерцающий с Марком" на самом деле есть не что иное, как огромный, на всю жизнь растянутый разговор, диалог с императором Марком Аврелием, что весь век провел не в тиши кабинета, а в кровавых походах и жестоких войнах.*

*И дело не в том, что герой повести и знаменитый римлянин — тезки.*

*И не в том, что в очередной раз от сотворения мира человек хочет рассказать нам, читателям, свою историю.*

*Да, свою; ибо что есть ценнее, чем горячая, изобилующая драгоценными деталями исповедь, и что скрывается за всеми фантазиями, как не подлинно пережитое?*

*Но любая, рассказанная доверительно история — это зеркало.*

*В разворачивающемся перед нами веере чужой жизни мы внезапно видим рисунок нашей собственной. И то правда, у кого не было развода, кто не поднимал горький бокал в горький праздник с собственной бывшей женой (бывшим мужем), кто не вел за рюмкой водки бесконечные, за жизнь, разговоры, внутри которых вспыхивали и гасли сумасшедшие звезды, кто не размышлял о Мире Невидимом, о четвертом измерении, пытаюсь схватить за хвост вечно ускользающее, постоянно предающее нас время?*

*Время и вечность — герои этой необычной, оригинальной повести, надвое острым лезвием разрезающей живую душу.*

*И еще, конечно, — человек.*

*"Люди будут делать одно и то же, как ты ни бейся".*

*Цитаты из Марка Аврелия не просто пронизывают, пропитывают повесть — они здесь маяки, путеводные звезды, они ярко горят, и мы идем от одной до другой подчас сквозь тьму, как от вешки к вешке в лютую метель.*

*Для меня это чтение было — чистый, беспримесный праздник.*

*"Все сплетено друг с другом, всюду божественная связь, и едва ли найдется что-нибудь, чуждое всему остальному".*

*Елена Крюкова*

### 1

То, что я хотел бы сказать, уже сказано до меня. И то же самое будет сказано после меня, потому что все в этом мире стоит на месте — только мы приходим и уходим, а время стоит, оно до тошноты однообразно, какой-то кисель, в котором увязаешь и увязаешь, а там глядь — и все кончено.

Был такой Марк Аврелий Антонин, я тезка ему, так он когда еще написал: «Скоро ты забудешь обо всем, и все в свою очередь забудет о тебе».

Сколько живу, мне грустно и одиноко, я ожидаю забвения, и, наверное, потому почитаю Марка Аврелия, а не кого-то другого. Не знаю, правда, мог бы он от-

ветить мне тем же. Я неудачник по жизни, но все-таки он — большой неудачник, чем я, потому что уже умер, а я еще жив. Он был «философом на престоле», я — учитель словесности и неудавшийся литератор в одном лице. Но у него есть одно неоспоримое преимущество передо мной: он состоялся — и в мгновение своего настоящего, и в вечности, после того, как опочил. Что же касается меня...

А ничего меня не касается: я — сам по себе, мое настоящее — само по себе, — так, по крайней мере, уверяюсь я изо дня в день. Потому что оно у меня совсем не «настоящее» — в смысле «стоящее, подлинное, достойное», а какое-то мутное, не проясненное. Одним словом — швах. Или преподавать оболтусам, свихнувшимся на айфонах и прочих электронных поделках, о войне и мире, с чувством декламировать «Я вас любил...» в мгновения, когда те обмениваются презервативами, это — достойное? Разглагольствовать о добре и зле среди суеты и стяжательства, оставаться девственником на пиру у вселенского блуда, мириться с повальным пренебрежением заповедями, — это полноценно жить в настоящем? Писать высоким стилем опусы, которые никто и никогда не прочтет, в то время как на дворе — стиль низкий, мерзостный, собачий? И что же, я должен быть в восторге от перспективы так жить — денно и нощно?! Нет, не выходит, не получается — оставаться розовым оптимистом, червь сомнения засел во мне, глубоко и прочно, и не дает мне спать по ночам.

«Кто видел настоящее, тот уже видел все бывшее и будущее...», — умница Марк Аврелий, тезка Марк! Если бы тебя не было когда-то на свете, я, наверное, давно кончился бы, и припудренный идиот в вечерних новостях прогнусавил бы что-нибудь туманное об очередном суициде. Но, к счастью, есть с кем перекинуться парой фраз вечерами, особенно — вечером в канун Нового года, когда за окнами вспыхивают первые нетерпеливые салюты, из вентиляционного люка выпархивают умопомрачительные запахи жареной индейки, а свободные, раскрепощенные женщины разбредаются по чужим углам в поисках недолгого новогоднего счастья на одну ночь.

Вот, кстати, отличный довод о преимуществе одиночества перед обязательствами любви и дружбы: любовь в момент печальных раздумий погонит трепать во дворе коврики, дружба — отправит в магазин за водкой и колбасой. И только тезка Марк ненавязчиво будет рядом! Зато и минусы налицо: ночью из любви мог бы получиться определенный толк, а моменты дружбы вспомнились бы поутру с благодарностью, — если только не случится головная боль с похмелья.

Итак — Марк Аврелий Антонин. «Наедине с собой»...

Наедине с собой, а заодно — и с тобой, тезка Марк, обозначим несколько обстоятельств, без прояснения которых пить шампанское под удары курантов представляется нелепым, а именно: за что пить? Если же не прояснять — лучше пить водку: здоровее для организма, легче впасть в протрацию, и закусывать можно всяким и разным.

Кстати, о закуске: под водку у меня имеются маринады, филе горбуши кусочками в собственном соку, с луком и специями, салаты из отдела полуфабрикатов соседнего супермаркета под кодовым названием «Все, что осталось», буженина, по вкусу напоминающая жареную фанеру, и что-то еще, несущественное. Под шампанское, увы, ничего нет. Это — к слову, чтобы обстоятельства моей готовности к празднику обозначались живее.

Извне обстоятельства складываются следующим образом: накануне нового года я в квартире один-одинешенек, чему несказанно рад, у меня есть выпивка и закуска, в трехлитровой банке на подоконнике таится живая елочная ветвь, а на ней развешаны долгожители новогоднего торжества: картонная птичка, хрупкая витая сосулька, дождик серебристый и зеркаль-

це, приспособленное вместо игрушки. Жены нет, детей нет, любовницы нет. Что до любовницы, то с этого рода существами у меня одно недоразумение: они не могут любить меня *долго!* Ночью, конечно, любят, — как не любить! Но рано поутру мое холостяцкое логово наводит на них тоску, полуфабрикатная пища — изжогу, а мое нежелание позволить все здесь переменить порождает четыре слова-проклятия, веские, как удары гильотины: ты — меня — не — любишь, бегство со швырянием ключа и злые, ничего не прощающие слезы. А если нет любовницы, то, естественно, нет и друзей, чтобы ее переманивать. Или я не искренен сам с собой? Какие-никакие, друзья есть у каждого, и у меня — в том числе. Ну, может, не друзья, а приятели и собутыльники, с которыми можно неплохо выпить и закусить. Только сегодня им не с руки: у каждого, как известно, свои обстоятельства...

Теперь — изнутри. А внутри у меня, брат и тезка, кроется кромешный мрак. Накануне Нового года в душе у меня ничего не переменялось. Мое тайное «я» да еще ты, Марк, — весь духовный багаж на сегодня, остальное затянуло паутиной и припорошило пылью. Я все так же занимаюсь любимым предметом в нелюбимом месте, в школе, а сам знаешь — бесплодное приложение усилий уничтожает сами усилия. У меня в столе накопилось несколько рукописей, которые никто не берется облекать в печатную форму: не совместимы, как утверждают редакторы, со временем, даже архаичны! Как изволил пошутить один продвинутый издатель детективов и женских романов, человеческое тело надобно или плотски любить, или противоправно умерщвлять, а оно у вас (то есть, у меня, грешного) отчего-то сомневается, думает, рефлектирует...

А вот если исходить из сути вещей — я никого не люблю. У меня нет устремлений, я не спешу и никуда не опаздываю, мне ничего не нужно, я — *созерцатель*, ни во что не вмешивающийся, ни к чему не притрагивающийся, не знающий противоположности чувств, черного и белого цвета. Совсем так, как некогда изволил сказать ты: «*Все, относящееся к телу, подобно потоку, относящееся к душе — сновидению и дыму...*» Потому и выходит: как жил в уходящем году, так и провожаю его.

Спросишь, как я дошел до жизни такой? Все просто: пока, Марк, ты тянул императорскую ляжку, одолевал маркоманнов, пленял парфянского царя, терпел развратную Фаустину и своего недостойного сына, Коммода, я занимался тем же, что и ты, но в другой ипостаси. Маркоманнами были у меня некоторые школьные коллеги и чиновники из отдела образования, парфянами — люди, отчего-то называвшие себя моими друзьями, отыскалась и своя Фаустина, только, памятуя о твоей судьбе, я благоразумно ускользнул от нее. Но в конечном результате — первенство за тобой, ибо все недруги меня победили. Ты въехал в Рим с триумфом, я позорно пал на поле боя. Тебе была дарована триумфальная арка, мне — однокомнатная квартира с замком в дверях, чтобы можно было ото всех запереться.

В этой норе-крепости у меня два десятка книг, диван, кресло и шесть хрустальных рюмок в серванте. Телевизор, к счастью, сгорел, — и я тут же выбросил его на помойку. В холодильнике — неосвоенные, арктические пространства: бывает десяток яиц, мороженые пельмени, пакет с кефиром. Кот ушел от меня к соседям — оголодал. За окном крепости — провал в три этажа, черный двор, кусочек неба и сизые от холода звезды.

А посему стану под Новый год пить водку, если напьюсь — отполирую шампанским, а уже после, друг мой Марк, без помех поговорим.

Если не возражаешь, я накрою в комнате: все-таки праздник, елочная ветвь на подоконнике пахнет хвоей, как в детстве, и, выпив рюмку-другую,



можно посидеть в кресле, закинув на диванный валик ноги. Накрывая, всегда ставлю два прибора: мало ли как обернется, чтобы после не суетиться.

И — давай пока помолчим...

## 2

Самое неприятное при встрече Нового года в одиночку — соседи за стеной. Моя крепость имеет один существенный недостаток: изумительная звукопроницаемость. Расставляя приборы, я во всех подробностях слышу, как Петр Петрович Чубченко, сосед справа, переливает из некоей емкости в водочные бутылки самогон собственного изготовления; гремучая жидкость втягивается воронкой и булькает под удовлетворенный, в буденовские усы, кряк, а если проливается, вместо кряка разносится смачное: «А чтоб тебя!..» У соседей слева, добропорядочных Симановичей, нежно звякают о фарфор серебряные ножи и вилки, монотонно бормочет на волне городского радио кухонный приемник — голосом всенародно избранного мэра с красноречивой фамилией Мазурик: мэр изволит поздравлять с праздником осчастливленный им народ. А может, у меня от долгого сидения запаперти едет крыша, и это — слуховые галлюцинации? Согласись, Марк, слышать, как за стеной клокочет в унитазе вода, а на кухне шуруют соседские тараканы, как всхлипывает, запершись в ванной комнате, дочь Симановичей Алла, оставленная не так давно мужем, — значит поставить себе жуткий диагноз. Но уж нет! Ведь я и другое слышу, — например, как бродит стадо парнокопытных над головой: это балбес Шурик, ученик выпускного класса нашей школы, в отсутствие родителей решил отпраздновать Новый год с друзьями. Давеча этот Шурик рассылал на уроке таким же недорослям, как сам, «прелестные письма» — заманивал, прельщал перечнем спиртного и блюд, сулил «телок» и прочие блага земные (одну такую цидулку я перехватил). Значит — не все тараканы у меня в голове, а попросту обострены до предела чувства. И на том мерси — палата № 6 пока еще не про меня.

Так вот, соседи, — своей муравьиной деятельностью они разрушают во мне гармонию мира. Если поблизости скита устроить рынок или бордель, у отшельника невольно раздвоится душа и доведется, по примеру отца Сергея, рубить себе палец. У меня, представь, Марк, тоже есть воображение, притом, достаточно развитое, я восприимчив к окружающему бытию, и оттого меня часто донимают всяческие соблазны.

Когда, например, за стеной, в ванной комнате плачет несчастная, нагая Алла, во мне пробуждается неистребимое мужское начало — и я думаю, как успокоил бы брошенку, как приголубил бы на ночь глядя...

Процесс переливания Петром Петровичем самогона вызывает у меня ассоциации начинающего алкоголика, еще не научившегося пить в одиночку, — и перед глазами, будто наяву, возникает сивый, неисчерпаемый бутыль с кукурузным початком в горлышке вместо пробки, бдение до утра, невнятное бормотание осоловевших губ...

Увы, этот мир зиждется на похоти и пьянстве!

Что же до веселой компании наверху, то здесь я раздваиваюсь, как доктор Джекил и мистер Хайд.

«Боже мой, как быстро все пролетает! — говорит во мне достопочтимый доктор Джекил. — Я уже стар, хотя как бы и не жил вовсе, и эти дети лучше меня. Пусть они безграмотны и развращены, пусть испорчены компьютерами и жаждой обогащения, но, с другой стороны, в них есть нетронутые пласты благодатной почвы, и ежели попадет в эту почву благое семя...»

Но тотчас вмешивается, как и положено жанру, бесцеремонный мистер Хайд. «А ведь они лет на десять-двенадцать моложе меня, всего на каких-

нибудь десять-двенадцать лет! — нашептывает он мне (или это я сам себе говорю?) — Это даже не разница в возрасте — это зашел и вышел... Многие из подобных юношей говорят мне в троллейбусе «ты», а девушки беззастенчиво стреляют глазками и показывают коленки — значит, не вылетел еще из их круга! А если, положим, войти в роль, затесаться между ними, час-другой побыть юношей «с взором безмозглым»? Вдруг в тоскливом моем бдении что-то переменится, станет легким и доступным, обогатится великолепными словечками наподобие: эпиляция, менструация, дефлорация?..»

— А, черт!

Сверху точно громадный пласт штукатурки оборвался, — и музыка в миллион децибел грохнула меня по темечку. «Оп-оп-оп!» — запрыгала под толчком люстра, стекла в рамах затряслись звоном разлитым, с тарелки на столе свалился нож, проехал по полированной поверхности и грохнулся на пол.

«Когда триумфом шел Фабриций...», — крикнул я во все горло, кружась на одной ноге и обреченно разумея: музыка молода и непобедима!

— Это тебе не какие-нибудь литавры, — сказал я Марку, смиряясь. — А ведь нам с тобой далеко до этого Шурика. Дай срок, и этот Шурик окажется похлеще (прости покорно!) твоего сына и преемника Коммода, как говорил о нем Лампридий, с «тупым выражением пьяницы» на лице. Замечательный Шурик! Прекрасный Шурик! Балбес Шурик!

Я взглянул на часы: до Нового года оставалось всего ничего. Пора было и о себе подумать.

С тяжелым сердцем я отправился в ванную — мыть шею, чистить зубы, бриться и наряжаться в костюм. Признаться, в этом ритуале есть для меня нечто неприятное, а именно — все тот же подлый вопрос: для чего? Диоген спал в бочке, и неизвестно, ходил ли он когда-нибудь в баню. Но я, во-первых, не философ, отнюдь, во-вторых, считаю принятие душа святой необходимостью: тело не должно пахнуть нестиранными подштанниками. Кроме того, опрятность есть долг мыслящего человека, как, впрочем, и неразумной твари. У меня был когда-то, в институтские годы, приятель, от которого и зимой, и летом несло кислым овечьим тулупом, и я всякий раз старался от него отодвинуться и открыть в комнате форточку; правда, девушки любили его несмотря на запах, но то, очевидно, был случай, когда полюбишь и козла... А вот бессмысленность бриться казалась мне очевидной: все равно под бой курантов не стану целоваться, потому как — не с кем. По той же причине нелепо наряжаться в парадное, — и ты, Марк, «не разгуливал дома в столе». И, однако же, когда я представил, что сяду в ношенных тренировочных штанах за стол, налью стопку водки и, перед тем, как выпить, что-то хорошее себе пожелаю, то вдруг решил: все-таки есть в жизни дни, когда стола необходима.

Потому я смиренно намылил щеки и подбородок и стал скрести по ним бритвой. При этом для удобства бриться я поворачивал голову то влево, то вправо, и это позволяло мне, кроме основного занятия, видеть черно-белые фотоснимки твоих скульптурных портретов, наклеенных на кафеле по разным сторонам зеркала: юношеской поры — по левую сторону и времени, когда пожилым тобой написано «Скоро ты забудешь обо всем...», — по правую. Таким образом, моя намыленная физиономия с немислимой наглостью располагалась между двумя Марками, молодым и старым, и когда я скреб правую щеку, то впитывал твою юношескую меланхолию, когда же левую — то заканчивал вместе с тобой: «...и все в свою очередь забудет о тебе».

А еще я переглядывался с собственным отражением и думал, что тип, который глядит с зеркала, совершенно на меня не похож, а на тебя, тезка, — и

подавно. Откровенно говоря, мне не очень хотелось, чтобы зеркальный двойник и вправду оказался мной. То был какой-то еще не старый, но уже и не молодой муж с тягучим, ничего не выражающим взглядом серых глаз, с прижатыми, точно у загнанного волка, ушами и сосредоточенно-угрюмой складкой бескровного рта. Но ведь я всегда был другим! Может быть, только глаза, — но и с глазами там, в зеркальном стекле, что-то было не так...

И тут я на мгновение ужаснулся пришедшей на память мысли. В каком-то документальном фильме о репрессиях тридцатых годов минувшего века режиссер, весьма находчивый малый, совместил снимки одних и тех же людей, снятых до ареста и после, и у каждого в тюрьме что-то происходило с глазами, как будто душа человеческая внезапно осталась один на один с злобным, жестоким миром, без защиты и снисхождения...

— Ах, Марк Андреевич, Марк Андреевич! — сказал я укоризненно отражению, и отражение с такой же укоризной попеняло мне. — Не ко времени такие шутки с глазами...

И я, спешно увильнув от зеркала, приступил к гардеробу. Собственно, выбирать было не из чего: один костюм до окончания праздников застрял в химчистке, у второго просеялись в самом неподходящем месте брюки, а третий был и вовсе не по сезону: светло-коричневый, в блудливую полоску с искрой. Естественно, искра меня прельстила. Галстуки я завязывать не умел, и потому хранил так, с завязанным раз и навсегда узлом, и только подтягивал или расслаблял узел — в зависимости от того, вдевал я шею в петлю или высвобождался из петли, — и теперь поступил так же. Получился отменный гибрид: кислая физиономия, легкомысленная весенне-летняя пара с искрой, и все это великолепиие украшено удавкой-галстуком с широкой красно-синей полосой наискосок. Захотелось захохотать и заплакать одновременно.

— Вот так-так, Марк Андреевич! Нового года захотелось? — попробовал примириться с отражением в зеркале я, освежаясь одеколоном, и отражение согласно закивало в ответ: «Именно так! Именно так!»

### 3

Я сел за стол в половине двенадцатого, за полчаса до Нового года. На коленях у меня лежала чистая салфетка, вилка расположилась слева от тарелки, нож — справа. Чтобы окончательно сразить тебя, достопочтимый тезка, я намеревался и дальше прикидываться аристократом и положить две вилки — отдельно для мяса, и отдельно для рыбы, но не разобрался в премудростях сервировки и оставил эту затею. Еще у меня был выставлен последний, счастливо уцелевший после предыдущих празднеств фужер для шампанского (остальные были давно раскоканы) и две хрустальные рюмки, — одна, разумеется, для тебя, Марк.

Перед тем, как налить, я торжественно процитировал одну из твоих сентенций — как верующий прочитывает молитву перед едой: *«Что бы ни случилось с тобой, оно определено тебе от века. Либо царит неминуемая судьба и непреодолимая закономерность, либо милостивое провидение, либо безличный слепой случай. Если царит неминуемая судьба, зачем ты стремишься противостоять ей? Если царит провидение, милость которого можно заслужить, — будь достоин божественной помощи. Если же царит беспорядочный случай, то радуйся, что среди всеобщего хаоса имеешь руководителя в самом себе — свой дух»*.

А от себя добавил:

— Аминь!

«Это я сказал?» — меланхолически удивился ты с большого портрета, увеличенного при помощи компьютерной графики.

— А что удивительного? С тех пор ничего в жизни не изменилось.

Я налил в рюмки водку, и холод запотевшей бутылки чудесным образом побратался с теплом ладони.

— Одна рюмка раскрепощает мысли, вторая высвобождает душу, третья направляет инстинкты, — глубокомысленно изрек я. — Мы же пойдем дальше и вплотную приблизимся к беспмятному, чтобы на время избавиться от мыслей вкупе с душой и инстинктами!

«Это ты сказал?»

— Марк, мы ведь тезки. Кроме того, это не тост, а так — болтовня. Мой же тост — за тебя. Если бы когда-то давно ты не умер и сборник твоих сентенций не был найден в складках одежды, не знаю, как бы я жил сейчас. С кем бы пил горькую, говорил о смыслах и бессмыслице, успокаивал во всем сомневающийся дух? Будь здоров там, в ином мире, и, если по ту сторону бытия позволено, опрокинь рюмочку за меня.

Водка пошла, пошла, пошла...

— Вот ты сказал: что бы ни случилось — определено на века, — продолжал разглагольствовать я, отправляя в рот ломтик горбуши и кружок лука. — Но почему так бездарно определено? Неужели закономерность в том, чтобы одному размышлять о жизни, а другому — пользоваться ее дарами? Мне — сидеть здесь анахоретом, а этому Шурику плясать с девками, прикидывая, которая из них на сгодится на эту ночь? Или в том милость провидения, что девки — непотребны и пусты, как опорожненная бутылка, и потому доставлены Шурику, тогда как нам с тобой, Марк, подарены этим вечером мгновения духа?

И я самодовольно переглянулся с тобой — или мне только показалось, что ты ответил мне мимолетным взглядом с портрета.

— Одна незадача: в новогоднюю ночь телу еще долго нельзя будет идти спать, да и не настолько оно опьянело, чтобы отстраниться (сном или смертью) от мучающей души. И, знаешь, тут я не согласен с тобой, что *«для тела все безразлично»*. Тут, тезка, бездна противоречий. Хочешь или не хочешь, но мы имеем дело с разнообразием внешних условий существования. И пусть у судьбы намечено русло, и в этом русле сегодня правит милостивое провидение, а завтра — безмозглый случай, — никто из нас не знает, что произойдет через мгновение, где окажемся и что будет с нами. Достоверно одно: я никогда и ни при каких обстоятельствах не смогу стать Шуриком, а Шурик — мной! Поэтому у меня — ты, а у него — музыка, вино и шальные, доступные девки.

*«Я не заслуживаю того, чтобы огорчать самого себя, ибо никогда преднамеренно не огорчил кого-либо другого».*

— Что ты, я вовсе не огорчен! Пусть веселятся. Есть и такая сентенция: *«Но для чего ты? Для наслаждения? Посмотри, выдерживает ли это критику»*. А теперь давай по второй — под горбушу в собственном соку, — и здраво рассудим вот о чем: положим, Новый год. Но ведь это условность, мы сознательно дробим промежуток времени длиною в жизнь на отрезки, более-менее обозримые, потому что начало потеряно в прошлом, а будущего не существует. Если перенести эти отрезки на кардиограф, у всякого нормального человека получится отменная синусоида взлетов и падений, у меня же — волнистая линия, клонящаяся книзу. Вот об этой линии, если не возражаешь...

Я призадумался, вздохнул, ослабил узел галстука, более необходимого сдавливающий мою шею.

— Ударил салют — кому-то хорошо и весело, кто-то от счастья кричит «ура!» Наверху не смолкает припадочный рэп — там, как изволят изъяснять-

ся приматы, прикольно: отсутствие мысли заменяется бессмыслицей звуков. Я бессовестно примеряю твои сентенции на себе. Но вот в чем загвоздка: этим, от салюта и рэпа, вовсе не хочется поменяться со мной местами, тогда как меня необоримо тянет вырваться отсюда и посмотреть, что у них там. Тянет не оттого, что оглупление заманчиво, а исключительно по той причине, что последние несколько отрезков жизни — от нового года до нового года — я тем только и занимаюсь, что общаюсь с тобой и из последних сил резонерствую. А ведь стояние на месте бывает мучительней перемен. Движение и болото! Прости, Марк...

Часовая стрелка незаметно подобралась к двенадцати. Пора открывать шампанское — не станешь же пить водку в торжественные секунды всеобщего счастья! Кроме того, третий тост — за женщин, а большинство из них, я уверен, выбрало бы именно эту шипучую, полусладкую бурду. Но я и здесь исхитрился: сегодня у меня «брют» — не люблю сладких и приторных вин и переносу эту нелюбовь на жизнь. Вот если бы меня, положим, спросили: брюнетка или блондинка? — я бы воспользовался собственной, проверенной шкалой и диагностировал: мне, пожалуйста, «брют».

— Ура, Марк! Ура-а!..

Все-таки, странно устроен человек: кажется, нечему радоваться, а все равно светлая слезка подкрадывается к глазам. Наверное, все мы — существа слабые, внушаемые, и если вокруг перехлест эмоций, по закону толпы и себе приходим в восторг, орем заодно с другими: «распни его!», или, как вот теперь, «ура!»

Жаль, что ты никогда не пробовал шампанского! Сначала в пищеводе приятно и прохладно, но тотчас углекислота подло и коварно возвращается через ноздри, а желудок раздувается до пределов бычьего пузыря, до предела наполненного газом. Если пить лошадиными дозами, то можно теоретически опьянеть, но то, что утром будет поганно, как не бывает от водки или коньяка, подтверждаю и гарантирую: проверено на себе.

А еще жаль, что у тебя не было елки с игрушками, особенно — в детстве: после того, как выпил, я заглянул в зеркальце на своей, украшенной дождиком, и зеркальце мне в кои веки улыбнулось. Такое возможно только в Новый год.

Жаль и того, что у тебя не было соседей, а были только рабы, вольноотпущенники, легионеры, — и какой-нибудь недоучившийся мерзавец не устроил у тебя на балконе праздничный фейерверк...

#### 4

Сначала, в тот самый миг, когда зеркальце любезно улыбнулось мне с новогодней елочной ветви, где-то совсем близко, чуть повыше окна, рвануло, шикнуло и брызнуло искрами. И сразу же свист перешел в истошный вой, что-то, искря и плюясь, мигнуло в косом падении за стеклами, шлепнулось на мой балкон и завертелось волчком. Следом пошел хлопок, ярая радужная струя с визгом полетела с балкона вглубь двора и взорвалась неподалеку от детской песочницы.

В бешенстве я выскочил на балкон, ударом ноги сбросил останки кислородной пиротехнической ракеты для фейерверка, затем задрал голову и всмотрелся. Свесившись через перила, сверху вниз глядела на меня знакомая физиономия с вытаращенными, совершенно безумными от счастья глазами.

Балбес Шурик, чтоб он провалился, мерзавец!

Распознав меня, недоросль широко взмахнул руками, будто показывал диво дивное, распялил рот и издал крик, похожий на рев торжествующего бизона:

— Ура, дядя Марк! Как шандарахнуло? А?! Это я запустил...

— Убью гада!

— Ура! С Новым годом! С новым счастьем! Вы что, один празднуете? Подваливайте к нам, у нас жратвы и поила не меряно. По полной оторвемся! Вы — мой любимый учитель. Ура-а!

— Пошел к черту! — в бешенстве заорал я, и тотчас вспомнил твою сентенцию, Марк: *«Милостивое провидение, либо безличный слепой случай...»*

— Не хотите? Тогда я к вам спущусь, а то у вас, наверно, голомо... Со мной две офигенные телки, даже не разогретые... Зашибись будет!..

Физиономия исчезла, бухнула промерзшая балконная дверь.

— Чтоб тебя!..

Какое-то время я еще оставался, где стоял, вдыхая морозную пыль новогодней ночи и с высоты оглядывая сизый, провальный проем двора. Мгла, сколько хватало глаз, была прожжена повсюду желтыми светящимися окнами, и оттого высока и просторна, тогда как звезды и луна утонули в скоплениях облаков. И все это, во дворе и над ним, было подсвечено неярким мерцанием снега, разлегшегося по-свойски на крышах домов, на деревьях и тротуарах, на автомобилях, припаркованных у подъездов. Сказочное, скажу я, любезный Марк, зрелище, какого в твоих южных краях ты, верно, отродясь не видывал!

«Итак, новое счастье? — вопрошал себя я, зачерпывая ладонью снежок с балконных перил и остужая им щеки и лоб. — Придет сразу, с последним ударом курантов, или чуть погодя? Вломится в квартиру вместе с Шуриком, рано поутру обнаружится в почтовом ящике голубым конвертом, приснится в похмельном сне? Или будет явлено в лестном словосочетании: любимый учитель?..»

Что бы там ни говорили, человеку приятно слышать о себе доброе слово, даже если это слово — неуклюжая лесть малоразвитого подростка. Не был бы я человеком, если бы хоть изредка не заглатывал эту приманку: любимый учитель. А ведь учитель — *чего?* Чужих мыслей и слов, чужого понимания добра и зла, чужой любви и ненависти — пусть гениальной, но чужой?! Наверное, настоящий педагог должен во все это вкладывать свой собственный опыт, подавать переосмысленное собою. Значит ли это, что я — не настоящий, поскольку мне нечего своим воспитанникам сказать?

*«Ты не станешь учить письму и чтению, прежде чем не выучишься сам. Тем паче — жизни».*

— И ты, Марк?!

Тут я услышал, что в квартиру бесцеремонно и нагло ломятся: звонок разрывался, а когда на секунду-другую замолкал, в дело вступали тяжелые конские копыта. Ну, погоди! С твердым намерением набить скоту морду, я рывком распахнул дверь — и тут же получил жестокий удар в бедро: вместо несчастной двери Шурик с разлета лягнул каблуком меня.

— Опа-на! Вот так попал! — воскликнул Шурик, нимало не смутившись, и дружески похлопал меня по плечу. — Группироваться надо, а то ведь... Вы же еще бездетный, Марк Андреевич...

— А в морду?..

Сияя, Шурик подставил под удар щекастую, бульдожью физиономию: бейте, мол, дядя Марк, сколько совести хватит. Ну что станешь делать с таким балбесом?!

В душе стеная, я подался назад и освободил проход в квартиру.

Тотчас две лахудры, не по сезону одетые, сизые от холода, сквозившего в коридоре, с фарфоровыми судками в куриных лапках, переглянувшись и

оценивающе стреляя подрисованными глазами, захихикали и просочились мимо меня.

Что же, друг сердешный. *«Люди рождены друг для друга. Поэтому или вразумляй, или терпи...»*

— Да у вас водяра! — обрадовался, вваливаясь вслед за девицами и озираясь на свету, Шурик. — Вот уж я лоханулся: думал, вы — по шипучему, захватил с собой еще два «полусладкого». А вы — наш человек! И правда, толку от этой мочегонной газировки! Только сбрызнуть под елочку... Эй, где вы там? Быстро разгрузайтесь! — скомандовал он зазевавшимся в прихожей лахудрам.

Те живо загремели судками, и на моем скудном столе выстроились в рядок салаты — греческий, с брынзой и оливками, фруктовый и какой-то еще, смесь чего-то с чем-то, украшенный бусинками кетовой икры и бело-розовой стружкой креветок. Рядом с салатами появились жареные куриные окорока, нарезанный ломтями балык и половина фаршированной щуки с безумными брусничными глазами и хищной пастью, прихватившей увядшую лимонную дольку оскаленными зубами.

«Все-таки — *«милостивое проведение»*, — подумал я, не зная, смиренно радоваться или разок затопить Шурику в зубы.

— А рюмки где? — тем временем распоряжался тот, словно находился у себя дома. — Время пить, а рюмок на всех не хватает. Ну-ка, девки, арбайтен!

Одна из лахудр, та, что была повыше ростом, голоногая, с зазывающим декольте, бесцеремонно полезла в сервант за рюмками, что-то зацепила второпях лапкой и уронила на пол.

— Не трогай чашку, она — память! — запоздало крикнул я голоногой.

Увы, памятная чашка раскокалась у меня на глазах со звуком, с каким лопает электрическая лампочка.

— К счастью! — нимало не смущаясь, объявила голоногая и принялась собирать осколки, бесстыдно выставляя напоказ тощие, пупырчатые, как у изголодавшейся курицы, ягодицы в алых стрингах.

— Упокоилась память, аминь! — засмеялась вторая девица и вызывающе встряхнула малиново-фиолетовыми кудряшками. — Жалко вам какой-то чашки? А что, если взамен будет у вас любовь, яхонтовый?!

Она пошла на меня грудью, но в последнюю секунду проскользнула мимо, намеренно проехав по мне упругой женской мякотью. Вблизи духи ее показались мне приторными, помада на губах смазалась, а за ухом мелькнула черная родинка с закрученным волоском, — и, тем не менее, как будто некая вытяжка потянула из меня душу...

Каюсь, Марк, на мгновение я даже позабыл о тебе!

— Ну же, Андреевич!.. — широким жестом зазвал меня к столу Шурик, наполняя рюмки. — Новый год, а ты — как не свой? Ах, да! Это Аля и Ляля, — представил он лахудр и при этом скабречно мне подмигнул. — Девочки, Марк Андреевич — мой... сосед, для вас — просто Марк. Это чтобы — без заморочек. А то, бывало, проснешься утром в постели, а познакомиться не успел... Ну, Андреевич, — за тебя!

Ляхудры согласно звякнули рюмками, а я подумал, выпивая, что быть сегодня «соседом» все-таки предпочтительнее, чем представляться педагогом и наставником молодежи. Иначе придется захлопнуть на «вытяжке» заслонку и всю ночь просидеть с постным, скучным, трезвым лицом. А оно надо мне?..

— Это что за еврей у вас на стенке? — отвлек меня от размышлений и сомнений любознательный Шурик, вгрызаясь в куриную ножку. — Как его... Мандельштрум?.. Мандельштам?..

— Нет, этот кудрявый, — с сомнением протянула малиново-фиолетовая, близоруко щурясь на твой, Марк, портрет. — И не фотография даже: он ведь каменный!

*«...и все в свою очередь забудет тебя».*

— Марек, вы что, женщин не любите? — пропела голоногая, дергая меня за рукав с другой стороны стола. — А что такое? Во-первых, на стене — фотка какого-то папика, а во-вторых...

— Во-вторых, вы — Аля или Ляля? Как-то из головы выветрилось...

Она — Ляля. Так вот, во-вторых, в квартире нет ни единого предмета, свидетельствующего о присутствии женщины. В ванной — она специально бегала посмотреть — одна зубная щетка, женских волос в раковине нет (они обычно забиваются в сеточке при сливе воды), на кухне — одна вилка, одна ложка, одна чашка... В-третьих, на подоконнике нет цветов в горшках, даже кактуса...

— Я принесу вам цикламен, — пообещала Аля — по всей видимости, из чувства противоречия подруге. — Чтобы женщины, которые *после* будут у вас бывать, понапрасну не беспокоились.

— Девочки, по третьей! — раскинув над столом руки и балансируя так, с бутылкой наперевес, подвизался на разливе неугомонный Шурик. — Марк Андреевич! Ты всегда прикольно рассказываешь — разные истории, только я плохо запоминаю, но все равно прикольно... Всякое такое, голимое... И — на полном серьезе. Иногда думаю: что это он нам втирает? А не пошлешь: если человек говорит, значит, ему выговориться надо. — И потребовал, сукин сын: — Скажи тост. Новый год все-таки. Девочки просят... А?

Лахудры ни о чем таком не просили, но дружно закивали кукольными головами.

Я поднялся с рюмкой в руке и невольно задумался: о чем сказать этим олухам? О тебе, тезка и друг? Сказать, что некогда, очень давно, жил на свете Марк Аврелий Антонин, римский император, не очень счастливый в жизни человек, ибо умный не может быть вполне счастлив уже по природе своего ума; что самые лучшие, самые наполненные часы и дни он провел наедине с собой; что, где бы я ни находился и что бы ни делал, всегда помню, как Отче наш, его слова:

*«Время человеческой жизни — миг; ее сущность — вечное течение; ощущение — смутно; строение всего тела — бrenно; душа — неустойчива; судьба — загадочна; слава — недостоверна. Одним словом, все, относящееся к телу, подобно потоку, относящееся к душе — сновидению и дыму. Жизнь — борьба и странствие по чужбине; посмертная слава — забвение»?*

Но сказать им так означает — не сказать ничего! В таком случае — стоит ли вообще говорить?

Наверное, все-таки стоит. И я решил попытаться — если не донести что-либо полезное до твоих, Марк, слаборазвитых потомков, живущих в век технического прогресса и поголовной компьютеризации, то хотя бы словом пронять их.

— Один мой давний, хороший, мой лучший друг написал, — повернулся я к твоему портрету, стараясь подбирать простые, доступные слова: — *«Люди существуют друг для друга...»*

## 5

После второй бутылки, Марк, я задумался: правильно ли поступаю, пристало ли мне, педагогу, распивать в своей собственной квартире спиртное с семнадцатилетним оболтусом и легкодоступными девицами, пусть даже в



Новый год и со здоровой мыслью в запасе, что они напились бы и без меня? Зачем позволил этому Шурику то, что позволил? Что делают в моей квартире юные гетеры с телами выдавших виды женщин, давно вкусившие запретного плода и теперь посматривающие в мою сторону с ленивой, безразличной готовностью ко всему?

И тут же я возразил себе: да ты законченный лжец, Марк Андреевич! Лицемер и лжец! В самом деле: еще недавно, сидя за одиноким столом, ты думал об этих девицах, представлял себя молодцом в компании с ними и завидовал донжуанскому счастью ученика твоего. А теперь поглядываешь исподтишка на те места у девиц, что предназначены для вожделения, и некая потаенная жилка начинает исподволь управлять тобой... При всем при этом ты, Марк Андреевич, еще и оправдываешься старым, проверенным способом, а именно — нападая: разве никогда не приводили в императорские покои девочек, не умащивали тело августейшего господина благовониями нагие наложницы, не снимали любовными ласками усталость после возвращения из очередного похода распутные гетеры? Или нравственность не была в твою эпоху столь безжалостна, чтобы инстинкты превращать в пороки, и, тем не менее, вкушать запретный плод их где-нибудь в укромном уголке, втайне от других?

Ну-ка, ответь, скажи! Но ты хитрец, сиятельный тезка, и *наедине с собой* практически никогда не говоришь о женщинах, о том наслаждении, которое они могут дать мужчине, и о тех злоключениях, которые насылают на нас брошенки, если любовь к ним почему-то проходит. Странно думать, что женщины совсем не занимают тебя. Или сам предмет столь ничтожен, чтобы удостоиться хотя бы какой-нибудь пустяковой сентенции? Нет, ближе к истине нечто иное: глубокое разочарование настигло тебя, и все милашки вокруг в одночасье превратились для моего друга Марка Аврелия Антонина в лживых, подлых, похотливых фаустин!

И все-таки разочарование — не повод отрицать великое благо и великое несчастье, именуемое любовью. Чувство это могущественней всего, о чем ты написал, — но ты упрямо молчишь, у тебя нет о земной любви к женщине ни слова. Нем как рыба! Неужели никогда не любил?

Ах, это загадочное молчание!..

*«Помни о том, что все, руководящее тобою, таится внутри тебя самого...»*

Внутри меня самого таится неутоленная любовь к женщине. Скажи лучше о себе...

*«Это твоё состояние означает поражение и сдачу более божественной твоей части, не устоявшей против менее ценной и смертной части, против тела и его грубых наслаждений».*

Но ведь тело — не кусок бревна, оно алчет пищи, пока жив в нем дух! Стоит ли подавлять то, что организовано природой: настрой мужчины на женщину, женщины — на мужчину?..

— Марек, давай выпьем!

Я осоловело посмотрел по сторонам: застолье наше, кажется, достигло периода упадка и разложения (из-за такого же периода пала некогда великая Римская империя). Шурик глодал куриную ногу со страстью троглодита, но уже с трудом поворачивался за столом, а когда порывался встать — неизменно плюхался задом на табурет. Малиново-фиолетовая Аля птичкой клевала в греческом салате, из которого почему-то торчал ржавый окурочок, и зрачки ее были мутными, непрозрачными, будто она нанюхалась кокаина или закапала глаза атропином.

— Ну, Марек же!..

Я напрягся и, не без усилий сохраняя равновесие, обернулся на голос. Сначала взгляд мой уперся в наполненную рюмку, которую я с готовностью принял из чьих-то рук, затем — в глубокое декольте, где я заинтересованно разглядел две теплые, подвижные выпуклости, тонкие ключицы и ямочку — между ними. Дальше, по восходящей, взгляд мой набрел на цыплячью шею, губы с остатками помады, чуткие ноздри, косящие, неустойчивые глаза...

— Что бы ни говорили, а красота заключается в молодости! — произнес я выпренно и велеречиво, распознав по глазам Лялю. — Напрасное занятие — рассыпаться в комплиментах, когда у женщины — апельсиновая кожа и груди провисли...

— У меня не провисли. Хочешь, покажу?

Конечно, хочу! Но не в присутствии Шурика и обкуренной Али. Ведь в жизни есть определенные нравственные правила, выход за рамки которых для меня — табу...

И опять я солгал, брат мой Марк. Нет у меня никаких нравственных правил, а есть внутреннее убеждение, навязанное генной памятью и веками цивилизации, что малознакомая женщина может показывать мужчине груди только на осмотре у гинеколога или в борделе. В остальных случаях для меня свят предварительный ритуал — поцелуи, объятия и признания под луной. Хотя в данном случае через это ветхозаветное убеждение можно было легко и безболезненно переступить...

Но здесь у меня вышла промашка: от природы я нерешителен, можно даже сказать, труслив, и в последнюю секунду вместо одобрительного кивка отрицательно мотнул головой. Нет, скорее неопределенно: пускай догадается сама. А она, дура трюфевая, — не догадалась...

От взаимного огорчения мы снова выпили, но теперь, по настоянию настырной девицы, на брудершафт и поцеловались. Ляля целовалась так, как будто надувала шарик: выпятив губы и двигая нижней челюстью, — и от ее мокрого поцелуя я ощутил во рту смешанный привкус водки, шампанского и креветок, а еще (мерзкий, глицериновый) — дешевой губной помады. Чтобы не думать об этом, я притянул юную курочку за шею и поцеловал взасос.

«Какая-то она, черт подери, резиновая! — мелькнула в голове подлая мысль, и тут Ляля перестала дышать, губы расслабились, поддались моим губам — и поцелуй у нас вышел на славу. — Нет-нет, из девочки будет толк, если только грубые, развязные Шурики не отвратят ее от настоящей любви!»

— Это когда мы так напильсь? — не к слову помянут, промычал Шурик и стал выкарабкиваться из-за стола. — Андреевич! Новый год, а как-то кисло... У тебя музыка есть?

Я махнул рукой по направлению серванта, где на нижней полке с незапамятных времен пылился старенький «Океан». И, пока Шурик тупо щелкал кнопками, мы с Лялей еще раз поцеловались, только теперь уже она, будто прилежная ученица, двигала губами и торкалась языком. И на ощупь она оказалась старше своих лет, если только и впрямь не была старше: талия, бедра, плечи налились взрослостью, и я, втайне посмеиваясь, подытожил, что на рынке так отличают здоровую курицу от чахоточной доходяги...

«Вот и обнюхались, вот и ладно!»

Приемник ожил и затрещал помехами, потом отыскалась чистая волна, и пошла одна знакомая песня, другая, за песнями потянулся тягучий, вязкий блюз — гитара, труба, глухой негритянский голос, мурашки по коже...

— Танцы! — с пьяной удалью заорал Шурик. — Андреевич, ну? Давай, Андреевич!

Я обнял и прижал к себе Лялю, тем самым ступив на скользкий путь соблазна, ибо танец — не что иное, как первый шаг к сближению мужчины и женщины и начало векового соблазна.

— Как я пьяна! — шепнула девица, кулем повисая на моих плечах. — Что смотришь, будто с той чашкой?.. Да, было — два-три раза. Ну и что? Я не продажная, я влюбчивая. Жизнь проходит, меня не убудет... Этому теперь цены нет — никто не спрашивает, мужикам наплевать, где, когда, с кем... Для чего тогда беречься, кому хранить?.. У меня тело красивое. Но пройдет еще год или два, пять лет пройдет — и что тогда? Апельсиновая кожа!.. Ну, чего тебе от меня надо? Женись, тогда попрекай — будешь иметь законное право...

— *«Это твоё состояние означает поражение и сдачу более божественной твоей части, не устоявшей против менее ценной и смертной части, против тела и его грубых наслаждений».*

Она ошарашено посмотрела:

— Это что, библия?

— Это написал Марк Аврелий Антонин, римский император.

— Вон тот, завитой, с бородкой? Который — на стенке?

Он самый, кивнул я Ляле: завитой и с бородой.

— Прикольнo! — засмеялась она. — А я думала...

В эту секунду музыка переменялась, грянул старый, добрый рок-н-ролл, и ноги сами понеслись, припустились, разбежались. Не поспевая за ритмом, мы затопали, будто стреноженные кони, — ударяя подошвами о пол и дергаясь разгоряченными телами. Стекла серванта, посуда на столе, окна и двери — все пришло в движение, затряслось, запрыгало вместе с нами.

— Андреевич, дай что-нибудь, какую-нибудь фигню! Дай швабру! — сверкая безумными глазами, схватил меня за рукав балбес Шурик.

Я указал глазами направление, тот рванул на кухню и тут же вернулся, потрясая, будто знаменем, незамысловатым орудием для мытья полов.

— Оторвы, танец со швабрами! Блузки долой! Новогодний стриптиз — для моего друга Марка Андреевича!..

## 6

Первое, что я увидел, с трудом разлепив неподъемные веки, была бабочка, неизвестно откуда появившаяся в квартире, — какой-нибудь махаон, сдуру прибившийся к теплу посреди зимы, роскошный, похоронно-траурный, окрашенный в ярко-желтый и черный цвет, с большими красными пятнами под хвостами, высовывающимися из-под задних крыльев. Прилепившись к потолку над диваном, бабочка, казалось, передыхала после утомительного перелета, но я вдруг подумал, что она умерла, и на потолке — не бабочка, а пестрый тряпичный лоскуток.

Какое-то время я тупо и отстраненно рассматривал бабочку — так, как смотрят на пустое место или таращатся сквозь туманную даль. Неясно было, за каким дьяволом она здесь оказалась, в первый день января, на давно не беленом потолке, и, более того, — бабочка ли это на самом деле или у меня крыша поехала, окончательно и бесповоротно. Тогда я поднапрягся, протер глаза и взгляделся — мнимая бабочка тотчас растеклась и поплыла по потолку неопрятным грязно-желтым пятном.

— Вот так-так! — хрипло сказал я, не узнавая собственного голоса, а про себя еще и воскликнул: кажется, галлюцинации нас посетили?! — Марк, что это было? Какая-то дрянь на потолке... Свихнувшийся махаон — или потолок протек? Балбес Шурик залил, что ли?

*«Для камня, брошенного вверх, нет ничего дурного в том, чтобы упасть вниз, и ничего хорошего в том, чтобы нестись вверх».*

Да, вчера мы залетели вверх и упали... Ладно, упал я один. Но ведь это ты некогда написал: *«Смешно, стараясь избежать чужой порочности (что невозможно), не стараться избежать своей собственной (что вполне возможно)».* Я постарался — и избежал! Выгнал всех к чертовой матери, заорал «вон!» — и они пулей вылетели, особенно летел этот Шурик. Весело тебе было?

*«Что такое порок? То самое, что ты уже часто видел. И что бы ни произошло, всегда будь готов сказать: «Ведь это то самое, что я уже часто видел...»*

Часто видел? Положим, стриптиз — не мой предмет, словесность здесь и не ночевала, и когда две девки изволили танцевать со шваброй, я, веришь, изначально не возмущился, не взялся за нравоучения, и такое прочее. Если женщина обнажается для мужчины, только муж этой женщины или кастрат могут быть в недоумении: один из ревности не допускает ее к другим, второй из бессилия не подпускает ее к себе. И как бы мы не распинались здесь о пороке, материальное (тело), не испросив разрешения у нематериального (у души), станет напрягать все подаренные природой рецепторы: зрение, чтобы лучше видеть, ноздри — обонять, руки, ладони, губы и кое-что еще, чтобы посредством прикосновения осязать и таким образом наслаждаться...

— Нет, там все-таки бабочка, на потолке!..

Так вот, между нами не возникло непонимания, когда блузка у одной вспорхнула, у другой соскользнуло платье, и это значит, что мы осознанно преступили человеческие законы морали и порожденные ими законы стыда, но не высшие законы любви, потому что в те мгновения душе не было до нас никакого дела. А после и груди выпрыгнули...

Что же рассказывать, ты ведь мужчина, тезка!

Я трудно проглотил слюну, и по гортани точно наждаком продрали. Так бывало со мной всегда, если накануне смешивал водку с шампанским, или того хуже — полировал пивом. Скопив глаза, мутно посмотрел, поискал бутылку с водой, — желтое пятно, вспорхнуло, сдвинулось, ускользнуло на стену вслед за взглядом, и снова вернулось на потолок. Какой, к черту, махаон, никакого махаона! — что-то маслянистое, какой-то жирный соус просочился сквозь штукатурку...

— Господи, как мне погано!

Это ведь ты сказал, Марк: *«Бессмертные боги не досаждают на то, что им в течение столь долгого времени придется иметь дело с таким множеством столь дурных существ; напротив, они всячески пекутся о них»?* Что же мне никто теперь не поможет — ни боги, ни люди?! Или богам и людям претит то, что происходило в моей квартире накануне?

А что, собственно, *такого* происходило? Подумаешь, пьяные лахудры оторвались по полной: расшвыряли туфли и, перехватывая одна у другой швабру, зажигательно с ней плясали, а после и того больше — под полоумное завывание приемника стали по очереди сбрасывать что-нибудь из одежды. У этой Ляли и в самом деле оказались стройные ноги и плоский живот, а груди — припухшими и упругими, как если бы она подзарабатывала кормилицей у богатой вумен. Зато у малиново-фиолетовой Али прыгали две фиги, и она тискала их с наигранным вожделением, как это проделывают порноактрисы в полуночном кино с красным квадратом в уголке экрана.

Потом на меня надвинулась Ляля, прижалась, поцеловала в засос, стала расстегивать на мне рубашку и брючный ремень...

Знаешь, Марк, все-таки я дурак! В империи, на пирах или во время дружеских застолий, ты поступил бы с естественной простотой: взял то, что тебе предназначено судьбой. Вот бы и мне так! Но не тут-то было, я человек с душевным вывертом, мне непременно надобно в такие минуты уединения. И потому, чем больше я хотел опрокинуть на диван эту Лялю, тем отчаяннее трусил и противился инстинкту: мешал пьяный Шурик со своей крашеной, малиново-фиолетовой гетерой. Комплекс это был, врожденная брезгливость или водка в моем желудке зашла в глубокий конфликт с шампанским, судить не берусь, но в какой-то миг как будто предохранитель во мне перегорел, потянуло помойкой, стало противно, — и тогда-то я на секунду протрезвел и заорал: «Вон!» Гости онемели, хотели обратить хозяйский гнев в шутку, да только вид у меня был нешуточный, и едва я треснул шваброй о пол, а потом замахнулся, как свистнул сквозняк, и все в одну секунду исчезли, только чей-то бюстгальтер зябко затерялся на спинке стула.

И вот теперь — позднее, новогоднее утро, на сердце тоска, в голове ощущение напрасности содеянного, тогда как во рту — пакостно и горько. Да вот еще какая-то глупая бабочка прилепилась на потолке...

Но с другой стороны, какое счастье, что после пробуждения я не нашел в постели малознакомое, ненужное существо, посапывающее на моем плече и закидывающее мне на бедро голую ногу! Что бы я тогда делал, как бы изворачивался и лгал, целуя на прощание и выпроваживая дамочку с кислой миной, словно расставание для меня невыносимо?!

А впрочем, я всегда придавал слишком большое значение заведомым пустякам. Подумаешь, переспал с женщиной! Мир давно переменился, стал проще и безнравственней, постель не требует любви, любовь — верности. Но главное — в наши дни нижнее белье принято выставлять напоказ...

Танец со швабрами... Интересно, когда Шурик женится — спросит ли он когда-либо: не плясала ли ты, милая, со шваброй? И эти две гетеры, без стеснения танцующие стриптиз, — смогут они когда-нибудь выйти замуж по любви, шептать признания и клясться, не будет ли на сердце у них неуютно и черно от этой необязательной, напрасной в их жизни ночи?

— Что скажешь, старина Марк?

*«Отбрось убеждение, и ты спасен. Но кто может помешать тебе его отбросить?»*

## 7

Скажи мне, отчего на следующий день после Нового года, впрочем, как и после любого другого торжества, наступает такое жестокое отрезвление? Нет, не похмелье вследствие излишне выпитого или в результате смешения напитков, не булыжник в желудке из-за обжорства, а душевная смута, точно ожидание праздника оказалось напрасным: и праздник — не праздник, и жизнь все та же, в рамках обыденного и дозволенного человеку. Молчишь? Я могу ответить твоими словами: *«Помни о том, что все, руководящее тобою, таится внутри тебя самого. Здесь — дар слова, здесь — жизнь, здесь, если хочешь знать — человек».*

По твоему разумению выходит, что в собственном мироощущении я же и виноват? Спасибо на добром слове! Значит, это я собрал воедино людей, как пауков в банке, а собрав, разделил их, вложил им в головы честолюбие и властолюбие, похоть и жажду богатства? Не кто-то иной, а именно я создал отщепенцев, мне подобных, заставил их мучиться, глядя на остальных как бы со стороны, скорбно и отстраненно думать о причинах и следствиях, и за это «благо» — думать и сомневаться — отобрал то, что даровал другим: душевный покой, достаток, скудное житейское счастье? Хорошо, не отобрал —

они, отщепенцы, сами ото всего отказались, отлично понимая: земное блаженство доступно только юридическим и дуракам. Но и здесь обобщения не уместны: ты ведь, тезка, тоже был некогда осчастливлен — императорским венцом...

Я — учитель словесности. И еще я сочиняю вечерами, две-три наивных повести запутали и запугали редактора одного продвинутого литературного журнала, человека с темным журналистским прошлым по фамилии Повнич, запугали одним только подзаголовком: «Притча», — то есть иносказательным повествованием с нравоучительным выводом, как растолковывает словарь. Попытки объясниться привели к валерьяновым каплям и заверениям, что план журнала сверстан на несколько лет вперед, все пишут (домохозяйки, водопроводчики, слесаря), а потому — приходите завтра... Издаваться же за собственный счет, а после торговать книгами в подземном переходе, рядом с продавцами семечек и трусов, показалось сделкой с лукавым, кроме того, у меня никогда не было счета в банке или записки на черный день. Но главное, я прекрасно помнил, что властелин половины мира Марк Аврелий Антонин при жизни не обнародовал ни единой строчки, напротив, утаивал «Наедине с собой» в складках одежды вплоть до своей смерти. Значит, тому был резон, не могло не быть резона! Шепни мне, растолкуй — какой?..

Может, разгадка — в бабочке на потолке, впорхнувшей ко мне в первый день Нового года? Ведь не какая-то дрянь привиделась с похмелья, а махаон, то есть нечто прекрасное, связующее небо с землей. Каков символ, а, тезка?! Только не смейся, будь другом. Не одного меня одиночество подталкивает к абстрактным размышлениям, навеивает символы и тому подобную дребедень. А тут — нечто эфемерное, с крыльями! Нет, это знак, что скоро все в моей жизни переменится к лучшему, — мне очень хочется, чтобы это был знак, и потому я упорно величаю грязное пятно на потолке махаоном, вместо жирного потека вижу ярко расцветенные, бархатные крылышки прекрасного насекомого, впорхнувшего в комнату из другого измерения...

А может быть, и того проще, — и психиатр с потусторонним, безумным взглядом назовет диагноз: шизофрения? Как же, пациент напрямую общается с давно умершим императором, с перепоя, в зимнюю стужу видит на потолке живую бабочку, из соображений допотопной морали сторонится сношений с легкодоступными девицами...

Я давно уже размышляю над таким диагнозом, и могу кое-что еще добавить к симптомам. Так, мне кажется, что животные, рыбы и птицы некогда были людьми, но наказаны Всевышним за ослушание, и теперь мяукают, лают и пищат, понимая человеческую речь, но не в силах ответить нам, живущим. Например, кот Блюз, тот самый, который, оголодав, сбежал к соседям, нередко вводил меня в замешательство разумным, очеловеченным взглядом, пониманием моего состояния или участием во мне в самые горькие мгновения жизни. Еще кажется, что я жил в девятнадцатом веке, в самом конце, и в моей генной памяти сохраняются и изредка напоминают о себе то запах солнечной пыли на мостовой, то звук проезжающей по рельсам конки, то арочная кладка из желтого кирпича в доме напротив. Кроме того, во сне я все еще летаю, как в детстве... Если это симптомы нормального человека, то кто же тогда ненормален?

Но ты, Марк, как всегда не согласен: *«Свойства разумной души: она созерцает самое себя...»*

Спасибо, бесценный друг! Обнародуй ты свое «Наедине с собой» при жизни, — может быть, как лицо неприкосновенное тебя не рискнули бы выставить умалишенным, но втайне от всей души позлословили бы над твоим умственным здоровьем.

Хотя не все так печально в «Датском королевстве»: помнится, была одна женщина, которая меня понимала — и не принимала одновременно. Помнится, что была...

Тут я увидел пятно на потолке, услышал запах пищи с неприбранного с ночи стола, на мгновение мне снова стало дурно, и я сказал себе: какое же оно *хорошее*, то, что таится внутри меня самого?..

Подкрадывался самый тяжелый момент после празднования — подъем с постели. Я выпростал из-под одеяла ногу, свесил с дивана — и сразу ощутил циркуляцию прохладного воздуха по полу: из-за неплотно подогнанных окон в квартире гулял сквозняк. Тапки на привычном месте не отыскивались, и пока ступня, точно клюка слепого, нашаривала их подле дивана, мне стало зябко и неуютно. Соблазн утянуть ногу обратно под одеяло был велик, но перевесила здравая мысль, что, согревшись, я рано или поздно принужден буду высунуть ногу снова, — и за это время пятно на потолке не раз превратится в бабочку — и наоборот, в желудке будет по-прежнему мерзко и отвратно, а потребность выпить холодной воды окончательно меня доконает.

И я стал героически выпутываться из одеяла, поминая незлым, тихим словом Новый год, балбеса Шурика и непотребных девиц — в купе с ним.

Свежезаваренный чай с лимоном немного взбодрил — больше ни на что смотреть сил не было, контрастный душ ударил по нервам, — и только после всего этого, горячего и холодного, я частично обрел себя самого.

День за окном был смутен и непрозрачен, словно газированная вода в стакане, и, сгребая остатки пиршества со стола, я краем глаза видел, как медленные снежинки воздымаются к небу — я точно видел, что они парят и воздымаются, — или у меня что-то не так со зрением было сегодня?

*«Насколько же очевидно, что нет условий жизни, более благоприятных для философствования, нежели те, в которых ты теперь находишься!»*

Я улыбнулся твоим, Марк, словам, как если бы ты сказал их обо мне, и внезапно ощутил легкий укол счастья. Ничего странного, рассудительно решил я. Во-первых, что было бы, окажись рано поутру под моим одеялом эта Ляля, какой стыд меня мучил, как бы я выкручивался, выпроваживая ее из дома?! Во-вторых, мне привиделась бабочка, а значит, что-то непременно должно перемениться в этом году, что-то светлое и легкое снизойти, что-то милосердное, Божье! В-третьих, день за окном в самом деле был сказочным, словно на мгновение открылась мне потаенная душа мира, и в этой душе нашлось местечко и для меня.

## 8

Тут я вспомнил о Наталье, и немедля знакомый голос запел где-то за стеной «Пусть годы проходят — живет на земле любовь...», а с другого угла, с экрана несуществующего телевизора, она произнесла деловым, менторским тоном: «От имени корпорации «Интеллект-сервис» и всех ее сотрудников позвольте поздравить вас...»

Не позволю, черт подери! Не для того я выбросил телевизор и сжег все фотографии, где мы вместе, чтобы сейчас или когда-либо еще в жизни свет за окном померк, картонные снежинки упали наземь, как им и положено падать, стены сдвинулись, а над головой навис потолок с этим неопрятным, ржавым пятном. Не для того заперся анахоретом, вкушаю от одиночества, и только один у меня друг и наперсник — ты, тезка Марк, и не надобно нам никого другого.

— Марк? Молчишь...

Да что же это творится: едва расслабился, чуть вздохнул — и подлый удар под дых!

Год назад, ровно год миновал, как Наталья внезапно приехала на своем лимузине. Она вошла без стука, и какой-то настороженный лоб в смокинге внес за ней корзину с фруктами и спиртным, а, уходя, с такой брезгливостью осмотрелся, точно угодил в дом призрения и его сейчас от всего увиденного стошнит.

Мы поцеловались, как чужие, и она, поджав губы, прошла по квартире, зачем-то заглянула в ванную, на кухню, потом присела к столу и медленно обвела взглядом мое убогое жилище. И эти несколько мгновений, пока она вертела головой, пока высмотрела на стенке и с ревнивым прищуром стала разглядывать тебя, Марк, я приходил в себя — как нырлящик всплывает из глубины на поверхность или, того больше, как возвращается из небытия умерший, которого врачам удалось вытащить с того света.

Приходя в себя, я сначала уловил ее запах, изумительный запах, чужой и холодный, впорхнувший вместе с нею, увидел зачесанные назад волосы, вместо гребня искусно сколотые какой-то золотой штуквиной с камешками, разглядел такие же камешки, посверкивающие у нее в ушах и на шее. В чем-то стильном и одновременно строгом была она одета, — но я увидел и тут же забыл все это: и камешки, и одежду, — потому что мочки ушей медленно наливались у нее бледностью, ямочка на шее между ключицами была живая, и трепетала, и билась...

Но тут она глубоко вздохнула и посмотрела мне в глаза.

Дальше не помню, не знаю ее глаз — знаю только, что мне нельзя засматриваться в них, потому что уже через мгновение ничего для меня не существует иного...

— Проезжала мимо — и как-то потянуло, — сказала она, закидывая ногу за ногу, и я увидел знакомое колено и голубоватое, неистребимое пятнышко давнего кровоподтека — под ним. — У тебя все так же нельзя курить?

Голос у нее был один — как бы виноватый, тогда как двигалась она по-другому: с уверенностью, что все ей будет позволено — забрасывать ногу за ногу, осматривать комнату, пускать ноздрями дым, стряхивать пепел на пол и в чайное блюдце.

— Все так же живешь — как предписано свыше? Бабу себе не завел?

— У меня бывают здесь женщины.

— Проститутки? Чтобы не увязнуть в любви?

— Я уже увяз однажды, раз и навсегда. Остальное — не интересно.

Она несколько раз, быстро и глубоко, затянулась, но не рассчитала сил и умения — закашлялась, и на искусственных ресницах у нее проступили слезы:

— Все так же бестолково курю — точно девочка в подворотне. А уж не отвыкнешь! Кроме того, имидж обязывает.

— *«Пора не только согласовывать свое дыхание с окружающим воздухом, но и мысли со всеобъемлющим разумом».*

Взгляд ее стал недобрый и отчужденным, она закусила нижнюю губу и отвернулась, как делала всякий раз, когда перебарывала в себе внезапный гнев или обиду. Ах, да! Наталья ведь просила никогда более не упоминать при ней... не цитировать... Это о тебе, Марк, в последнюю нашу встречу она, разгорячившись, кричала: «Слышать о нем не хочу! Это что-то за гранью — эти твои беседы с покойником...»

— Прости, как-то непроизвольно вырвалось, — повинился перед ней я.

— Давай выпьем за уходящий год, — помолчав, отозвалась она с кривой, неверной, ничего не прощающей улыбкой. — Мне, пожалуйста, коньяку с лимоном... Год был удачный, но весь — на нервах. По свету помоталась, а ничего толком не видела: аэропорт — отель, отель — аэропорт. Ну да ладно,



сейчас не время для познавательных экскурсий. Как-нибудь потом, на покое...

— А будет ли покой?

— Как же: «На свете счастья нет, но есть покой и воля».

Мы выпили, не чокаясь — как муж и жена, она обмакнула лимонную дольку в сахарницу, задумчиво, как если бы не ощущала вкуса, пожевала.

— Хорошо, я повязана по рукам. У меня жизнь безумная. Ты-то как... со своим покоем?

— У меня нет покоя. И безумия нет. Срединное состояние, между тем и этим. На работе говорю то, чему обучался когда-то давно и попусту, дома думаю о том, что совершенно не соотносится с работой. В промежутках — необременительный быт: магазин, прачечная, химчистка...

Она покривилась, ощутив, наконец, вкус лимона, подвинула через стол порожнюю рюмку, подождала, пока налью по второй, а когда рука у меня дрогнула и на столешницу пролилось несколько золотых капель, посмотрела на лужицу с недоумением и досадой.

— Но ведь это — не жизнь, прости меня. Я, разумеется, понимаю, что глупо, и все-таки... У нас намечается расширение услуг, штат растет, среди клиентов народ разный. — Она поморгала подкрашенными веками, как всегда делала, сосредотачиваясь на чем-либо важном, посмотрела сквозь рюмку на свет, поднесла к ноздрям, вдохнула аромат коньяка. — Одним словом, нужен человек, знающий толк в людях, своего рода эксперт. Пристойная оплата, независимость от клерков, влияние на принятие кадровых решений, и такое прочее. Это не благотворительность, Боже упаси! Скорее, здоровый расчет. Пора тебе выползть на свет.

— Зачем?

— Чтобы жить пристойно, с достоинством. То, что ты сейчас делаешь, — самоуничтожение! Господи, Марк, посмотри вокруг!

Она взяла меня за руку, как брала когда-то давно, в минуты душевной близости, слегка сжала пальцы и погладила их так, что голова у меня пошла кругом, я не удержался и отыскал ее ладонь губами. И она ответила мне — клянусь, что так и было: вечность и еще немного не отнимала своей руки. Но и только. Через секунду-другую она мягко высвободила ладонь и положила на край стола — так, чтобы я мог видеть обручальное кольцо с бриллиантом на ее безымянном пальце.

— Жить с достоинством — это когда два мужа, бывший и настоящий, работают в одном учреждении и под твоим началом? — с едкой ухмылкой спросил я, едва сдерживая горечь и злость. — И как же мы станем делить пространство? Например, у львов соперники скоры на расправу, и через короткое время одного из них не было бы в живых. А мы станем караулить и подсиживать один другого, интриговать и нашептывать тебе на ушко?

Наталья отшатнулась и одними губами прошептала: «Боже мой!..»

— Давай лучше — по третьей, за тебя! Ты очень мудро поступила, когда решила меня оставить: со мной у тебя ничего не вышло бы, не тот я человек. Я рад твоим успехам, право-дело, рад! И знаешь, хорошо, что детей у нас с тобой не было: не довелось рвать по живому...

## 9

«И вот достиг бы я «легкой, приятной и приличной жизни», а там умер, как Иван Ильич у Толстого, — сказал я воображаемой Наталье. — И как бы ты тогда поступила? Продолжала бы уверять в необходимости достигнуть всего этого, «легкого, приятного и приличного»? Любой ценой? Что нужно мне в жизни, кроме тебя? Я не голоден, не раздет, не суетлив, в какой-то

мере я знаю цену людям и тому, к чему многие из них стремятся. Мне не хватает только тебя. Или снова себе лгу? Ведь когда-то в прошлом ты уже была моей, и что из этого вышло? Мы тянули друг друга в противоположные стороны, пока построжки не оборвались. Выходит, нам не суждено оставаться вместе. Значит, это ошибка, что мы встретились? И наша любовь — восхитительная, прискорбная ошибка?»

Вот уж чего не пойму в лабораторных опытах Господа, друг мой Марк, так это запрограммированных ошибок с болью. Хорошо, я не то сделал, не так сказал, за это меня ушибло раз, другой, третий. Что поделаешь, эволюция совершается с синяками и шишками. Но зачем толкать мужчину и женщину в любовь — и не позволять им быть вместе? Зачем так-то — с любовью? Ведь по Божьим законам чувство сие — суть всего сущего, то, чем живится душа! Или полюса и здесь существуют: счастливая — несчастная? И не наказание это для человека, наказание — нелюбовь?!

*«Стоит ли это того, чтобы из-за него болела моя душа и под действием приниженности, вожделения, смятения, страха сделалась хуже, чем теперь? И есть ли вообще что-нибудь, что стоило бы этого?»*

Есть, Марк, есть! Прости, но иногда ты представляешься мне обуянным философической гордыней, и гордыня эта зашоривает тебе глаза. *«Или все происходит как бы в едином теле, беря начало в едином духе, и часть не должна роптать на то, что происходит в Целом»*, — наставляешь ты, забывая: если плохо части, то непременно заболит Целое, как ушибленный палец передает ощущение боли всему телу. Выходит, мое несчастье делает несчастным и то общее, к чему все мы принадлежим. И если часть живет для Целого, то и Целое живет этой частью. Что же получается? Целое как бы и не волнуют наши несчастья, значит, не в этом цель, и мы живем для Целого напрасно — мы всего лишь разъединяющиеся и соединяющиеся его частицы. А раз так, Толстой и прав, и не прав одновременно: нужно жить для «легкой, приятной и приличной жизни», но при этом не разминивать душу по пути к ней. Уф!

*«Если кто-нибудь впал в заблуждение, то он же и терпит зло. Но, может быть, он и не впал в него».*

Может быть, и не впал... Каково?

Звонок в дверь помешал поблагодарить тебя за удачную сентенцию, Марк!

На пороге сиял сосед слева, несравненный Лев Борисович Симанович, в красной шапке а-ля дед Мороз набекрень, с увесистым ананасом в руках. От него вкусно пахло домашней выпечкой, едой и благородной выпивкой, и, протягивая мне ананас, он пресыщено икнул и взметнул кустистые брови к небу:

— С Новым годом, Марк Андреевич! Я к вам, так сказать, запросто, по-соседски. Позвольте переступить порог?

Как же не позволить? Разумеется, милости прошу, чтобы тебя черти забрали!

Симанович втиснулся, заворочался в тесной прихожей, нежно ухватил меня за руку пухлыми, теплыми пальцами и, встряхивая, мельком заглянул через мое плечо вглубь квартиры, как будто хотел удостовериться для себя в чем-то. Удостоверившись, еще шире и приятнее улыбнулся, придвинулся ко мне животом и доверительно пробормотал:

— Понимаете, какая случилась оказия, любезный Марк Андреевич. Вера Георгиевна, как только глаза открыла, так сразу скомандовала: в Новом году первым в квартиру должен войти мужчина, — иначе никак нельзя. А кто войдет в квартиру к Марку Андреевичу? И вот он, я! Она сказала: ты будешь первым, Лева. Вы же знаете Веру Георгиевну, с ней не поспоришь...

«Опоздал, милейший! — не без доли злорадства подумал я. — Первые уже были, да быстро вылетели вон».

— Возьмите ананас, положите его на чистое блюдо, — благожелательно скомандовал Симанович, — и к нам, к нам! А то, неровен час, вас опередит моя теща, Берта Маграмовна (она обещала быть к обеду), и тогда весь год станет ходить и обедать, когда ей вздумается.

У меня ёкнула селезенка, и лицо вытянулось — ощутил, как уголки губ поехали книзу, а щеки трагически провисли.

— Поверьте, это не смертельно, но необходимо! — тотчас уверил меня сообразительный Симанович. — Убьете какие-нибудь полчаса: водочку — под селедочку, коньячок — под кофеюк, а там — изумительнейший малиновый ликерчик собственного приготовления, — и вы свободны, как ветер. Берите пример с меня и сделайте Вере Георгиевне приятно, что вам стоит.

Отказать Вере Георгиевне значило нажать себе в Новом году тайного недоброжелателя, а сие было чревато и суть небезопасно. И без того у меня нередко возникало ощущение, что где-нибудь в подъезде или во дворе дома ее всевидящие глазки нет-нет да и прилипают к моему затылку, точно у меня намалевано там нецензурное слово. Бедный зять Симановичей, наверное, носил на себе эти глаза-липучки денно и ночью, пока не спасся бегством, и даже преданность и любовь Аллы не смогли этого бегства предотвратить.

Вера Георгиевна встретила нас, точно мы явились без приглашения.

— Ах, Марк Андреевич, это вы? А мы только что прибрали со стола.

В растерянности я оглянулся на Симановича, но того и след простыл — только и всего, что в пролете кухонной двери мелькнула налившаяся жирком холка. Тогда я раскланялся и заверил Веру Георгиевну, что отменно сыт, что пришел, так сказать, засвидетельствовать в Новом году свое почтение, и все такое прочее, что тороплюсь по неотложным делам и, к сожалению, не могу остаться к чаю.

— Алла! — не слушая моего лепета, вдруг властно крикнула в сонные глубины квартиры Вера Георгиевна. — К тебе пришел Марк Андреевич с поздравлениями. Как это какой Марк Андреевич? Выйди немедленно! Сейчас станем пить чай.

Она звала дочь, а сама обшаривала меня подозрительным взглядом, и во взгляде этом было: знаю, знаю, как ты провел ночь, как пьянствовал и развратничал, знаю и то, что у тебя на шее синеет отвратительный след от незаконного поцелуя!

И мне стало душно в тугом воротнике рубашки, я против воли втянул голову в плечи и потупился, точно нерадивый, нашкодивший ученик.

Вышла Алла со следами бессонной ночи на лице, недоуменно и кротко посмотрела на меня сквозь стекла очков: что случилось, зачем пришел? Мы с ней были ровесниками, но теперь отчего-то показалось — на меня смотрела утомленная женщина, значительно меня старше, знающая о жизни нечто, мне недоступное и горькое для нее. У этой женщины припухли подглазья, глаза были выплаканы, белки — красны, кожа — бледна и прозрачна, и через кожу проступали нежные голубые жилки, как это бывает у больных малокровием.

Мне стало жаль Аллу, захотелось сказать ей что-нибудь ободряющее, но я молчал, оставаясь настороже. Ведь сколько глупых, доверчивых карасей, мне известных, попались на крючок сочувствия и жалости!.. А Симановичи, судя по всему, затеяли очередную рыбную ловлю...

— Марк Андреевич, кто вы у нас по знаку зодиака? Овен? — пропела, звеня чашками, Вера Георгиевна и тут же иным, суровым голосом крикнула в проем двери: — Лев Борисович, мне, право, непонятно — будет у нас чай

или ты там ликеры втихомолку переливаешь? — И с обворожительной улыбкой снова оборотилась ко мне: — Так-так, Овен! По гороскопу у вас в этом году сердечное событие. Слово в слово написано: сердечное событие, радостное событие. Нужно всего лишь оглянуться вокруг. Вот мы с Львом Борисовичем — как думаете, сколько лет вместе? Ого-го, сколько лет! А почему? А потому, что понимаем друг друга с полуслова. Почему понимаем? Потому что мы — из одного круга, у нас общие представления, интересы. Мы учились, ходили в библиотеки, а не писали на заборах... Лева, где ты там, в конце концов?!

— Иду, моя радость! — вкатился в гостиную запыхавшийся Симанович, сияя и вскидывая от усердия кустиками кудлатых бровей.

В одной руке он удерживал через стеганую рукавицу заварной чайник, наполненный до краев, в другой сжимал графинчик с самодельным ликером из лепестков розы.

— Слышишь, Лева, по гороскопу Марк Андреевич — Овен, а потому непременно женится в этом году.

— Вот как? Счастливым у него гороскоп!

## 10

*«Люди будут делать одно и то же, как ты ни бейся».*

Я глотал приторно-тягучий ликер Льва Борисовича, пил чай с лимоном и киевским тортом и вел светскую беседу. При этом мы (с одной стороны я, с другой — старики Симановичи) едва не на ощупь торкались один другого, как хитрые, недоверчивые крабы — клешнями: каков противник, с какой стороны можно его взять и не лучше ли, пока не поздно, свалить восвояси? Вместе с тем, мне было искренне жаль бедную Аллу, судя по всему, не посвященную в родительские расчеты и планы — отыскать замену сбежавшему зятю. Но поскольку роль жертвы отводилась мне, я принужден был стать в позицию и обороняться.

Сначала коснулись встречи Нового года, сойдясь на том, что хоть этот праздник и самый замечательный и любимый, но с каждым годом нам (мне и, разумеется, Симановичам) все труднее бодрствовать до утра. Затем перешли к предновогодним хлопотам, приготовлениям, суете, усталости, бессовестно подпрыгнувшим накануне ценам, — и вдруг в какой-то момент всем стало ясно, что только прочные семейные узы способны защитить нашего человека от вселенского хаоса текущих дней.

«И когда они успели положить на меня глаз? — терялся в догадках я, согласно кивая и стараясь, чтобы рот все время был полон — верная гарантия от того, чтобы не сболтнуть лишнего. — Сидел в норке тихо, как мышь, не высывался, не таскал чужой сыр. Откуда же столько мышеловок вокруг?»

— Жаль, что вы не попробовали наш форшмак, — раз за разом повторяла Вера Георгиевна, обволакивая меня гипнотизирующим взглядом ласкового удава. — Этот форшмак просто чудо, его сразу съели — еще в старом году. Аллочка, запиши рецепт Марку Андреевичу. А впрочем, не стоит, у него все равно некому готовить. Когда у вас возникнет такая необходимость, Марк Андреевич, мы попросим Аллочку вам помочь. Вы не пожалеете, она у нас мастерица!

— Ликерчику, ликерчику! — подливал в рюмки Лев Борисович, играя лицом, точно конферансье, и всей доступной этому лицу мимикой завлекая: прочувствуйте на себе наш уют!

И я жевал, пил и раскланивался, как механический арлекин, которого заводили и заводили ключиком в несколько оборотов, а тем временем думал: «Что же Алла молчит? Неужели она — набитая дура, не понимающая, как ее

унижают?» Мне не было видно ее глаз — только дужки очков, часть бледной скулы и прозрачное, с нездоровой голубизной ухо, в мочку которого был вколочен крошечный золотой гвоздик, а еще — макушка с уложенными кое-как кудряшками. Она упрямо смотрела в чашку, неслышно отхлебывала, — а когда чай был выпит ею, я внезапно уловил предательский фарфоровый звон от неверного соприкосновения пустой чашки с блюдцем.

— Вот я расскажу вам один анекдот, разумеется, не для женских ушей, — но здесь все свои...

— Папа, Марк Андреевич уходит, — вдруг решительно поднялась из-за стола Алла, и недосказанный Симановичем анекдот повис в воздухе. — У нас с ним — одно нерешенное дело... И... он обещал меня проводить.

Я увидел, как у Веры Георгиевны как-то разом привяло и смялось лицо, и наслаждался этим зрелищем сполна. Лев Борисович сделал бровями «оп-ля», и я едва не хлопнул старика по плечу со словами: «Ликер был превосходен, папа!»

Правда, радость быстро померкла, едва разглядел глаза Аллы, — я даже сжался невольно: каждую следующую секунду она могла запустить пустую чашку мне в голову.

«Была бы расплата за малодушие, — думал я, раскланиваясь с хозяевами и спешно выкарабкиваясь из цепкого, с гнутыми подлокотниками кресла. — Сколько раз обещал самому себе, что в подобных ситуациях стану отвечать адекватно: хитрецу — хитростью, наглецу — наглостью, хаму — хамством. Ан нет, все тушуюсь, комплекую, все водят меня, как коня на поводу!..»

Под взглядами, полными подозрительного недоумения, я помог Алле надеть пальто, раскланялся со стариками Симановичами, — и через мгновение мы с нею оказались на лестничной площадке. Здесь было сумрачно, неуютно, холодно, вместе с морозным ветром в разбитое под потолком оконце то и дело впархивал серебристый снег-конфетти.

— Хотите вы, или нет, но я вынужден одеться и пойти с вами, — без особого энтузиазма произнес я и непроизвольно передернул плечами — так она на меня посмотрела. — Если мы не промелькнем под вашими окнами, вам по возвращении придется продолжать замечательную историю про «наше нерешенное дело».

День был весь в бахrome из инея — провода, ветки деревьев, чугунные завитки ограды, — и пока мы пересекали двор, с бахромы этой обрывались хрупкие, блестящие звездочки и невесомо плыли нам навстречу. Если бы не окна, провожающие нас нескромными взглядами, можно было пошалить, как в детстве: поймать звездочку, скатать и зашвырнуть снежок, стряхнуть друг другу за воротник студеную, снежную пыль с отягощенной сиреневой ветки. Но я лопатками ощущал на себе масляные глаза Веры Георгиевны...

— Как вам не совестно! Зачем вы пришли? — едва мы завернули за угол, набросилась на меня Алла. — Вы... я думала о вас лучше.

— *«Когда тебя возмутит чье-либо бесстыдство, тотчас же спроси себя: «Возможно ли, чтобы в мире не было людей без стыда?». Нет, невозможно. Не требуй же невозможного. Ведь и этот человек один из тех людей без стыда, которые необходимо должны быть в мире».*

— Значит, это не вы... — Алла наморщила лоб, и очки у нее вдруг стали запотевать; она сняла их, чтобы протереть стекла, и тогда я разглядел, что хрусталики глаз ее влажные и почти прозрачные, как две капли талой воды. — Простите меня! Последнее время я как-то потерялась в людях.

— *«Поступки другого человека следует оставлять при нем».*

— Не глушите меня цитатами! Пойдемте куда-нибудь. Пять минут на морозе — а уже вся продрогла.

Мы пошли в кафе на бульваре, где варили отличный итальянский кофе, и сели в уголке у окна, — так, чтобы бульвар, обсыпанные снегом каштаны и редкие прохожие были видны в проталины на стекле.

— Как вы думаете, это правильно, что я сижу здесь с вами? — спросила Алла с робостью, грея руки о кофейную чашку. — Если ему донесут...

— Боюсь, что неправильно, — вздохнул я. — Но жизнь, на мой взгляд, состоит из опровержения формул и постулатов. Опровергая — постигнешь. Поступая вопреки, обретешь истину. Путано? Ладно, одной фразой: сложно прожить жизнь с закрытыми глазами.

— Что же мне делать, Господи? Вы знаете, он — строитель, занимается ремонтами квартир, книг не читает, умно не говорит. Но ведь с ним надежно! Он не лежит на диване, не носит галстуков, у него не бывает тоски. Вы бы видели его руки!.. И мне без него трудно — не потому, что не починен уют...

— Тогда зачем вы его отпустили?

Она посмотрела на меня с изумлением — точно так же, как я смотрю в школе на ленивого, туго соображающего ученика.

— Вера Георгиевна?

— Оба. Одна грызет, другой поддевает. И оба искренне желают добра. Было просто невыносимо!

У нее сделались влажными ресницы, она сморгнула, мотнула головой, и слезы, выдавившись из-под век, перебежали в подглазья.

Что же плакать? Я сказал ей, что слезы очищают душу, но не помогают жить, отнюдь. Что если она и дальше станет плакать, то бармен и две девицы у стойки примутся разглядывать нас в упор и сочинять истории, одна другой гаже. Что ее обязательно кто-нибудь узнает (зареванные всегда привлекают внимание) и донесет ему, вот тогда-то ей придется оправдываться, объяснять то, чего на самом деле не было. Да что же это такое! Немедленно вытри глаза и ступай, беги к *нему* со всех ног, иначе всенепреренно случится то, что однажды уже случилось со мной...

Что случилось? Слушай, если тебе так хочется. Вся оставшаяся жизнь для меня — забывание, — день за днем, год за годом. Забывание первой ночи, тембра голоса, запаха волос, цвета глаз. Забывание себя — с *нею*...

И тут она представила, ужаснулась и заплакала еще горше...

## 11

На выходе из кафе Алла подала мне руку, и мы улыбнулись друг другу, как давние, хорошие приятели. При этом она не сводила с меня глаз, как если бы что-то важное упустила, не сумела сказать и теперь собиралась с мыслями и подбирала нужные слова. Но вдогонку умен не будешь. И я повернулся и пошел по бульвару неспешным, размеренным шагом, чтобы, чего доброго, не решила, будто бегу от нее. И пока шел, какое-то еще время ощущал затылком долгий, прощальный взгляд, но понудил себя идти, не оглядываясь.

Бедная девочка! То, что наговорил ей в порыве душевного сострадания, вряд ли принесет облегчение, но на час-другой, возможно, скрасит одинокое существование в холодном, равнодушном мире. А дальше... Кто знает, что будет дальше? Знаешь ли ты, Марк? Надеяться ей или смириться, бороться или плыть по течению с робкой надеждой: авось вынесет к берегу, прибьет к любимому человеку, а не утащит от него прочь?! Эй, где ты, тезка? Ах да, я совсем забыл, что даже *наедине с собой* ты упорно умалчиваешь о любви!

Но что делать мне? Не знаю, для чего мир устроен, но как безрадостно пребывать в нем, если рядом нет близкой души. И не просто близкой — нет рядом с мужчиной любимой женщины, а с женщиной — любящего мужчины.

Если о сокровенном говоришь с зеркалом, ночами глядишь в черное, пустое окно, записываешь исполненные горечи и тоски мысли, которыми не с кем поделиться, — затем только, чтобы рано поутру спрятать свиток подальше от глаз людских, в складки хитона...

*«Самое тихое и безмятежное место, куда человек может удалиться, — это его душа... Почаще же разрешай себе такое уединение и черпай в нем новые силы».*

Уединение? Нет, мир не создан для одиночества! Соединяясь в любви, мужчина и женщина превращаются в одно целое — человека. Бог затем только разъединил их, чтобы искали и находили друг друга. В этом — смысл всего! А иначе мир — вселенская пустота, наполненная тщетой и ожиданием смерти.

Что, не согласен? Станешь спорить?

*«Тот, кто не знает, что есть мир, не знает и места своего пребывания. Не знающий же назначения мира не знает ни того, кто он сам, ни того, что есть мир. Тот же, кто остается в неведении относительно какого-нибудь из этих вопросов, не мог бы ничего сказать и о своем собственном назначении. Кем же кажется тебе тот, кто стремится избежать порицания или удостоится рукоплесканий и похвалы со стороны людей, не знающих, ни где они, ни кто они?».*

Уводишь спор в сторону? Хорошо, Марк, в таком случае ответь: видел ли ты кого-либо, не стремящегося избежать порицаний и равнодушного к рукоплесканиям и похвалам? Человеческая природа такова, что соблазны и страсти являются движущей силой эволюции гомо сапиенс, и изобретающий колесо не может не думать, что скажут об этом изобретении другие люди. Ощущения печального и приятного для того и существуют, чтобы мы неустанно жаждали и, обретая, тут же разочаровывались. Другой вопрос, и тут я с тобой согласен: не нужно ставить порицания и похвалы во главу угла, и тогда в горечи или радости будет сохраняться частичка покоя.

Есть для меня два аспекта в творческих начинаниях: ощущения языка сходны с ощущениями любви, я испытываю как физическое, так и духовное удовлетворение, погружаясь в свои притчи; и вместе с тем, мне далеко не безразлично, погибнут ли эти притчи, в глубине письменного стола, прочтут ли их когда-нибудь люди, удивятся ли, станут ли соучастниками моих тайн. Я не знаю, кто я сам, что есть мир и каково мое назначение. Но если меня погрузили в данную среду обитания, я должен идти за призванием, которое ощущаю, и познать все мирские соблазны, а не рубить себе палец, как отец Сергей.

— Господи, что я болтаю! Зачем Ты отнял у меня Наташу, почему ее нет со мной?!

*«Смотри внутрь себя».*

Ах, так? Значит, это я во всем виноват? Ладно, я отвечу тебе, отвечу! Есть у меня давняя притча о Ярославе Мудром. Вот уж воистину пример заблуждений и обманов, ставших историей! Человек был одно — оставил по себе другое: почет и славу добродетельного мудреца, строителя и книжника. Но это ведь по его велению окаянство приписали невинному Святополку, Софию Киевскую — ему же, Ярославу, а первым славянским панегириком стали сочинения угодливо лгущих летописцев. Бедные Борис и Глеб! Бедный Йорик! Бедные Марк Аврелий и я, твой тезка Марк Андреевич! Заблуждения жизни объединяют всех нас — людей, *«не знающих, ни где они, ни кто они».*

И Алла заблуждается в своем любимом — напрасно полетела к нему, ничего у них не получится, ничего не свяжется и не склеится: очень разные они люди. И мы с Натальей изначально заблуждались друг в друге...

Или в назначении мира есть пунктик: все мы, де, непременно должны расшибиться о любовь? Не-ет, там иное прописано: рано или поздно Наталья должна была меня бросить, поскольку за этим расставанием ждал своего часа Марк Аврелий Антонин!

Так это ты, тезка, во всем виноват? Почти два тысячелетия тебе было скучно там, в мире ином, и вот ты выпросил себе напарника, чтобы втирать залежалые истины, может быть, вовсе не являющиеся таковыми? Каков гусь! И ведь не отрекся при жизни от власти ради своих сентенций, как отрекся из-за капусты Диоклетиан!

*«Каждому пристало то, что стало его уделом в силу природы Целого, и именно тогда, когда стало».*

Тут кто-то хрипло, простужено кашлянул рядом со мной, надвинулся и скороговоркой прорычал:

— Эй, господин хороший! Сэр! Это я тебе, ёшкин кот!

Голос был злой, нарванный, прогудел внезапно, и от неожиданности я шарахнулся в сторону, соскочил с расчищенного тротуара на обочину и по щиколотку увяз в сугробе. Серый от холода и грязи, заросший щетиной бомж тянул ко мне заскорузлую ладонь, но не смиренно, а нагло, уверенно, поразбойничьи сверкая крысиными глазами с красными, воспаленными веками. От бомжа тянуло помойкой и прелой, не просыхающей тканью, и вел он себя вызывающе: щурился — будто приценивался и примерялся, стоит ли со мной связываться, если надумаю дать отпор, сплевывал под ноги и, как показалось, готов был нетерпеливо дернуть меня за рукав.

«А шиш тебе! — покривился я. — Не дам ни копейки!»

Я сразу решил так — не потому, что скуп, а потому, что имею стойкое предубеждение против этой категории граждан. И в самом деле, зачем ему бродить и побираться, бомжу, если, к примеру, наш двор не метен, не чищен, а в жилищной конторе жалуются, что дворника днем с огнем не сыскать? И не на хлеб ведь просит — на выпивку, по злодейской, продувной роже видно!

Я демонстративно повернулся к бомжу спиной, но почему-то медлил, не торопился выбраться из сугроба. Что-то давнее, позабытое промелькнуло в памяти: лицо — не лицо, голос — не голос, взгляд — не взгляд, — что-то из моего прошлого, припомнившееся смутно в этом опустившемся на самое дно жизни человеке.

— Сэр! Ты ведь аристократ? Уважаю! Аристократы понимают нашего брата, — забормотал бомж скороговоркой, и вдруг пригнул голову, отвернул подбородок и спрятал от меня глаза. — У гребаного буржуя просить не стану, потому как не уважаю: жлоб и скупердяй. А ты не пройдешь мимо, если кто погибает. Подыхаю, а похмелиться нечем. Новый год, а — никакого Нового года!..

И тут меня осенило.

— Эдик? Ты, что ли? — всмотревшись, неуверенно спросил я.

Бомж встrepенулcя, cглoтнул cлюну, застыл — с протянутой рукой и распяленными, лилово-черными губами, потом взглянул на меня исподлобья, нехотя убрал руку за спину и завернул в узкий, похожий на тараканью щель проход между домами.

— Эй, постой, я ошибся! — заторопился вдогонку бомжу я. — Не уходи! Ты не Эд, ты совсем не похож на Эда! Как звать-то? Ладно, не говори, если не хочешь. Я бутылку куплю! Водка, коньяк, виски?.. Я быстро, я сбегаю, ты подожди здесь. Магазин — рядом, за тем углом... Только не уходи!

Бомж остановился, подумал, вяло махнул рукой: давай, чего уж там...



Мы сидели в полуразваленном, давным-давно приговоренном к сносу доме, на втором этаже, в комнате с заколоченными окнами, выходящими в тихий, Богом забытый проулок, и караулили тишину. Дом был ветхий, стены трухлявые, полы местами сорваны, местами сгнили, штукатурка на потолке обвалилась, сырое, ржавое пятно, расчерченное дранкой в неровную клетку, угрожающе пучилось над нашими головами.

Мы — это я и мой однокурсник по филфаку Эдуард Гришин по кличке Милорд. Правда, мне не совсем верилось, что восседающее напротив чучело в лохмотьях — тот самый Милорд, который...

Мысленно произнеся «который», я вдруг ощутил головокружение, под сердцем ёкнула селезенка, и прошлое встало перед глазами и с укориной заглянуло в меня.

Это и вправду был Милорд! Некогда, в студенческие годы, мы жили в одной комнате в общежитии, вместе зубрили и сдавали экзамены и зачеты, варили на кухне постные борщи и жарили картошку, ухлестывали за одними и теми же девушками. И при этом я втайне завидовал его успехам у женщин: многие красотки с нашего факультета были влюблены в этого шалопутного Эда, а меня не замечали. Он почему-то считался красавчиком и сердцеedom, хотя предпочтение отдавал доброй мужской компании, любил выпить «под разговор», никогда не пьянел и не мучился по утрам с похмелья, был речист, остроумен, в меру ироничен и удачлив, без труда учился, оставаясь при этом обаятельным, добродушным малым. По окончании института Эд зацепился за аспирантуру и, как утверждали, быстро пошел в гору по научной части, тогда как я «выпал в осадок», — и по этой причине наши с ним пути надолго разошлись.

Но имелась еще одна веская причина, по которой нам с Эдиком просто необходимо было «разбежаться»: на пятом курсе я увел у него Наталью...

И вот случилось — не скажу: чудо, — явление...

На импровизированном столе, сооруженном из дощатого ящика из-под яблок и застеленного куском оборванных со стенки обоев, громоздилось мое подношение: две бутылки перцовой настойки, шмат паршивого польского балыка, полголовки твердого сыра, маринованные огурцы, бычки в томате, ржаной хлеб — все, что пришло в голову купить в ближайшем продуктовом магазине.

У этого стола, друг напротив друга, восседали мы с Эдом, молчали и почему-то старались не пересекаться взглядами, будто ожидали, кто первым подаст знак приступить к трапезе. В гулкой, настоящей тишине я слышал, как шуршит на сквозняке рваная полиэтиленовая пленка, натянутая на рамы вместо выбитых стекол, как кряхтит, проседая в простенках, ухайдоханный людьми и годами дом, как сглатывает подступившую слюну Эд, не в силах совладать с голодным спазмом. В какой-то миг у него предательски заурчал желудок, он отрыгнул воздух, но продолжал выпендриваться, держать передо мной марку.

«Вот же упрямая скотина! Бомж по кличке Милорд!» — ухмыльнулся я и, чтобы не мучить бывшего приятеля ожиданием, откупорил бутылку и на четверть наполнил пластиковые стаканчики спиртным.

— За встречу — или как? — спросил Эд и, разгадав в моей ухмылке нечто обидное для себя, задрал подбородок с клочками жесткой, линялой щетины и свысока, надменно и колюче посмотрел мне в глаза. — С Новым годом, сэр! С новым счастьем!

— Издеваешься? Какой, к черту, сэр?! Какое счастье, Милорд?!

— Ты вот что, ты давай пей, а рассуждать после будешь!

Мы выпили. Сдерживая подлую дрожь в пальцах, Эд величественно и неторопливо осмотрел «стол», выломил из хлебного ломтя мякиш, обмакнул в томатный соус с бычками и, роняя кровавые капли томата на подбородок, поднес к черным, потрескавшимся губам и стал беззубо жевать.

«Хорохоришься? Ну-ну!» — подумал я с невольным уважением, взялся за бутылку, налил по второй, приподнял на уровне глаз хрусткий стаканчик и не удержался, подначил:

— Смотрю, хорошо живешь.

Не дожидаясь, Эд подобрался, смял губы, заиграл желваками, выплюнул мякиш на пол и воинственно пригнул голову. Но, подумав секунду-другую, по всей видимости, решил не задираться. Давясь, мелкими глотками выпил, крякнул, хохотнул, покривив гнилую улыбку, хлопнул ладонью по колену:

— А чего не жить? Живу по нынешним временам роскошно: крыша над головой есть, печка хоть и худая, вонючая, но дровами топить можно, а дров — сам видишь, завались (он кивнул в сторону не до конца разобранный пола), кровать... Чудо, что за кровать! Погляди сам: пружины, два матраца, перина! Ну и что, что псиной воняет? Пес в баню не ходит, а ходил бы да шерсть у парикмахера завивал — почище нас с тобой пах бы. Но ежели рассудить честь по чести, то уж как некоторые люди-человеки воняют!.. А вот еще — патефон! Иголка хрипит, дерет, но все равно музыка вечна... «Мне бесконечно жаль своих несбывшихся мечтаний...» А? Каково?

— Но Милорд...

— Теперь я — не Милорд, теперь зовусь Диогеном Синопским.

Тут я ощутил невольное беспокойство и даже оглянулся по сторонам, чтобы прочнее зафиксировать в памяти месторасположение входной двери.

«Надо же, Диоген Синопский!..»

Заметив это мое беспокойство, Гришин захохотал:

— Не трусь, дурдом пока еще — не по мне! Рассуди лучше: Диоген в бочке жил? Жил! Я вот тоже живу, где придется, — и в бочке могу. Говорил: «Дайте мои деньги»? И я не побираюсь, требую: отдайте мое мне! Бродил Диоген с фонарем среди бела дня — искал в толпе человека? Я тоже ищу: *человеческое* — в людях. А вот там, где ты обитаешь, давным-давно нет такого — человеческого...

— А здесь?

— А кто его знает, как здесь? Пока не понял. Грязно пока, холодно. Но если жив буду — узнаю!

— Так ты?..

— Именно! *Я — сам!* Как-то проснулся, а встать не могу — такая взяла тоска: институт, диссертация, подлянки, подножки, зависть... Глянул в окно, а там — день, солнце, дорога, жизнь! Сказал ей, этой своей... как ее?.. Той, что жила со мной... В магазин, мол, за сигаретами... А сам в чем был — ушел. Сбежал — и точка! Давай выпьем, черт! Приперся, не наливаешь...

Мы выпили по третьей, и оба стали быстро пьянеть. Эд несколько раз промахнулся мимо банки с бычками и заталкивал в рот сухие, не орошенные томатом мякиши хлеба. Я же тщетно пытался прожевать кусок балыка, и при этом улыбался всему на свете: пятну на потолке, расцветшему дивными колерами, любопытной мышью, высунувшейся из-под сорванных половых досок, обросшей физиономии Эдуарда Гришина, вполне симпатичной и, казалось, никогда не исчезавшей из моей жизни — ни вчера или позавчера, ни вообще когда-либо...

— У меня здесь какое-то время квартировал учитель музыки, — бубнил Эд, беззубо и неряшливо жуя деснами и утробно урча желудком. — Тир-ля-

ля-ля!.. В музыкальной школе преподавал... «Скрипка, и немножко нервно...» Его тоже достало, убежал... Патефон принес: тир-ля-ля!.. На днях ушел — и не вернулся. Может, умер, а может... Свободный, б...ь, человек!

— А ты — что?..

— А я — что? А я — ничего! Живу. Мысли всякие переживаю.

— *Здесь?*

— А что — *здесь?* Допустим, *здесь!* Ты представь — космос, вселенную. Представил? А теперь — всех нас: тебя, меня... Что мы такое в сравнении с бесконечностью? Ничтожества без права понимать и знать! Как подумаешь — тошно на сердце, ощущаешь полную бессмыслицу всего... Зачем жить, если хочешь не хочешь, а умереть придется? Для чего, спрашивается? Землю удобрить? Послать импульс космическому Целому, что, де, жил и умер? Чтобы Целое напиталось нашей сущностью? Выходит, мы — разумный, питательный студень? Не хочу! Вот, вот и вот!.. — Эд скрутил мирозданию кукиш, воздел над головой и роздал всем углам и закоулкам. — И тебе, Марк, что тебе от того, что Целое сожрет твою сущность, сожрет и не подавится? Какой резон питать прожорливый, мыслящий холодец? Хочешь быть нитью накаливания в лампочке: посветил-посветил, бац — и перегорел? Муравьем на тропинке — под чужим башмаком? Я — не хочу! Взбунтовался против всего, что непонятно и запрещено, против бессмыслицы существования. Повесился бы — назло природе, да страшно и стыдно: боюсь боли. Решил: бессмыслицей *своей* жизни буду протестовать против бессмыслицы жизни *вообще*. Не хочет она открыть мне свой смысл, так и я ее не хочу! Вот мое кредо. Диоген жил в бочке. А я — где придется, в доме этом гребаном, вот как теперь. Ни за что держаться не буду. Ничего не хочу. Даже — покоя. Плюю на все — в ответ на плевок мироздания мне в лицо. Осуждаешь?

Я неопределенно мотнул головой и прерывисто, со всхлипом вздохнул.

Эд помолчал, потом оценивающе посмотрел на меня.

— А ты, как погляжу, погано живешь. Глаза — точно помирать собрался. Что, брат, печально в вашем мире, горестно?

И тут я не выдержал и, отворотив от Гришина лицо, стал смотреть на огонь в печи, лижущий обрубок доски жадными, нетерпеливыми языками...

### 13

Медленно падал снег. Большие, мохнатые снежинки назойливо липли к лицу, таяли на ресницах и губах, копились теплой влагой в уголках глаз.

Ранние фонари проступали во взвешенной, кисейной пелене снегопада скупыми, рыжими пятнами, под припорошенными придорожными кустами таились сумеречные тени, скрип под ногами отзывался в душе одиночеством и печалью.

Я шел, засунув руки в карманы дубленки, повесив голову и не глядя по сторонам.

— Как там... Наташка? — все-таки решился спросить у меня напоследок Эд, и в его взгляде вдруг промелькнуло что-то по-человечески трогательное, затаенное, живое.

Где-то в глубине души я ждал этих слов, но, тем не менее, вопрос Эда застал меня врасплох, все во мне сразу обмерло, захотелось прислониться к стенке и закрыть глаза, но усилием воли я задавил в себе минутную слабость, немо пожал плечами и на негнущихся ногах потащился к выходу.

— Ясно, — пробормотал мне вслед Гришин. — Ясно... Ты вот что: если ее увидишь — ты не говори ей... обо всем об этом... — И он обвел взглядом свое жалкое жилище. — Вообще ничего не говори...

— Не скажу, — пообещал я, и тогда он прощально махнул мне рукой со своего ящика, отвернулся, обхватил живот и принялся раскачиваться вперед-назад, как если бы пытался уговорить таящуюся внутри боль.

«Не надо бы ему столько есть, — подумал я, с облегчением прикрывая за собой оледеневшую дверь и в полумраке нащупывая ногами ступеньки. — Как бы заворот кишок не случился...»

Выйдя из дома, я поднял голову и посмотрел на окна второго этажа, но даже промелька живого света и тепла не уловил за двойным слоем натянутой на рамы пленки.

— Все-то ты врешь, Эд! Ничего тебе не ясно, — процедил я сквозь зубы и замусоренным двором пошел прочь от одичалого, умирающего дома. — Все-то врешь! Все!

Откровенно говоря, мне не вполне было ясно, в какой лжи уличаю Эда, но ощущение неправды, неправоты в путаных суждениях новоявленного Диогена согревало сердце искрами собственного благоразумия. Вот только раскисать перед ним не стоило. И что на меня нашло? Слабость характера, нервы шалят или хватил лишку? Да, пить в таких количествах, дражайший сэр, вам не позволительно. А ведь и в самом деле надрался! Напасть какая-то, а не Новый год.

Что он там плел про Диогена? Вернуться в первобытное состояние? Ну, вернулся, — и что? Жить на помойке — призвание человека разумного? Или — протест слабака, не находящего в себе достаточно мужества, чтобы умереть добровольно?

Оп-па! Значит, есть еще один выход: самочинная смерть?!

Я даже приостановился, обретя новую мысль: интересно, самоубийство — это слабость или поступок? Протест или бегство? Освобождение или путь к еще одному этапу существования бессмертной души? И есть ли гарантия, что там, на новом этапе, будет честнее, лучше, радостнее, светлее?

Тут я вспомнил, что позабыл о тебе, Марк: свихнувшийся Эд заговорил меня, как мальчишку!

*«Никто не может тебе помешать жить согласно разуму твоей природы, и ничто не происходит вопреки разуму общей природы!»*

— То есть?..

*«Помни о том, что все, руководящее тобою, таится внутри тебя самого. Здесь — дар слова, здесь — жизнь, здесь, если хочешь знать, — человек. Никогда не отождествляй с ним облекающую его оболочку и те органы, которые на ней образовались...»*

«Образовались...» — повторил я, туго соображая, и в эту же секунду за спиной у меня раздался визг тормозов и сочный, отборный мат.

В недоумении я очнулся — посреди заснеженного перекрестка, в каких-то сантиметрах от бампера остановившейся «Волги». Светили фонари, падал снег, машина вздрагивала и горячилась, а мордастый таксист, опустив стекло и высунувшись в окошко, костерил меня на все заправки.

— С Новым годом! — сказал я ему, и когда это не помогло, неожиданно для себя добавил: — Давно получал в морду?

— А ну давай! — обрадовался таксист. — Уже одного такого доставил куда надо.

— Тогда выпьем, чтоб тормозная жидкость не замерзала.

— Это другой вопрос. Все равно менты попрятались, а работа какая-то нервная сегодня: один на одном — все бухие да счастливые! Я-то чем хуже?!

В машине было тепло, пахло сивухой и апельсинами, и повсюду — на креслах и обивке салона — сверкали разноцветные звездочки конфетти, а под ногами валялись стреляные хлопушки. Таксист пожал мне руку, назвал-

ся Георгием и обрадовано, заговорщицки окинул с головы до ног взглядом, как если бы с нетерпением ожидал моего появления на этой дороге. Был он уже подозрительно румян, блестел зрачками, и на скользком, припорошенном снежком повороте мне захотелось зажмуриться и произнести «Отче наш...»

— С телками или как? — приятельски подмигнул мне Георгий. — Если с телками — не проблема, но хлопотно: их за ночь всех укачало!.. Или, может, под рюмку перетрем про жизнь?

Я выбрал «про жизнь» — с кофе и коньяком.

— И то дело! — выскочив на проспект, таксист поддал газу и залихватски засмеялся. — Какие-то они теперь, телки... точно их дихлофосом притравили. Может, косяк курят или колются? А может, новую породу баб вывели? Пока название не придумали, но содержание — мама, не горюй!..

Он включил радио, и хриплый, надорванный баритон затянул: «Падала листва и метель мела, — где же ты была?..»

— Это еще что такое? «Где же ты была» — там себе и будь!.. А у меня, брат, счастье нарисовалось: с тех пор, как за баранкой, — сутками могу домой не появляться. Принес выручку, зубы почистил — и снова в поход. Верись, даже сплю здесь, бывало. Машина — как дом: и еда, и выпивка, и постель с телками. — Таксист лихо припарковался, так что зад «Волги» занесло юзом и филигранно притулило к бордюру. — Женщина, брат, — такая гангрена: если вовремя не ампутировать, может наступить... — И он обозначил непотребным словом, что может наступить.

— Так ты развелся?

— Где там, полная везуха только в кино бывает! Мы — как две рельсы: идем параллельным курсом, и только на стрелках пересекаемся. Ну, вот он, наш эдем... Пошли, что ли?

Кафе оказалось пристойным, и оттого, что здесь держали марку, кофе и коньяки тянули по стоимости на четверть моей скромной зарплаты. Мы сели за свободный столик, заказали 300 грамм коньяка Курвуазье, бутерброды с кетовой икрой и бужениной и стали ждать.

— Ты, как я посмотрю, сибарит, — ухмыльнулся я таксисту, возбужденно потиравшему руки от предвкушения скорой выпивки. — Где попало, не употребляешь.

— Дык, праздник, не хухры-мухры! — хохотнул тот и стал нетерпеливо вертеться и вглядываться в полумрак зала. — Место хорошее, как на дорогом кладбище: кого попало, не допустят. А если что не так — вынесут с музкой. Но что-то здесь сегодня печаль, как в сиротском доме...

И в самом деле, большая часть столиков не была занята, за остальными сидели на удивление тихо и пристойно, как католики на проповеди, две-три компании, — и раз только, пока мы ожидали заказа, там хлопнула пробка от шампанского и вскрикнули веселые голоса. Эстрада тоже была пуста, но два типа в бабочках и одинаковых жилетках с блестками, по всей видимости — лабухи, ковырялись в салатах за приставным столиком у входа на кухню. Зато работал пришпиленный к стенке телевизор, и на огромном, радужном экране погибал несчастный «Титаник», оплакиваемый Селин Дион.

— А телок нет! — не унимался Георгий, ерзая на стуле. — Нет телок!

Он сидел спиной к окну, и казалось, что над головой у него кружатся белые, невесомые хлопья, сгущается синева и день становится сумеречным и непрозрачным — первый и короткий, как вдох и выдох, день Нового года.

На этом фоне прохиндейская физиономия таксиста со шныряющими по сторонам глазами показалась мне столь комичной и нелепой, что я невольно расхохотался.

*«Как смешон и невежествен тот, кто дивится чему-либо из происходящего в жизни!»*

И дня с того времени не прошло, Марк, как я прощался в одиночестве с уходящим годом и говорил себе: как прожил год, так и провожаешь его, а как встретишь — так в наступающем году и будет с тобой. И что же? Есть в мире суеверия, на первый взгляд, вздорные, пустые, над которыми посмеиваешься втихомолку, — и вдруг, в какой-то счастливый миг, с тобой происходит нечто сверхъестественное, необъяснимое. И вот уже, индивидуалист и затворник, ты за целый день и пяти минут не остаешься наедине с собой, и все новые встречи и впечатления ожидают тебя за каждым поворотом. Все-таки, жизнь — удивительная штука! Не правда ли, старина Марк?

*«Виноград зеленый, зрелый, выжатый — все это переход не в то, чего вообще нет, а в то, чего теперь нет».*

То есть, со мной случился очередной переход? И какой виноград я: все еще зеленый, зрелый или до срока выжатый? И во что переход, чего теперь нет у меня?

Но как ни тщился я, как ни пытался вспомнить какую-либо сентенцию из «Наедине с собой», подходящую случаю, ничего путного не приходило в голову. Может, виной был таксист, который, словно несдержанный мачо, все более горячился, поддаваясь праздничному восторгу. Он вытягивал гусиную шею и вслушивался в гомон за дальним столиком, приподнимался с места и пытался разглядеть бутылки со спиртным, выставленные в баре, порывался требовать официанта, неодобрительно косился на лабухов и вострил нос в сторону кухни.

— Жора, что ты вертишься, как угорь? — не утерпев, спросил у таксиста я. — Остынь! Терпеливым и смиренным зачтется вдвойне.

— А? Что? — приостановился в своем порыве тот, округлил шальные глаза и подозрительно покосился на меня. — Ты случайно не поп?

В ответ я пожал плечами, подпер кулаком подбородок и предложил:

— Давай лучше поговорим. Скажи, ты доволен своей жизнью? Всегда хотел крутить баранку, не спать по ночам, прятаться от жены, жить в каком-то цыганском кочевье, пользоваться любовью «ночных бабочек»? Никогда не желал чего-то другого? Например, податься в бизнес, создать фирму, делать деньги, накапливать недвижимость, потом стать сенатором, как это сейчас модно, и свысока втирать дуракам и дурам высокие, прописные истины?

— А на фига мне такое? — живо отозвался таксист. — Создать фирму? Это скольким оглоедам надо ж...вылизать, за каждую бумажку поклониться, по гроб жизни унизиться?! Потом — деньги: я люблю денежки, очень люблю, только я их боюсь. Посуди сам: все тебя ненавидят, все хотят отобрать то, что заработал горбом, — власть, бандиты, друзья, бабы. А сенатор — бедный он человек: ему так, как я, пожить хочется, а уже нельзя. И наоборот: мне можно все. Не полечу на Канары, так поеду в Бердичев — на ихних евреев посмотреть. В Бердичеве у меня живет подруга, проводница поезда «Киев–Варшава». Пишет: все вокруг — в евреях, как в синагоге...

— Зачем тебе?

— Умные люди говорят, что весь мировой порядок от них, от евреев, потому как шустрые и богатые. Приеду и спрошу: граждане евреи, отчего сырье у нас свое, а цены мировые? С какой стати зарплата местного разлива — не зарплата, а дрянь, — тогда как бензин по цене немецкого? Был бы бензин оттудова — черт с ним, так ведь прибалтийский, с нашим перемешанный, а они втирают: западный. Тоже мне запад! И вот я прихожу к выводу...

Тут он на полуслове замолчал, потому что официант явился, наконец, с нашим заказом.

— Ага! А мы вчера тебя ждали.

Официант сделал вид, что не слышит; ловко, заученными движениями расставил на столике тарелки с бутербродами, подхватил графинчик, плеснул в фужеры немного коньяка и с достоинством удалился. Таксист проводил его подозрительным взглядом, потом поднял фужер, — и мы с ним чокнулись под короткий, емкий возглас: «Будем!»

Как бы вторя нам, на противоположной стороне зала закричали «ура!», ахнула и ударила в потолок еще одна пробка от шампанского, из горлышка вылетела пенная струя и обдала веселую компанию, сидевшую до того тихо и смирно. Женщины взвизгнули, мужчины загоготали, шампанское полилось в бокалы. Тост заглушили возгласы, тускло звякнул хрусталь, затем компания согласно загремела стульями, выбираясь из-за стола.

Вслед за компанией пробудились и лабухи. Отставив свои салаты, они гуськом перетекли на эстраду и защелкали там тумблерами, приготавливаясь веселить публику. Мягким, бархатным гулом загудели динамики, и завитой, женоподобный лабух выдохнул в микрофон сакраментальное: «Раз! Раз!» И в ту же секунду на елке, установленной подле эстрады, вспыхнула и замигала электрическая гирлянда, озаряя огоньками полумрак зала.

— Дорогим гостям... — хотел было объявить музыкальную часть вечера завитой лабух, но микрофон вдруг засвистел фистулой, а там и вовсе умолк.

— А чего ты тогда желаешь, Жора? — воспользовавшись тихой паузой, продолжал я. — Так не бывает, чтобы человек ничего для себя не хотел. Ты-то чего хочешь? Представь: закрыл глаза, загадал — и все сбылось, как загадано.

— Я-то? Хочу! Во-первых, чтобы такая, как теперь, жизнь продолжалась и никогда не заканчивалась. Во-вторых, чтобы какая-нибудь гребаная сука не отняла то, что имею. В-третьих, чтобы машина не ломалась, клиент не жался, бабы давали, чтобы кофе с коньяком каждый день пить. Конечно, хочу! Но от хотения только хотенчики выскакивают. Вот не поверишь: сижу с тобой, пью, радуюсь, а на сердце — жаба: жизнь может каждую секунду накрыться медным тазом. Авария там или мордобой, нож, рогатый мужик с дробовиком, гнойный аппендицит, блевотина с перепоя... Бац! — и нет любимого мной Георгия. Такое у меня жизненное предчувствие.

— Да ты, Жора, философ!

— Кто-кто? Член в пальто! Давай, наливай!

Мы снова выпили и принялись за бутерброды. И, пока мой говорливый собеседник приумолк с набитым ртом, я мысленно спросил себя: чего хочу я? Могу ли сформулировать, просто и четко, свое жизненное кредо, есть ли у меня желания, которые можно облечь в слова? Писать книги? Я пишу — не изо дня в день, как некогда провозглашал Юрий Олеша, но в ящике стола хранятся мои мысли и чувства, запечатленные на бумаге. Снова сойтись с Натальей? Но это бессмысленно, потому что невозможно — и точка, и хватит об этом! Что еще? Я не могу для себя определить. Даже настоящего, того, что сейчас, в эти минуты, мне не надо. Нет, я не отказываюсь, и не ищу смерти, — просто принимаю жизнь такой, какой она есть, и не прошу ничего изменить, убавить или прибавить лично для себя. Ем, пью, созерцаю. С тобой, Марк...

*«Все то, чего ты желаешь достичь окольными путями, ты можешь иметь уже теперь, если только будешь доброжелательно относиться к самому себе. А именно, если ты оставишь прошлое, будущее предоставишь промыслу, сам*

*же исключительно займешься настоящим, сообразуя его с благочестием и справедливостью».*

Ах, вот оно что! Говоришь, *с благочестием и справедливостью*? Если я был сегодня несправедлив, то, может быть, к одной Ляле. А вот благочестие как-то разминулось со мной. Но разве не почитаю я Бога? Почитаю, но как-то отстраненно, точно Бог сам по себе — и я сам по себе. Может быть, веры во мне не хватает, чтобы прийти, как некогда Толстой, к истине: «Моя жизнь и смерть будут служить спасению и жизни всех, — а этому-то и учил Христос». Может быть... Как по мне, так лучше всех сказано об этом у Экклезиаста: «Итак, увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что это — доля его...»

А вообще все, о чем бы ни спрашивал я у жизни, сокрыто в кромешной тьме, и ты, Марк, прав, говоря: живут себе люди, не зная, *«ни где они, ни кто они»*. И я, Марк, не знаю! Живу настоящим и наблюдаю, что получится из жизни такой...

Тут лабухи с шиком прошлись по клавишам, запели тонкими голосами про «белые розы», и шумная компания подле эстрады ударилась в танцы.

— Давай еще выпьем, — опорожня графинчик, сказал я Георгию. — А то как-то не по себе — трезвому смотреть на пьяных, как пляшут и веселятся.

— Это ты — трезвый? Да от тебя несло за версту еще на дороге! Был бы ты трезвый, подобрал бы тебя разве?! Мне сегодня трезвые — как нож в печенку! Как враги народа!

Таксист одним махом выпил, отерся ладонью, удовлетворенно крикнул и, разлегшись на стуле, широко раскидав ноги, стал с прищуром смотреть в зал — на бармена, что-то втирающего на ушко молодой официантке, на мужчин и женщин, с хмельным азартом, невпопад вскидывающих в танце ноги, на лабухов, наярывающих с постными, ко всему привычными лицами.

— Гляди, какая телка! — возбужденно восклицал он и толкал меня под столом ногой. — В три обхвата, а как скачет! Бухая божья коровка! Гляди, на меня посмотрела!.. А? Это мы хорошо сделали, что сюда пришли. Как только быстрый танец — разобью круг! Пойдешь со мной? Ну, как знаешь. У меня сегодня предчувствие: или будет любовь, «большая и светлая», или начистят морду. Так пойдешь?

Я отмахнулся: куда там, прошлой ночью уже натанцевался!..

И тут, как по заказу, грянул старый, добрый рок-н-ролл. Отодвинув живом стол, таксист пустился во все тяжкие: замахал руками, задвигал ногами и, втиснувшись в танцевальный круг, пошел в пляс.

«Что-то сейчас будет, — с нарастающим беспокойством подумал я, глядя на прыжки и ужимки новоявленного танцора. — Как бы этому «Геorgию Победоносцу» не накостыляли сегодня!»

— И-эх! — залихватски выкрикивал Жора, выделывая коленца. — И-эх!

Молодая, полная женщина, та самая «божья коровка», едва увернулась от Жориной распяленной пятерни, но следующее его *ла* обернулось звонкой затрещиной, которую таксист неосторожно вlepил какому-то молодцу.

*«Во мне засмеялось сердце».*

Ну вот, Марк, и во мне оно засмеялось...

Я поднялся и пошел к кругу, потому что незадачливого таксиста уже обступили со всех сторон и жестко брали за грудки. Тот прядал, как конь на препоне, пытался вывернуться, но, судя по судорожным всхлипам, уже раз другой получил под дых.

«Ребята, давайте миром...», — хотел сказать я, но опоздал на какую-то долю секунды: раздалась увесистая плюха, таксист спиной вылетел из круга и, будто кусок сырого теста, шлепнулся у моих ног.



— Это вы напрасно! — проникновенно произнес я и, словно записной миротворец и пацифист, поднял навстречу молодцам руку. — Праздник все-таки...

Но разгоряченные молодцы не вняли увещаниям: молча переступили через затаившегося на кафельной плитке таксиста, надвинулись, мигнула и погасла елочная гирлянда, ударили барабаны, потолок обвалился, — и сердце во мне засмеялось еще раз...

## 15

Я очнулся на заднем сидении машины, мне не знакомой, оттого что на голову и за воротник текла вода, — и сразу же в затылке забили, загрохотали колокола, заломило челюсть, а во рту стало солоно от привкуса крови.

— Что ты льешь, платок смачивай! — откуда-то из потустороннего мира докатился хрипчатый голос водителя. — Всю обивку с этим уродом загадишь! Значит, так: везем в больницу. Там скажем: подобрали на обочине. Мало ли, сколько их теперь шляется!..

— А бармен? — спросил у меня над головой встревоженный женский голос. — А официанты?

— Каждому дал по столынику. Они теперь и рта не раскроют...

— Есть еще его напарник, если тебе память не изменяет...

Я слабо пошевелился, скосил глаза, всмотрелся из-под ресниц: женская рука священнодействовала надо мной, прикладывая к голове мокрый платок. Колокола в затылке продолжали звенеть, таксист Жора прощально мелькал в памяти, хрипчатый водила напоминал Франкенштейна, но я сразу позабыл обо всем, настолько изящными показались мне женские пальчики, такой тонкий исходил от них аромат. Пользуясь полумраком салона, я незаметно повернул голову и разлепил веки пошире, надеясь разглядеть ее всю.

— Ну-ка, притормози! — тотчас сказала она водителю; машину качнуло и кинуло вправо, женщина навалилась на меня грудью и заглянула мне в глаза. — Кажется, очнулся.

— Чего орешь? Едва машину не ухайдохал! — крикнул в сердцах водила, обернулся и секунду-другую шарил по мне глазами, потом зачистил, неясно и непотребно: — Твою мать!.. Грейпфрут гребаный!.. Говорил же: на хрена нам это кафе, поедем лучше на дачу, к зайкам-елкам. Так нет же, получи, Игорек, подарок! Что, живой алкаш? Помер или прикидывается?!

— А тебе хотелось, чтобы умер? — ответила женщина с холодком злобы в голосе.

У нее были правильные, несколько мелковатые черты лица, и зеленые глаза, посверкивающие, будто у дикой кошки, в подсвеченном светодиодами консоли полумраке автомобиля. Говорила она как рассудительная, зрелая женщина, хотя мне почему-то показалось, что она еще молода. Что связывало ее с этим Игорьком? Общаются, как близкие люди, хотя обручального кольца у нее на пальце я не заметил...

— А что? Плакать не буду, — возбужденно захрипел водила. — Смотри-ка, молчит! Классно он треснулся, думал — разнесет стойку...

— Не надо было бить! — женщина снова наклонилась и приложила к моему затылку платок, потом промокнула глубокую ссадину в уголке рта, набравшуюся кровью, и тут, изловчившись, я коснулся ее ладони губами. — Не в меру ешь, качаешь железо, книг читать не желаешь, — вот дурь из тебя и прет. Как удержаться кулакам?

Тут она задумалась: касание моих губ случилось непреднамеренно или был недозволенный поцелуй? — и пристальнее прежнего, с удивлением и досадой всмотрелась, как будто хотела перехватить мой взгляд.

— Ну, что дальше? Везем его больницу или высадим на обочине? Пусть добирается, как знает...

— А если не доберется? — отозвалась женщина с сомнением в голосе. — И в больницу нельзя — из травмпункта обязаны сообщить в полицию. Очень тебе хочется писать объяснения, проходить тест на алкоголь, доказывать, что случившееся — не хулиганство? Забыл, зачем мы его из кафе забрали?..

— Вот дерьмо! Прибил бы его сразу — не болела бы теперь голова!

Я слушал и молчал, как премудрый пескарь. Затем жалобно простонал, откинулся на спинку сидения и при этом как бы невзначай положил ладонь на колено женщины. Она не обратила внимания на такую наглость — или сделала вид, что не обратила: не до того сейчас было. И пока придумывала, как со мной поступить, запретное тепло колена согревало мою ладонь, — и я, Марк, испытал такое вожделение, какого уже давно не испытывал.

*«Ну что ж, пренебрегай, пренебрегай собой, душа!..»*

Вот уж нет! Я всего-навсего воспользовался одной из твоих сентенций: занялся настоящим, предоставив будущее Господнему промыслу. Согласись, как-то странно и сумбурно начался для меня новый год. Не без труда избежал я блуда, выпутался из хитроумно расставленных брачных сетей, утешил несчастную молодую женщину, встретил давнего приятеля и отыскал нового, схлопотал по физиономии, — и вот теперь жажду вознаграждения или, по крайней мере, сострадания и участия. Да здравствует сущее! А душа — о душе я позабочусь как-нибудь опосля.

*«Сущее настолько сокрыто от нас, что многим философам, и незаурядным, оно представляется совершенно непостижимым...»*

Поэтому я отказываюсь постигать! Прости, взбунтовался. Умиравший с голоду не станет рассуждать над пищей, жаждущий испить не призовет для этого философию. Что бы ни случилось потом, сегодня, сейчас я двигаюсь вперед, и посмотрим, чем закончатся для меня эти новогодние скачки, каков будет приз. На щите или со щитом!..

*«Проступки другого человека следует оставлять при нем».*

Я рад, дружище Марк, что мы, наконец, поняли друг друга...

В запале спора я ненароком пошевелил пальцами, и женщина как будто опаматовалась — резким, брезгливым движением сбросила мою руку и ожгла меня возмущенным взглядом. Пойманный на горячем, я тотчас закатил глаза и сделал глубокий, болезненный вздох, точно готовился умереть.

— Что там? — невнятно спросил водила, тыча в прикуриватель длинную коричневую сигарету и, после глубокой, прочувствованной затяжки пуская ноздрями дым. — Чего он там сопит? Может, дать ему еще раз?

— Тебе бы только дать!.. Какой-то он... в обмороке или протрезветь не может, — помолчав, отозвалась женщина, и вдруг решительно скомандовала: — Едем на дачу! Если жив — отпоим чаем, если умер — в ельнике закопаем. — И глаза у нее снова сверкнули, как у дикой кошки.

*«Ни фиги себе! — немо воскликнул я на жаргоне незабвенного таксиста Жоры. — Что значит — закопаем?! У дамочки крыша поехала? Мстит за мою выходку с ладонью у нее на колене?»*

— А поехали! — легко согласился Игорек и залихватски придавил педаль газа. — Лопаты у меня всегда наготове...

Взревел двигатель, и машина, загребая колесами и виляя, выпрыгнула с нерасчищенной обочины на шоссе и понеслась куда-то за город.

Я сидел, ни жив ни мертв, даже пошевелиться не смел. Мысли, одна другой ужаснее, промелькивали в ушибленной голове. Куда везут меня эти двое? В разбойничий вертеп? И зачем понадобился им я? Вырезать селезенку и продать за валюту? Вот, значит, для чего у них ельник и дача!.. Не-

спроста хрипатый водила сразу не понравился мне. Но что очаровательная женщина, сидящая рядом со мной, может иметь общего этим Игорьком?

И тут же, будто уловив мои потаенные мысли, женщина убрала руку с платком, отодвинулась, вздернула подбородок и сразу же приобрела строгий, неприступный вид, — и, однако же, на протяжении всего пути не отпускало ощущение, что она стережет меня, присматривает за мной.

И я вдруг подумал, Марк: что на меня это нашло? Она ведь грубая, она вся топорщится — вешалка, а не женщина! В ней есть все, что неприемлемо для меня в современном мире, где женщины осознанно изменили своему естественному началу и стали вровень с мужчинами: пьют, курят, колются, матерятся. Да еще бравируют всем этим, кичатся, выставляют напоказ, — нет, разумеется, не все женщины — те, которые определяют облик наших улиц и городов. И эта, судя по всему, такая же: суррогатная, мутант, жуткая смесь прошлого с настоящим.

*«Все происходящее так же обычно и известно, как роза весной и виноград осенью...»*

Но так же обычно и известно было трепетное слово «любовь», а не прошлое словосочетание «заниматься любовью», так же обычно и известно было касаться руки любимой, а не залезать ей под юбку на первом свидании, так же обычно и известно было слушать «Я встретил вас...», а не хрипеть: «Ты вся такая страшная...» Так же обычно и известно...

## 16

Вскоре пригороды остались позади, за пригородами — смрадно чадящая городская свалка, затянутые белым полотном поля, и вот уже высунулась из-за дальних пригорков и стала наползать темная, зубчатая полоса леса.

Притворятся не было больше смысла. Я потянулся, расправил затекшие ноги, уселся поудобнее и стал глядеть в окно, чтобы запомнить дорогу.

— Игорек, по-моему, он прикидывается, — насторожилась в своем углу женщина, и мне показалось — ей стало неуютно рядом со мной.

— Ожил покойничек? — недобро кинул через плечо водила, косясь на меня, точно конь в упряжи, и криво ухмыльнулся. — Нет бы — сразу, а теперь держись, раз в гости напросился!

Я пожал плечами и демонстративно сложил на груди руки.

Колокола в голове уже не трезвонили, но взамен накатил шелестящий шум прибоя, как если бы я приставил к ушам раковины рапана и, трясясь по январским снегам в машине, вслушивался в звуки набегавших на берег волн.

Черт бы подрал этот надоедливый шум, Жорку с дикими, половецкими плясками, Игорька, парящего в облаке приторно-сладкого сигаретного дыма! Морщась и стеноя в душе, я потянулся рукой к лицу и потрогал припухшую губу с подсыхающей на месте удара ранкой, поверху уже затянутой нежной защитной корочкой. Прав был шалопутный Шурик: группироваться надо, Марк Андреевич! В одном только я не уверен, а именно: что моя свадьба — не за горами...

Затем я протянул руку к женщине, — и она невольно отпрянула, словно я был чудо-юдо заморское, — за голубенький краешек выдернул из ее кулачка платок и демонстративно приложил к ранке.

Вот она, женская порода! — с глубоким прискорбием думал я. Как она совсем недавно, минут пять назад, озабочивалась обо мне с этим платком! Как нервничала, как вздыхала, не замечая прикосновения губ к своей ладони, с каким бесстрашием терпела чужую руку на колене! Но стоило моим глазам просветлеть, стоило сознанию вынырнуть из пут небытия, как платок был скомкан, взгляд

стал холоден и враждебен. Каково? Если б не прискорбный случай в кафе, она и не посмотрела бы в мою сторону, пусть даже я подышал бы где-нибудь рядом с нею — на обочине или в придорожной канаве. Уверен, теперь она с легким сердцем смогла бы выбросить меня на снег из машины, как предлагал этот жуткий неандерталец, «переедающий, качающий железо и не читающий книг».

*«Все это обычно в отношении опыта, мимолетно в отношении времени, мерзостно в отношении материи. Все остается тем же, каким было при тех, которых мы предали земле».*

Согласен, спорить не о чем: все то же, и люди те же. Одна нестыковка: я — *иной*. И ты, резонерствующий Марк, был для своего времени *иным*. И еще много таких, как мы, — но, в сравнении с вселенной, нас горсточка пыли, мы рассеяны во времени и в пространстве, мы — та соль, без которой пища была бы пресной. Если бы только не проклятое одиночество! Один плохой, наспех сконструированный поэт хорошо написал когда-то: «Пошли мне, Господь, второго, чтоб вытянул петь со мной». И правда, почему нет мне товарища? Почему вместо дружеской беседы за стаканом вина я среди ночи болтаюсь на заднем сидении похожего на гроб джипа, в каком заокеанские фермеры возят капусту, и мне в компанию даны неандерталец и красивая, но бесчувственная женщина с рыбьей кровью, равно готовая проявить к ближнему сострадание или закопать его в лесу? Почему все так устроено? Почему?!

*«Польза вынуждает природу поступать таким образом».*

Какая польза природе от человека? Чтобы ступенька в эволюционном движении не пустовала? Но часто возникает впечатление, что гомо сапиенс норовит захватить всю лестницу и столкнуть с нее других. И еще, Марк, я хорошо понимаю: нужна всякая тварь, раз уж она народилась, но так ли необходимо, чтобы злобных, агрессивных тварей было гораздо больше, чем безобидных?

Кроме того, и у эволюции бывают необъяснимые случаи топтания на месте, а то и вовсе — замысловатый танец с разворотом назад...

Тут я улыбнулся, будто паралитик, — одной стороной ушибленного рта. Впервые со мной случилось такое, чтобы провалиться в беспамятство от одного единственного удара. Этот Игорек мог бы трудиться на бойне, там бы ему цены не было! — решил я себе в оправдание, разглядывая бычьи плечи хрипатога водилы. В то же время, я ощущал неусыпный, стерегущий взгляд женщины, сидящей рядом и одновременно — очень далеко от меня.

«Это от непонимания, я ей неясен, а все случившееся представляется ей абсурдом. И ладно, и черт с нею! Тоже мне, хрустальная Турандот!»

Тут я до неприличия громко хмыкнул, вослед собственным мыслям, но эта бестактность, к счастью, осталось незамеченной, потому что мгновением раньше к окнам внезапно прихлынула лесная мгла, и машина мягко покатила между обступивших дорогу деревьев, расталкивая их колеблющимся светом фар.

«Ну, вот и прибыли, авантюрист!» — мысленно воскликнул я, даже не представляя, что со мной может в дальнейшем произойти.

Впереди, в свете фар, замаячил высокий, длинный забор с поднятым на въезде шлагбаумом. Нырнув под стрелу, джип потянулся вдоль огороженных строений, большей частью скрытых во тьме крошечной, свернул куда-то в сторону, опять свернул и, наконец, уткнулся в запертые ворота. На сигнал клаксона где-то во дворе отозвалась хриплым лаем собака. Игорек непечатно выругался сквозь зубы и сказал о ком-то:

— Спит! А говорил, будет ждать...

Но ворота уже распахивались, одна створка за другой, джип вкатился во двор и перед большим, нахохленным домом остановился.

*«Итак, проведи этот момент времени, то есть жизнь свою, в согласии с природой, а затем расстанься с жизнью так же легко, как падает созревшая слива...»*

«Нет уж, уволь, Марк! — возразил я, изготавливаясь как к бегству, так и к упреждающему удару. — А еще друг называется! Лучше бы меня выбросили на обочину в городе, чем погибаться неизвестно где. Теперь так просто я им не дамся! Одно хорошо: собака, кажется, на цепи...»

Игорек заглушил двигатель и задом полез из джипа. Женщина, не глядя в мою сторону, тоже выскочила, но дверцу за собой не захлопнула, так что мне было слышно, как она выпалила кому-то с придыханием:

— Там у нас пьяный в машине.

— Иди в дом! — приказал ей Игорек грубо. — Достала уже за вечер...

Женщина молча подчинилась. Раздались удаляющиеся шаги, заскрипел под подошвами утопанный наст, застучали по ступенькам легкие каблучки. На крыльце она стукнула ногу об ногу, оббивая налипший на сапоги снег, бухнула прихваченной морозом дверью и скрылась в доме.

— Выходи! — приказал мне Игорек, просунув в салон голову. — Или не накатался? Так я тебя еще покатаю!..

Не поспешая, я выбрался из машины, оправил на себе расхристанную дубленку и огляделся по сторонам. Увиденное не обрадовало меня. Большой, расчищенный от снега двор был обнесен высоким, неприступным забором. Над двором нависал грузный, бревенчатый сруб о двух этажах, к которому жались хозяйственные постройки: гараж с сараем и остекленная альтанка. Но главное, по периметру двора гремела цепью и злобилась на меня кавказская овчарка величиной с теленка.

«Добрый пес! — мысленно поприветствовал я «кавказца». — Ласковый! Только лучше бы тебе быть сейчас в вольере...»

Я прикинул расстояние до запертых на засов ворот и сообразил, что не перелечу через них, с какой бы силой не разбежался и как бы высоко не подпрыгнул. Квадратная челюсть Игорька тоже не прибавляла оптимизма — казалась несокрушимой. Но даже если бы удалось сбить хрипатого с ног, еще один тип, который отпирал ворота, а теперь стоял в двух шагах от меня, — приземистый, поджарый и, как я определил, холодно-сдержанный, а потому вдвойне для меня опасный, — порушил бы все мои наивные планы.

Но вышло не так, как я себе представлял. Смерив меня насмешливым взглядом, Игорек приказал новоявленному типу:

— Вот что, Шайхет! Возьми этого алкаша... Я ему дал маленько, а он — дрыг ногами... Думал — убил, а он живой. Ты глянь, пощупай, и если что не так — подправь, приложи эти свои примочки. Голову посмотри, он головой о стойку треснул. А подлечишь — спросим, зачем ему на Новый год по кафе шаландать...

## 17

*«Все совершающееся совершается согласно справедливости; если будешь наблюдать внимательно, то убедишься в этом. Все совершается, говорю я, не только согласно определенному порядку, но и согласно справедливости, точно кто-то распределил все сообразно достоинству. Продолжай же начатое тобою наблюдение, и что бы ты ни делал, делай с той мыслью, чтобы стать хорошим в истинном значении этого слова...»*

Может, я и заслужил подобную справедливость, но, признаться, когда Игорек скрылся в доме, ноги у меня сразу ослабли, лоб покрылся испариной, дыхание сбилось. Еще минут пять я медлил, дожидаясь, пока мир у меня внутри

не придет в равновесие, и только тогда поднялся на крыльцо вслед за Шайхетом. Или ты скажешь, Марк, что заурядный телесный испуг ничего не значит за пределами материальной оболочки, если за этим испугом откроется возможность для духа *понаблюдать*? Но нет же, я предпочитаю наблюдать в состоянии душевного равновесия, а не с побитой физиономией и стрессом вместо ужина! Кроме того, я далеко не уверен, что только лишь созерцание поможет *«стать хорошим в истинном значении этого слова»*. А что поможет, то не ведомо мне.

*«Не довольствуйся поверхностным взглядом».*

Так и быть, зрю в корень. Этот Игорек, как по мне, еще молод, никак не старше меня, но более чем самодостаточен и крут, — притом, что у него явно выраженная мозговая недостаточность. Это утверждает в мысли, что разум и богатство далеко не всегда сочетаются браком — раз. Выиграть такую дачу по лотерейному билету... не смешите меня! — два. Игорек прикупил красивую, умную, расчетливую женщину — три. Сдается мне, женщина эта подыгрывает ему иногда из своей золотой клетки — четыре. Ну и что? «Се вид Отечества, гравюра. На лежаке — Солдат и Дура!..» А пять — при них есть Шайхет, судя по имени, татарин, судя по повадкам — сторож, лекарь и вышибала в одном лице. Из маленьких, да удаленьких! И этот Шайхет... Ах!..

Осматривая мою голову, Шайхет нащупал шишку на затылке, и шишка под его пальцами тотчас отозвалась адовым огнем.

— Пожалуйста, потерпите! — попросил татарин; у него были приятный, чуть глуховатый тембр голоса и ловкие, умелые пальцы, и он перебирал ими с такой легкостью, с какой паук прядет и перебирает свою разбойничью нить. — Кажется, кости целы. Обыкновенный нокаут!

«Скажи еще, что это обыкновенный обморок от испуга! — вознегодовал я, впрочем, вполне благодушно. — Тоже мне специалист широкого профиля!»

В доме хорошо пахло — свежей, морозной хвоей и ароматом жареного мяса из-за приоткрытой кухонной двери. Я сидел в холле на табурете, вдыхал эти ароматы и запахи, стоически переносил прикосновения чужих пальцев и, борясь с дремотой, с вялым любопытством поглядывал по сторонам. Где-то наверху бубнил то один голос, то другой, раздавались шаги, хлопали двери, приглушенно звучала музыка, бубнил телевизионный диктор, заходилась в истерике сумасшедшая, невразумительная реклама.

— Шайхет, у тебя мясом пахнет? — крикнул откуда-то сверху, со второго этажа, Игорек и застучал подошвами по ступенькам, спускаясь в холл. — Я уже и дверь захлопнул — все равно запах. Давай-ка по рюмашке под это дело! — Тут он увидел меня и благосклонно кивнул, точно старому знакомому: — А-а, наше сиятельство! И этому, убиенному, налей. Как звать-то?

Я с достоинством промолчал, и тогда Игорек на мнимом замахе ткнул меня кулаком в плечо и выразительно посмотрел на Шайхета: мол, все ли в порядке у меня с головой?

В эту минуту в холле появилась моя зеленоглазая охранительница, так трогательно прикладывавшая по пути сюда платок к моему затылку. На свету она оказалась прелестной, хрупкой шатенкой с прямой спиной и походкой художественной гимнастки. Легкие, домашние брюки и золотистый джемпер красиво облегли ее фигуру, темно-русые волосы были тщательно уложены и скототы на затылке, разрез глаз и широкие скулы придавали лицу отдаленное сходство с женщинами Востока.

— Ничего не давай этому обжоре! — прозвенела она, будто обозленная оса, указывая татарину на Игорька. — Если так дальше пойдет, скоро он себе шнурки завязать не сможет. — И тут же смягчившись, улыбнулась, вложила в ладони татарину обе руки и совершенно иначе, глубоким грудным голосом сказала: — Да, с Новым годом, Шайхет! Мы тут с Игорьком раско-

пали один манускрипт, сговорились с хозяином о цене, но вчера тот внезапно улетел встречать Новый год в Эмираты. Прости, что так вышло. Но подарок за нами, положим под елку на Рождество.

— Что ты с ним нежничаешь! Шайхет — свой, все понимает, — развязно хлопнул татарина по спине Игорек. — Правда, Шайхет? Ну, где же мясо? Так обалденно пахнет, так пахнет, что кишки заворачиваются! И — к мясу там не забудь, и — к мясу!..

Татарин выпустил из рук маленькие ладони женщины и, невозмутимо оглябая стоявшего на пути Игорька, отправился на кухню.

Возникла мимолетная пауза, которой я тут же решил воспользоваться: поднявшись с табурета, низко поклонился хозяйке дома с выражением самым простецким и наивным и стал дожидаться ее внимания. Как та ни жалась, как в душе ни противилась, я все-таки понудил ее — смиренной позой и взглядом — подать и мне руку для знакомства.

— Анна! — неохотно и сухо назвалась женщина, и мне показалось — она не то чтобы боится меня, но предпочитает удерживать от себя подальше, как недавно еще удерживала на заднем сидении автомобиля.

В ответ я представился по имени-отчеству, нижайше склонился к руке строптивницы и коснулся удивительных перстов губами.

— Смотри-ка, оно — Марк Андреевич! — с нескрываемой издевкой процедил Игорек, на которого я не обращал ровно никакого внимания. — А надысь паркет натирал пьяной харей! Ладно, присаживайся к столу, Марк Андреевич. Только уговор: драку не затевать! А то ведь — сам понимаешь...

Я демонстративно обернулся к Игорьку задом и принялся изображать, что интересуюсь камином и жарко рдеющими в нем головешками, тогда как на самом деле продолжал думать об Анне.

И почему она первоначально показалась мне холодной и грубой, отчего испытал к ней неприязнь? Она ведь разная, эта Анна. Скорее всего — раба жизненных обстоятельств; условности нашего жестокого мира управляют ею, или, что более вероятно, — она подлаживается, подстраивается под них. Одним из таких обстоятельств является Игорек, рядом с ним она так же груба и невежественна, как рядом с Шайхетом — проста и открыта, как смущена и скована теперь рядом со мной. Обрати внимание, Марк, как очаровательна в ней эта (врожденная или вынужденная) мимикрия!

Чувствую, что ты изречешь: «*Не расточай остатки жизни на мысли о других...*», — и сразу отвечу: не прав! Кто подталкивал меня к наблюдению? Не ты ли? Правда, и со мной случается нечто подобное: утром уверяешься в одном, вечером убеждаешься в противоположном...

Мы сели к столу: Игорек с Анной — друг против друга, я — между ними. Шайхет не заставил себя ждать: принес поджаренную баранину на блюде; еще на одном блюде красовались пучки зелени, болгарский перец и соления; на тарелках — нежная брынза, в соусницах — ткемали; в плетеной хлебнице — бородинский хлеб. Выставил татарин и початую бутылку водки «Абсолют», наполнил четыре рюмки.

— Шайхет, водка без пива — деньги на ветер! — потирая руки, оживился Игорек. — Что смотришь? Пиво неси!

— Ну вот, пропало утро. Выпьешь после шампанского водку с пивом — и ты готов! — сказала ему Анна вполголоса. — Помнишь, как было в прошлый раз? Потом не говори, что я не предупреждала.

— Не гуди! Оп-ля, с Новым годом! Эй, как тебя? Марк, давай, брат, пей! Если в гостях угощают, пить надо. А то во второй раз не нальют и в гости не позовут.

Анна едва пригубила, я поступил так же. По собственному опыту я знал, что если выпить за час-другой до застолья грамм пятьдесят, откроется вто-

рое дыхание, — вот только эта профилактическая процедура уже не раз проделывалась мной за последние сутки. Кроме того, дух противоречия был силен во мне как никогда ранее, и на глазах у Анны я не желал следовать ее Игорьку — решил поступать исключительно вопреки...

— Между первой и второй... — хлопнул в ладоши повеселевший Игорек. — Ну и баранина, пальчики оближешь! Признаю только твою, Шайхет. А кто-нибудь другой приготовит — как будто псину замордовали: воняет, застревает в зубах, жуешь-чуешь, а все какие-то сухожилия...

— Баранина требует сосредоточенности и терпения, — сказал Шайхет, разливая водку по рюмкам. — Барашек должен быть молодой, правильно надо выбрать, хорошо вымочить. Еще важно, какая приправа, — тут уже у каждого свой секрет.

Мясо и в самом деле оказалось отменным, и я не мог не сказать об этом Шайхету. Он сдержанно поблагодарил кивком головы, — и тут-то мы впервые обменялись мимолетными взглядами, как обмениваются в безликой толпе люди, интуитивно разглядевшие друг в друге единомышленника и собрата, о котором давно мечтали...

## 18

Мы, я и Шайхет, сидели в креслах у горящего камина и молчали. Свет был погашен, но мягкий полумрак растекался по комнате и вымазывал охрой стены и потолок, тогда как на полу, у наших ног плясали золотисто-багровые отблески живого огня. Дрова постреливали, сладко чадили, и на них слезами проступала смола. Когда пламя притухало и обугленные головешки начинали постреливать жаркими искрами, Шайхет поднимался, подбрасывал полено-другое в топку, неслышно возвращался на место, — и через мгновение ночная тишина снова наполнилась нарастающим пением божественного огня.

Игорек давно уже отправился почивать, и в особо нежные мгновения тишины до нас долетал приглушенный деревянными перегородками храп и невнятные ругательства сквозь сон. За ужином он практически в одиночку приговорил бутылку «Абсолюта», быстро размяк и обеспамятел, — и Шайхет с Анной заволокли его на второй этаж, в спальню. Я ни в чем не принимал участие, только смотрел и слушал; даже помощь не предложил, когда нога Игорька просунулась между балясинами, застряла там, и его долго ворочали и тащили, как неживого. Затем Шайхет вернулся — уже один, без Анны и, не говоря ни слова, придвинул к камину кресло и сел рядом со мной.

И я вдруг возрадовался, что мы остались одни. В самом деле: что мне этот не пробудившийся к разумной, человеческой жизни Игорек? Да и Анна, если вдуматься, в эти минуты не нужна мне здесь, у камина. Ведь что-то новое складывается сейчас в моей судьбе, что-то долгожданное и очень для меня важное, — и пока пасьянс окончательно не разложен, есть время побыть наедине с собой, подумать обо всем том, что случилось со мной сегодня, а еще — пошептаться с Марком Аврелием Антонином.

Положим, Марк, ты учишь: *«Люби только то, что случается с тобой и предопределено тебе. Ибо что могло бы более соответствовать тебе?»* Но ответить, что из случившегося со мной сегодня предопределено именно мне, почему я непременно должен все это любить? Ведь случившееся далеко не истинно, далеко не всегда достойно любви! А раз недостойно, то почему предопределено? И соответствует ли все, предопределенное и случившееся, той непроглядной пучине, которую называю собственным альтер эго?

Я родился и вырос в простой, обыкновенной семье, в которой никогда не происходило скандалов, обманов и сомнительно пахивающих историй.



Жизненные устремления не донимали меня своей несбыточностью, может быть, исключая жажду литературного самовыражения. И вместе с тем, у меня всегда был более чуткий, чем у других, слух и малейшая человеческая фальшь без труда улавливалась и осознавалась мной; я был зорче других, и нередко пытался заглянуть в зазеркалье. Со временем так и сложилось, что я в основном смотрел и слушал, а когда остался один — стал советоваться по поводу увиденного и услышанного с тобой. И вот теперь, после стольких лет одинокого созерцания, ты, Марк, намекаешь, что это и есть мое призвание — видеть окружающий мир истинным, препарировать человеческие слабости и при этом отстраняться ото всего сущего? Нет уж, уволь! Я не вынес тоски и потому сорвался сегодня в штопор...

*«Пойми же, наконец, что в себе самом ты имеешь нечто более совершенное и божественное, нежели то, что вызывает страсть, или вообще, что влечет к себе. Что теперь заполняет мою душу? Не страх ли, или подозрение, или вожделение, или что-нибудь другое в этом роде?»*

Во-первых, меня все больше влечет простая, человеческая жизнь — это ли не совершенное, это ли не божественное? Во-вторых, мою душу заполняет теперь любопытство. Вот, положим, Шайхет — он чем-то занимает меня: кто такой, зачем здесь, что движет им в наше безнравственное, лживое время? Мне все больше кажется, что мы с ним — одного поля ягода, и вот уже битый час я жду подтверждения или опровержения этой догадки. Но он молчит — не есть ли это молчание косвенным подтверждением моих мыслей о нем? Мне часто попадались люди, электрическое поле которых отталкивалось от моего; попадались и такие, аура которых ускользала, оказывалась неуловимой, то есть совершенно мне безразличные; попадались добряки, с которыми легко давалась пустопорожняя болтовня. Но чтобы так притягивало!.. Пожалуй, подобное притяжение случилось со мной впервые, и потому я не намерен был упускать такой шанс.

Огонь в который раз насытился, пляшущие языки улеглись, сквозь золу и пепел снова проступили каленые угли. Теперь уже я поднялся, подкинул в топку полешек, поворошил кочергой и, сидя на корточках, стал смотреть, как возрождающееся из небытия погасшее было пламя.

— *«Время есть река возникающего и стремительный поток. Лишь появится что-нибудь, как уже проносится мимо, но проносится и другое, и вновь на виду первое»*, — сказал я твоими словами, Марк, указывая татарину на синие-желтые огоньки, пляшущие по дубовым чуркам.

— *«Все мимолетно: и тот, кто помнит, и то, о чем помнят»*, — как говорят пароль незнакомому человеку, отозвался из глубины кресла Шайхет.

Сердце у меня ухнуло, как некогда, единственный раз в жизни, когда я прыгнул с вышки с парашютом. Поленья затрещали, жар прихлынул к моему лицу, но я по-прежнему смотрел на огонь и думал: вот он, *второй*, и сколько надобно сказать ему, а не знаешь, с чего начать. Но и совместное молчание дорого, потому что оно — богато!

Я возвратился на свое место и невольно посмотрел по сторонам — на лакированные бревенчатые стены, на богато украшенный камнем и деревом камин, на какие-то рога, ружья и кинжалы, увешанные между окнами, — на все вокруг нас, добротное и дорогое. Этим взглядом я спросил: как же так, неужели ты, Шайхет, — в услужении, и все это, показушное, не отвращает тебя, не гонит отсюда прочь? Неужели этот Игорек, наглый, неумный, вечно пьяный, и женщина, купленная на несправедливо добытые деньги, способствуют философскому образу мыслей и твоему призванию?

Шайхет пожал плечами, скупой улыбнулся и развел руки в стороны, как бы говоря: Диоген жил в бочке, Сенека и Аристотель воспитывали будущих

деспотов, Марк Аврелий был императором и провел большую часть жизни не за письменным столом, а в походах и войнах, невежество соплеменников в конечном итоге привело к смерти Сократа. У каждого — свои обстоятельства, но если, допустим, перемешать посылы судьбы и поселить в бочку Сенеку с Аристотелем, а Диогена переместить во дворец Марка Аврелия, то будь уверен — они и в новых обстоятельствах останутся сами собой.

Я согласно кивнул, и мысленно призвал тебя, Марк, присоединиться к беседе. *«Дух Целого требует общения, — говорил некогда ты. — Поэтому менее совершенные существа он создал ради более совершенных, а более совершенные приноровил друг к другу. Ты видишь, какое он всюду установил подчинение и соподчинение, каждому дав в меру его достоинства, и привел наиболее совершенные существа к единомыслию».* Теперь я понимаю, как справедливы и современны твои слова!

## 19

— Ты слышал что-нибудь об универсальном знании? — спросил меня Шайхет из мигающего бордовыми отблесками полумрака

Я показал жестом и мимикой, что суть вопроса знакома мне отдаленно, и, подумав, добавил:

— Это что-то из древнегреческой мифологии о Гиперборее, праматери человечества? Якобы там обитал блаженный народ гипербореев, особенно любимый Аполлоном и обладавший этим универсальным знанием? Из того, что прочел, зацепило из Плиния Старшего: *«...там неизвестны раздоры и всякие болезни. Смерть приходит там только от пресыщения жизнью».* Пресыщение жизнью! Иногда, в светлые мгновения, казалось: возможно ли человеку пресытиться утренней свежестью, солнечным лучом, нектаром цветка? Но больше думалось: еще шаг — и наступит не пресыщение, отнюдь, а отвращение — так все вокруг погано устроено!

— И я говорил: погано! Откуда светлые мгновения? — их у меня не было. Водка, карты, цинизм, безнаказанность. Пока не убил человека. Нелепо, в пьяном угаре: сел за руль и — наперегонки по городу. Машину занесло, выбросило на тротуар, сбил случайного прохожего — и убежал, спрятался. Меня не нашли, а может, и не искали. Да что искать — я и без того сломался. Жизни и раньше не было, муть одна, а после того происшествия все вдруг осточертело. Не поверишь, подумал: пора ставить точку. Одна только мысль останавливала: сделал чьих-то детей сиротами... Стал искать, справляться, окольными путями выведал: одиноким был человек — как мы с тобой. В жилищном управлении сказали: имущество покойного — чемодан с книгами и какие-то бумаги. Выкупил за гроши, притащил домой, стал перелистывать — Бог ты мой!

Шайхет снова подбросил в камин дров, сел на подлокотник кресла и посмотрел мне в глаза.

— Этот человек посвятил жизнь отысканию универсального знания: читал Рериха, Блаватскую, изучал Веды, библию, Махабхарату, античных авторов, Нострадамуса, ездил с экспедициями на Урал, искал Гиперборею на Кольском полуострове. Какой-то несчастный фельдшер со станции скорой помощи!.. Сначала я подумал: зачем ему это нужно? Все ли у него было в порядке с головой? Но постепенно смысл жизни человека разумного стал для меня приоткрываться: познание, приближение к истине, к смыслу жизни, а значит — освобождение ото всего, что со знаком «минус». Ведь, как всякий мыслящий человек, я не раз безответно думал: для чего родился, зачем умру и что значит для меня этот пустой промежуток, этот, по Набокову, луч света между датами жизни и смерти? Но инертные раздумья приводят к ци-

низму и неверию, тогда как усилия поиска даруют существованию человека вышний свет.

— И ты пошел по пути фельдшера?

— Я прочел все, что у покойного было собрано за многие годы, отыскал людей, с которыми он был близок, и летом поеду на Кольский полуостров с научной экспедицией. Может быть, исследование каких-то каменных руин, остатков обсерватории, лабиринтов, пирамид, которые старше египетских, лазов глубоко под землю, — может быть, все это на первый взгляд не так интересно, но они, эти руины, — одна из ступеней к универсальному знанию. Меня вот что занимает...

Он придвинул свое кресло, и, наклонившись ко мне, горячо зашептал — глаза в глаза:

— Существует Невидимый Мир, четвертое измерение, тогда как мы живем в третьем. Этот мир населен разумными расами, которые незримо, но существенно влияют на ход развития человечества. Об этом читает лекции в Бажовской Академии некий Соболев. Но еще более высокая, параллельная цивилизация — Гиперборея, самое сокровенное место планеты. Судя по карте Герхарда Меркатора и другим свидетельствам, она располагалась на Севере, а теперь частью скрыта на дне Северного Ледовитого океана. Существует предположение, что именно с Северного Полюса осуществляется Высшими цивилизациями связь с Землей. Эти цивилизации ведут человечество на новые уровни бытия, по существу — к универсальному знанию и бессмертию. Вот бы и мне хоть на шаг приблизиться к пониманию устройства мира и преодолеть ощущение собственной ничтожности! В книге пророка Исаяи, что в Ветхом Завете, сказано: «А говорил в сердце своем: «взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой, и сяду на горе в сонме Богов, на краю Севера».

— В таком случае, прав Марк Аврелий: *«Ты всегда должен мыслить мир как единое существо с единой сущностью и единой душой. Подумай о том, как все сводится к его же единому ощущению, как создает он все единым стремлением, как все содействует возникновению всего, какая во всем связь и соответствие».*

— Ты дергаешь цитату к случаю, а я говорю о закономерностях во вселенной. А впрочем, он многое постиг, твой Марк Аврелий, созерцая и размышляя. Скажи лучше: поедешь со мной в экспедицию?

Я отрицательно покачал головой:

— *«Если хочешь достичь душевного спокойствия, — говорит философ, — то ограничь свою деятельность немногим».* У тебя есть смысл твоей жизни, я подумаю над смыслом своей.

Шайхет откинулся на спинку кресла и принялся смотреть на огонь.

И снова к нам подступила тишина, но уже и усталость подкрадывалась, и ночь за окнами сгустилась до непроглядной черноты. Все было, как бывало и прежде вокруг меня, только ощущение беспроглядного одиночества вдруг ускользнуло в небытие. А взамен прихлынуло многообразие житейских ощущений. Я думал о многом сразу: о Шайхете, универсальном знании, призрачной и реальной Гиперборее, связи с Космосом, о Боге и сотворении мира. Представлял покойного фельдшера, прозябавшего на станции скорой помощи, невидного малого с сырым, не проспавшимся лицом, корпевшего ночами над картой Меркатора, изданной его сыном Рудольфом в 1595 году. Ощущал на своих щеках слезы Шайхета, чувствовал сердцем его отчаяние, душой радел очищению и искуплению за содеянное когда-то зло. Наконец, слышал голос — некто, смутно знакомый и назвавшийся Нострадамусом, нашептывал мне на ухо: «Север — это особое место встречи иных Миров...»

А после, уже во сне, привиделась Наталья. Она что-то мне говорила, в чем-то укоряла, к чему-то взывала, но слов не разобрать было, — одно лишь шевеление губ и опрокинутые глаза. А я только и всего, что кивал головой и улыбался, улыбался, улыбался, не в состоянии произнести что-либо в ответ...

## 20

За чаем собрались втроем: Игорек был «в развинченном состоянии», как в сердцах сказала о нем Анна, и не мог подняться с постели. Она же была умыта, причесана, и снова от нее хорошо пахло, тогда как мы с Шайхетом выглядели не лучшим образом, точно корова нас пожевала.

— Послушай, — сказал я Шайхету, пока Анна возилась с печеньем и сухариками на кухне, — у меня возникли некоторые соображения по поводу Гипербореи и универсального знания. Есть общество почитателей Рериха, или как-то иначе оно зовется. Одним словом, мой однокашник по институту писал мне как-то, что близок с одним из этих почитателей. А ведь Рерих тоже интересовался исходом ариев из Арктиды, он был «посвященный»... Давай сведу вас, а там уж однокашник подсуетится. Ведь дух Целого «привел наиболее совершенные существа к единомыслию».

— Боюсь, я недостаточно подготовлен...

— Глупости! — воскликнул я и хотел еще что-то добавить, но тут вошла Анна, и мы дружно замолчали.

— О чем вы там шепчетесь? — подозрительно спросила она с плохо скрытой ревностью человека, вытолкнутого из круга общения.

«Вот тебе раз! Ей-то чего в жизни не хватает? — невольно любуясь ею, подумал я. — И снова она иная, чем была вчера — сперва в машине, а после за ужином. Какие-то у нее сегодня ищущие глаза. Вот где необыкновенный дар перевоплощения! Но какова истинная суть этой женщины, в чем она?»

— Мы говорили, что красивая женщина украшает жизнь мужчины, а умная — скрашивает ее, — вслух произнес я с фальшивой улыбкой на губах.

— Мы говорили, что красивая женщина жаждет слов о любви, а умная хочет, чтобы ее просто любили, — в унисон мне подхватил Шайхет.

— Есть третья категория: женщина *верная*, или, по-вашему, — набитая дура. Ну-ка, признавайтесь, к которой из них отнесли меня?

Мы разом воскликнули: умная и красивая! Она засмеялась и возразила: нет, верная! Красота быстро приедается, блекнет; ум не удержал ни одного мужчину от соблазна; рано или поздно, любовь растворяется в быту, — и вот тогда на первый план выходит нечто иное, а именно: порядочность, верность.

— Ева предала Адама со Змием — и вот результат! — Тут она обожглась чаем, и слезы выступили у нее на глазах.

Я хотел утешить ее, но Шайхет внезапно остановил меня движением руки и сказал, сбиваясь и от волнения глотая слова:

— Преданности без любви не бывает, иначе ее корни неясны. Ева была сотворена из ребра Адамова, иными словами — она предала самое себя. А дальше люди разбрелись по миру, стали чужими и чуждыми друг другу, и в этих условиях преданность могла проистекать только из любви. Кров, пища, покровительство — основания для благодарности. Для преданности нужно нечто иное! Будь благодарна, но хотя бы не лицемерь...

— Я не лицемерю! И, пожалуйста, давай сменим тему...

И она указала на меня взглядом.

«Вот оно что! — запоздало сообразил я и обозвал себя ослом. — Что ж, дружище Марк, пора нам с тобой и честь знать... »

*«Осмыслил ли ты предыдущее? Ознакомься тогда и с нижеследующим. Не мудри над собой, старайся быть простым. Прегрешает кто-нибудь? Он прегрешает против самого себя. Случилось с тобой что-нибудь? Прекрасно. Все случившееся с тобой было изначально суждено тебе и сопряжено с тобой в силу устройства Целого...»*

Ну, ладно, ладно! Сейчас я не способен к спорам и размышлениям...

Поблагодарив за гостеприимство, я поднялся из-за стола.

— Я отвезу вас, — предложила Анна, пристально засматривая мне в глаза: все ли я понял, так ли? — и, судя по бегающим, нервно перебирающим ворот джемпера пальцам и прикушенной губе, раскаиваясь в собственной неосмотрительности. — Все равно за руль посадить некого: после встречи Нового года от обоих нет толку! — И она указала на помятого Шайхета, затем перевела взгляд в сторону спальни, где беспробудно спал хрипатый Игорек.

Мы оделись и вышли из дома.

Стояло безветренное, морозное утро. Сизый дым вертикально вытекал из трубы над домом и струящимся, размытым пятном вздымался к редким, перистым облакам. Деревья, кусты, провода, кованые завесы на воротах — все было увешано мохнатым инеем. И даже густые брови Шайхета мгновенно заиндевели, делая его похожим на подрастающего, безбородого деда Мороза.

Пока Шайхет открывал ворота, и пока Анна разогревала двигатель, я с наслаждением вдыхал чистый воздух, рассматривал иней, дым, наползающие на забор елочные лапы, отягощенные снегом, и думал твоими словами, Марк: *«Все сплетено друг с другом, всюду божественная связь, и едва ли найдется что-нибудь, чуждое всему остальному. Ибо все объединено общим порядком и служит к украшению одного и того же мира».*

На прощание мы обменялись с Шайхетом крепкими рукопожатиями, и каждый немо сказал другому: я рад тебе несказанно! Потом машина пошла, мигнуло черноглазое, белобровое лицо у ворот — и сгнуло за спиной, как если бы осталось навсегда в прошлом.

Анна молчала, но по всему было видно, что ей не терпится сказать мне о чем-то, для нее важном, необходимом. И вместе с тем, слов не находилось, или решительности не хватало, но она только поглядывала искоса на меня и прикусывала нижнюю губу, как школьница, не выучившая заданного урока. Наконец, эта ее нерешительность меня утомила. Сложив руки на животе, я закрыл глаза и стал размышлять о дне миновавшем.

Все-таки хорошо, что мы не знаем своего пути, не правда ли, Марк? Иначе я не мучился бы целый год, а спокойно ждал этого дня, и, может быть, не нуждался бы так остро в общении с тобой. А без этого общения оказался бы не готов распознать в разнообразии лиц *божественную связь*, не понял бы сплетения нас друг с другом и не вывел бы из этого сплетения общий порядок, *украшающий мир*.

Положим, если попробовать вычленив из переплетенной цепи хотя бы одно звено — того же Шурика с его девками или несчастную Аллу, не говоря уже об Эдике Гришине, таксисте Жорке, хрипачом Игорьке, — окружающий мир не будет так полон и украшен. И если убрать с дороги у Анны того же Игорька, заменить на мучающегося от любви Шайхета, то и здесь ощущение полноты жизни исчезнет, и потускнеют для двоих краски мира, ибо только черная краска подчеркивает и оттеняет для нас, живущих, краску белую.

Получается, для того, чтобы надеяться на проявление светлых минут в жизни, необходимо время от времени переживать серые и черные. Например, чтобы наслаждаться беседой с тобой, Марк, я должен ежедневно проживать жизнь обыкновенного человека: работать в школе, общаться с коллегами, бороться с невежеством недорослей, оспаривать самодовольное

своеволие редакторов издательств и журналов, терпеть назойливость соседей, смиренно принимать одиночество... Я должен, должен, должен!.. И только потом...

Как ты там научал? *«Если тебе не хочется подыматься чуть свет, то тотчас же скажи себе: «Я встаю, чтобы приняться за дело человеческое. Неужели же я буду досадовать на то, что иду на дело, ради которого я создан и послан в мир? Неужели мое назначение — греться, растянувшись на ложе?..»*

— Я правильно еду, Марк? — отвлек меня от размышлений сдержанный голос Анны.

— Да, пожалуйста, в этот двор.

Машина остановилась у моего подъезда, на минуту-другую воцарилось молчание, потом Анна взяла меня за ладонь своими длинными, ухоженными перстами и, запинаясь, сказала:

— Простите нас за вчерашнее. Но если бы не тот случай в кафе... Одним словом, я очень рада, что у Шайхета появились вы.

Я склонился и ответно поцеловал ей руку.

— И не судите нас строго. Вы многого не знаете, и...

У нее внезапно налились слезами глаза, но, пересилив мгновенную слабость, она одарила меня на прощание смущенной, благодарной улыбкой.

— Бог с вами, это вы меня не судите! — сказал я и еще раз поцеловал ей руку.

Когда машина скрылась за поворотом, я вдруг особенно остро ощутил, что праздник закончился и снова я один — посреди удивительного безлюдья и тишины, под призрачным снегопадом, в глубине колодца-двора. Окна домов были мертвы и сонны, и только в некоторых из них помаргивали огоньками не погашенные с ночи гирлянды. Я поднял голову к окнам своей берлоги: там и вовсе было непроглядно, мертво, как если бы я не появлялся дома целую вечность.

Что ж, *«каждому пристало то, что стало его уделом...»*

«И все-таки жизнь бывает удивительно разнообразна, — ободряюще сказал себе я. — И ты, Марк, прав: все мы созданы друг для друга. И тысячу раз прав Владимир Мономах, некогда написавший: «Удивляемся и этому чуду, как из праха создал ты человека, как разнообразны облики человеческих лиц». Все вы правы, но мне-то что с вашей правотой делать?»

Втянув голову в воротник, я нырнул в темный проем подъезда и стал неторопливо подниматься по скользким, замусоренным ступенькам.

Лампочка над моей дверью давно перегорела, и свет, проникавший на лестничную клетку сквозь заметенное снегом окно, был рассеян и скуп. Одно из стекол все так же было разбито, и большой осколок, застрявший в верхнем углу рамы, в который раз напомнил мне зловещий, готовый обрушиться на шею гильотинный нож.

Отворотившись к двери, я стал нашаривать в кармане ключ, но издавна знакомый запах духов, по всей видимости, давно здесь разлитый и оттого едва уловимый, легче дуновения сквозняка, внезапно насторожил меня.

«Наталья!» — почему-то решил я, ощущая удушье, и кровь приступами прихлынула к сердцу и голове.

Тут только я разглядел, что к ручке моей двери прикреплен маленький янтарный мышонок — символ наступившего Нового года, а на подоконнике оставлены початая бутылка шампанского «брют» и скомканный бумажный стаканчик со следами помады по самому его краю...

*2008, 2012, 2015, 2016*

*Бердичев, Житомир*

## Алекс Трудлер. Вечная жизнь. Стихи



Трудлер Алекс, 42 года, Израиль, Беер-Шева. Эмигрировал в Израиль в середине 90-х.

Лауреат фестивалей "Дорога к Храму" 2014, 2016 в Иерусалиме, "Эмигрантская лира" 2015 в Льеже и "Арфа Давида" 2015 в Назарете. Победитель (3-е место) интернет-конкурса "Эмигрантская лира" 2015/2016. Лауреат конкурса "Кубок Мира по русской поэзии" 2016. Печатался в журналах "Кольцо А", "Московский Комсомолец", "45-я параллель", "Зарубежные задворки", "Буквица", "Заповедник", "Интерлит", "Сталкер" и других.

*По когтям узнают льва. По прикосновению мысли и острому лезвию эмоции узнают художника. Алекс Трудлер — художник несомненный. Он счастливо обладает несказанным богатством слов и умеет точнехонько, одним ударом загнать их в жадные лузы единственного образа. Искусство работать с образом — главнейшая удача мастера; Алекс Трудлер, кажется, из образных россыпей и не вылезает, перебирает в пальцах, в мыслях, перед внутренним взором всевозможные драгоценности бытия:*

*...город Ты встречает меня тобой,  
и ведёт тайком к вернисажам, книгам,  
говорит с припухлостью над губой,  
вспоминая детство, фонтаны, ригу...*

*Ему вняты свет и тьма, как то мастеру положено, он даже нарочно сталкивает идеи и понятия, видения и реальность, жалобу и насмешку, колорит и монохромность. Он заставляет нас еще и еще раз убедиться: великий цельный мир полон изумительных подробностей. Но надо всем — этот вечный приговор, это вечное страдание впряженного в ярмо времени гения: "Веласкес умирает за поклон / очередному глупому Филиппу..."*

*Елена Крюкова*

посреди одичавшей евразии  
я ношу расстоянья в груди  
эк меня пустотой угораздило  
не судим не судись не суди

даль неверными полнится криками  
для крещенья узка иордань  
правда око за око навывкате  
а как выкатит выколи глянь

рубят головы мирные граждане  
чтобы дважды не чистить ножей  
будут чистые их выгораживать  
им бы кожи нарезать свежей

новобранцы призыва любовного  
выжут песню на горле как жгут

по углам развелись уголовники  
и от запаха серного мрут

берегись миротворцев пожалуйт  
на разрытую землю любви  
заходи на свечу запоздалую  
и цветок у дороги сорви

кинь под ноги что пахнут могилами  
в тёплый саван от зла завернись  
рвёт рубаху прощается с милыми  
непутёвая вечная жизнь

### **города**

город Я встречает тебя собой  
и ведёт по каменным узким тропам,  
говорит — торопится, вразной,  
как смешной торговец из конотопа.  
чердаки, подвалы, разломы плит -  
улыбаться пробует, улыбаться.  
а внутри-то теплится? — говорит.  
сколько лет? — наверное, всё же двадцать.  
ещё полон хрупких ретортных дум,  
разгоняет ветер до самой сути,  
надевает свой выходной костюм  
и выходит вечером — "выйти в люди".

город Ты встречает меня тобой,  
и ведёт тайком к вернисажам, книгам,  
говорит с припухлостью над губой,  
вспоминая детство, фонтаны, ригу.  
заслоня вывески, тень для глаз,  
улыбаться пробует, улыбаться.  
что снаружи? — тёплое напоказ.  
сколько лет? — наверное, девятнадцать.  
ещё "эр" грассирует в слове двор,  
и причёска сбита навстречу ветру,  
что ломает замки и сущий вздор  
и уносит шляпки и сны из фетра.

город Мы встречает ревниво нас  
и идёт за нами, виляя следом,  
и молчит старательно битый час,  
словно наш язык для него неведом.  
обнесён стеною. там — ров. там — вал.  
а внутри-снаружи — толпа народа.  
узелок на память бы завязал.  
сколько лет? — наверное, нет и года.  
ещё редок утренний холодок  
за мембранной гранью дверного скрипа,  
и пытается золото оселок,  
чтобы нас по мелочи не рассыпать.



## **третий лишний**

когда года светили театрам  
и небо уравнения решало  
о прочном равновесии вещей  
плодились комментарии вселенной  
пародии на черные измены  
комедии со вкусом кислых щей

сидела плотно публика в партере  
снимали труп поэта в англере  
и режиссер командовал мотор  
валились в кучу люди кони люди  
простые люди без каких-то судеб  
таящие в глазах немой укор

газетной полосы припухли веки  
ещё полны водою были реки  
ещё зияли окна чистотой  
и улыбался каждый третий лишний  
держась за сердце или за булыжник  
придавленный коломенской верстой

как это было всё неоспоримо  
в кругу друзей из иерусалима  
читался бред высокий как с листа  
потом все развалилось одичало  
и новый день оттачивал устало  
на куполах созвездие креста

и ты промок собрав в котомку чувства  
потомок безыдейности искусства  
и предок виртуальных площадей  
где шум утих и на подмости вышел  
как из народа гамлет третий лишний  
оставшийся последним из людей

## **рыбий хор**

*да кому они песни глубоких рыб...  
Игорь Калина*

сиди и слушай топкий рыбий хор  
чешуйчато прерывистые звуки  
которым повар вынес приговор

смотри вокруг на длинные круги  
на солнечные радиусы света  
и отраженья прошлых береги  
от будущих утопленных предметов  
перебирай как чётки тишину  
порывисто сужая ожиданье

сиди и слушай молча до свиданья

## Заеды

Татьяне Половинкиной

Говоришь, недельная борода  
от напрасной горечи губы рвёт,  
                                — ерунда,  
что от боли сжался в гримасе рот.  
Голоса на пристани — ветерки —  
намотают быстро в клубок слова,  
лишь бы руки встретились — не с руки  
было расходиться и горевать.  
Далеко до встречи кисель цедить,  
протянулись — к завтра — ремни недель.  
Хоронись от выбора, чтобы жить,  
неуютно прячась в семью и хмель.

-----

...А в приморском городе кирпичи  
от природной сырости взрыты мхом,  
и соседка ушлая верещит:  
Не грусти, кудрявая, поделом!  
Ты рыдаешь: Что ему? — виноват.  
Из тебя рутина канаты вьёт.  
Через год, — ты шепчешь. Потом - назад.  
Только дольше вечности длится год!  
Постучится осень клинком в окно,  
скособочит волосы на излом,  
но не зря же городу — всё равно,  
а живущим в городе — всё в облом.  
Парадокс, не правда ли? Времена  
отказались вовремя от чернил.

-----

Тихо плачет женщина у окна.

-----

Горько плачет пьяница у перил.

### сидит индеец у тропы

*Все лежит перед тобой. Твоя Тропа находится прямо перед тобой. Иногда она не видна, но она здесь. Ты можешь не знать, куда она идет, но ты должен следовать Тропе.  
Индийская мудрость*

сидит индеец у тропы затерянной в лесу,  
отважный чучипу сидит с трофеем на весу.  
он вертит снятый скальп врага, перо макая в кровь.  
ревниво солнце небо жжёт, индеец супит бровь.  
чего он ищет в жаркий день, вдали от жарких битв?  
а голод долгого пути под ложечкой свербит.  
в ручье спокойная вода труп вражий не несёт,  
плюёт индеец чучипу на мудрость тихих вод.  
деревья шепчут: уходи! твоя тропа пуста,  
чего ты ждешь, склонившись вниз к подножию куста?  
молчит индеец, как немой. и рядом мир затих.  
индеец, братцы, не дурак. он сочиняет стих —

о том, как он убил врага и вышел на тропу,  
а солнце, сука, небо жжёт. потеет чучипу.

### **Рубашка**

Я надену рубашку изнанкою внутрь,  
прочитаю почище молитву  
и пойду по дорогам, где курят и пьют,  
пряча глубже опасную бритву.

Сигаретным приветом сигналият огни  
из подвалов беспечного детства,  
и визгливые крики: "Пятерку гони!" —  
из окошка в тени по соседству.

Марлезонский балет, автомат ППШ,  
чёрно-белые фильмы о главном...  
Я листаю в дороге, почти не дыша,  
деревянные ветхие ставни.

Надоело смотреть на культурный массив,  
запечённый в кулич поколений.  
Я опять становлюсь безнадёжно ленив,  
поднимаясь по скользким ступеням.

И слышнее звучит паровозный гудок:  
"Ваше время - пожалуйста - вышло."  
Снова видится мне бесконечно далёк  
капитан деревенских мальчишек.

Путь дочитан с листа без серьёзных помех  
до абзаца, до перечня радуг.  
Я надену пижаму изнанкой наверх -  
может, сон будет крепок и сладок.

### **Веласкес**

Привычно почернел до темноты  
дождливый день, бегущий краем моря.  
Признание украсило холсты  
Веласкеса, который также чёрен.

Всё так же глух старик ко тьме времён,  
подслеповат прищур севильской ночи,  
картинный вздох в пространство устремлён —  
к прелестнейшей из королевских дочек.

На затемнённый зеркалом портрет  
Венеры, что изогнута как рыба,  
не падает укрытый тенью свет  
от зрительских насмешливых улыбок.

Рябые мойры полотно плетут,  
черня в ковре условности приличий,  
метаморфозы рушатся, но труд  
художника пугающе трагичен.

Сильней инстинкт изгнания раба  
из гения, когда, надрезав кожу,  
тот просит у бессмертия: "Избавь", —  
и заточённый в рамки шепчет: "Боже".

А в темноте (с оглядкой на сон)  
рыдает дождь, больной испанским гриппом.  
Веласкес умирает за поклон  
очередному глупому Филиппу.

**Книга «Ребро Адама» Михаила Полюги  
о любви и ненависти,**  
но более широко, чем отношения  
между мужчиной и женщиной.

**Эти противоположные,  
но идущие рука об руку чувства  
присущи в подлунном мире всему:  
мировосприятию,  
поискам смысла сущего,  
они — духовная составляющая  
каждого человека.**



ЛИТЕРАТУРНОЕ  ИЗДАТЕЛЬСТВО  
VERLAG

**КНИГА ЭССЕ «СМЕРТЬ СРЕДИ ВАРВАРОВ»  
Анатолия Николина**

Сборник историко-литературных  
и художественно-философских эссе,  
публиковавшихся в разное время  
в периодических изданиях России,  
Украины и Германии.

**Тематика классична и определяется  
кругом так называемых «вечных проблем».**



ЛИТЕРАТУРНОЕ  ИЗДАТЕЛЬСТВО  
VERLAG

## Муса Мураталиев. Поэт и писарь. Нон/фикшн

Продолжение. Начало в № 3 (33) 2017



Муса Мураталиев, выпускник Литературного института им. А. М. Горького. Член Союза писателей Москвы, член Русского ПЕН-центра. Более двадцати лет был ведущим специалистом в аппарате Правления Союза писателей СССР. После распада Советского Союза — корреспондент радио «Свобода».

Автор книг: «Желтый снег» (М., «Молодая гвардия», 1982), «Майская кукушка» (М., «Советский писатель», 1989), «Ближе к полудню» (М., «Детская литература», 1973), «Две жизни» (М., «Советский писатель», 1978), «Идол и Мария» (М., «Зебра Е», 2011), «Тоска по огню» (М., «Зебра Е», 2012), «Нашествие мигрантов» (М., «Зебра Е», 2014) и др.

Проза М. Мураталиева переводилась на девятнадцать языков.

Августовская ночь. Сверчки поют. Темень, хоть глаз выколи. Находят квартиру Анны Ахматовой. Идут брать Николая Гумилева.

— Он самый известный символист. Только что вернулся из эмиграции, собирается уехать, — говорит Писарь — Принял активное участие в контрреволюционном заговоре! Призывал к либеральным преобразованиям!

— Символист, он кто? — спросил армеец СОБРа.

Писарь вспомнил стихотворение «Рабочий» Гумилёва.

— Он пишет, что умрет от рук пролетария, ибо тот отлил пулю, а далее сам пойми. Так оно звучит:

И господь воздаст мне полной мерой  
За недолгий мой и горький век.  
Это сделал в блузе светло-серой  
Невысокий старый человек.

— Зараза! — крикнул другой сотрудник СОБРа.

Писарь привел подразделение во второй половине ночи в квартиру Николая Гумилёва и Анны Ахматовой. Пришли с обыском. Распотрошили, сколько возможно, проверили личность Николая Гумилёва. Арестовали его по подозрению в участии в заговоре, поддержанном эмигрантами. За агитацию и призывы в пользу либеральных преобразований.

— Интеллигент, а одной ногой в стане врага! — воскликнул Писарь, пробившись из-за спин собровцев. — Теперь я твои обе ноги сожгу!

Подошел ближе и ударил кулаком по лицу Гумилёва с такой силой, что костяшки заныли, а потом указал сотрудникам:

— Уводите! Быстро!

Гумилёв в окружении четверых армейцев вышел из своей двери. Как только они оказались в Ковалёвском лесу у изгиба реки Лубьи и не успели еще вобрать в лёгкие сладкий дух травостоя, как идущий за ними Писарь, выхватил пистолет и пустил пулю в затылок арестанта. Глушитель не давал шумового резонанса, шлепок, и звук тут же угас. Отряд СОБРа даже ухом не повел. Поэт от ударной силы пули потерял равновесие и, накрываясь, начал падать затылком, но Писарь, схватив его за плечи, не дал ему рухнуть сразу. Несмотря на поддержку, поэт сначала присел, а потом, упав навзничь,

остался лежать на земле. Руки раскрылись, как крест. Тело содрогалось, будто от сильного холода...

Писарь решил просветить подразделение на ходу, пока идут аресты, и в окружении бравых парней, там же на улице по памяти выкрикивал имена:

— Андрей Синявский!  
Юрий Даниэль!  
Наум Коржавин!  
Лидия Чуковская!  
Александр Солженицын!  
Владимир Максимов!  
Виктор Некрасов!  
Александр Галич!

— Вы их знаете?

Писарь смотрел каждому в лицо, приглашая к разговору. Один не выдержал и ответил:

— Умершие, потому я их не знаю.

— Они все исключены из Союза писателей, — похвастался следующий сотрудник. — Я не обязан их знать!

— Ах! Они еще живы? — обиделся бугай.

— В том то дело, — заключил Писарь. — Будь бдителен, СОБР!

Писарь слышит шаги. Это генерал-полковник Андрей Жданов. Он с трибуны читает свой доклад. В первом ряду Анна Ахматова. Писарь видит её сидящей в полуобороте к президиуму. Товарищ Жданов читает стихи Ахматовой громко и с выражением:

«Будь же проклят.  
Ни стоном, ни взглядом  
Окаянной души не коснусь.  
Но клянусь тебе ангельским садом,  
Чудотворной иконой клянусь  
И ночей наших пламенным чадом —  
Я к тебе никогда не вернусь»

Зал утопает в тишине. Ахматова сидит по-прежнему боком к генералу и ждет его оценку.

— Она из безыдейного реакционного литературного болота! — говорит Жданов, тыча пальцем в сторону Анны Ахматовой. — Она принадлежит к так называемой литературной группе акмеистов. Она вышла в свое время из рядов символистов. Она есть, — Жданов повторно тычет пальцем в сторону Анны Ахматовой, — один из знаменосцев пустой, безыдейной, аристократической, салонной поэзии, абсолютно чуждой советской литературе.

Писарь видит свою аудиторию. Кто-то поднимает руку. Незнакомец:

— А это кто они, акмеисты? — спрашивает тот.

— Тунеядцы, бездельники! — начинает Писарь издали. — Они знать ничего не хотели о нуждах, чаяниях своего народа. Я уж не говорю об интересах народов других стран.

— Вы мне не ответили.

— Тогда существовала теория искусства для искусства. Акмеисты проповедовали эту теорию. Неспроста товарищ Жданов называет её стихи — поэзией взбесившейся барыньки, мечущейся между будуаром и молельной.

— Анна Ахматова представляла мир дворянской культуры России, которую коммунистическая партия уничтожила до основания.

— Нет! — Писарь повысил голос. — Ахматова сама дошла до такой жизни. Её религиозно-мистическая эротика, акмеизм загнали её в угол. Она одна из тех, кто подверг сомнению победу Октябрьской революции. Вот вам и Юрьев день!

В морозную ночь октября Писарь опять идет во главе СОБРа, ищет нужную ему улицу. Найдя дом, где живут Николай Пунин и Анна Ахматова, оцепили близлежащий квартал, а сам он подошел к двери. Достает бумагу из кармана и, наклонив лист под бледным светом лестничной площадки, читает:

— Анна Горенко. Типичный «враг народа». Пишет стихи под псевдонимом Анна Ахматова. По фамилии матери. Воспевает ценности буржуазии. Аристократическое эстетство. Декадентство. В её творчестве преобладает аполитичность! Стихи эти вредны для интересов трудового народа!

Арест производился без свидетелей, поэтому сотрудники СОБРа не церемонились, защелкнули наручники, сначала Николаю Пунину, а потом юному Льву Гумилёву и, придерживая их за шиворот, увели за собой. Ахматова осталась в квартире одна, без мужа и единственного сына.

Впереди наряда шагает Писарь, по привычке уточняет следующий адрес. Оказалось, идут правильно. «Почему заразу либерализма нельзя вырвать с корнем, как класс? — подумал Писарь. — Истребляла прежняя власть, истребляем мы, а он лишь с виду меняется, но продолжает жить. Как же сделать так, чтобы его не было?» Уважающих либеральные ценности литераторов в памяти больше, чем надо. Они были разоблачены цензурой, ценителями их трудов. Прежде сотрудниками союза писателей. На обратном пути Писарь проверил отряд СОБРа на сообразительность, заставив их повторять пройденное.

— Товарищи! Кого еще из либералов знаем? — спросил он, шагая с ними в темпе. Они отвечали:

- Анна Ахматова!
- Николай Гумилёв!
- Борис Пастернак!
- Виктор Астафьев!
- Василий Аксенов!
- Владимир Войнович!
- Фазиль Искандер!
- Андрей Вознесенский!
- Булат Окуджава!
- Белла Ахмадулина!
- Евгений Попов!
- Виктор Ерофеев!

— Вольно! — отчеканил Писарь бодрым голосом. — Идем обычным шагом. Это как у Фёдора Михайловича, раз имеется преступление, должно быть, и наказание.

Бек бросил в рюкзак четыре книги «Манаса» и вышел во двор. Карабутенко в скверике читал газету. Они обменялись рукопожатиями и

приостановились. Бек некоторое время думал, не сказать ли, что уходит. Но спросил Тарас:

— Совсем?!

— Совсем не совсем, всё же... — ответил Бек. — Конечно, кураторство было для меня дороже любой работы, не скрою...

— А что хочешь, это твоя единственная работёнка.

— На своем веку кроме, как проверять ошибки в текстах, ничего не делал. Откровенно говоря, мне хочется делать и теперь эту же работу.

— Кому из нас не хочется? — улыбнулся Карабутенко. — Может быть, Писарю только не хочется?

Бек Мурза посмотрел вверх. Облачное небо показалось низким. Руки подними, и ты дотронешься. Бек подумал, не попросить ли у Неба помощи? Молитва заняла некоторое время. Опрокинув голову, повторно глянул на небо и заметил, что облако резко меняет очертания. Сложился рисунок перста! Он указывал на запад. Беку показалось, что это знак свыше! Перешагнул порог Дома. Вдруг почувствовал, что сердце уходит в пятки...

Через день он снова стоял в вестибюле первого этажа Поварской, 52. Бек сожалел, что соцреализма больше нет и, не будет никогда. Он стоял у двери своего кабинета, но попасть в него не мог. В дверь оказался врезан новый замок. Подошел Писарь и, открывая дверь своим ключом, сказал:

— Ты больше не войдешь в эту дверь!

Бек торкнулся в дверь либералов. Она была закрыта. Он битый час оставался в фойе меж двух колонн, время от времени перебегая от одной к другой. В фойе появился Ятаган. Сотрудники бывшей головной организации вдруг все стали агитаторами. Они охотились за любым писателем, появившимся в Доме Ростовых, чтобы перетянуть в свой союз. Увидев за колонной Бека, он ринулся к нему, но Бек прошел за колонной. В отделе кадров сотрудникам давали в руки их трудовую книжку с записью: «уволен в связи с реорганизацией союза писателей СССР в соответствии со ст. 33, п.1. КЗОТ РСФСР». Ятаган держал в руке трудовую книжку и приказ об увольнении с гербовой печатью. Он говорил из-за колонны:

— Дети уже старшеклассники, жена — терапевт. Уедем к себе в Ашхабад.

Бек подошел к нему.

— Боже мой! Уволили?

— Второй раз, — сказал тихо Ятаган. — Теперь бесповоротно...

Бек, подойдя ближе, обнял его со словами:

— Не переживай. Впереди еще жизнь!

Ятаган, хотя дал обнять себе бывшему коллеге, сам не последовал его примеру. Бек Мурза, подняв его в объятии, немного потряс и поставил обратно на пол.

— Жена будет кормить нас, — развил свою мысль он. — Скажу тебе, Бекиш, мне тут не нравилось. Давно не нравилось...

Он протянул руку на прощание. Но Бек не пожал её.

В коридорах Дома Ростовых не утихали споры об альманахе Метрополь. Говорили, что его выпустило неизвестное издательство, но никто его не держал в руках. В пользу Метрополя высказал свое мнение Анфиногенов. Большой Союз выступил с осуждением. Ким Николаевич позвонил всегда сведущему во всех спорных вопросах пожилому чекисту с Лубянки.

— Есть такой факт! — ответил тот сходу. — Авторы пишут, что это «незаредактированный сборник», а по сути — новая форма инакомыслия.



— Ёпт... Не видел его еще, — пробурчал Селихов, прежде чем опустить трубку.

— А ты достань! Очнись! — сердился чекист. — Это входит в твою епархию.

Анфиногенов шел к Верченко, держа в руках альманах. Формат его напоминал «Черный квадрат» Малевича. На обложке изображен старинный граммофон, повернутый трубой к читателям. Страницы составлены из разрезанных пополам листов ватмана. На них приклеены листы обычного размера с текстами стихов, прозы, отпечатанными на пишущей машинке. Альманах, большой и толстый, было трудно держать в руках. Имена известные:

Василий Аксёнов,  
Андрей Вознесенский,  
Белла Ахмадулина,  
Евгений Попов,  
Андрей Битов,  
Виктор Ерофеев,  
Фазиль Искандер,  
Семен Липкин,  
Инна Лиснянская,  
Владимир Высоцкий...

Этих писателей советская литература считала отклонистами от норм социалистического реализма. Артём Захарович понял причину, почему тут в коридорах Метрополь называют «неподцензурным». Он знает, что Феликс Кузнецов называл произведения, включенные в альманах, бездомной, адресованной на Запад, иначе говоря, диссидентской литературой, а самиздатовский выпуск его считал политическим актом.

«Метрополь всерьез взят на мушку идейным начальством, поэтому терзать будут! — подумал Анфиногенов. — Нужна поддержка большого Союза. У них есть выход к Генсеку. Без положительного решения верховной власти никто не издаст». Анфиногенов запомнил страницы, где помещены проза и стихи культовых авторов, которых надо будет упомянуть. «А как иначе? На войне, как на войне! — Артём Захарович повторил свою любимую фразу. — Надо биться. Я должен защитить уже созданные вещи». Он продолжал свои размышления, листая альманах. Прочел знакомые строки еще раз и опять его плечи вздргнулись от удовольствия. «Если они не нужны им — время не пришло, то пусть останутся в столе, — подумалось ему. — Они им не нужны, но необходимы нам. Закрывать путь можно на год, но не на десятилетия».

Анфиногенов заметил неравнозначность авторов в альманахе. Но антисоветчины не видел. Собраны произведения писателей, не печатающихся по цензурным соображениям. Они вынуждены увядать, оставаясь годами у порога официальной литературы. Артём Захарович считал, что строки, написанные автором, не должны терпеть ревизии, ни при каких обстоятельствах. Изначальная задумка писателя, его неповторимость — превыше всего! «Ценю вас, как достояние страны, но не в силах защитить от произвола, — думал он, идя по коридору. — Обозначить свою позицию я должен, а там будет видно».

Верченко, увидев направляющегося к нему Анфиногенова, спросил:

— Захарыч, ты ко мне?

— Давай, отведём беду от этого... — Артем Захарович постучал ногтем по обложке Метрополя, который держал в руке. — Издадим, и вопрос снимется.

Селихов подошел к ним и, открыв содержание, прошелся по фамилиям. Ему нравилось срезать под корень любые проявления аполитичности, потому что перед глазами всегда стояла Лубянка.

— Выкинь её на хрен! — посоветовал Ким Николаевич. — Нечего у них на поводу идти. Пойдешь им навстречу, опять какую-нибудь гадость тебе подсунут. Снова головная боль! Никому он не нужен.

— Наоборот защищать надо. Мне не пришлось с ними встретиться, предложил бы убрать слабых авторов и заново составить! — объяснил Артём Захарович. — А так, добротная наша отечественная книга. Вполне могут расширить картину советской литературы, её нынешнее состояние.

— Возражений у меня нет, — сказал Юрий Николаевич, пробегая взглядом состав авторов. — В комсомоле переболел ими, за «Юностью» в очереди стоял. Мы с ними сталинскую кабалу вышибли из своего сознания. Уважаю этих бунтарей.

— Альманах на контроле! Чего рассыпался? — посмотрел Ким Николаевич на него.

— Захарычу хочется спасти людей, близких по духу, — сказал он. — Они сделали альманах, хотя он выглядит, мягко говоря, неприглядным.

— Стыдно! Тогда мы кто? Чем должны заниматься? — с обидой упрекнул их Артём Захарович. — Рукописи эти имеют право быть изданными. Перед этими авторами всегда снимаем шляпу, а теперь они изгои? Они ведь не призывают к свержению власти или к восстанию, не желают выйти на улицу во главе толпы.

Он листал, перечитывая строки некоторых авторов, опять и опять. Ким Николаевич подумал, что в Доме Ростовых выветрились все признаки единой идеологии. Анфиногенов обратился с серьезным делом, а его предложение не будет услышано Юрием Николаевичем.

— Им занялись на Старой площади, — напомнил Селихов. — Вы напрасно бурю в стакане поднимаете. Не спасти альманах.

Ким Николаевич вникал в смысл каждого сочинения, искал те места, которые могла не пропустить цензура, чтобы надолго сохранить у себя в памяти.

— Бумагу я могу составить, — сказал Анфиногенов. — Нужно просить аудиенции у Генсека.

— Бороться мы должны всем миром, но... а-а... — ответил Верченко. — У нас теперь три головы. Ты сначала объедини нас. Тогда попрошу аудиенции. С ними вместе. А пока мы — раскрытая ладонь. Мы с тобой, Захарыч, не все!

— Что же дальше будет с ними? — спросил Артём Захарович.

Верченко открыл страницы с Евгения Попова и Виктора Ерофеева и сердито постучал тыльной стороной руки так, что страница в одном месте треснула.

— Осторожно, ради бога! — сделал замечание Анфиногенов.

В коридоре появились Бухаров и Писарь. Они, поздоровавшись, тихо удалились.

— Давай сюда его, — рассердился Артём Захарович, когда тот стал ковырять ногтем альманах. — И так на ладан дышит.

Юрий Николаевич продырявил ватман, чтобы узнать плотность листа. После протянул альманах хозяину. Селихов и Верченко стояли и смотрели на него.

В Доме Ростовых сотрудники избегали обсуждать вопросы, касающиеся литературной политики. Что-нибудь лишнее мог позволить себе только

впервые оказавшийся здесь человек. Поэтому новичок Анфиногенов угрозу писателям, осмелившимся опубликовать свои произведения в альманахе, воспринимал всерьез. А Селихов понимал позу Юрия Николаевича по-своему. Тут слушали стены, видели люстры. Он иногда говорил для них. Серьезное обсуждение могли провести на кухне у какого-нибудь знакомого или у себя дома. Не только они, все так делали. Знавший эти тонкости человек в Доме Ростовых всегда осторожничал, что-то не договаривал. Кто не знал, тот начинал болтать лишнее. Его грубо одёргивал или перебивал кто-нибудь из присутствующих. Старая постройка выдерживала всё, в тесноте длинного коридора люди испытывали неудобства. А когда шел Верченко, встречные входили в ближний дверной проем. Разойтись было непросто.

Шли по коридору Бухаров со своим заместителем и громко разговаривали.

— Вопрос об альманахе закрыт или как? Зачем надо было ворошить его? Что ты им обещал?

— Я сказал, что нельзя! — ответил Верченко. — Мы ничего не обсуждали. Но я намекал, что очень скоро там, наверху, забудут. Тогда можно чинно издать.

Селихов, увидев их, подошел с другого крыла и стал за спиной Верченко. Разговор шел напротив кабинета Анфиногенова.

— О чем речь? — спросил Селихов. — Что вы тут застряли?

— Сейчас никто никого за руку не хватает, за то, что он... а-а... написал что-то такое. Если даже я что-то им обещал, в конечном счете, что мы теряем?

Бухаров постоял около минуты, но так ничего и не сказал.

— А, Тофик Булатыч? — спросил заместитель. — Давай, поддержим!

Бухаров гремел связкой ключей в руке и молчал.

Селихов вздохнул. Юрию Николаевичу стало обидно, что начальник игнорировал его просьбу.

— Все это оттого, что идеология прежняя срезана под корень, — сказал Ким Николаевич и краем глаза следил за реакцией руководителя. — Раньше такое могло бы быть? Феликс Феодосьевич говорит, что в альманахе есть политическая ошибка. Вот, вам и юрьев день! Пока начинаем входить в новую жизнь, у людей душа меняется. Я скажу открыто — Метрополь мог появиться лишь при капиталистическом строе! Оттого его и засекли наверху. Это еще полбеды. У нас под боком живут либералы! И отравляют всем душу. У них надо узнать, как это могло произойти.... Эй, Бек!

— Ну, я! — ответил голос из кабинета Анфиногенова.

— Подслушивать не стыдно тебе? Выходи сюда.

— А зачем вы тут, у двери, устроили собрание? — спросил он.

— Выноси Метрополь сюда...

— Метрополь мы не обсуждаем! — ответил на этот раз голос Анфиногенова.

Верченко мучила совесть, что писатели расходятся по интересам, поэтому альманах становится не обсуждаемым объектом. В Доме Ростовых теперь не только Метрополю, но и другим книгам и авторам не могут помочь, ибо нет единства.

— А, Тофик Булатыч, — обратился он третий раз. — Как быть?

— Юрий Николаевич, успокойся! — наконец ответил он. — Ты-то что переживаешь? Разве ты лично можешь что-либо изменить?

— Меня волнует другое, куда же девалась взаимовыручка, единство? Лишь недавно мы были другими. Издать Метрополь не было бы проблем. Вернулись опять к сталинскому периоду! Что делать нам?

— Первая задача — войти в эту дверь! Во что бы то ни стало, взять у них альманах.

— Либералы на то и либералы, — тараторил Ким Николаевич, — Они мастаки вести цивилизный спор с любым!

— Пожалуйста, Ким Николаевич, тебе туда, — вмешался неожиданно Бухаров. — Иди, можешь смело заглянуть к ним! Они за это деньги не просят. Вынеси мне альманах.

Но к Анфиногенову зашел Верченко. Решил поговорить еще раз об альманахе: надо дать на рецензию, обсудить на совете, как делается в таких случаях, чтобы подготовить для издания. Анфиногенов был занят другим делом, хотя в голове всё время всплывал Метрополь. Юрию Николаевичу казалось, что он своим присутствием заполнил половину бывшей своей комнаты отдыха. Сел напротив Артёма Захаровича. И тут он видел, что ему ничего не надо. Вопрос для него закрылся. Он подумал, правильно ли сделал, войдя сюда?

— А что если для твоей конторы найдем тут, поблизости, помещение? — начал издали Верченко. — Переедете, отдельно как-никак.

Метрополь лежал на расстоянии вытянутой руки Анфиногенова. Помятые листы делали альманах растрёпанным. Юрий Николаевич посмотрел на поврежденное им место, но его уже разгладили.

— Артём Захарович, что это ты не замечаешь соседа? Специально, что ли?

— Прошу прощения, — сказал Анфиногенов.

— Обиду держишь на меня? За что?

— Какие обиды, ты о чем?

Тут он положил правую руку на Метрополь, будто оберегая его. Рука Анфиногенова была волосатая и крепкая, альманаха она не отдаст. Несмотря на солидный возраст, Артём Захарович, как только Б. Ельцин стал играть в теннис, он тоже перевел своё спортивное увлечение на корт. Он три раза в неделю тренировался. Результат удивлял любого, кто мало-мальски понимает эту игру. Анфиногенов понимал, что защитить альманах некому: все, прикрывшись ложной карой Старой площади, отгораживаются. Они не желают поддержать авангардистское проявление литературы.

— Отчего испугался? Сам прибежал, а потом ушел. Ведь вопрос остается открытым. Альманах передай нам. Мы займемся им и с плеч долой.

— Я пришел показать вам, как он выглядит, ведь вы его не видели, — сказал Артём Захарович. — Пусть вас теперь не волнует его судьба. Я его не отдам. Бесполезно. Мы не сможем защитить его, потому что находимся под колпаком. А притворство ни к чему.

— Мы хотим помочь твоим единоверцам, а ты бормочешь несуразные вещи, — бросил Юрий Николаевич. — Хотим, издать за счёт нашего союза? Только отредактировать придется. Текст аполитичный, его так нельзя выпускать.

— Авторы не видят в своих произведениях политический подтекст. Такой ярлык навешиваем мы, поэтому им обидно. Они говорят, лучше не издаваться, чем резать по живому. Они ведь правы. Выпустив необычный альманах, они проверяют нас. Хотят узнать, наступила ли оттепель, о которой много говорят. Я считаю, что им лучше не издаваться. Политические обвинения прикрыли им путь. По секрету один из них жаловался: «Мне не хочется отступать от своих позиций, но издаваться тоже хочется!» Я взял у него авторский экземпляр, и к вам за советом.

— Оригинал, а почти слепой...

— Это машинописное издание.

— Не пойму одного, как же не пойти навстречу, если хотят издать свой опус? Пусть будут лояльны, тогда и премию любую отхватят... Артём Захарович? Ты опять не хочешь отвечать?

— Юрий Николаевич, ты сам только что говорил, что тексты аполитичные.

— А что скрывать, если здесь чувствуется прозападный душок. Нечего на меня обижаться, лучше бы, конечно, чтобы были они другого содержания.

— Но что поделаешь? Не мы писали.

Анфиногенов пришел вести вечер, но сидел и ждал, когда гости наедятся. Пришедшие на вечер сметали всё, что было на столе. Воду с газом и без газа, виноград, яблоки, которые поставили в разрезанном виде, чтобы удобно было сходу есть, бутерброды с сыром и копченой колбасой. И еще какие-то блюда, которые семья поэта приготовила дома. Были еще вина — красное и белое, но пока их припрятали до завершения мероприятия. Затянувшийся старт представления книги поэта наскучил Анфиногенову, и он вышел из зала покурить. Его там встретил рослый журналист с микрофоном в руке. Вопрос он задал о безыдейных книгах. Анфиногенов думал некоторое время и не мог вспомнить ничего такого, поэтому ответил:

— Я пострадал больше от бездарности, нежели от безыдейных книг. Сказать еще конкретнее, то такие книги, о которых вы упомянули, лично мне не принесли ни вреда и ни пользы.

Журналисту было достаточно, поэтому диктофон тут же убрал в карман. Из зала выходили покурить околелитературные завсегдатаи. Они ностальгировали по советским временам. А журналист, насвистывая «Оду к радости», удалился. Не входивших в зал пишущих людей в коридоре было много. Русские, евреи, азиаты. Один из них подошел к Анфиногенову. Отъевший все бока среднего роста старичок. Его Анфиногенов видел не раз, но дел с ним не имел. Он много говорил, не жалея своего и чужого времени. На этот раз начал свой рассказ с возрождения всех религий на земле, а завершил — торжеством горбачевской перестройки. А когда Анфиногенов собирался, было уйти, он вдруг заявил, что ему бы издать переводы с грузинского, киргизского, гагаузского и с санскрита... Попросил, поддержать, чтобы издали за счет либерального фиска. Анфиногенов не успел ответить, как прозвучала реплика Селихова, который проходил мимо них:

— Анфиногенов гол как сокол, от него ничего не получишь. Обратись к кому-нибудь другому!

Окружившие Анфиногенова журналисты и околелитературные люди тут же сплыли. Они поняли, что от Анфиногенова ничего не зависит, как раньше от подписи любого секретаря. Он сам такой же нуждающийся человек, как любой другой.

— Его мы избирали, он должен найти источник, откуда придёт к нам помощь, — выговаривал какой-то толстяк. — Пусть прежде защитит наши интересы, а потом уж важничает.

Писатели в присутствии журналистов дискуссию довели до раздела кабинетов Дома Ростовых. Всплеск споров охватил и власть в Кремле. Стали критиковать его недальновидную политику. Анфиногенов не думал, что столько пишущих людей стоит тут в фойе, чтобы узнать его мнение, а теперь уж не остановить, поэтому сказал:

— Вам какая власть по душе? Режим Сталина или оттепель Хрущёва?

Все вдруг промолчали, тогда Анфиногенов продолжил:

— В Кремле кто сидит? Путин? Не-ет, там восседаете вы! Вот, откуда идёт такое настроение. Вассалы!

— Да, мы вассалы! В этом, Захарыч, ты прав, — ответил толстяк. — Лишь в одном ты прав! И точка!.. А теперь посмотри сюда! Если кинуть взор вокруг, конечно, коридор вчерашний, спорить не станем. Лев Николаевич сидит в скверике, но дальше посмотри, двор подметают чужие, стряпают тоже чужие, потому что они обслуживают воровскую шайку. Теперь они собирают мзду с нашего имущества, дарённого отечеством, от нас же самих! После этого, кто вы есть для нас? Со времени двадцатого съезда нас пугают культом личности Сталина, но разве это не то же самое, что происходит сейчас во дворе Дома Ростовых? Кто взял нас в плен? Мы без слов их боимся и не смеем поднять взгляда с земли! Кто они такие? А ведь страна дошла до ручки, кто довёл её до такого состояния?

— Откуда такая молва, что тут обосновалась воровская шайка? — Анфиногенов спросил его. — Или сами выдумали и распространяете?

— Не раз сам слышал от людей, кто бывает здесь, — ответил толстяк. — Могу назвать по имени.

Журналисты стали расходиться, тогда и Анфиногенов вернулся в зал, так и не покурив сигарету.

Сергей Каратов поэт, не стремящийся любым путем опубликовать свои стихи. Сочиняет их, когда приходит настроение, никогда себя не заставляет, потому как знает, что не сейчас, так через час, всё также строки польются. Чистой его тетрадь не останется. Кроме стихов он любил жену, посвящая ей иногда свои творения и призывая читателей: «Не оставляйте женщину одну».

На этот раз Сергей чинил пристройку на даче, что от столицы километров за пятьдесят. В кооперативе «Взлёт» соседствовали близкие по духу люди, но каждый решал свои проблемы сам. С утра поэт подумал, что издание книги это пустяк, не стоит из-за этого ехать в город. В середине дня, вбивая гвоздь в прореху навеса, почувствовал неистребимое желание — издаться! Стихов на руках много, единственный экземпляр их хранится в тетрадке, которую носит с собой. А кому-нибудь показать их в изданном виде — было бы солиднее. Решил обратиться к Селихову — вся власть сейчас в ФСБ! Другое письмо напишет Анфиногенову — тоже власть, но немощная. Продумал подходящий для начальства текст. Несколько раз в уме прокрутил его, представил, в каком порядке строки его стихов должны ложиться на бумагу, и успокоился. Устроив перекур, сел на веранде и записал готовые слова в тетрадь. Доставить все же их надо самому: единственная почта в округе находится за сорок километров от садового товарищества. «В России всему помеха — расстояние», — подумал поэт. Лучше поехать в Москву. Дорога бежит напрямик. Лес, лес — кладбище, лес, лес — речка, а там — перрон. Оттуда на электричке до Выхино.

В столице Каратов из множества издательств знает дорогу лишь в два, где печатались его стихотворения. Ему приятно бывать на тех улицах, где расположены издательства, в которые он вхож. Но сейчас они перешли в частные руки, став закрытыми для него. Он бы не обратился в ФСБ, если бы общее хозяйство пишущих братьев не присвоили люди, не имеющие к творчеству никакого отношения.

Владимир Вестер, стоя в очереди, продвигался к двери, где принимали квартальный финансовый отчет у юридических лиц. Бывший детский сад стал теперь конторой налоговой инспекции. Отсюда видно лишь до следующей липы, ветви которой загораживали обзор. На втором этаже Вестер оказался у стола, где сидела немолодая женщина. Достав из портфеля картонную папку, вежливо протянул ей. Проверка документов

возбуждала его, он напряженно следил за процессом, хотя мысли его были о завтрашнем дне, что он будет счастливым для него и семьи. Женщина молча просматривала, лишь обмолвилась, что номер квартала надо указывать римскими цифрами, а не прописью.

Сергей Каратов вспомнил о новом издательстве «Зебра-баран», которое открыл писатель Вестер. Шагая по тропинке в лесу, набрал его номер.

— Хотите получать прибыль или вас другие намерения греют? — начал разговор Каратов.

Вестеру сразу захотелось выключить телефон, но потом решил узнать, кто звонит.

— А ты пишешь стихи ради денег?

— Денег у меня нет, а издаваться хочется.

— Не помню, чтобы кому-то мы печатали книгу просто так, — ответил руководитель «Зебры-барана».

Вестер понял, что ответа он не дожидается, потому что творцы в большинстве своем люди застенчивые и косноязычные.

— Да не переживайте, я не ваш клиент, — успокоил его звонивший неожиданно. — А что, теперь в Дом Ростовых попасть не можем? Так или не так?

— Мы еще повоюем, всё решится скоро.

— Почему нас не спросили?

— Куда вам? — сказал Вестер. — Не то, что рядовые, даже именитые писатели, лауреаты — вся рать, как говорится, не смогла остановить дикий процесс... Почти никто из писательских генералов не пришел защищать Дом.

— Мы бы пришли, — повторил Сергей Каратов. — Провели бы общее собрание и решили. Вот он я. Никуда не делся. Жду.

— У них нет денег на такие мероприятия, — сказал Владимир Вестер.

— Сами получают зарплату. Откуда деньги? От аренды помещений, а то и вовсе от распродажи имущества союза. Что мы не знаем? Плюс еще минкультуры каждый год секретарям кладёт в карман кругленькую сумму. Это ведь за счет моих денег государство их содержит. А кто эти руководители? Они люди, назначенные советской властью, проще говоря, представители еще Брежнева. А считают себя хозяевами Дома Ростовых. Об этом ведь никто из вас, кто ближе к ним, не говорит. А мы бы сказали. Так-то и так, да вон-то как? Нам премии не нужны, гранты, субсидии тоже. Если только на похороны? И то моя семья не пойдет к ним.

Руководитель «Зебры-барана» дышал часто, будто поднимал тяжести, передвигаясь по склону:

— Скажу тебе, незнакомец, из твоих уст я слышу известный призыв капиталистов: разделяй и властвуй! Нехорошо! Кстати, с кем я разговариваю?

— Неважно, — сказал поэт и добавил. — Хотя, я вас знаю.

— Надо бы промыть мозги твои, но времени в обрез, — заключил Вестер.

— А что? Я что-то не то сказал? Обидел вас?

— Я не хочу иметь дело с тобой. Все вы хотите видеть страну обновленной, а как это сделать, никто не говорит.

Каратов знал, что сотрудники Дома Ростовых — выходцы из разных регионов и народов. Поэтому ему, казалось, что все беды от того, что каждый из них — островок советского прошлого. У них никогда не было единства взглядов.

— Ты думаешь, люди бывшие, значит, партийные, — спросил неожиданно Владимир Вестер. — Не все. Я, вот, не коммунист и не консерватор. Один Михалков с ума сходит. Переживает, что дружбу народов, уже выстроенную, теряет.

— Мы катимся назад, — сказал Сергей Каратов.

— К феодализму, притом в первую его фазу, — поспешил перервать его Вестер.

Глава «Зебры-барана» сделал для себя заключение: «Его надо издать в пику консерваторам!» Поэт не стал возвращаться к разговору об издании своей книги. Положил трубку в карман и тут же забыл о беседе с издателем. Владимир Вестер был на пути домой. Главное, что он уловил из разговора: издавать этого автора надо. Фамилию он не назвал, но спросит у Анфиногенова. Номер телефона его сохранился.

## КОСТЁР ИЗ КНИГ

Юрий Николаевич, вернувшись из отпуска, не знал, чем заняться. Оказалось, Бухаров успел сдать в аренду несколько помещений. Не успел подписать договор, так как Сергей Владимирович не вовремя упал...

Бухаров ввел его в состав руководства. Надо будет иметь дело с Кремлём. Пригласили, в узком кругу объявили, что отныне и дальше он почетный председатель. Поздравили. По окончании торжества Сергей Владимирович с охапкой цветов спускался по лестнице и одновременно рассказывал об истории усадьбы.

— По этим с-сту... пенькам не... не раз поднималась и опускалась... На-на... таша... — заикаясь, рассказывал он.

Все оглянулись на Наталью Ивановну. А он продолжил свою мысль:

— Не... не наша секретарша — сотрудник КГБ, а... Наташа Ростова из «Войны и мира» Льва Николаевича... И еще!.. 19 октября 1812 года, покидая Москву, по этой же Поварской двигался со своей кавалькадой император Наполеон Бонапарт. Как раз напротив моего дома он остановил бег своего коня, чтобы полюбоваться красотой этого особняка...

И тут новый почетный председатель, оступившись, потерял равновесие и растянулся на мраморной лестнице, что даже шедший рядом Тофик Булатыч не успел его подхватить. Поэт скатился так быстро, что мигом очутился у входной двери. Лысое темя, ударившись о дубовый косяк, остановило его. Несколько рук подхватили поэта, да и сам он вскочил по инерции на ноги, а потом там же свалился. Так и оставался лежать, пока не приехала скорая помощь. Оказалось, была сломана шейка бедра. Операция по установлению стального стержня, лечение потребовало много времени. И почетному председателю было не до работы в союзе писателей. Слушал от приближенных и знакомых о положении дел в Доме Ростовых и этим довольствовался. Тем не менее, с нетерпением ждал окончания лечения, чтобы вмешаться и восстановить право всех литераторов на особняк графа Сологуба.

Бухаров пригласил к себе консультантов, чтобы поделиться с ними новостями.

— Надо бы нам оплачивать труд членов советов, — начал он издали. — Как вы на это смотрите? Раньше такое бывало?

— А как же? — ответил Писарь. — Активным членам советов ежеквартально выписывали деньги, в командировки за счёт союза отправляли, их переводы оплачивались...

Тофик Булатыч молча слушал всех, у кого, что лежит за душой, а в конце встречи сказал:

— Тут одна фирма просит помещения, за которые она готова платить. Договор на аренду подготовили. Мы выделяем им комнаты в подвальном



помещении. Эти комнаты занимало хранилище книг на национальных и иностранных языках. Даю несколько дней. Надо их высвободить.

— А куда денем книги? — загалдели консультанты.

— Возьмите себе, отдайте любителям! Что-нибудь придумайте, — успокоил их он. — Эти помещения мы будем сдавать в аренду.

— Все эти книги являются контрольными экземплярами, — заметили консультанты.

— Ну, что делать? Проконтролировали, и хватит! — пошутил руководитель.

Консультанты не готовы были к такому повороту событий. Побежали искать профильные библиотеки и книжные магазины, чтобы передать им. Ходили по разным адресам, но желающих взять их не нашлось. Книги не на русском языке, хотя и изданные в тридцатые и сороковые годы, оказались никому не нужны. Специальные библиотеки имели достаточно экземпляров. Старания консультантов потерпели полный крах. Они не обижались, запоминали лишь услышанные ответы. Но верили, что все будет также слаженно, как в советское время.

Однажды утром, придя на работу, они увидели во дворе гору книг, полыхающих синим пламенем. Это их книги сжигались вперемешку с мусором. Спасти что-либо было трудно. Сжигали их какие-то люди, которые время от времени опрыскивали горку книг бензином, чтобы пламя объяло как можно больше. Узнали также, что это делали люди, нанятые арендатором. Они за ночь на нескольких самосвалах отвезли книги, оказывается, на мусорную свалку — за чертой мегаполиса. А теперь уничтожали оставшиеся с помощью огня. Тут присутствовали новый руководитель большого Союза и представитель арендатора. Они дышали воздухом горящих книг и обсуждали перспективы их сотрудничества. Но книг было еще много.

В большом Союзе трудились все сотрудники. Они, стоя у стеллажей, отбирали книги. А потом, стиснув зубы, осторожно складывали на пол. Там образовалась горка из книг, предназначенных для костра.

Бек Мурза у книжной полки делал то же самое, что и остальные. Он любил собирать устное народное творчество, а живых авторов, сколько бы ни превозносили критики, оставлял внизу, в библиотеке. Их теперь нет. Это первое необычное дело после перестройки. Дверь кабинета открылась, и вошел Артём Анфиногенов.

— Как во время войны, — сказал Бек. — Те же враги...

Артём Захарович сам только что об этом подумал, но сдержался.

— Карабутенко говорит, что наши старания как мертвому припарка! Никакого сближения народов не наблюдается. А Кузьма говорит, что скоро кушать будем из одного котла. Кто из них прав, не знаю.

Анфиногенов хотел ответить, что думает о единстве и дружбе людей, но опять промолчал.

— А народу, что делать? О нем кто должен думать? — спросил Бек Мурза.

— Кому какое дело до народа? — сказал тут Артём Захарович. — Новая жизнь вовсе не призывает к объединению всех и вся. Она дает возможности, чтобы разные народы сами нашли общий язык с теми, кто им ближе. Единство, когда с потолка берется, не каждый поймет правильно. Тофик Булатыч нам создаст условия для лучшей жизни тут, в Доме Ростовых, тогда появится сплочённость! Этого-то мы и ждём.

— Каждый политик призывает к сплочённости. Это как?

— Человек сам решает дружить с тобой или нет. Остальное от лукавого.

Идет Верченко по коридору, а ему навстречу большеглазый, приятный на вид мужчина.

— Тебя зовут как? — обратился он к нему и загородил путь.

— Зови, как хочешь, только не груби! — ответил Верченко, а потом добавил. — Я второй по рангу руководитель писательской организации в России и бывших республик Советского Союза. Меня можешь не бояться, я лишь с виду такой.

— Вот-вот, — обрадовался незнакомец. — Ты-то мне нужен.

— Я сказал, не груби! Или вас плохо учили говорить с незнакомыми людьми?

— У меня нет намерения, вам грубить, — сказал, изменив тон речи, незнакомец. — Это вам, кажется, что я грублю.

Юрий Николаевич махнул рукой и произнес чуть шипящим голосом:

— А ты сам, кто такой будешь?

— Я — Шакирт. Арендую этот дом. Моя компания развернет здесь общепитовские точки. Ресторан, кафе, бистро, клуб... Ваш босс договорился с моим боссом. Наши люди уже начали ремонт. Договор до сих пор не подписан.

Тут он протянул фирменный бланк большого Союза и подпись Первого секретаря. Верченко удивил поступок Тофика Булатыча. Он один распорядился, не дожидаясь решения Секретариата. Это было, похоже, на предательство.

— А-а... — он обратился к Карабутенко. — Куда торопишься?

Карабутенко с охапкой книг, которые надо было куда-то девать, проходил мимо них.

— Ты хочешь сдать эти помещения в аренду? — спросил Верченко его.

— Будь моя воля — немедленно! — ответил Карабутенко. — Тут пока хозяйничают мыши. Отдал бы бесплатно.

Шакирт захохотал и протянул руку Карабутенко со словами:

— Мыши, это верно!

Карабутенко, хотя и был в неудобном положении, прижав книги к груди, пожал руку незнакомцу. Верченко все это время держал в руке бумагу с подписью Бухарова и, так и не дочитав, убрал в нагрудный карман.

— Та-ак? — напомнил о себе Шакирт.

Юрию Николаевичу стало жалко особняк. Каждое утро, перешагивая его порог, радовался, как родному гнезду. И на тебе! Тут каждый прожитый час был для него, как бальзам на душу. А теперь кто-то будет под боком вести свое хозяйство.

Бек Мурза вышел в скверик покурить. Он сидел на скамейке и смотрел на искусственные камушки, что под ногами. Они были похожи на речные камушки. «Точно как галька!» — подумал он. Сотрудники редакции журнала «Дружба народов» выносили свои бумаги. Их кабинеты тоже сдавались в аренду. Вышел А. Эбаноидзе со старинной лампой с абажуром в одной руке, а в другой держал сухарь, который грыз на ходу. За ним следовал Л. Бахнов. Он в охапке нес разноцветные папки с рукописями. Бек смотрел мимо них и увидел тёмные окна всего первого этажа, где сидели консультанты иностранной комиссии. На противоположной стороне, где раньше располагался финансово-бухгалтерский корпус, окна тоже чернели. Теперь освобождались двухэтажные флигеля — тоже под аренду. Бек опять стал смотреть под ноги, при этом думал, откуда берутся искусственные камни? Шакирт в присутствии профорга осматривал пустые комнаты на втором

этаже, до сих пор занимаемые редакцией «Дружбы народов», записывал вязью метраж на своем языке.

Верченко поехал в Барвиху, выполнять поручение своего начальства. Он увидел на столе Сергея Владимировича десяток писем. Успел прочесть фамилии трёх бывших секретарей. «Он имеет свои источники информации, — подумал он. — К нему поступают бумаги напрямую».

— Ты на кого работаешь? — был первый вопрос Михалкова. — Власть, зачем тебя поставила? За особняком смотришь? Следи, чтобы он не стал разменной картой для дельцов или преступных элементов. Этот вопрос ни в коем случае не обсуждайте. Особняк мне, на худой конец сыну перейти может. Бухаров оказался там по недоразумению. Это надо учитывать.

— Как и все организации, имеющие лишнюю площадь: подвальные помещения, кабинеты иностранной комиссии и хозяйственной части, хотим отдать в аренду, — сказал Верченко.

Сергей Владимирович промолчал, а потом спросил:

— Неужели вас выручат эти гроши? Лучше бы спонсоров надлежащих искали.

— Хотим точки общепита открыть. Как-никак живые деньги...

В середине беседы Юрий Николаевич подсунил договор с арендатором и попросил подписать его. Получивший только что обезболивающий укол, Михалков, не глядя в текст договора, подписал и передал папку обратно.

Верченко по возвращении из Барвихи дал указание Наташе, чтобы никого не пускала, и уединился в кабинете: «Никогда не думал, что ради должности пойду против своей совести!» Вдруг на пороге появился Тофик Булатыч. Он подошел к столу и, увидев подпись Михалкова в конце договора, обрадовался:

— Скажи юристу, чтобы все документы подготовил.

— Тофик Булатыч, не уступаем ли богачам? — спросил Верченко.

— А что ты хочешь?

— Потом чтобы нам стыдно не было.

— Стыдно, когда в кармане пусто. Членов советов нечем отблагодарить. Они могут отдать меня под суд! Консультанты получают гроши.

— А делать им тоже нечего. Тогда зачем мы их держим?

— Правду люди говорят, что тучный человек плохо соображает, — заметил тот. — Чем тебе мешают консультанты? Наладим связь с бывшими республиками. Создадим новую влиятельную международную организацию. Будут деньги. Положение! На государство уже не можем надеяться. А особняк будет на месте. Спасибо Сергею Владимировичу за поддержку. В дальнейшем ему ни слова, его нельзя зря волновать, пусть спокойно лечится.

Бухаров повернулся к выходу, но, чтобы тот знал своё место, добавил:

— Юрий Николаевич, ты не хмурься. Тебя еще я не выгоняю — потерпи.

Из тридцати комнат большого Союза только четыре официально занимала некая турфирма. Однако попасть в Дом Ростовых становилось затруднительно. Писатели с волнением обсуждали это положение. Тем временем король русской мафии Дед почти ежедневно проводил тут, в своей штаб-квартире получасовые встречи со своими людьми. Так называемая штаб-квартира Деда расположилась в правой стороне цокольного этажа особняка. В нее можно было попасть с Большой Никитской, через кафе «Старый фаэтон». Можно попасть и с Поварской. Этот потайной ход знали его люди. Сам он входил со двора Международного сообщества писательских

союзов. Оставив машину, он дальше продвигался за сопровождающими его людьми по тайному коридору к своей штаб-квартире. Часть встреч проводилась в Дубовом зале ресторана ЦДЛ, но рабочие встречи организовывались в «Старом фаэтоне». Также он имел привычку обедать там же. Во время встреч, у стола его выстраивалось целое оцепление из одних только телохранителей. Их было больше десяти человек. В основном, бывшие сотрудники правоохранительных органов. Дед кроме жалования отдельно платил за информацию, касающуюся безопасности лично его. Он не вмешивался в политику российской жизни, потому что не понимал ее до конца, его интересовало, прежде всего, наращивание своего бизнеса. У него есть своя империя, и он не хочет ее потерять. Это Дед держал в уме всегда. Немолодой уже, он до сих пор живет, советуясь лишь со своим умом, не принимая чьи-либо проекты. Поэтому всегда не спокоен, иногда бывают срывы. Тогда на него находило долгое молчание, придирался по мелочам.

В начале мая 2010 года Дед провёл сходку лидеров криминального мира. Поводом послужили вопросы контроля средств, выделяемых на проведение Олимпиады в Сочи. В ходе дискуссии Деда поддержал Вячеслав Иваньков, более известный как Япончик. Культовый вор в законе умело довел встречу без стычек до логического конца, подавляя своим авторитетом. Но у некоторых осадок на душе всё же остался. Для Деда проведение данной сходки было необходимо, чтобы поднять свой бизнес на другой уровень. Он видел в правлении Путина сходство с руководством Советского Союза. Народ не бунтует — живёт в мире и согласии. Дед не ждал опасности для себя от власти Путина, ибо ему нравилось руководство страной российского президента. Не прошло и полгода, как на Деда совершили нападение. Получил три пули в живот, но крепкий организм победил. Лечился в Боткинской больнице под охраной спецподразделений МВД, выписался живым.

Шакирта он держал как хорошего менеджера, за его особое чутье. На этой почве у них негласный уговор. Дед полагался на его живой ум, поскольку Шакирт двигал его бизнес в нужном темпе. Теперь он хотел в первую очередь поломать устав некоей организации, а потом, уже здесь закрепиться.

— А кто они? — спросил Дед.

— Какие-то рифмоплеты, — бросил Шакирт.

— Рифма... рифма... — повторял слово вслух своего приближённого Дед и задумался. Предварительно подсчитал и понял, что одни убытки. Быстрой выгоды — нет.

Каждый раз добираться до особняка становилось мучением. Телохранители останавливали Деда по несколько раз в пути следования, чтобы поменять машины. После таких процедур оказаться во дворе особняка на Поварской, разве что сравнимо с полной свободой. Жаль только, что погулять по двору бывает некогда. Он уходил через сквозной переход в свои апартаменты в «Старом фаэтоне», а там его никто не достанет.

Мегаполис одинаково укрывал под своим крылом и тех, кто только что нашел приют, и тех, чьи предки жили тут испокон века. Столичная власть следила, чтобы жители платили налоги и за всякие услуги вовремя. Влияние Деда в многомиллионном городе было мизерным. Другое дело в Доме Ростовых. Но королю русской мафии не дано было постигнуть исходящую из этой местности, благодаря книголюбам и сочинителям, глубину русской души. Вечность состояла из бесконечной череды рождающихся и умирающих душ русских и других людей, населяющих Москву. Они сталкивались с войнами,

навязанными извне: чуть больше месяца сражались в 1812 году с армией под командованием императора Наполеона, а зимой 1941 года — с чуть не дошедшими до Москвы немецко-фашистскими захватчиками. Но Дед знал жизнь России по своим представлениям. Летом тут — жарко, зимой — холодно! Весной — сыкотно, а осенью — так себе. Поэтому большую часть времени проводил в чужих странах, а там что не день — рай!

Менеджеры работали над проектом, который придумал Дед. А он тянулся душой к российской власти. Был свидетелем избрания Ельцина, а потом Путина. Снова проголосовал бы за него, если бы выборы проводились в эти дни. Время играло на руку Деду. Такую стабильность люди знали во времена правления Брежнева. А потом пришел Горбачев — и всё поломал. Теперь опять стабильность вернулась. Это благополучное для развития бизнеса время. Дед не любил могучую организацию — КГБ! Боялся, что отнимет у него волю, да и всё, что имеет. Один умный человек сказал: а что бояться? Там тоже работают люди. За услуги берут, правда, больше, но они того стоят! Дед понял и другое, его люди пекутся о безопасности его, поставляя нужную ему информацию. И сотрудники КГБ делают это же по отношению к президенту России. С тех пор Дед стал относиться к ним уважительно и старался налаживать связь с ними, чтобы добыть в нужную минуту достоверную информацию, тем самым сберечь свой бизнес. Он считал себя тружеником, как и миллионы граждан России, хотя малая Родина его была Грузия. В России, где воруют миллиарды одним росчерком пера и увозят за кордон, бизнес Деда, сколоченный с риском — честная добыча! Это всего лишь другая форма бизнеса. Вот, почему прозвище «вор в законе» не оскорбляет его чувство. «Вор в законе» не значит потерянный человек, его не арестуют за это. Дед может гулять с гордо поднятой головой по Красной площади. Сотрудники секретной службы узнают его, но никто не задерживает. Не то, что задержать, пальцем пригрозить не посмеют! Другое дело конкуренты. Они днём и ночью охотятся за ним, чтобы занять его место. С недавних пор объявился земляк из Грузии. Тот считает, оказывается, Деда главным врагом! Пикантность вопроса заключается в том, что есть информация о его связях с КГБ!

Дед пришёл в Дом Ростовых делать бизнес, жить и делать людям добро, забыть тяготы, которые тащились с юношеского возраста. Однако против Дома Ростовых действует какая-то сила: при загадочных обстоятельствах в аварии погибли директор ресторана и директор московского литфонда. Это его взволновало: нельзя чтобы СМИ подняли шумиху, потому как не хочет король русской мафии обозначать своё местонахождение. Его призвание не убивать людей, а дарить им радость. Уши сексотов везде торчали вокруг Дома Ростовых. Они приставали к незнакомым людям по любому пустяку, дабы узнать что-либо. Технические средства, попросту говоря, прослушки, напичканные везде, где человеческая нога наступает и не наступает, служили тем, кто их устанавливал. Они подслушивали, фотографировали, узнавали биологические и химические данные того или иного человека. Об этом догадывались телохранители короля русской мафии, об этом знали сотрудники ФСБ. Не знали лишь работающие в стенах Дома Ростовых консультанты. По этой причине среди гостей у Деда не бывает случайных людей.

Бухаров изучал состояние двора, слыхал изменения в особняке с советским генпланом. Он диктовал, что нужно делать. Писарь записывал в

тетрадь. К нему подошел Селихов, а через некоторое время Анфиногенов и Верченко.

— Захарыч, и ты тут новенький! — сказал Первый секретарь большого Союза. — Я хотел добром пригласить тебя на разговор, но всё некогда. Знаю, что ты летчик. В годы войны с фашистами воевал, даже на таран пошел. Поэтому уважал тебя, но тут вижу, что ты нам, как кость в горле встал. Выходит, зря тебя столько время уважал.

— А я тебя узнал лишь на днях. Твою книгу о каком-то путешественнике мне дала твой консультант, — ответил Анфиногенов. — Я вижу, тут граф Сологуб держал коней. Замечательный уголок, только пол заасфальтировали. Оставили бы в первоизданном виде, было бы хорошо.

Ким Николаевич запоминал любые слова начальников, но в них пока крамольного, с его точки зрения, ничего не было. Рабсек, вспомнив, о вчерашнем незаконченном разговоре с председателем, обратился к нему:

— Тофик Булатыч! Декада на исходе. Секретариат затягивать нельзя. Какая будет повестка дня?

— Определим позже, — сказал он. — А теперь иди.

Могучее туловище Верченко, грациозно двигаясь, медленно удалилось.

Два новых руководителя союзов шли по скверику и вели разговор.

— Захарыч, — обратился Тофик Булатыч. — Я тут не знаю людей. И ты новенький — тоже удержаться на своем месте хочешь. Давай друг другу не мешать.

— О поддержке речь ведешь, — сказал Артём Захарович, — но кто из нас двор начал делить? Булатыч, оставь старину в покое. А нас воспринимай, как своих новых родственников. Мы с тобой, как крылья одной птицы. Тебе без нас не взлететь.

Бухаров зло хохотнул, а потом добавил:

— Говоришь, два крыла! Цель-то у вас добиться полного права владения старым особняком в центре Москвы. Это я читал в вашем исковом заявлении, поданном в арбитражный суд.

Верченко вышел из приёмной на балюстраду и, услышав последние слова Анфиногенова, решительно встал на сторону своего начальника:

— Скажи ему, не учи! И разговор окончен!..а-а... Тофик Булатыч, на какой день назначим Секретариат?

— Юрий Николаевич, ты хоть знаешь, зачем народ собираешь? — рассердился Первый секретарь. — Ну, переизберете еще одного Бухарова. А людям от этого легче? Главное, что тебе перепадет? Нам кровь из носу, но надо иметь статус международной организации. Нападок будет меньше. Нужен нам не Секретариат, а съезд. Подготовь письмо от моего имени. Пусть консультанты передадут по факсу своим союзам писателей. Надо, чтобы организовали телеграммы нам, что де, мы и есть главный правопреемник Союза писателей СССР, и они, поэтому, поддерживают его образование в Доме Ростовых. Также чтобы заранее прислали список делегатов на съезд. Приедут, не приедут — другой вопрос. Главное заполучить список! Гербовая печать, чтобы была внизу подписи. И доставили оригинал по почте! Тут факс не пройдет.

Бухаров и Анфиногенов шли рядом и думали, как построить новую жизнь так, чтобы она была максимально полезной для своих сторонников. Обоим мешали пройденные пути и методы, возглавляемых ими союзов, и боялись такого же продолжения. А новый принцип требовал от них, если оппонент говорит белое, другой должен найти негатив и выступить с опровержением. Дальше больше — стали говорить на повышенных тонах без стеснения.

Анфиногенов шагал рядом, но, кажется, его вовсе не было. Тогда Бухаров выдал остальные мысли, которые возникли после встречи с Шакиртом.

— Что это Захарыч, молчим? Либералы народ терпеливый к тяготам жизни. Вам какую пилюлю не выпиши, всё равно будете глотать. Дай вам двойную порцию, вы и тогда глазом не моргнёте. Завидная выдержка. Думаешь, почему работа есть, а уверенности в завтрашнем дне нет? Это от того, что не хотите ни с кем дружбу иметь. Это верно, но вредно! Раньше на всём протяжении советского времени власть обещала построить мосты дружбы, но не успела. А теперь мы хотим осуществить эту задачу! И у нас это получится. А у вас даже в помине такой идеи нет, оттого у либералов на душе пусто.

— Нашёл чем хвастаться, — ответил Артём Захарович. — Замысел твой другой. Мне лапшу на уши навешиваешь, а задним числом питаешь надежду другую. Каждый человек стремится к счастью. И этого у людей не отнимешь!

## ГОРЬКИЙ

Тему для очередного мастер-класса Писарь нашел по дороге домой. У входа на станцию метро «Баррикадная» стояла дама. Она по мобильному говорила о деле Горького.

— Он был близок к социал-демократам, а не коммунист, — говорила она чётко и громко.

Писарь замедлил шаг, чтобы услышать что-нибудь ещё. Но далее пошли одни «да», «да», «как же?» Время вышло — дальше подслушивать будет неприлично. Подошел.

— Горький, ведь, отец соцреализма, — сказал Писарь тихо, — официальный притом...

Женщина продолжила слушать разговор по мобильному, но ответила и Писарю:

— Он был членом соц-дем. раб. партии, а в компартии не состоял.

— У меня имелось подозрение, откровенно говоря...

— Мне понятно. А вы знали, что Алексей Максимович скептически отнёсся к Октябрьской революции. Мало этого, он критиковал методы большевиков. Открыто осуждал отношение их к старой интеллигенции. Коммунистам это нравилось? Конечно, нет. Спасал даже нескольких представителей от репрессий большевиков. Ну? Горький был от мозга до костей социалистом.

— Но, ведь...

— Взамен он имел многое. Другие русские писатели, не поступившиеся принципами, канули в небытие. Этого-то добивалась советская власть. Сталин не раз просил вернуться из эмиграции, и Горький вернулся. Почему? Горький, идя на соглашение с властью, сохранил своё имя. А когда возвращается, Иосиф Виссарионович поручает ему подготовить Первый съезд писателей. Он подготовил и провёл его.

— Мне он не нравится, — вмешался Писарь. — Теперь мне всё известно!

— Понимаю. Его миссия на этом закончилась. Дальше он бельмо на глазу! И только.

— Правильно говорите.

— Для Сталина великий писатель теперь становится опасным человеком.

— А ведь был полезным...

— К сожалению, приезд Горького совпал с неприятным периодом страны советов. Этого никто не заказывал. В начале 1934 года состоялся 17-й съезд. Кремль открыл его под лозунгом: «съезд победителей». Спустя несколько месяцев, может и дней, его народ называет: «съездом

расстрельных». Более половины делегатов, точнее из 1956 коммунистов 1108 арестованы! Они были большевики, да какие? В годы борьбы отличившиеся честностью и преданностью партии кадры! Ну? Тогда Сталин в спешном порядке запустил, говоря теперешним сленгом, новый проект.

— Так уж получилось, — возразил Писарь — На съезде троцкисты показали себя не с лучшей стороны.

— Нет! Это поклёп! Они оказались людьми продвинутыми!

— Шли на захват власти, — отстаивал своё мнения Писарь — Надо было что-то делать. Пришлось применять силу.

— Применили. Более половины арестованных расстреляли за 8 дней! — продолжала свою мысль женщина. — Убит Киров... Началась ликвидация контрреволюционеров.

— Было такое...

— А осенью того же года состоялся 1-й съезд писателей Советского Союза. Горький ведь не дурак. Всё предвидел, но ничего не мог сделать. Он был в ловушке. Готовился сложить голову на плаху.

— Всё же... он мог выступить против воли Сталина. Этой возможности у него никто не отнимал.

— Да, он и выступал. Горькому не понравилась ликвидация бывших большевиков!

— Потому что он по духу был троцкистами! — заключил Писарь.

— Кстати, об этом говорил сам Троцкий на суде, — напомнила женщина.— И началась немыслимая рубка! Горький больной, но ещё живой, не осмелится вмешаться. Почему? Он растревожен загадочной смертью сына. Злые языки поговаривали, что Максима отравили. Писатель не может понять, кто этот злодей? Ему, кажется, что следом за сыном хотят убить и его.

— Конечно, он подозревал в этом Кобу! — сказал Писарь.

— Спустя два года писатель посещает могилу сына. Там он и заболел. А через три недели умер... — тихо произнесла женщина. — Почему?

— Раскрыли троцкистский заговор, среди них были и врачи, лечившие Горького и сына. А что? Нормально!

— Почему? — взглянула женщина на Писаря. — Что сделал плохого Горький врачам? С какой выгоды врачи отравили его? О клятве Гиппократы уж не говорим, это ведь Кремлёвская больница! Там каждое движение врачей под надзором.

Дама всё еще разговаривала по мобильному. Писарь, поблагодарив её, направился в сторону подземки.

Едет в вагоне метро, перед глазами встают те события, которые случились в клинике тогда с писателем. Врач осматривает больного, а Писарь даёт объяснение Горькому:

— Алексей Максимович, бронхопневмония — не инфаркт. Сыворотка — хорошая штука, в два счёта она вышибет хворь. Сыворотку вчера привезли из Парижа<sup>27</sup>. Всего 9 ампул. Одну ввели морской свинке. Жива!

Писарь бережно вскрывает коробку достает оттуда ампулу с бесцветной жидкостью. Но Горький съёживается, не давая спокойно работать врачу. Писарь придвинулся к больному и прижимал писателя к кровати. Бедро, куда врач метил сделать укол, двигалось то вверх, то вниз.

— Алексей Максимович, не двигайтесь! — сказал Писарь бравым голосом. — Ей богу, как маленький. Секундное дело, что тут бояться?

---

<sup>27</sup> Спиридонова Л. «Литературная газета» №24 от 15 июня 2011г.



— Не надо меня так насильно хватать! — сердился Горький дрогнувшим голосом. — Кто я вам? Не заставляйте меня на вас жаловаться.

Писарь навалился на него всем телом, чтобы он не шевелился, а то врач может иглу сломать. Тогда Горький, стиснув зубы зашипел:

— Иосифу Виссарионовичу пожалуюсь!

— Вы лучше Юрию Николаевичу пожалуйтесь, он писателей любит, — сострил Писарь.

Врач одним движением глубоко всадил иглу в мышцу, а потом, надавливая на поршень, стал ждать, пока цилиндр не опорожнится. Все это время Писарь сидел на больном, а потом, встав с него, глубоко вздохнул. Ему показалось, что это вполне достойное отношение к демократам.

На прощание с пролетарским писателем Верченко и Писарь пошли вместе. М. Горький лежал бледный с характерными отвислыми усами, лицо расслабленное и довольное, будто освободился от ярма долготерпения. Была распространена официальная версия смерти писателя: грипп, перешедший в сердечную недостаточность, сильное кровотечение, отёк лёгких и паралич сердца.

Рабсек стоял в карауле, упиравшись взглядом в пол, как провинившийся ученик перед родителями. И всё время ему казалось, что М. Горький ещё жив и хочет что-то сказать, но не решается, чтобы людей не пугать.

— Отцу соцреализма и оппозиционеру от царской России я помог, — похвастался вдруг Писарь.

— Сказать, что ты сделал правильно, язык не поворачивается, — ответил рабсек.

У них вышел спор по поводу того, что М. Горький выглядит подозрительно живым. Опять вошли в зал прощания и еще раз внимательно исследовали лицо и положение рук, пока проходили вместе со всеми перед гробом.

— Хотя он был сторонник социал-демократов, всё же для либералов это невосполнимая потеря, — говорит Верченко.

— Алексей Максимович не до конца был пролетарским писателем! — сказал Писарь. — Нет, не захотел. Волка сколько не корми, он в лес смотрит!

Сталин взглядом ищет в толпе рабсека и, найдя его, взмахом руки подзывает к себе.

— Ты, конечно, большой защитник своих писателей, — говорит негромко ему одному. — Ты сам видел, я только что с Вячеславом Молотовым был под тяжестью гроба Алексея Максимовича. Мы его несли сюда до катафалка. Ты поедешь и организуешь кремацию тела. Надо сегодня же кремировать, пока сплетни вокруг его смерти не раздулись. А потом урну с его прахом установим в Кремлёвской стене.

— Выезжаю! — отвечает рабсек тут же, опережая свои мысли. — Вопрос ясный, предпримем все меры!

Вместе с Писарем он едет в крематорий. Входят без очереди, доказав, что они несут государственно важную персону. Они стоят и следят, как работники крематория расчищают остатки озоления от прежнего трупа, как кладут тело Алексея Максимовича на решетку вместе с гробом и до подачи его в печь. А потом работники крематория, плотно закрыв чугунные дверцы, подают газ. Пламя охватывает гроб с телом. Тогда работники выходят из помещения. А те двое остаются в крематории на период топки, который длится около двух с половиной часов...

Общественность бурлила, услышав о скоропостижной смерти любимого писателя. В Дом Ростовых звонки поступали со всего света. Одновременно спрашивали:

— Где будет его могила, хотим цветы возложить!

Наташа выборочно и коротко отвечала:

— У Кремлёвской стены!

«Не может этого быть, чтобы гроб поместить в стену?» — мыслили скептики, поражаясь и предаваясь догадкам.

Люди хотели узнать, что произошло в Доме Ростовых. Они испытывали неудобства от закрытости работников Союза писателей.

Позже власть в смерти отца и сына Горького обвинила контрреволюционеров, среди них были и врачи. Потом их прилюдно наказали. Но люди и тогда не верили, потому что в стране подобные случаи бывали часто, и народ терялся в догадках: а не обманывает ли власть.

Юрий Николаевич за неделю до открытия съезда послал Наташу к Сергею Владимировичу, чтобы хорошенько поговорила с ним днём, а если надо и ночью, когда молодая жена отсутствует. Необходимо поднять значимость съезда. Она там дневала, ночевала, а когда съезд уже перешёл к обсуждению докладов, Наталья Ивановна, взяв дядю Стёпу под руку, пересекла Поварскую.

Толпа в фойе встретила одобрительным гулом появление Михалкова. Кто-то из толпы громко крикнул:

— Гимнюк идет! Гимнюк!..

Сергей Владимирович резко повернулся к нему и ответил сходу:

— Гимнюк, не гимнюк, а заиграют — встанешь!

Все в коридоре притихли, а он, мерно шагая, вошел в зал. Присутствующие встали.

— Дайте дорогу Сергею Владимировичу, проходите! — первым его приветствовал Тофик Бухаров. — Смотрите на этот прекрасный вид, в зале — аншлаг! Люди проявили сознательность! Дружба народов вновь обрела смысл!

— Если так, то позвольте, продолжить, — сказал Сергей Владимирович, когда в зале все сели. — Дружба людей никуда не делась. Проблема в государственном устройстве. Перестройка поломала всё, а новые, точнее бывшие советские республики стали не признавать границы культуры, которая объединяет наши народы. Это недоразумение. Я считаю, явление это временное и с ним надо бороться.

— Мы во главе с вами, Сергей Владимирович, впервые, — подхватил Бухаров, — обратите внимание, впервые хотим доказать, что мы — не делимы!

Зал заплодировал, в фойе послышался свист. Верченко, повернувшись в зал, поискал взглядом Селихова и, увидев его в проёме двери среди стоящих там людей, успокоился.

В Большом зале яблоку негде упасть, люди стояли также в проёмах обеих дверей. Михалков не увидел ни одного знакомого писателя.

— Что за народ? — спросил Сергей Владимирович.

— Делегаты съезда — высшего органа, — напомнил Бухаров. — Им решать, быть Международному сообществу писательских союзов или нет? Делегаты из бывших советских республик. Многие не смогли приехать. А у нас средств на это тоже нет. Поэтому делегировали своих людей, которые работают и живут в Москве. Они в зале. Это требование времени. Нужен кворум! Вот, пожалуйста! Мы не нарушаем буквы закона.

— На что буква закона, если жизни нет? — заметил Сергей Владимирович.

— А когда она была? — повысил голос Тофик Булатыч. — Что делать? Все ищут выход. Наша задача узаконить себя! Варвары со всех сторон набрасываются. Хотят разнять союз писателей. Живя среди них, мы не позволим себя отдать им, чтобы проглотили нас с потрохами!

— Вам любые преграды по зубам, — с иронией произнёс Сергей Владимирович. — Мне жалко смотреть на литературу. Она передает свои функции торгашам.

— Это так и не так, — опять перебил Бухаров. — Наша цель достичь новых уровней русской литературы. Для того и создаем новую организацию, чтобы объединить русскоязычных писателей со всего мира. Вот для чего нужно ваше имя. Сергей Владимирович, хочу одну вещь подчеркнуть. С вами — мы спокойны, потому что Дом Ростовых невозможно представить без Сергея Владимировича Михалкова! Автора гимна России!

— Валяйте! — откликнулся Сергей Владимирович, — Чего хотите — всё равно добьётесь!

— Мы от вас многого не требуем. Ещё раз повторяю, нам нужно ваше имя и больше ничего! Вы только дайте нам советы, указания — этого достаточно. Мы — счастливы!

— Тофик Булатыч, дайте остальным высказаться, — перебил его Верченко. — Сергей Владимировича видим чаще, а делегатов — нет. Пусть они говорят.

Но Михалков не стал слушать его:

— Не могу скрывать, что организация, которую вы хотите сколотить, не жизнеспособная, она будет существовать лишь на бумаге. А вы будете сидеть по кабинетам и судить, кому что дать. На вашем месте я бы возродил прежний союз — Союз писателей СССР! Было бы дело, а то от вас, торгашей, какой толк? Откровенно говоря, вы все тут случайные люди. Для вас важны пожитки да имущество Дома Ростовых. В этом имени — народная память! Её не скроешь. Будьте осторожны! Я вас предупредил. Я вижу, вы люди нахрапистые, вам бы заняться бизнесом, не затрагивающим народную память.

— Это и есть бизнес, вы будете его возглавлять, — вставил тут Бухаров.

— Ах, сукин сын! — выругался Сергей Владимирович. — Хочешь меня захомутать в телегу, а вожжи взять в свои руки! Жизнь писателя не бизнес, его можно почувствовать, а не управлять им. Власть над душой человека — неблагородное дело, её надо ограничить, точнее — не давить на пишущих людей!

— А на кого давить? — спросил Бухаров резко.

— На всех тех, кто не с нами, — вмешался в разговор Верченко. — Потому что назад, в советское прошлое, никому неинтересно, поэтому и не хочется.

— Наоборот все были бы рады. Я думаю, вчерашний день теперь всем стал дорог, — возразил Сергей Владимирович. — Меня воспитала советская власть. Я ничего плохого от неё не видел. Мы лишь пренебрегли её заботой.

— Товарищи! Мы собрались не для того, чтобы убить время болтологией, — сделал замечание пожилой мужчина в бушлате. — Тут каждая высказанная мысль ложится в основу будущего союза. Давайте, организуйтесь. Мы проголосуем и пойдём, к чему тянуть кота за хвост?

— Нам нужен прежний союз, — тихо возразил Ятаган. — Сергей Владимирович говорит дело.

— Сергей Владимирович пришёл по нашей просьбе, нам не лишне услышать его слово, — заметил Тофик Булатыч. — А ты, Ятаган, считаешь, что и твое слово будет цениться на вес золота?

— Ты, Бухаров, со своими консультантами обращаешься, как начальник с подчинёнными, — вмешался Сергей Владимирович. — Ятаган работает много

лет и знает жизнь изнутри, а ты утверждён на свою должность недавно. Думаешь, что ты знаешь больше его?

— Сергей Владимирович, он не работает у нас. Участвует от своего союза писателей, как делегат, — дал справку Верченко.

— Товарищи делегаты! — сказал он. — Хочу обратить ваше внимание на то, что сейчас всюду бандиты снуют. Не надо идти далеко, посмотрите, что творится на улицах. Их видимо-невидимо. Интеллигентность москвичей не в силах противостоять им. Чёрная сила оказывается в разы мощнее и бьёт сильнее!

— Мы творческая организация, какое отношение мы имеем к бандитам? — оспорил пожилой мужчина в бушлате.

— Они тоже члены нашего общества, только хотят жить по-своему! — ответил Тофик Булатыч. — Так, надо воспользоваться этим.

Зал притих. Тогда, повернувшись лицом к Сергею Владимировичу, спросил:

— Вы скажите, мы правильно делаем?

Михалков помедлил, но все же ответил:

— Дело ваше.

— Продолжим работу съезда, — сказал ведущий бодрим голосом. — Так как мы вновь учреждаемая организация, надо будет принять её устав и другие документы, чтобы пройти регистрацию как международная общественная организация.

На Съезде зачитывались сведения о прибытии делегаций из всех писательских организаций, в основном, бывших советских республик. Московские члены союза пришли сами, им дали возможность поучаствовать с правом совещательного голоса. Участники выступали по желанию. Ятаган говорил о положении в его стране, что власть узурпировал круг лиц и устанавливает сталинский режим. После ещё один бывший консультант повторил эту же мысль, с беспокойством по поводу засилья частной собственности в его стране.

— Вы теперь независимые от Москвы народы, решайте свои проблемы сами, — сказал ведущий, при этом вопросительно оглянулся на Михалкова. — У нас свои республики, с ними в первую очередь предстоит поговорить.

— Тоже верно, — сказал Бухаров.

— Нам придётся с бывшими братьями делиться во всём, — вставил слово Сергей Владимирович. — Давайте, подставим им своё плечо.

— Как? — спросил тот же мужчина в бушлате из зала.

— По изданию книг в Москве, — ответил Тофик Булатыч. — Только взамен на их лояльность к нам. Не пренебрегать же нам своими интересами.

— Книг и так много, что их сжигаем! — сказал Карабутенко. — Зачем размножать, если они обуза?

— Кстати, я должен заметить, мы в этом преуспели самого Гитлера! — вдруг присоединился к консультантам Юрий Николаевич.

Зал на минуту притих. А Тофик Бухаров характерным движением рук подправив воротник, который задевал язвочку на шее, продолжил ровным голосом:

— Временами Юрий Николаевич так увлекается самобичеванием, что мне становится неловко! Давайте о позитивном. Кому плохо от того, что мы хотим из пепла возродить былое единство? Я сам приехал из бывшей советской республики. Могу заявить, что и в наших краях сталинизм поднимает голову. Ну, и что делать? Народ там помучается, им не впервой, но связь мы с ними терять не должны. Они наши современники, у нас пуповина одна. Наши воспитанники мучаются под игом новых главарей со

сталинским лицом, и мы тут мучаемся, сочувствуя им! Давайте говорить о своих делах! На повестке дня литературный фонд, который должен оставаться в нашем ведении. Кстати, дорогие делегаты, мы можем предоставить вам право отдыхать бесплатно один раз в году в санаториях и домах творчества.

— Какой отдых? — сказал Тарас Карабутенко. — Дом творчества в Переделкино стал гостиницей для лётчиков.

— Литераторов под разными предлогами не поселяют, — добавил Ятаган из дальнего ряда.

— А где Берёзкин? — спросил рабсек и стал искать в зале кого-то. — Он знает?

— Как это так? — заметил Тофик Булатыч. — Это же дом творчества? Пусть селит пишущих людей и членов литфонда.

— Он, как миллионер, думает туго, — бросил Верченко. — Раз его избрали во главе литфонда, то считает, что это учреждение теперь его. Наплевать ему на то, что литфонд должен работать для писателей. А ведь люди-то живые, у них планы, семья, наконец, достоинство... На кой ляд там ночуют стюардессы с лётчиками? Разве они наши люди? Можно ли охарактеризовать такой поступок как предательство интересов пишущих людей?

— Делегаты утром приехали на электричке из Переделкино, — сказал Писарь. — А не будь дома творчества, куда бы мы поместили ораву такую?

— Хватит об этом, — заключил Бухаров. — У меня есть предложение, принять текст обращения к Президенту Российской Федерации, чтобы он уделил внимание литераторам, их чаяниям и нуждам на пути создания нового общества...

— Во дворе у нас дремучий феодализм, который Россия пережила много веков назад, — поправил его Верченко.

— Хоть феодализм или какая ещё буза, нам один чёрт! — рассердился тот. — Главное, добиться госдотации, остальное чепуха! Больше издавать нужных себе, лояльных авторов! И мы спасены. Как ты туго соображаешь? Постепенно остальные потянутся к нам, когда увидят, что дело у нас пошло в гору.

Бухаров тут опять взглянул на Михалкова и так остался, ожидая его ответа. Тогда Сергей Владимирович, привычно заикаясь, обратился к залу:

— Тофик Булатыч, с-сукин сын! Говоришь, что строим капитализм, а твой зам с-совсем оказался феодалом! Вы, ни хрена не знаете о главной вехе России — дворянстве! Скажи мне, положи руку на сердце, что ты знаешь о дворянстве?

Бухаров промолчал. Тогда Сергей Владимирович продолжил:

— Вы сейчас разводите свою болтологию, сидя в дворянском гнезде — графа Владимира Сологуба! А перед вами отпрыск древнего рода, прямой потомок дворянина — Сергей Михалков! И вы мне рассказываете, хорош или плох был феодальный строй на Руси! Не стыдно вам, господа?

— Надо вручить письмо прямо в руки президента Путина и всё! — перебил Бухаров. — Вы, дорогой Сергей Владимирович, как почётный председатель Содружества...

— Хочешь славы себе или кому-то постороннему? Скажи, пожалуйста, письмо затрагивает интересы литераторов — хотя в зале никого из них не вижу — или интересы узкого круга, какого-нибудь пахана?

— У нас советский менталитет, хотим вернуться в привычную колею, — с воодушевлением ответил Бухаров. — Объединим творчески мыслящих людей от Москвы до самых дальних окраин: Курил, Сахалина, Итурупа и Шикотана! А как же иначе, это главная цель наша!

Верченко сидел насупившись и переживал, что руководитель говорит верные слова, но они потом тут же забудутся. «Какие творческие силы, когда от его тёмных друзей писатели шарахаются?»

— Вы сами в состоянии кого угодно продвигать на пьедестал. Причём тут Кремль? — произнес Михалков тихим голосом.

— Сергей Владимирович, нам нужна поддержка, так и передайте Владимиру Владимировичу, — подал свой голос Верченко. — Пожалуйста!

— Ребята, вы забываете, что советский строй давно валяется в отхожем месте, — напомнил Михалков. — Иждивенческий настрой — пережиток прошлого. Его надо забыть раз и навсегда. Когда советская власть всех уравнила, давала раскрыться и чукчам, и хохлам, и азиатам, и балтийцам... тогда соблюдалась квота для нацменьшинств. А теперь эти народы, как игрушки не только у власти, но и у обеспеченных людей. Писательская деятельность, как Божий дар, теперь не ценится по той причине, что сейчас лучшая книга — это та, которая быстро продается. Приносит прибыль, и всё тут!

— Пишущий брат ликвидируется как паразитирующий класс! — крикнул неожиданно из зала Писарь и громко захохотал.

— Мы родились тёмными, так и ляжем в могилу, — сострил Ятаган.

— Идите в религию, ваше место там! — опять подал голос Писарь. — Писатель сегодня мало пользы принесёт богачам, стало быть, и власти тоже.

— Надо проголосовать, — сказал председательствующий. — Наш почётный председатель Сергей Владимирович пойдёт к Президенту Российской Федерации с письмом. Кто за то, чтобы передать такую просьбу в Кремль?

В Большом зале Дома Ростовых образовался лес рук. Бухаров облегченно вздохнул.

— Ну и прекрасно! — произнес его заместитель. — Ещё жить велено...

## АЛЕКСАНДР ФАДЕЕВ

Писарь вёл делегацию на экскурсию по территории Кремля. Царь-Колокол. Царь-Пушка. Успенский собор. Благовещенский собор. Грановитая плата. Идут вдоль стены Кремлёвского дворца съездов. Тут делегат из ближнего зарубежья спрашивает:

— В этом дворце Никита Сергеевич разоблачил культ личности Сталина?

Писарь вдруг подумал, не вынести ли эту тему на мастер-класс, а потом ответил:

— Да, дворец этот создан при поддержке Хрущева.

Другой делегат из ближнего зарубежья завел разговор о смерти А. Фадеева и заявил в конце:

— Ведь его погубила водка.

— Ложь! Фадеев смерти искал сам, — ответил Писарь. — Это был его выбор.

— Почему бы нет?! — сказал мужчина в бушлате. — Фадеев был смелым и прилежным солдатом. Он не забывал постулаты своего главнокомандующего. Старая площадь поэтому доверила ему руководство большим Союзом. В то же время, надо заметить, он был человеком беспринципным. Ради личного благополучия отдал под расстрел своего соратника Леопольда Авербаха...

— Стоп-стоп! Не шумим, — прервал его Писарь. — Всё! Пришли...

Дальше шли молча. На Красной площади он расстался с делегатами. Направился в сторону метро, а перед глазами встаёт Хрущёв. Он на трибуне:

— «Будто этот человек всё знает, всё видит, за всех думает, всё может сделать. — Хрущёв говорит осипшим голосом, переименовав имя Сталина — «этот человек». — Он считает себя непогрешимым».

Огромное пространство дворца тонет в безмолвии. Делегаты в шоке. Сидят, как не живые, взглянуть на рядом сидящего товарища не смеют.

— Что это Никита Сергеевич несёт? — шепотом спросил Фадеев. — Сиё, что значит?! Это клевета на наследие товарища Сталина! Ревизия на деятельность партии!

Фадеев хочет выйти на трибуну. Дрожащей рукой набрасывает тезисы своего выступления. Никита Сергеевич закончил доклад, и тут с места встал председательствующий Н. Булганин.

— Товарищи! Я предлагаю съезду не открывать прений, — предложил он.

— А задать вопрос можно? — крикнул кто-то из глубины зала.

— Предлагаю также докладчику вопросы не задавать, — продолжил председательствующий. — Прошу доклад одобрить.

Делегаты подняли руки.

— Единогласно, — сказал Булганин спокойным голосом. — Принимаем ещё решение. В печати текст доклада не публиковать. Всем партийным ячейкам разослать его текст секретной почтой. Ознакомление с материалами провести на закрытых партийных собраниях! Строго!

После перерыва съезд продолжил работу в полном составе. От имени писателей на трибуну поднялся Шолохов. Он обрушился с критикой на руководство Союза писателей страны:

— Александр Фадеев оказался властолюбивым Генсеком, — заявил Шолохов. — А разве нельзя сказать Фадееву... поезжай-ка годика на три-четыре в Магнитогорск или в Свердловск, Челябинск или Запорожье?

У Фадеева побледнело лицо:

— И он туда же! — вырвалось у него из уст. — Всё-таки Михаил Александрович у нас мудак!

— Лишь он один такой? — вставил своё слово Писарь.

— Мы — страна дураков! — пояснил Александр Александрович. — Поставь его на место генералиссимуса — творил бы то же самое. Объявился новый троцкист! Моё сердце не воспринимает такую ревизионистскую идею!

— Боже мой, боже мой! За что меня так? — возмущался он дома. — Попахивает оргвыводами. Всё это из-за Мишиной критики!

Утро, полдень... Александр Александрович не выходил завтракать. Его любимые пузыри оставались в холодильнике не початыми. В кабинете засиживался небывало долго, хмурый и подавленный.

— Время пролетарских завоеваний кончилось, — нашёптывал он тихим голосом. — Как же так? Получается, пришёл Хрущёв и нашу победу на свалку? Нет! Не принимаю я такой оттепели!

Ночью предавался бессоннице, мучаясь от долготерпения вялотекущего времени. Заставлял себя отказаться от спиртного. Бывшему партизану, полковнику хорошо известно, на что фазана манить, чтобы в доступном месте легко добыть его. Фадееву хотелось доказать пролетариату свою правоту. Отбрасывая все мысли, опять и опять всплывали мгновенья съезда. Везде между строк он улавливал обвинения в свой адрес. Ему приписывали ни больше, ни меньше, как репрессии писателей, организацию которых он возглавляет!

Александр Александрович некоторое время проверял исправленные страницы книги на столе, чтобы в очередной раз не испытать тяготы переживаний. Не получилось. В голове всплывали лучшие дни жизни. Они были в рядах РАППа. Советская власть в 1932 году объединила все группы, в том числе и РАПП, в единую организацию. А в оргкомитет по созданию союза писателей Советского Союза Кремль включил и его. С тех пор он на руководящей должности. Но руководил он под пристальным взглядом товарища Сталина. Работу вёл по

решениям партии. Всего-то... Он наравне с представителями высшей власти подписывал приговоры над коллегами. Перед глазами встали товарищи по ассоциации Л. Авербах и В. Киршон. Их расстреляли...

— Выходит должность моя ценилась выше жизни близких мне людей!.. — шепчет Фадеев, хотя был один в кабинете. — Их кровь на моей совести... Проклятие! Стыдно! Стыдно мне!..

Перед глазами встаёт генерал-полковник Жданов... Он указывал пальцем куда, а он, руководитель Союза писателей, должен был заверять своей подписью... Получается, он давал согласие на приговор всем... Среди осуждённых Ахматова, Зощенко, Платонов, Мандельштам... В дни Большого террора сколько раз ставил он свою подпись... не счесть!..

— Ну, как я мог иначе? Шло становление социалистического реализма... — успокаивал он себя. — Ну, что делать? Я такой!.. Не болеть душой за Россию не могу.

«Неужто я конченный человек?» — ищет он ответ на свой вопрос. И находит.

— Нет-нет! Тем же осуждённым: Борису Пастернаку, Николаю Заболоцкому, Льву Гумилёву оказывал помощь, притом, скрытно... — шепчет Фадеев в пустом кабинете, подчеркивая слово «скрытно». — Неоднократно передавал на лечение деньги даже Андрею Платонову. Выхлопотал значительную сумму денег и Михаилу Зощенко...

Опять настроение портится. Что такое? Космополиты!.. Он как-то заметил, что в обществе театралов поднимают голову троцкисты. Они стали нападать на корифеев соцреализма. Как генсек<sup>28</sup> большого Союза Александр Александрович не смог закрыть глаза на их поведение. Они в позу. И тут Сталин заступился: «Типичная антипатриотическая атака на члена ЦК товарища Фадеева». Как только мнение товарища Сталина стало известно, началась кампания борьбы против космополитов. Фадеев теперь понимает, что Иосиф Виссарионович ему был опорой. Хрущёв, уничтожая его наследие, возрождает троцкистов...

На столе лежала исправленная страница романа «Молодая гвардия», на неё положил чистый листок и энергичным движением стал писать: «Жизнь моя, как писателя, теряет всякий смысл... — начал он и завершил словами. — Ухожу из жизни!» Адресовал в ЦК КПСС, а потом этот же текст переписал на другом листе и адресовал его на Лубянку.

Фадеев, бледный, как простыня, направился на второй этаж. По пути предупредил жену:

— Не беспокой меня, буду в кабинете.

Достал свой именной пистолет, а в левую руку взял подушку и вернулся к письменному столу...

В Переделкино было тихо. Никому не приходила в голову мысль, что такой человек, как Фадеев, пустит пулю себе в сердце. Тогда не то, что стрелять в себя, дома держать пистолет было нельзя. Через день гроб с телом писателя стоял в Малом зале ЦДЛ, народ валом валил, чтобы попрощаться с любимым писателем. Отчего А. Фадеев скончался — никто не знал, потому, как в официальных некрологах писали, что он умер от алкоголизма...

---

<sup>28</sup> Должность А. Фадеева (1946-1954) называлась Генеральный секретарь и Председатель правления Союза писателей СССР.



Во двор вошел Карабутенко, его догнал Селихов. Пересечь эти ворота для Кима Николаевича было всегда радостно. Он с азартом делал свою работу, которую госбезопасность доверила ему, и был готов осуществить любые поставленные перед ним задачи.

— Ты бы знал, как я люблю свою профессию! — хвастался Ким Николаевич. — Тебе, хохол, не понять. Она для меня — родная мать, если не больше!

— Что, может быть, выше матери? — искал в уме сравнение Тарас. — Это вы, Ким Николаевич, слегка преувеличили!..

— Она меня со дна ямы вытащила! После этого, что она для меня? Если бы не КГБ, меня давно не было в живых.

— А в яме что делали? Куприн бы ответил полнее, конечно.

— Я гнил в детдоме! Будь он проклят!

— Вижу, Ким Николаевич, жизнь у вас с малых лет устроена в правильном русле: поймать тех, кто не туда ходит, наказывать человека, если даже вины у него нет.

Ким Николаевич вспомнил о старике-охраннике, чем-то похожем на Карабутенко. Он иногда ночевал в детском доме, хотя имел семью. Перед сном, когда на улице стемнеет, он брал с собой ребят постарше и устраивал вокруг дома осмотр. Однажды наткнулись на молодую женщину, идущую мимо их забора. Старик крадучись приблизился к ней сзади и повалил на землю. Потом все по очереди подходили, а когда Селихов лег на неё, то услышал: «Еще один во мне...». От женщины разило перегаром.

Карабутенко любил гулять со своей женой по Гоголевскому бульвару. А там вели длинные разговоры. Они как-то обсуждали, как провести летние дни. Тарас уговаривал жену съездить опять в Крым, а оттуда в Киев и вернуться в самый притык к выходу на работу. Карабутенко оглянулся по сторонам и, увидев, что вблизи никого нет, сказал:

— Отдохнём как белые люди, подальше от этих кацапов! Пусть тут подавятся со своей водкой, квашеной капустой да маринованными огурцами!

Селихов встретил на другой день во дворе Карабутенко и сделал замечание:

— Ты вчера ругал Русь! Признавайся! Думаешь, что скоро будешь жить без нас. Мечтать тебе, Тарас, никто не запретит, но к мечте тоже надо подойти с некоторой осторожностью!

Высокий консультант стоял, теряясь перед представителем КГБ, будто замороженный, и ждал, когда путь в коридоре откроется. Консультанты на своих местах слушали громкий разговор в коридоре. Стены кабинетов такие тонкие, что оттуда запросто слышны голоса.

— Думаешь, я придумываю? — наезжал Селихов. — Кацапов ругал? Ругал! Водку ругал? Ругал! Тебе какие доказательства нужны? Ну? Тарас, плюешь в колодец, из которого пьешь. А теперь делаешь невинные глаза. Нехорошо.

— А я разве отвергаю? — ответил тут Карабутенко. — Отец мне говорил так, а теперь за это мне срок заготовлен что ли? Буду жив — буду говорить! А что теперь?

— Кроме жены ещё кому высказывал свою крамолу?

— Если у них хватает ума, то сделают правильные выводы. А если нет, то пусть последуют моим путём и станут консультантами.

— Хохол, ты, поганый! — вырвалось у Селихова. — И тут выкрутился. Ну, что ты будешь делать?!

Карабутенко, мило улыбавшийся до сих пор, тут шумно вздохнул.

— Ким Николаевич, открытость лучше. Всегда считали, что святая Русь зародилась в Киеве. А теперь вдруг стали отмалчиваться. В этом чья заслуга? Кампания дружбы народов сколько дел наделала? Каждого, мало-мальски думающего, развели по дворам, а, казалось бы, наоборот, хотели объединить их. Нет, не получилось, Ким Николаевич! Теперь народ думает, о малой родине больше, чем о советской, большой родине. Нет уж, простите, об СССР забыть успели. А вы хотите вернуть утерянную страну.

— Не так, не так, — возразил Селихов. — Тарас, кто угодно пусть говорит, только не ты! Поедешь туда — ты там чужой! Ты здесь можешь так развивать свои мысли, а там тебе твои же хохлы рот порвут. Скажут, ты брешь! Нынче все, говорящие на русском, считают себя русаками. Поверь, еще несколько лет и сами будут проситься назад!

— Тем более... — добавил Карабутенко.

— Почему тогда не ценишь свою жизнь? Разве те люди, которые окружают тебя, не дороги тебе? Ты среди них, и они защищать станут в случае чего! Ты не просто один из миллионов! Помни это и больше не предавай родину.

— Хорошо, что я нашел работу в Доме Ростовых, — говорил Карабутенко приятным голосом. — Получаю ежемесячно жалование. Это замечательно, в то же время я себя не ощущаю счастливым человеком.

— Тебе чего не хватает, Тарас, — удивился Бек Мурза. — Живешь как у себя дома, на русских, как две капли похож, на тебя никто не указывает пальцем, а жалуешься.

— Я не живу, а мучаюсь, — ответил Карабутенко. — Как раз за то, что все принимают меня за кацапа. Внешность она обманчива, любое наше достижение доходит до нас не сразу. Оно сначала идет в копилку Москвы, а потом лишь, и то, после немалой борьбы — в пользу Киева.

— Не переживай, Тарас, пусть твои соотечественники тоже кое-что присваивают из достижений чужих народов.

— Все не так просто, Бек. Ты говоришь, что мы схожие. А я нахожу тут столько различий. Мимика, жесты — всё такое ненашенское. Спрашивается, откуда у нас основа для дружбы? В каждом из нас сидит маленький националист! Его даже за миллион баксов не вытравишь. Он с маминым молоком пробрался туда и не хочет покидать нашу душу.

— А Дом Ростовых?

— Тут обучают нас, чтобы мы не забывали святые обязанности. А что?

— Нет, Тарас. Это единственный дом, где всерьез думают о дружбе людей разных национальностей.

— Тебе кажется, Бек. Тут верховная власть действительно хочет придать этому особый статус. В то же время мы тут подстригаем рукописи в угоду власти. Здесь судят писателей. Так что тут наших братьев не защищают, а кастрируют. Кто прошел тут хотя бы один раз инспектирование своего творчества, потом не видит мир прежними глазами.

— Если взять Верченко, не могу сказать, что он не защищает писателей. Всех он не может защитить. Одно мне известно — он любит нас. И мы не боимся его.

— Любить — это тактика, а мы лебезим! Да, не боимся. Но будь на его месте другой, то же самое повторилось бы. Это инструмент власти, которому учат начальников, или власть находит людей с таким врожденным иммунитетом. А мы верим в их искренность.

Появился неожиданно Селихов, и он услышал последние фразы Карабутенко:

— Эх, Тарас! Как ты рассуждаешь? — покачал головой. — Сколько раз говорят, у вас с Россией несчётные связи, дела... еще много кое-что, ёлки-

моталки! Как же будете без России? Мы связаны тугим узлом, как клубок. Не братья мы сегодня, а равные друзья!

Ким Николаевич любил ходить по кабинетам. Участвовал во всех мероприятиях, знаком был со всеми членами советов и называл их по имени и отчеству. Деревенщиков, как и консерваторов, даже новоиспеченных либералов знал в лицо и со всеми старался быть в хороших отношениях. В последнее время он всюду искал ответ на один вопрос: уважают ли они Лубянку?

Лучшие рукописи, как и в советское время, лежали на столе без движения. Такие тяготы жизни стояли за порогом, что никому не хотелось ими заниматься. Издатели не признавали авторитета коллегиального мнения. Избегали встреч с авторами, не принимая рукописи даже к рассмотрению. Руководство союзов писателей не могло защитить ничью рукопись. Секретари прятали от авторов взгляд, стыдясь за своё бессилие. Лишь Ким Николаевич ходил с высоко поднятой головой и всем, приносящим рукописи в Дом Ростовых, отвечал без стеснения: «Да, идите вы, на ...!»

Корреспондент «Правды» вошел в кабинет Верченко, ударив носком ботинка в дверь. Верченко отказался с ним беседовать. После этого появились вежливые корреспонденты разных газет и журналов, чтобы узнать о положении дел в писательской среде. Но и тогда рабсек не стал разговаривать с ними. Нет у него готового ответа. Знает только, что большой Союз куда-то катится, и никто не собирается его остановить.

В своем кабинете Бухаров беседовал с офицером из Лубянки. Он обосновал сдачу в аренду помещений особняка как вынужденную меру, чтобы как-то содержать сотрудников. По коридорам разнёсся слух о встрече Бухарова с человеком из Лубянки. Открывая короткое совещание, Верченко начал свое выступление:

— Тут Тофик Булатыч принял офицера с Лубянки...

— Ты это оставь мне, — осадил его Бухаров.

— Если разговор имел закрытый характер, то другое дело. На днях люди спрашивали меня, зачем вам советы и секретариат? Впереди нет и, я уверен, не будет никаких серьёзных дел. Зачем их держать?

Бухаров вспыхнул тихим голосом:

— Напиши заявление, я подпишу! Тебя никто не держит!

Верченко, с зардевшимися щеками, остался сидеть. Тогда тот спросил:

— Ну? Ты хочешь строить жизнь как Анфиногенов?

— На кой ляд мне подражать ему? — ответил Юрий Николаевич. — А сам, какую хочешь жизнь построить? По подсказке Деда или с Лубянки?

— Вот и приехали! — выдавил из себя Тофик Булатыч. — Так и думал, что ты мне это скажешь. Не пудри мне мозги. Чтобы в короткий срок здесь либералов и духу не осталось! Это, во-первых. И ещё. Составить план работы на весь год. Я подпишу, но прежде, чтобы все члены правления поддержали.

— Надо провести секретариат, — настаивал Юрий Николаевич. — Коллективное мнение должно править нами.

Бухаров пристально посмотрел на него и не стал отвечать.

— Хочу отметить, что у нас тут проходной двор, — сказал Бухаров, выступая перед коллективом. — Мы решили, что двор особняка и прилегающую к нему территорию впредь следует охранять.

— Надо создать условия, чтобы жителям близлежащих районов было комфортно, — предложил Верченко. — От этого польза, как нам, так и им...

— Это моё упущение, — признался новый руководитель. — В связи с этим союз писателей формирует службу. Назначаю руководителем её Писаря Кузьму.

— Нужно разрешение получить от префектуры, — сказал Верченко. — Могу сходить.

Бухаров смотрел на Писаря и уговаривал:

— Иди в префектуру, скажи уверенным голосом, надо! Так-то, так-то, мы имеем статус международной организации, и прочее! Надо разрешение на установку оборудования и всё!

Когда все поспешили к выходу, Верченко продолжал сидеть на своём месте и равномерно рвал в клочья какую-то бумажку.

Чугунные ворота оставили в прежнем виде. Комнату, служившую раньше специалисту по американской литературе кабинетом, переоборудовали в помещение для дежурных. Из форточки они проверяли документы идущих в Дом Ростовых людей.

Анфиногенов был убежден, что спор решится в их пользу. На пороге показались Бухаров и Шакирт. Они холодно поздоровались.

— Чем скорее уйдёте, тем лучше всем, — сказал Бухаров. — Милицию вызывать не хочется. Арендатору потеря каждого дня в копеечку обходится. Он у меня на шее сидит, ходит по пятам. Захарыч, где твоя совесть?

— Имеем право! — возразил Артём Захарович, протягивая решение арбитражного суда. — Это документ, подтверждающий, что мы не чужеродная организация в этом Доме. Он подтверждает законность нашей доли в имуществе на случай его дележа.

Тофик Булатыч, проверив дату и подпись, бумагу вернул назад. Сам же взял из рук Шакирта лист и протянул Анфиногенову:

— Это решение того же суда, только дата вчерашняя!

Артём Захарович не успел дочитать до конца, как Тофик Булатыч, сложив её пополам, передал Шакирту.

— Это недоразумение, — обескураженный Анфиногенов растерялся. — Не может этого быть!

— Предупреждение вручено месяц назад, — начал сердиться Бухаров. — Стукнуть по роже вас теперь имеем право. Закон мне его даёт. Захарыч! Не буянь! Выносите их вещи!

Они вышли из кабинета. Но появился Писарь:

— Захарыч, не скандаль, — повторил он слова своего босса. — Вас никто в Сибирь не высылает, всего-то на следующую улицу. Такой же кабинет. Что ещё надо?

Не дожидаясь ответа, по связи пригласил двух чоповцев. Как только они пришли, начали выносить коробки либералов во двор. В коробках были книги, довольно тяжелые, поэтому, оставив их там, на снегу, ушли в проходную. Сегодня для них ворота были открыты, сколько бы раз не ходили, пока не вынесут все вещи. Нашёлся либерал, который тайком обратился к Писарю, что готов остаться, пусть даже охранником.

— Не могу, меня уволят, — ответил Кузьма. — Это даже Тофик Булатыч не решит... вопрос штатного расписания!

— Двенадцать лет мы с тобой сидели в одном кабинете, Кузьма, прошу тебя, — умолял тот, придерживая руками ворота, чтобы он не закрывал.

— Убери руки! — крикнул Писарь строго и рванул чугунную дверцу так, что мизинец, отсеченный ее краем, упал на асфальт.

Жгучая боль заставила его вскрикнуть: «Ай! Что делаешь!» Отрезанный под корень мизинец закрутился на месте, будто живой. Писарь закрыл ворота на ключ. Либерал машинально поднял отсечённый палец и посмотрел: он был синим и еще дрожал. Открыл ладонь, в ней горсть кровищи. Он схватил эту руку другой и побежал прочь.

Утром Карабутенко и Бек шли вместе на работу. Их встретили закрытые чугунные ворота. Дежурный не пустил Бека внутрь. Карабутенко растерялся от новшества, по несколько раз проверил все карманы, а потом нашел удостоверение в портфеле. Показав обложку, поспешил дальше. Но ему из проходной крикнул Писарь:

— В развернутом виде показывай!

— Охранник! Ты многого от меня хочешь, — сказал Тарас и, нервно развернув удостоверение, опять убрал в карман. Карабутенко виновато улыбался Беку и, пожав плечами, удалился.

Бек Мурза всё еще стоял за воротами. Он любовался Домом. Тут обнаружил, что вид особняка был обветшалым. Украшением были подпирающие треугольный фронтон над мезонином белые колонны. Вспомнил, как завхоз, боясь обрушения, установил дополнительные подпорки из цельных деревянных балок. Строение, несмотря на это сохраняло былое величие. Усадьбу, построенную в стиле московского классицизма, коллектив большого Союза использовал по-холойски безжалостно. Мезонин, предназначенный для слуг и домашних работников, считался третьим этажом. Там были расположены кабинеты, хранящие архивные данные членов союза писателей СССР. Несколько комнат занимал отдел кадров и консультанты жанровых литератур. На мезонин сотрудники поднимались по крутой деревянной лестнице и то по особой необходимости, а Верченко из-за своих габаритов не был там ни разу.

Писательские генералы как-то пришли в Дом Ростовых, а тут их не пускают. Оказалось, действуют новые правила.

— Как же так? — возмутился Феликс Кузнецов. — Вот Толстой, вот особняк — прообраз «Войны и мира». Как же так, не могу попасть в свой дом?

Им преградили путь люди Писаря:

— А вы кто будете?

— Я!? — возмутился Кузнецов. — Со мной тут известный прозаик! Его то вы должны знать?

— Заик? — передразнил его охранник. — Зайков не пускаем.

— Ну, и задача! — затрясся бывший секретарь от унижения и злости.

— Кто за Шаламова — в одну шеренгу, кто за Фадеева — в другую, — рьяно командовал подошедший Писарь. — Разделись!

В каждой группе образовалось по несколько человек.

— Осмотр Большого зала — 10 минут, а на остальные объекты — столько же. Встречу ищите с консерваторами — своя воля, не смеем торопить никого.

— Такого безобразия я в жизни не видел, — возмутился Феликс Феодосьевич. — Я в солидном возрасте, как же я буду равняться с остальными?

— А приперся-то зачем? — нагрубил охранник. — Или думаешь, тут бесплатно шашлык раздают?

Хамство охранника озадачило всех, поэтому они молча пошли дальше по двору. Консерваторы рассчитывали, что происходящее в Доме Ростовых — временное явление. Думали, что это дело рук Ельцина и его приспешников.

А либералы решили, строгости установлены из-за приближения выборов. Но никому из них не хотелось связываться с Писарем, поэтому все слушались и делали, как он велит им.

В кабинет вошла главбух. Пашкевич Валя и, рассекая воздух покатыми бедрами, остановилась у стола рабсека. Сев в кресло, положила на стол ведомость. Верченко, открыв её, прошёл взглядом от начала до конца. И расписался.

— Почерк у вас изменяется, — заметила Пашкевич. — Сжатая, какая-то... как бы банк не забраковал.

Не услышав в ответ ничего, главбух проворно встала

— Сиди, поговорим, — сказал Юрий Николаевич.

— О чём это?

— Расскажи, какие сны видела в последние дни?

Главбух громко заржала и опять заняла кресло.

— Я видела человека с кухонным ножом в руке... — начала она. — Хорошо, что я услышала, как дверь открылась! Она не должна была открываться. Время — глубокая ночь. Вбегаю на кухню, а там босой человек шарит по столу. Успел схватить самый большой кухонный нож... Я: «Что вы делаете!» Он выронил нож из руки и начал говорить: «I am sorry!» «I am sorry!» Потом к выходу, оказалось, туфли он оставил в прихожей. Вижу, обе двери, как входная, так и наружная, не закрыты! Пока я сообразила, тот обулся и выскочил из квартиры. Я в глазок, а он пальцем загородил его...

— Ты это во сне?

— Не-ет! Наяву!

— Как он проник в квартиру?

— Дочь на ужин заказывала пиццу для детей. Похоже, не закрыли дверь.

— А кто вор?

— Не пойму, зачем он выбирал нож? — сказала Валя.

Пашкевич уже не переживала о случившемся. Если бы не баобаб, она бы и не вспомнила. Ей было одинаково хорошо жить в столице исторической родины, Минске, или тут — в Москве. В последнее время руки свободны, слонялась, как и все. Иногда нет-нет да и спрашивала себя: уехать или остаться? Сообщество вроде живое, но прежнего союза тоже нет.

— Скажу лишь, что консультантов нынешнего уровня больше не найдете, — сказала Пашкевич. — Вы, вот, рады встрече с каждым, кто заглянет сюда, а я наоборот негодую оттого, что вы ещё держите нас. То есть меня. О вас не говорю, вы человек порядочный, только недалёкий. Полностью зависите от обстоятельств. Ветер перемен загнал вас в эту бухту и, боюсь, тут и умрёте. 90-ые так намяли всех, что с тех пор у всех одна нога — в могиле, другая — тут. Кто стоял в стороне, он и выживает, но будет жить как голь перекатная...

Валя помяла папку в руке и сделала шаг, чтобы идти дальше, но заметив, что Юрий Николаевич прыснул, взглянула на него. Лицо Верченко вдруг посуровело.

— Мне вас жалко, — заключила, уходя Пашкевич. — Лишь бы вашу смерть мне не видать...

Верченко, проходя через большую комнату, поцеловал в щеку Мариам, а та машинально реагировала:

— Баобаб... я еще сплю, не трогай меня.

Он жил у Мариам, а на Новоарбатском проспекте его ждала двуспальная кровать со сломанными рейками. Баобаб с разбегу, как делал в детстве, иногда плюхался на нее, так что рейки растрескались. На кухне он готовил

завтрак, боясь греметь посудой, чтобы не мешать Мариам. На душе стало легче, потому как в первый день зимы решил не идти на работу. Не будет больше бестолково проводить время, унижаться перед боссом. Последней каплей стал вчерашний разговор с Бухаровым. Он предложил провести общее собрание писателей, включая бывшие республики СССР, а в ответ тот сказал: «Хочешь, чтобы меня вышвырнули?» С окна было видно, как у подъезда остановилась его служебная машина. Вышел на лестничную площадку и, встретив водителя, первым подал руку.

— Здравствуйте, — поздоровался тот односложно.

— На улице зима уже?

— Да, какая это зима?

Шофера наняли несколько месяцев назад. Приехал из каких-то северных регионов. Юрию Николаевичу стало неловко, что не впустил его в квартиру. Теперь водитель стоит и, казалось, чего-то ждёт от него. Пошарив в кармане халата Мариам, который висел у него на плече, ничего не нашел. Из квартиры слышался ее голос, зовущий завтракать. Он, хохотнув, сказал водителю:

— Поезжай. Меня не будет на работе.

Вернулся в комнату, а Мариам ему:

— Баобаб, когда ты дома, боюсь пригласить кого-нибудь! Нас просто пол не выдержит.

— Ничего! Мы еще поживем, перестройка заставит нас быть заботливыми к себе. Сейчас время — жрать, пить, трахаться и еще раз всё сначала...

— Юра, не так! Ты ведь хороший, добрый, умеющий любить. Не загоняй себя в угол. Ты милый, весь пушистый, мягкий...

Юрий Николаевич повторил слова Мариам детским голоском, а та присоединилась, и они вместе захохотали.

Дом Ростовых работал днём меньше, чем ночью. Что тут творится, никто не знал. В бывших кабинетах большого Союза иногда проходили переговоры государственного масштаба. Теперь ключи от ворот — в руках Писаря, а внутреннее жизнеустройство Дома — в ведении Шакирта. Во дворе, по указанию Шакирта, на летнее время поставили шатры, а в помещениях — отдельные кабинеты для VIP. Под куполами шатров ходили чисто одетые, вежливые официанты. Писательского контингента в скверике больше не видать. Но и клиенты с улицы не заглядывали сюда. Дом Ростовых теперь переходил в руки людей, не имеющих никакого отношения к творчеству. В стране на слово «дружба народов» никто уже не реагировал. Не воздействовало это понятие на умы и сердца. Никто из писателей не сочинял на эту тему произведений, не звучало оно в песнях, в кино. На плакатах не изображалось.

Верченко не ходил на работу, но на писательских посиделках бывал. Как-то присутствовал на вечере в Малом зале ЦДЛ. Устроители тревожились заранее, чтобы мероприятие не сорвалось.

— Холодок по спине идет, когдаходишь, казалось бы, в свой, писательский клуб, — сказал Сергей Каратов.

— Неужто так? — спросил бывший рабсек.

— Раньше здесь собирались пишущие люди, чтобы развиваться душой. А теперь — за деньги, и то убежать хочется. Ничего делать нельзя: книги в киосках нельзя продавать, в ресторане нельзя посидеть, в буфете тоже долго сидеть нельзя! Писателям тут находиться невозможно! Вы как хотите, а ЦДЛ мы потеряли. Мы тут чужие.

— Значит обидно тебе? Сам не прочь занять место директора?

Подошел человек, с виду приезжий. Сел между ними и обоим сделал замечание:

— Прекратите базар! Не мешайте людям...

Юрию Николаевичу не понравилось, что парень держит руку в кармане.

— А ты кто такой? — спросил он, при этом взглядом указывая на руку.

Незнакомец, похоже, узнал в нем не простого человека и, понизив голос, ответил:

— Везде хулиганы. Мы бы дома сидели, но приходится следить за порядком.

Он вытащил руку из кармана. Там оказался свинцовый кастет.

— Этим ты наказываешь людей?

— А как же! Руку чем-то надо защитить.

— Во как!

— Так любого буйнящего успокоить можно. Раз врежешь и готов.

— Ты сам — не хулиган?

— Я — чемпион по боксу в среднем весе. Мы буйных усмиряем. — Незнакомец умолк, а потом добавил. — Мы любим порядок и советский. Без него мысли бы наши были другими. Так что надо любить наследие Ленина и Сталина.

Проработав столько времени в Доме Ростовых, Верченко научился различать, кто талантлив, а кто — нет. Этот опыт ни перед кем не выставлял, больше молчал. Одно, хорошо, что его, работающего в головной организации, на улицах и в других местах никто не узнавал. А тут он понял простую вещь: раньше ему казалось, что на периферии живут писатели, нуждающиеся в поддержке большого союза, они беспомощные, не знают, как им продвигать свои творения. «Оставлять без заботы их не имеем права — пропадут», — думалось ему. Но когда бывал в составе делегации в дальних областях, видел другое: писатели, в основном, требовали себе личную свободу. А этот пришлый боксер специально здесь для того чтобы гасить эти требования писателей.

Верченко знает, что ЦДЛ — учреждение безденежное, на дотации городской не значится. Поэтому выкручивается, как может. За счет залов, ресторанов и буфета имеет оборот, чтобы содержать себя. Дирекция не любила пустых залов и бесплатных вечеров. Они малоприбыльны и малоприятны. Хорошие литераторы — стары и малоподвижны, а молодые — неизвестны и зал не собирают. Дирекция начинает нервничать. Но никогда бы она не подсаживала человека для наведения порядка в зале. Это новые хозяева стали требовать, чтобы народу в Клубе было мало. Они мешают им спокойно заниматься своим бизнесом. Поэтому иногда засылают своих агентов, как этого боксера, чтобы припугнуть завсегдатаев.

— Я в душе — деревенщик, хотя родился в Москве, — начал Юрий Николаевич. — Но люблю свою Родину. По убеждению — консерватор. А ты можешь так же быстро назвать свои убеждения, как я?

Боксер задумался, никогда его не спрашивали так. Поэтому уточнил:

— Тут два вопроса, на который мне ответить?

Неожиданно появился Писарь, он поздоровался за руку с Юрием Николаевичем, а сам обратился к боксеру:

— Вот, где ты! Пошли, некому подежурить.

— Мне надо идти, — сказал боксер, поспешно вставая с места.

Писарь, уводя его, обратился к Юрию Николаевичу:

— Баобаб, давненько тебя не видел. Как живешь-то?

Верченко, не сказав ничего, помахал пухлыми пальцами им вслед.



Ким Николаевич был нетрезв и прихрамывал на правую ногу. Поднялся по лестнице и у скульптуры Венеры Медицейской начал буяннить:

— Вы хотели создать новую формулу жизни? Жулики! Ничегошеньки у вас не выйдет! Сволочи!..

В фойе стоял Бухаров в окружении нескольких консультантов. Ким Николаевич, не здороваясь с ними, ушел к себе в кабинет.

— О чем это он? — спросил Тофик Булатыч.

— Он сегодня из больницы, — ответил Писарь.

— А причем тут мы?

— Ему не нравится всё вокруг.

Киму Николаевичу действительно был не по душе происходящее в Доме Ростовых. Какие-то люди убрали двор. Какие-то люди готовили обед, а какие-то оставались даже ночевать в пристройках. Селихов решил перестраховаться. Одел военный китель. Установил в своем кабинете записывающий аппарат и пригласил для беседы особо приметных работников.

— Садись. Рассказывай о себе, откуда родом, по какой причине находишься тут и кому служишь? — задавал он всем один вопрос.

Они, будто сговорившись, отвечали, мол, законы не нарушали, порядок соблюдают.

— Ты кому пудришь мозги? — тембр голос Кима Николаевича менялся. — Говори хотя бы так, чтобы убедить меня!

Тогда они жаловались, что тут случайно оказались, на днях уезжают. Дома у них есть билет на обратный рейс. Один смельчак сказал:

— Мы исполняем волю тех, кого в глаза не видели. Нам говорят, едешь туда — едем.

Селихов изложил всё на бумаге, на конверте написал «Дзержинская площадь» и обвёл вокруг. На Лубянке такую информацию должны получать из его рук, поэтому Ким Николаевич боялся, что кто-нибудь оповестит раньше его. Потом вошел в кабинет без таблички, положил конверт на стол. Остался там, пока заведующий, старый коммунист разговаривал с фельдъегерем — знакомым лейтенантом. Через полчаса пришло подтверждение о поступлении его информации по назначению. Киму Николаевичу стало легче на душе, и с радостным волнением он вышел из кабинета. Навстречу по коридору шел Бухаров, который, как и утром, не здороваясь, прошел мимо. Селихов остался на том месте, где пути у них сошлись. Подождал, а тот — ноль внимания, продолжил свой путь. Тут Селихов скомандовал по-военному громко:

— Стоять! Дальше ни шагу!

Бухаров остановился.

— Кру-у-гом!

*Окончание в следующем номере.*

## Демьян Фаншель. Стихи разных лет



Демьян Фаншель, 1955 г.р. Родился у самого Чёрного моря, жил – у самого Белого. Впоследствии – аккурат посредине и левее по карте. Места обитания: Одесса, Стрый, Львов, Архангельск, Вологда, Великий Устюг, опять Львов, с 1993 г и по сей день – Кёльн, Германия. Профессия – врач (способность к вранью подтверждена дипломом). Печатался в журналах «Крещатик», «Дикое поле», «Родная речь», «Пилигрим», «Век XXI», «Литературус», в антологиях («Киевская Русь», др.). Изданы 3 книги: «Текст», «Обучение сну» (поэзия, эссеистика), «Мейл» (книга переписки, поэзия). Отклики и рецензии Льва Лосева, Виктора Сосноры, Алексея Парщикова, Владимира Порудоминского и др. – здесь:

<http://www.fanschel.de/kritika.php>

*В стихах Демьяна Фаншеля — тепло и добрая улыбка. Автора сложно чем-то удивить, его мир переворачивался множество раз, но и это не изменило спокойствия души. Может, поэтому строчки несут уверенность и силу. Уютный свет стихов, рождённый автором, помогает и нам иначе взглянуть на происходящее. Демьян Фаншель создал и сохранил мироощущение без ненависти и с любовью. Аккумулировал его в стихах. Нам стоит только прикоснуться и ощутить.*

*Ирина Жураковская.*

\* \* \*

Это свернулось удобно калачиком  
В позе естественной эмбриона.  
Это царапает согнутым пальчиком  
В форме прозрачного скорпиона.  
Это забытая мною вина.  
— Это — она?  
— Я не помню.  
— Она.

1993

### Конец века

За день проедешь автостопом,  
За час прочтёшь Второй Завет, -  
Окошком светит Старый Свет.  
Провинциальная Европа:

Покой. Добротность. Сторона.  
Страна сметаны, свежей булки,  
Послеобеденной прогулки.  
Ну, разве что, опять — война.

Так, - старосветская война,  
Всё повторится в виде чистом.  
Какая тут уж новизна:  
Юг. Море. Смерть. (Ну, пусть, — танкисты.)  
Крест. Полумесяц. (Реконкиста?)  
И Ваша милость здесь нужна?

Что Ваш прыжок, вся Ваша прыть?  
Досталось Вам? Что Вам досталось?  
Или, чтобы точнее быть,  
Что Вам, дружок, ещё осталось?

Остался слов ненужных след,  
Существовавших до потопа.  
Реалии минувших лет.  
Так, — в горле ком, какой-то бред:  
Йошкарола... Йокнапатофа...

1995

### **Херес**

Как много выпало уже  
Дождя на душу населенья.  
На душу. Мокрые дома.  
Особое увеселенье —

Сто дней дождливая зима.  
И снега нет, ну надо же!..

Пустые улицы. Скорей  
Домой, початый херес  
Там ждёт. И тапки у дверей.  
Несёт бессонно чушь и ересь

Там телевизор. Но пока  
Колдуешь, сидя в кресле старом,  
Над хрусталём — не слышишь; даром,  
Что сделал только два глотка.

О лужах, ветре, обо всём  
За дверью — поскорей забыть.  
Что вспоминать — о том, о сём —  
Что толку? Лучше жить да быть.

Спаси и сохрани меня  
Букетом терпким винограда.  
При непогоде — вот отрада:  
От маслянистого огня

По нёбу вязкое тепло  
(Не так уж плохо и живёшь).  
Стакан. Посмотрим сквозь стекло.  
(Всё — гут. Нигде не натекло).  
Всё, всё бы ничего. Но — дождь...

1995

### **Рождественская прострация. 90-е**

О, Родина, как я люблю монотонных  
Домов твоих стройность панельно-бетонных!  
И девушек наших люблю параллельно,  
Живущих в панельных. И просто панельных.

Люблю твою водку — за привкус кондома,  
За чувство резины. За то, что я дома.  
За зубы литые, улыбки золотые.  
И люди простейшие, то бишь — простые,

В трамвае, теснясь без обиды и зла,  
Дыханием терпким — вола и осла —  
Согреют любого: не то что — Младенца,  
Но — нежного немца, привычного ненца...

К библейской всё движется жизни простой,  
К природе, назад (на заводе простой).  
Всё вновь перепуталось, Господа Мать,  
И некому, как говорится, сказать:  
Что, вот, прости, Господи (может, простит):  
Простуда,  
        Простор,  
                Простота.  
                        Простатит...

1995

### **Демьяниана** (пьеса)

**Действующие лица: Бог. Демьян. Немцы.**

*Бог (глядя на Землю):*

Фу-ты, ну-ты, что за номер,  
Жив Демьян, никак не умер!  
Вышел гусем из беды.  
Ну, теперь его куда?

*Демьян (глядя на карту):*

Ишь ты, сколько разных стран-то!  
Ну-ка, стану эмигрантом.  
Нада всё решить заране.  
Где там, как её, Германья?  
*Немцы (пляшут и поют):*  
Из-за дальних, дальних стран  
Едет, едет наш Демьян!  
И тому ужасно рад  
Весь немецкий Бундесрат!

*Демьян (делово):*

Из казенной пёрся дали!  
Что, родимые, не ждали?  
Вот и — слёзы, крики счастья,  
Бодрый "Марш энтузиастов" ...  
  
Где халат мой беловатый?  
Скальпель, спирт, зажим и вату!"  
Щас рукав я засучу —  
Всех тогда и залечу.

*Немцы (жалостно-жалостно):*

Ой-йо-йой, пришла беда.  
Вот те деньги, вот еда.  
Вот вино со всего света.  
Всё, что хочешь, но не — это!

*Демьян (строго):*

Будя вам. Вино приемлю.  
Но, пришед на вашу землю,  
Вам лечение аз воздам,  
(Дальше слово не для дам).

*Бог (глядя на Землю; удивленно):*

Фу-ты, ну-ты, что за номер.  
Жив опять. Опять не умер.  
Всё намёка не поймёт.  
Ну и — хрен с ним!, пусть живёт.

1995

## Константин Емельянов. Черные тени над Белой Церковью. Очерк



Константин Викторович Емельянов родился в городе Алма-Ата (Алматы), республика Казахстан в 1966 году. Окончил Казахский государственный университет (факультет журналистики) в 1989 году. Работал в казахстанских газетах, журналах и на радио. С 1997 года проживает в США на ПМЖ.

Последние публикации в журналах «Чайка», «Каскад», «Новый Журнал», «Русский Глобус» (США), «Великороссь» (Россия), «Литературная Алма-Ата» (Казахстан), «The Bombay Review» (Индия).

*Очерк Константина Емельянова возвращает нас к тем страшным, еще не совсем исчезнувшим из нашей памяти весенним дням 1986-го года. Авария на Чернобыльской АЭС. Студенты, рабочие, строители, бросившие все силы на помощь пострадавшим. Студент из Казахстана вспоминает о работе в стройотряде под Киевом. О непростых тяжелых буднях и о простых человеческих отношениях.*

Олеся Янгол

### I

Пошел четвертый десяток лет с тех пор, как случился Чернобыль. Черная Быль. Очень хотелось бы, чтобы он остался лишь сном, страшным ночным кошмаром, наваждением. Чтобы можно было проснуться, отряхнуться и забыть. Но в жизни так бывает не всегда.

Конец 80-х годов прошлого столетия вообще был богат на разрушения и катаклизмы, природные и рукотворные. Один развал СССР чего стоит. А прибавьте сюда землетрясение в армянском Спитаке, войну в Карабахе, события в Алма-Ате, Тбилиси, Литве, падение Берлинской стены...

Но все же пожар ядерного реактора на Чернобыльской АЭС стоит в этом ряду особняком. Да и случился он одним из первых, когда вся остальная жизнь еще казалась нормальной.

Кстати, и лето свое я тогда планировал провести несколько иначе. Но случилось то, что случилось, и встrepенулись все. Тогда еще страна воспринимала чужую боль как свою, независимо от того, где несчастье произошло: на Украине, в Закавказье или Прибалтике.

Вслед за радиацией, отравленным облаком прорвавшейся в Европу, для пострадавших вдруг возник острый, как лезвие ножа, вопрос: а жить-то теперь где?

Сотни километров отрезаны были теперь от людей и вмещали в себя тысячи брошенных домов и квартир, оставленных ночью или ранним утром, в попытках и еще хранивших человеческое тепло, запах забытой еды на плите, недочитанные книги, недоделанные школьные уроки, не заправленные постели и все то, что принято называть человеческим скарбом.

Несмотря на прорыв радиации и пожар, грозящие облучением и смертью, люди из своих домов уезжать не хотели. Старики плакали: «Мне что тут умирать, что там». Кому-то власти ввали, говоря, что уехать-то надо всего на три дня, а там все наладится и вернетесь! Наладилось...

Кого-то даже силком втаскивали в уходящие из зоны ежечасно автобусы. Большинство эвакуированных разместили по деревенькам и поселкам, лежащим вблизи Киева. Домов, катастрофически не хватало на всех беженцев: одну хату делили между собой четыре семьи. Вопрос жилья за одну ночь стал вопросом жизни или смерти.

Со всех республик на Украину в то лето мчались добровольцы-строители, включая и студентов. В начале июля 1986 года отправились туда и мы – студенческий строительный отряд Казахского государственного университета. Все, как один — добровольцы.

Никого насильно в отряд не тащили, для этих целей существуют в вузах осенние сельхозработы. Пробыли мы там чуть более двух месяцев, в местечке недалеко от деревеньки Белая Церковь, в окрестностях Киева. От Чернобыля Киевская область — ближайшая на карте. Сто восемьдесят километров с гаком — от Киева до самой АЭС. Между Белой Церковью и Киевом — 86. Зовется она так по преданию: когда-то, давным-давно, татаро-монголы спалили на этом месте крепость Юрьев, построенную самим Ярославом Мудрым в 1302 году. Со всего пепелища уцелела лишь белокаменная церковь, стоявшая на местном пригорке. Как отстроились и разбили врагов, порешили назвать городок Белой Церковью, в память о спасительнице.

В 1918 году, сразу после Первой Мировой войны и в начале гражданской отсюда начал свой победоносный, но недолгий поход на Киев гетман Скоропадский.

Во время Второй Мировой — Отечественной, с момента оккупации немцами до прихода Красной Армии, здесь действовали десятки подпольных ячеек всех мастей, коммунистических и националистических, шалили в лесостепи партизаны.

К июлю 1986-го года, когда наш стройотряд студентов-казгушников примчался сюда на восстановление и строительство жилья для эвакуированных, городок был всего лишь одним из многих обычных, неброских районных центров Киевской области.

За время, проведенное здесь, с июля по сентябрь, мы построили три жилых одноэтажных дома (полностью, от фундамента до крыши) для беженцев из Припяти, несколько детских площадок, возвели и покрасили вокруг поселка деревянный забор, да еще разгрузили множество вагонов и грузовиков с продуктами и стройматериалами. О заборе нужно сказать особо, и я к нему еще вернусь.

С тем фактом, что приехали все студенты добровольно, тоже получилось не так просто. Казалось бы, чего проще, отбери человек тридцать, желающих поехать, все равно будет в два-три раза больше. Так, да не так. Хоть и знали все мы, что едем не пожар на реакторе тушить (а были и такие стройотряды!), а строить дома для беженцев, сомнения и страх гложили тогда многих. Некоторые, как говорится, соскочили с подножки в последний момент, передумав.

## II

У тех, кто остался и все же поехал, тоже были разные причины. Одни поехали, увлеченные романтикой и героизмом ситуации. Они искренне хотели помочь пострадавшим и почувствовать себя героями. Другие догадывались, какие деньги были брошены страной на восстановление, и также искренне хотели заработать. В то старое доброе советское время за два месяца стройотряда можно было заработать больше, чем все стипендии за пять студенческих лет. Третьи поехали, понимая, какая головокружительная карьера мо-

жет открыться им после внесения в их личные дела всего нескольких строчек: «Участвовал в восстановлении народного хозяйства СССР после аварии на Чернобыльской АЭС». И ведь действительно, многие после тех событий стали стремительно расти по комсомольской, партийной и профсоюзной линии, не зная, впрочем, о том, что и комсомолу, и партии, да и всему Советскому Союзу осталось жить немногим больше пяти лет.

В нашем отряде КазГУ большинство бойцов были ребята с юридического факультета. Крепкие парни, многие из деревень и аулов, почти все отслужившие в армии. Несколько человек вернулись, повоював в Афганистане. Тогда на них смотрели, как на живых героев, им по-хорошему завидовали. Теперь же, поехав помогать восстанавливать регионы, пострадавшие после Чернобыльской катастрофы, они становились как бы героями вдвойне.

Помню, как на территории стройки висели на столбах и фонарях громкоговорители. Из них часами, на протяжении рабочего дня и всего времени, что мы были там, попеременно с патриотической музыкой вещал наш тогдашний Генеральный секретарь.

А в числе первых пяти квартирьеров от нашего отряда приехал на неделю раньше остальных и наш комиссар, один комсомольский университетский активист. В любом стройотряде всегда нужны плотники, штукатуры и каменщики. А вот активисты комсомольские, тоже ездившие на стройки тогда, в основном, в качестве комиссаров и политработников, они-то зачем? Тем более у нас ни агитбригады, ни стенгазеты не было в то лето. Даже святая-святых стройотряда — кухни своей мы не имели. Слишком уж специфический был наш отряд, прилетевший на крыльях Аэрофлота за три тысячи километров на киевскую землю. Жили на всем готовом, но и пахали от зари до зари, по двенадцать часов шесть дней в неделю, без отвлечений и развлечений.

Так вот, квартирьеры. Что требовалось от них, прибывших за неделю до основной массы студенческого стройотряда? Разбить палатку, где бойцы будут жить, выбить на складе белье, материалы, спецодежду, подготовить бойцам будущий фронт работ, договориться на кухне и т.д. В советское время доля квартирьеров в любом отряде составляла процентов двадцать — двадцать пять от общего числа бойцов. На месте нашей будущей строительной площадки стояла в Белой Церкви груда шлакоблоков, которую и пришлось нам, квартирьерам, тогда вручную разгрести. А было нас всего четверо.

Ну что делать, в других отрядах квартирьеры даже фундамент заливали под будущие домики, а потому мы, засучив рукава, как волки, бросились на эту груду. Но вот рвения такого было не у каждого из нас, четверых. Помню, все мы по два-три шлакоблока больших берем и несемся к самосвалу, а комиссар наш — по одному, размером не очень, и так, не спеша, волочит его в том же направлении. То ли показались шлакоблоки ему слишком тяжелыми, то ли подустал он, то ли не такой представлял себе долю комиссарскую, но через полчаса пропал он куда-то. Пришлось нам ту кучу без него разгрести. Да и потом я его на стройке не часто встречал. Только разве что, в столовой и вечером в лагере.

Был еще среди нас один бывший «афганец». Вечером он хорошо так, под гитару, пел песни про маму, погибших бойцов и девчонку, не дождавшуюся солдата. Еще умел истории рассказывать про быт тот далекий, фронтовой и для всех нас загадочно-волнующий. А утром на стройке тот парень часто ругался с бригадиром нашим на тему: почему он должен за всех работать и почему ему не могут, как герою, дать работу не такую изнурительную. Нередко видели его и в медпункте, куда он приходил, жалуясь на боли в животе, голове или еще где. Кто-то из ребят потом между собой говорил, что «вроде» и



в Афгане он пробыл всего полгода, а потом его комиссовали по медицинским причинам. Правда ли, нет ли — утверждать не берусь.

Хотя, повторюсь, большинство ребят были нормальные. Без апломба и пафоса, спозаранку встающих, на ходу глотающих завтраки и вкалывающих от рассвета до заката, шесть дней в неделю, кроме воскресенья.

Моя койка в палатке стояла рядом с койкой еще одного активиста. Звали его Валихан. Тоже казах, как и большинство бойцов из отряда, но не деревенский, из аула, а городской, практически обрусевший. Симпатичный паренек с быстрым и цепким взглядом черных умных глаз. Как раз из той породы активистов, из которых «лепили» тогда кадры партийные и университетские комитеты не только университета, но и города, области и даже республики. Строительного опыта у него было может чуть побольше чем у меня, но язык был подвешен хорошо и мог он и за своего сойти среди простых ребят-работяг и у начальства нашего отрядного. Обладал он чутьем говорить то, что от него ожидали окружающие в зависимости от обстоятельств, в которые он попадал. Будь то слог высокий, зовущий людей на подвиг или же шутка непристойная, но к месту сказанная.

Мне, кстати, с ним было общаться легко. Нравился его веселый цинизм, какой бывает у неглупых комсомольских активистов, понимающих, что все фразы громкие на митингах и собраниях это вранье. По крайней мере, со мной он не играл в Павку Корчагина, а был самим собой — честолюбивым, но неглупым и веселым карьеристом. Валихан, поехал в стройотряд как раз для того чтобы делать карьеру и, кстати, впоследствии, он ее сделал, став то ли секретарем, то ли первым замом секретаря «малого» комитета на факультете.

Позднее он «вырос» до освобожденного комсомольского работника в алма-атинском горкоме комсомола. С развалом Союза, партии и комсомола, он, как и многие бывшие «комсюки» ушел в бизнес, пропав из поля моего зрения. Кстати, наш Генеральный секретарь КПСС, а позднее и первый союзный президент тоже получился именно из такого материала, как мой приятель и сосед по палатке.

Рабочий день начинался у нас не позже семи утра, а заканчивался после восьми вечера, нередко с наступлением сумерек. Когда приходили вечером домой, в лагерь, где стояли палатки нашего и других студенческих отрядов, немногие, типа меня просто падали в одежде на кровать, обессиленные, и тут же «отрубались» до следующего утра. Остальные же, армейская кость, умывались, стирались, брились, писали письма, да еще умудрялись посидеть с гитарой немного, попить доморощенного чаю в ожидании отбоя. В качестве выходного дня нам отдали воскресенье, только назывался он банно-хозяйственным, опять же как в армии.

По соседству с нами жили студенты из Львова и Хмельницкого, так мы с ними даже в футбол в одно из воскресений играли. Хотя большими друзьями мы в то лето на Украине не обзавелись. Львовские и хмельницкие студенты к нам, прибывшим из Средней Азии, относились абсолютно равнодушно, в гости не напрашивались и к себе не приглашали. Меня, и еще несколько русских парней (на 80 процентов наш отряд был составлен из студентов-казахов, но были в его составе татары, уйгуры, чеченцы) вообще называли «кацапами» и «москалями», за глаза, конечно, но так что бы мы об этом знали.

### III

Работали мы, как я уже говорил, шесть дней в неделю, кроме воскресенья. Хотя была одна суббота, в которую мы не работали. Когда строительство домов уже почти перевалило за половину, наше начальство устроило нам

праздник – достало нам билеты на футбольный матч чемпионата страны по футболу между местным киевским «Динамо» и нашей алма-атинской командой «Кайрат».

В тот день, субботу 2 августа мы отработали до обеда и после столовой бросились в палатку – прихорашиваться. Хотя из парадной одежды была у нас одна лишь зеленая форма бойцов стройотряда. Погрузившись в автобус поехали в столицу Украины, наслаждаясь нежданно выпавшим счастьем и предвкушая матч. Провезли нас опять по Крещатику вплоть до высотной гостиницы, где жили алма-атинские футболисты. Спасибо комиссару и командиру отряда, они даже встречу нам организовали с игроками, после которой «кайратовцы» подарили нам надписанный ими футбольный мяч. Пока оставалось время еще поехали по городу, посмотрели на работу поливальных машин. Погода стояла в Киеве тогда замечательная, настоящее лето, зелень, улицы выглядят нарядными, хотя народу по известным причинам на улицах было не много. Детей вообще я почти не видел на улицах и возле фонтанов, где так любит возиться летом малышня. Да и в разгар лета стремятся многие горожане убраться за город, подальше от зноя и пыли (на Украине вообще ее много везде, а в то лето особенно).

Незадолго до этого исполнился год «сухому закону», проведенному партийным высшим начальством страны. Достать спиртное можно было только с боем, отстояв километровую очередь возле магазинов или переплатить вдвое-втрое барыгам-спекулянтам, постоянно ошивавшимся там и заманивающим потенциальных клиентов. Видели мы и толкучку, переходящую в потасовку возле выдачи спиртного, когда пытавшихся пролезть к прилавку без очереди били чуть ли не всем магазином. Шутка ли, за одну бутылку «беленькой» при цене 5-6 рублей, перекупщики брали 10-12 рублей. Тем, у кого таких денег не было приходилось часами стоять в очередях и локтями и плечами, прижав драгоценный «груз» к груди пробиваться на выход. Так как была суббота, да еще перед футбольным матчем то все мужское население столицы Украины «коротало» таким образом оставшееся до игры время.

Еще до того, как попасть на огромный как космический корабль Республиканский стадион «Динамо», вмещающий до ста тысяч мест, мы услышали гул, напоминающий звук на космодроме перед стартом очередной ракеты «Союз». Это разминались «динамовские» болельщики, «фанаты», оголтелые любители футбола и местной команды, известные своей агрессивностью и непримиримостью к другим командам. Вот и сейчас со стадиона, заполненного лишь на четверть в тот вечер из тысяч луженых глоток несло:

Тихо плещется бухло  
В трехлитровой банке!  
Предназначено оно  
К чемпионской пьянке!

Киевское «Динамо» победившее тогда, кстати, в союзном чемпионате, шло к своей победе твердо и уверенно. Одних соперников за титул, ленинградцев, оно разгромило в гостях со счетом 3:0, других, по-моему, торпедовцев Москвы победило у себя дома вообще с хоккейным счетом 5:3. А какие имена звучали тогда на стадионах! Блохин, Заваров, Беланов, Демьяненко. Что ни имя, то легенда советского футбола! Все они составляли костяк и сборной Советского Союза на недавно отшумевшем чемпионате мира в Мексике. Блохин вообще в тот вечер играл свою четырехсотую игру на союзном чемпионате. Под стать своим «звездам», уверенно и вальяжно, вели

себя и киевские «фанаты», называя своих главных конкурентов, команды Москвы и Ленинграда пренебрежительно «кротами» и «мясниками»:

Наш «Динамо» лучший клуб!  
Это знают все вокруг!  
Все команды победим!  
Три очка не отдадим,

— ревели трибун напротив нас, где уселись желто-голубые. Они вообще не замолкали ни на минуту на протяжении всей игры. Хотя наш алма-тинский «Кайрат» был тогда очень крепким «среднячком» в высшей лиге чемпионата СССР и даже месяцем спустя все-таки «побил» динамовцев дома, в Алма-Ате со счетом 2:1.

Но в тот вечер, в Киеве удача была на стороне хозяев. Они вкатили нашим «банку» незадолго до конца первого тайма. За две-три минуты до свистка на перерыв после красивого и мощного штрафного удара, отбитого нашим вратарем Убыкиным, первым к мячу подоспел белобрысый киевлянин Михайличенко и добил отскочивший мяч в сетку ворот. Этот юркий хлопчик, любовно называемый на стадионе «Михой» или «Михалычем», вообще тогда был на подъеме, забив шесть голов в шести матчах подряд.

Что тут началось! Голосившие местные болельщики заголосили еще больше, и речевки и песни полились сразу на двух, украинском и русском языках, а от динамовских желто-голубых флагов зарябило в глазах. Началась самая настоящая массовая истерия, продолжавшаяся весь перерыв. На который фанаты пошли не только крича, но и распевая переделанные по такому случаю популярные советские хиты того времени. Одна колонна справа от нас уходило с трибун распевая «Идет солдат по городу». Только вместо «солдат» было поставлено «фанат»:

Идет фанат по городу, по незнакомой улице,  
И от цветов динамовских вся улица светла!..

Другая, довольно внушительная колонна киевлян помоложе и задиристее, уже по левую руку от нас, просто вопили перегнувшись через парапеты трибун и ожесточенно размахивая флажками:

Вместе весело шагать  
По болотам,  
По болотам,  
С пулемее-е-том!

А коронное «Динамо с Днепра!» с последующими шестью ритмичными хлопками тысяч рук вообще полностью оглушили нашу бедную и маленькую группу поддержки казахстанской команды, притулившуюся маленьким островком цвета вылинявшей защитной стройотрядовской формы в бесконечном желто-голубом океане. Нам бы могли при другом раскладе даже морду попытаться набить. Но «Динамо» в очередной раз уверенно побеждало, да к тому же шарфами и флагами цветов соперника мы не размахивали и речевок дикими голосами не голосили. Так что, посчитав нашу группу просто недоразумением, неведь как здесь оказавшимся киевские болельщики нас в тот вечер благосклонно проигнорировали.

Мы правда, пытались тоже что-то кричать про «Кайрат — чемпион!», особенно во втором тайме, когда игра стала равной и наши игроки неожиданно зажали хозяев в их собственной штрафной площадке. Но покричав, тут же осеклись, когда после хитрой контратаки динамовцев их нападающий вышел

один на один с нашим вратарем. К счастью все обошлось, и киевлянин запустил мяч мимо Убыкина и мимо наших ворот в голубое киевское небо. Хотя игру «Кайрат» все-таки проиграл, пусть и с минимальным счетом, оказал достойное сопротивление.

А на обратной дороге в автобусе, мы долго еще обсуждали перипетии матча, поочередно держа подаренный «кайратовский» мяч и гадая какое место займут наши футболисты в чемпионате. О том, что киевское «Динамо» станет чемпионом в этом году, не спорил никто. Приехали в лагерь затемно, ближе к полуночи, когда соседи-украинцы уже залегли, отшумев и закончив отмечать победу «Динамо». Да и нам было не обидно. Заканчивалась такая необычная и замечательная суббота, завтра намечалось воскресная баня и чистка, а значит не нужно было идти на работу. Можно было на полчаса больше поваляться в кровати до подъема, постираться и помыться, да и просто слегка перевести дух.

#### IV

— Раствор!

— Эй, молодой, давай тащи раствор! Кирпич стынет!

Молодой — это, стало быть, я. Действительно, будучи всего лишь девятнадцатилетним и совершенно неопытным в стройотрядовских делах, был я определен на работу тяжелую и не такую почетную, как, скажем, каменщик или штукатур. А именно — разнорабочим. Или подносчик-подбросчик, в первую очередь, раствора — цемента, смешанного с водой до вязкой массы, и без которого кирпич просто не удержится на возводимой стене.

— Ну, ты че там, заснул? Тащи раствор!

Это бригадир нашей семерки, этакой мини-бригады, на которые был разбит весь отряд. Каждой бригаде отвели фронт работ и дали по дому, который надо было построить. Так вот нашим бригадиром был парень с юрфака по имени Булат, или просто Була. Лысоватый, худощавый, жилистый, выросший на селе и отслуживший в армии, Булат был в отряде и среди нас признанным авторитетом, будучи старше всего лишь на каких-нибудь пять лет всех остальных, а меня — лет на семь-восемь. Похож он был, скорее, на сельского учителя химии или математики, чем на будущего юриста или же строителя. Но, переведшись с заочного, он проработал не одно лето в студенческих строительных бригадах и возвел не одну кошару в Нарынкольском районе Алма-Атинской области. Так что мастерком каменщика и молотком плотника Булат владел в совершенстве. Был он также на язык очень язвительный, иногда прямо едкий, и на язычок ему старались не попадаться.

Как прямо былинный Алдар-Косе из казахского фольклора, дурачивший визирей и ханов и обманывающий их в пользу бедняков. Он даже на мой счет прохаживался для начала, чем доводил меня в первые дни до бешенства. Я, помню, даже орал ему, что я не мишень для его приколов, и пытался уходить. А куда ты денешься с подводной лодки, то есть, со стройки? Вот и приходилось, стиснув зубы, терпеть это хулиганство. Впрочем, вскоре Булат насмеяться надо мной перестал, видимо, надоел я ему, да и таким острякам постоянно нужны новые «цели». Какими, к моему большому облегчению, вскоре стали другие бойцы, а вслед за ними — и наш комсомольский комиссар. Однако, шутить над комсомольским начальством надо было осторожно во избежание неприятностей по возвращении, ибо всем известно, что злопаметнее комсомольских начальников могут быть только очень ревнивые жены. Но так или иначе, после первых притирок мы с Булатом зажили мирно до самого конца строительной эпопеи.

Под стать ему, только намного спокойнее, был другой мой товарищ по бригаде по имени Мурат, или Мура. Коренастый, смуглый, флегматичный, с жесткой копной непокорных черных, как уголь, волос, был он также сноровист и умел на стройке и, похоже, интересовался и думал только о двух вещах.

Первой его заботой и гордостью были усы, растянувшиеся тоненькой изящной ниточкой над верхней губой. Как бы ни уставал он после смены, а выматывались мы после двенадцатичасового рабочего дня ужасно, Мурат всегда находил хотя бы пару минут, чтобы пригладить, подровнять свою гордость и богатство, всегда нося в кармане специальные ножницы-щипчики и маленькую расческу.

Другой проблемой, постоянно занимавшей воображение Мурата, было возможное воздействие чернобыльской радиации на его мужские способности. Дело в том, что в Алма-Ате, в общаге, осталась у него подруга. Звали ее Гульнара, и была она против этой поездки именно по той самой причине. Однако Мурат подругу не послушал и поехал в стройотряд на Украину, уверяя Гулю, что с его мужским началом ничего плохого случиться не может. Хотя самого его подобные сомнения все же терзали. Как и всех нас.

Мы же совершенно тогда не представляли, куда мы едем, и что с нами может случиться. Знали только, что не реактор тушить едем, а строить жилье для эвакуированных из зоны. Между тем, слухи вокруг ходили разные, в том числе и на строительной площадке. Ежедневно, просачиваясь из утренней болтовни домохозяек на рынке и в очередях Киева, полуночных разговоров дальнобойщиков и проводников и прочего народного «телеграфа».

Говорили, что в самом Киеве вся партийная знать уже вывезла семьи и детей своих как возможно дальше от опасной зоны, а сама сидит на чемоданах и готова «рвануть» в любой момент. Говорили, что ветер понес облака радиации на соседей по Европе и те готовы стрелять по ним (облакам) из специальных пушек, чтобы повернуть их обратно на Союз. Слышали мы также байки, как будто вся радиация, принесенная из зоны АЭС оседает на верхушках деревьев в окрестных лесах, поэтому ни в коем случае нельзя ходить в лес и упаси Господь приносить из этих лесов ягоды и грибы. Возле стройки, кстати, росла небольшая сосновая рощица, которая, в силу этих слухов, была абсолютно пустынная и даже зловещая какая-то. Даже «отлить» бойцы старались вне этой рощицы, что для советского человека вообще немыслимо. Никогда не видел я не то что оленей там, лосей или лисиц, выходящих из той рощицы к людям в поисках случайной пищи. Даже птицы, казалось, не залетали туда и вороны не устраивали своей обычной свары по утрам. А как-то вечером, в сумерках, при возвращении с работы, померещились мне какие-то неясные черные тени в глубине той заброшенной рощицы. Скорее всего, просто обман зрения, хотя кое-кому из отряда они тоже привиделись, но уже над верхушками поникших деревьев.

Так вот Мурата размолвка с подругой и последствия радиации на свое половое развитие слегка напрягали. После раздумий долгих он вдруг начинал изливать нам душу, обещая, что по приезду так «даст прикурить» этой Гульке, так, что она ни о чем другом и думать не будет. Монологи эти обычно завершались клятвой, что потом-то они точно поженятся и будут жить долго и счастливо, растя обильное потомство (по меньшей мере, трое, а желательно, шестеро-семеро детей обоого пола). А за обедом и ужином, мы, настроенные монологами Мурата на определенную волну, обычно просили двойную порцию сметаны, повышающую, по студенческим приметам, мужскую потенцию. Кстати, все страхи оказались напрасными, так как, прилетев домой в Алма-Ату, мы первым делом проверились на уровень радиации. И с облегчением узнали, что он не превышает среднего алма-атинского.

Еще у нас в бригаде был русский парень Алексей, Леха. С философско-экономического факультета. Тихий, спокойный, тоже бывший армеец. Сначала мы с ним таскали раствор на носилках, когда каменщики еще только начинали укладку шлакоблоков или кирпичей над фундаментом будущего дома. Потом, когда каменщики начали «расти» вместе со стеной, мы разделились и для быстроты стали таскать по отдельности, ведрами. На каждого из нас, разнорабочих, приходилось, в лучшем случае, два, в худшем — три каменщика, которых надо было вовремя обслужить. У каждого из каменщиков — свой любимый мастерок. Благо что бригада несла ответственность за инструмент и на ночь запирала его в командирском вагончике. Так что, мастера друг у друга не воровали. Можно было еще ножом или гвоздем нацарапать на рукоятке малюсенькие инициалы или ручку изолентой как-то хитро обмотать.

Так или иначе, работа шла споро и вскоре мы уже доставляли ведра с раствором, поднимая их на высоту своего роста, которое Мурат и Булат и другие ребята-каменщики у нас перехватывали. Пока отнесешь ведро одному, уже второй просит раствора, и ты бежишь к «песочнице», набираешь лопатой чавкающую вязкую массу и так же быстро несешься обратно. На ночь раствор старались в «песочнице» не оставлять, чтобы не застыл к утру и не пришлось бы его долбить лопатой. Хороший каменщик раствор бросает на глаз ровно столько чтобы кирпич на стене замертво закрепить и излишек по той стене не размазать. Если на одной площадке попадетсся два или более квалифицированных каменщика, ни один из них ни за что не допустит, чтобы кто-то другой возвел стену раньше, чем он сам.

В результате такого «соцсоревнования» у меня и других подносчиков уже к обеду гудели руки и спина, а ладони были истерты ручкой ведра в кровь. Несмотря на строительные варежки. К концу первого месяца те раны зарубцевались и превратились в коричневые, жесткие и абсолютно бесчувственные мозоли. Когда же мы, за день наслушавшиеся: «Давай раствор!», может быть, десять тысяч раз, уже шли на построение и потом в столовую и домой, наши каменщики все равно задерживались еще на пять-десять минут на площадке после нас, проверяя ровность стены и очищая инструмент для завтрашнего утра.

В трусах бегать по стройке даже в дикую жару в эпоху позднего развитого социализма и ранней перестройки категорически запрещалось, но верхние рубашки-майки-спецовки срывали в разгаре рабочего дня все. Хорошо хоть не обгорали сразу на украинском солнце, как на алма-атинских водоемах, а поджаривались медленно и равномерно. И несмотря на жару, духоты не было, будь то раннее утро, полдень или вечер.

Парень, Алексей, был немногословный и больше, казалось, просто слушал, чем говорил. Или думал о чем-то своем. На перерыв-перекур любил он уходить за стройку, в степь, простирающуюся перед деревенькой, и долго сидеть там, размышляя и покусывая травинку.

Впрочем, долго перекуривать нам не давали, работа подгоняла, а вот на обед начальство выделяло целый час! Приезжал специальный грузовик с едой, в вагончике, где сидело начальство стройки, румяные украинские поварахи накрывали длинный стол, и начиналось пиршество! Кормили нас, помню, очень хорошо, особенно, за обедом и ужином. Украинский густой и вязкий борщ с плавающими в нем большими кусками отварной говядины, огромные котлеты «по-киевски» (с начинкой), делящие тарелку с картофельным пюре, сладкий, наваристый компот из свежих фруктов, да и много чего еще. Ели от пуза, и добавки можно было брать, сколько влезет. Выходили из вагончика, покачиваясь, и валились прямо здесь, на траву, уставившись в

бездонное, глубокое украинское небо, восстанавливая силы для послеобеденного броска, который продолжался вплоть до наступления темноты.

## V

Создание нашего строительного отряда было, как известно, вызвано обстоятельствами чрезвычайными: Чернобыльской трагедией. Дома для беженцев нужно было возвести как можно быстрее — до наступления холодов — значит, до конца сентября. Потом дата изменилась: объекты надо было сдать к первому сентября, чтобы дети эвакуированных чернобыльцев могли пойти вовремя в школу, как миллионы других советских детей. Именно по этой причине не был наш студенческий отряд обычным ССО в его привычном понимании. То есть работа на износ в течение двенадцати часов была, как и у таких же отрядов, что вкалывали на строительстве кошар, коровников и ферм в сельских районах Нарынколь и Кегень Алма-Атинской области, а вот песен у костра, танцев и драк в местном клубе не было.

Ребята из хмельницкого или львовского стройотрядов еще проводили КВНы, и агитбригады у них были, дававшие концерты перед местными жителями. Может, потому что были они почти у себя дома, и такого комсомольского пресса над ними не было. По всей стране в то советское время председатели совхозов выбирали, кого взять к себе работать на лето: студенческие отряды или «шабашников», состоящих из профессиональных строителей, разъезжающих по областям в погоне за «длинным» рублем. Чаще всего выбор падал в пользу студентов, так как, помимо работы, они еще и несли культуру в массы деревенского народа. В нашем отряде никакой агитбригады не было.

Еще одно принципиальное различие с другими ССО было в отборе и одобрении кандидатур бойцов и начального состава в наш КазГушный отряд.

В основе любого отряда лежит хозрасчет и самоуправление. Самый первый студенческий стройотряд был создан в 1959 году в разгар целинной компании на базе физического факультета МГУ. Сам Хрущев, узнав об этом наложил резолюцию: «Думаю дело хорошее. Надо поддержать».

Так вот командиров, комиссаров и мастеров в большинстве ССО 60-80 годов выбирали-назначали в добровольно-принудительном порядке из числа самих студентов. Бригадирями звеньев становились чаще всего старшекурсники, уже отработавшие пару лет и нажившие хорошую трудовую и административную школу. А рядовых строителей набирали из первокурсников, рвавшихся подработать после летней сессии.

В нашем отряде первокурсников не было категорически как морально не созревших для такого ответственного комсомольско-партийного задания. Шутка ли, на кону стоял не только престиж университета, а всей республики! Кандидатуры бойцов отбирались и одобрялись только «большим» комитетом комсомола КазГУ по ходатайству факультетских «малых» комитетов. Кандидатуры командира, комиссара и мастера ушли на одобрение в заоблачные дали ЦК ВЛКСМ Казахстана.

До сих пор гадаю, как мне, не служившему в армии, не нюхавшего порошу второкурснику факультета журналистики, удалось попасть в тот отряд. Особенным комсомольским задором я тогда не горел. Правда, был комсоргом своей группы, коим меня с ходу назначили после колхоза на абитуре. Издавал факультетскую стенгазету, собирал взносы. Строительного опыта у меня практически не было, не считая пребывания в факультетском ССО на территории нашего студенческого университетского городка летом 1985 года. Хотя мы были, в основном, заняты благоустройством КазГуграда, напоминав-

шого захлавленную строительную площадку. Нас возили на автобусах на окраину города Алма-Аты, где мы убрали строительные завалы, помогая одному городскому СМУ (строймонтажуправление). Отряд состоял из трех парней и двадцати девчонок. Убрал кое-как мусор, мы лишь слонялись по стройке или перекуривали часами в тени деревьев. Видя, как мы «убиваемся», строители даже частушку про нас сочинили неприличную:

— Мы, студенты из КазГУ,

Нам работа по х...!

Наши девчонки сильно на это не обижались и сами тоже вносили посильную лепту в народное песнетворчество:

КазГУградские девчата

Ох, какие модные!

Гвоздем кудри завивают,

Говорят – природные.

И вот, спустя лишь год, я оказался в окружении настоящих стройотрядовских «волков», где на частушки, агитбригады и перекуры времени и сил просто не было. Отсутствие практического опыта работы в «настоящем» ССО приходилось наверстывать на ходу.

Добавьте сюда наше состояние приезжих из сравнительно благополучного тогда в 1986 году региона страны, когда нас впервые провезли на туристическом «Икарусе» по малоллюдному Киеву. Школьный год тогда здесь завершился в столице Украины почти на два месяца раньше — сразу после майских праздников детей развезли по пионерлагерям и санаториям, подальше от греха. Каждый час по проспектам типа Крещатика и другим улицам проезжали поливальные машины, обильно покрывая их водой. Считалось, что радиацию разносит пыль, и с помощью «поливалок» ее пытались прижать к земле.

Может быть, отчужденность наша, чужеродность на той украинской земле и помогли нам сосредоточиться и закончить то, за чем мы приехали тогда сюда? Хотя и были мы под тяжелым моральным прессом ЦК ВЛКСМ Казахстана, и за каждым из нас, включая командира-комиссара, наблюдали, что говорится «в микроскоп», а любое нарушение дисциплины в отряде привело бы к немедленному отчислению из отряда и отправке домой, а после этого — исключению из комсомола и, как тогда было, потере студенческого билета. Такое давление было. Но ведь и семьи наши были в безопасности, за тысячи километров отсюда, чего нельзя сказать о бойцах украинских стройотрядов.

## VI

Прошел июль и половина августа – на Украине месяца, в прямом смысле, предосеннего. Вслед за сентябрем уже приходили холода и снег. По ночам июльская прохлада сменилась настоящими заморозками, под утро в палатке «дубеешь» даже под шерстяным, армейским одеялом. И даже если спишь в стройотрядовской куртке и штанах, что многие тогда делали.

Я смотрю на светящийся в полумраке циферблат наручных часов. Без пяти минут шесть. Через пять минут подъем. Вставать с каждым утром становится все тяжелее и тяжелее. Те три почти отстроенных дома все-таки отняли у нас всю молодую, казалось бы, неистощимую силу и энергию. Не слышно уже шуток и веселья за завтраком и по дороге на стройку, как месяц назад. Молча встаем, угрюмо плетемся в столовую, а оттуда на работу. Глотаем горячую перловую кашу, запивая ее обжигающим чаем. Лица бойцов хмурые, невыспавшиеся. Как те тени черные из рожицы близ Белой Церкви.



Многие из бойцов уже даже не причесываются. Углубился в себя Мурат, перестав делиться с нами, собригадниками планами на будущее. Как-то потускнел улыбчивый, циничный Валихан. После долгого дня на стройке мы уже не шутим тайком над всеми как раньше, а просто обессилено молчим, отвернувшись к стене. Даже невозмутимый Булат, казалось меньше стал едко шутить со своего насеста на возводимой стене. А такой немногословный Алексей стал все чаще и чаще уходить в степь, мрачно созерцая опостылевший местный пейзаж.

Даже наш командир отряда, всегда энергичный и веселый Юрий Владимирович, и тот помрачнел. Он уже не будит нас по утрам как в начале смены: «Пора вставать, робяты!» Как будто детей в школу поднимает. Робяты.

Теперь он просто голову в палатку просовывает и ревет, как марал на случке, резко и злобно: «Подъем!»

Понятно, устали все до изнеможения. Уходим из лагеря затемно, возвращаемся тоже в сумерках. К тому же отцы командиры никогда раньше нас не укладываются, обсуждая и планируя до полуночи. Два неразлучных друга-«афганца» Баха и Шака, выжидавших было, когда начальство уляжется, чтобы пойти «погудеть» с местными разбитными девчонками-штукатурами в общагу в нескольких километрах отсюда и под утро крадущихся к палатке, сейчас еле переставляют ноги.

Похоже, нынче ни о каких девках-штукатурах они и не вспоминают.

Меня в это утро то знобит, то режет, а то и в жар бросает. Хотя температуры, вроде, нет. Пока. Эх, остаться бы в лагере на день дневальным! — проползает в мозг предательская мыслишка. Но нет, не могу, уже оставался недели две-три назад. Каждый боец может дежурить в лагере только один раз за смену. Да и то, отдыхом это не назовешь. Сначала нужно подмести огромную территорию палатки, коек так на тридцать, стоящую прямо на земле, без всякого пола. Потом поменять все наволочки и пододеяльники на свежие, отстояв небольшую очередь в каптерке завхоза. Ну и может, если повезет, помыться под краном холодной водой, побриться, постирать по мелочи, письмо домой написать или книжку почитать. Вроде, и не присел ни разу за день, а все равно как-то неудобно перед другими бойцами в момент их возвращения в лагерь. Какой-нибудь остряк, типа Булы, все равно ляпнет что-нибудь устало про «крыс тыловых». Нет уж, лучше со всеми.

Как только отстроили мы те три жилых дома, их передали отделочникам. Не из нашей бригады. Местные, «будивильники», то есть строители, как их здесь называют. Нам же выделили новый фронт работ, разбив наш большой отряд на несколько ударных групп. Кого на железнодорожную станцию Белая Церковь, разгружать целый день вагоны со стройматериалами. Кого на благоустройство только что отстроенного поселка для беженцев. Кроме домов жилых, еще надо и площадки построить детские, скамейки поставить, забор вокруг домов и всего поселка провести и покрасить. Меня и еще несколько человек как раз на тот забор и бросили.

Ближе к концу строительства ребята вдруг придумали: а давайте мы и забор возле поселка развернем. Какой же населенный пункт без четко очерченной границы! Не сплошной и высокий, а штакетник по пояс. Проходящий вообще по границе всего поселка. Причем, покрасить его нужно было в разные цвета, чтобы вновь прибывшим беженцам создавать настроение. И чтобы видно его было из каждого дома! Вот и красили мы его уже почти неделю, разбив участки между тремя-четырьмя бойцами, на протяжении всего поселка. Желтый, синий, зеленый. Так мы его поодиночке красили, таская банки с краской на специ-альной тележке. Почти как флаг Украины.

Ко вчерашнему вечеру я прошел почти две трети своего участка: желтый, синий, зеленый. Цвета, кстати, подбирались и под цвет вновь возведенных домов. Он был, если хотите, нашей визитной карточкой, нашим паролем, любовью и гордостью, что вот мы, казахстанцы, здесь были и, как говорится, от нашего дома к вашему.

Слухи пошли по поселку, что нас, как досрочно завершивших объект, направят на укрепление других стройотрядов, вкалывающих километрах в ста отсюда. Еще слухи донесли, что где-то неподалеку работает другой стройотряд из Алма-Аты, студентов архитектурно-строительного института.

Но это потом. Сначала надо закончить с поселком. И докрасить-таки этот долбаный забор. Желтый, синий, зеленый...

Ночью была гроза, прошел короткий, но очень интенсивный ливень. Дожди здесь, на Киевщине, прямо как в тропиках: льется с небес вода с грохотом, как водопад. А потом, через пять минут, ни луж, ничего! Как будто и не было его, грохочущего водопада. Только земля черная, плодородная, без следа и остатка благодарно впитывающая все до последней капли, слегка влажная.

В Алма-Ате такой силы и интенсивности ливень обычно оставляет следы в виде луж и сырости на несколько дней. И шумят, как горные реки, арыки по обочинам дорог, доставляя мутную дождевую воду из речек в озера. А здесь, только влажная земля и ни одной лужи.

— Твою комедию!

Задумавшись о том, какие дожди у нас в Алма-Ате, я вдруг наткнулся на впередистоящего и замершего, как бы споткнувшегося, земляка-стройотрядовца. Получилось, как в немом кино. Передние шеренги замерли, на них наткнулись позади идущие, за ними следующие и так далее. Образовалась этакая беспорядочная куча-мала с недоумением вззирающая на вновь образовавшийся пейзаж. Картина Репина «Приплыли».

Весь наш жовто-блакитный, с зеленой продрисью, забор, с такой любовью возводимый нами и покрашенный более чем наполовину, лежал теперь на земле бесполезной кучей деревянного мусора. Весь, до последней жердочки! Желтый, синий, зеленый...

Все, что мы возводили и красили больше недели, ночная стихия разрушила меньше, чем за два часа.

В недоуменной тишине опять почудилось мне, как завозились и ожили проклятые, черные тени из рощицы. И громко-громко матерился в ту минуту наш мастер, с виду такой интеллигентный человек, от которого я до того не слышал ни одного похабного слова.

Нужно было все начинать сначала...

## VII

Пока ждали грузовики с новым штакетником, получили приказ: срочно всем на близлежащую железнодорожную станцию — разгружать вагоны со стройматериалом. Станция маленькая, неброская, типичная деревенская. Даже не станция, а полустанок, заросший бурьяном и неухоженный. На одной из его «веток» и стал наш состав.

Вернее, только часть проржавевших вагонов, как бы раскрашенных коричневой бурой краской. Вагоны товарные, без крыши. В них стекловата, какие-то ящики, коробки с краской, гвоздями, мешки с цементом. Заело замок на воротах одного из вагонов, и бойцы вскарабкались на его верхние «ребра». Верхние стали подавать груз нижним по цепочке следующим, на насыпи, и так до самого грузовика.

Забрался и я на верхотуру, метров пять-шесть до земли. Поглядел вниз — мама дорогая! Как в пропасть смотришь, а с земли кажется не так высоко. А собригадникам моим страх не ведом, с одного вагона на другой как зайцы прыгают!

К слову, ни разу мы не сталкивались в то лето с таким явлением строительства, очень распространенным в 80-е, как прости. Всегда были материалы, цемент, шлакоблоки, стекло, гвозди и прочий дефицит, отсутствие которых обеспечивают долгие перекуры на обычных стройках. Грузовики и самосвалы подвозили и увозили, что нужно для строительства, чуть ли не десятки раз в день. Так подло размытый стихией несчастный забор заменили и привезли уже через день!

Второй год гласности и перестройки, несмотря на природные и техногенные катастрофы, свалившиеся на нас, оказался одним из самых романтических и позитивных периодов в сознании страны. Партии и ее Генеральному еще верили, как никому до них, и честно надеялись, что жизнь можно изменить к лучшему, просто немного обновив идеологию и экономику.

Поэтому и Чернобыль был нам не страшен. Мы не чувствовали себя здесь брошенными, даже будучи гостями, инородцами. И то досадное ночное недоразумение с забором не надломило нас, несмотря на глубокую усталость под конец строительства, а по-хорошему разозлило всех. От командира до рядового бойца.

А потому мы тот забор возвели и покрасили со второй попытки не за неделю, как первый, а за три дня. Бросившись на него со остервенением, как когда-то первые квартирьеры, на кучу шлакоблоков. Или как тридцать Матросовых на амбразуру. Без всяких там политинформаций.

И вот мы обедаем днем позже, закончив с забором и вообще с «объектом». Дома построены, забор восстановлен и покрашен. Поселок после небольшой чистки уже практически готов принять беженцев. Все шутят опять, как в начале поездки, травят анекдоты, хохмят.

Кто-то даже запустил вокруг стола шутку-«феньку», достойную кисти художника-фантаста: как мы, подлетая на самолете к Алма-Ате, вдруг видим над городом растущий медленно ядерный «гриб». Так шутят хирурги над кроватью только что прооперированного или паталогоанатомы в морге. Без малейшего желанья эпатировать или шокировать кого-либо, просто чтобы разрядить скопившееся напряжение. Так вот, сегодня мы хирурги и паталогоанатомы. С тем исключением, что наш «больной», похоже, будет жить.

По выходу из столовой я, не спеша и с наслаждением закуриваю и, повернув вправо, а не влево, как обычно, иду по направлению к заброшенной рощице.

— Эй, молодой, ты куда? — беспокоится Булат, — Нельзя туда!

— Я сейчас, — улыбаюсь я напарнику.

Подхожу, как только можно близко, к пожухлому, вылинявшему газону, разделяющему строительные площадки и заброшенный лесной массив. Слегка наклоняюсь вперед, пытаюсь рассмотреть что-нибудь в темном сыром полумраке удаленной рощицы. Ничего. Просто очень много деревьев, покрытых поредевшей и слегка пожелтевшей хвоей. То тут, то там на стволах завязаны красные и желтые сигнальные лоскутки. То ли пометки для замера радиации, то ли топографические «закладки». Роща молчит. Даже ветерок не шевелит ни хвою, ни лоскутки.

— Да нету там никого, — говорю себе я вполголоса.

Ни звука или движения со стороны рощицы. Мертвое молчание.

— А если и есть, — бросаю на землю окурочек и наступаю на него носком ботинка, растирая в труху, — А если и есть кто, то идите вы все!..

## VIII

Последняя наша рабочая неделя в конце августа выдалась какая-то незапоминающаяся. Получилась она ни долгой, ни короткой, ни особо тяжелой, так как работу свою основную мы выполнили досрочно. Но и не слишком расслабленной, так как нас, согласно ходившим слухам, стали по утрам возить в соседнюю деревушку на помощь другим стройотрядовцам. По утрам мы также как всегда вскакивали в шесть утра, но потом минут сорок еще сладко посапывали в стареньком трясущемся и пропахшем соляркой автобусе, добираясь от Белой Церкви по пыльной сельской дороге со всего лишь одной полосой движения до нового места назначения, километрах в ста от нашего лагеря.

И так как со строительством домов мы, как и другие отряды, уже к концу августа закончили, то занимались в последнюю нашу трудовую неделю в основном, разгрузкой, побелкой и подчисткой территории. Работа муторная, особенно когда до отъезда осталась всего неделя, но все же не такая изнурительная как строительство домов по двенадцать часов в день.

Однажды при разгрузке самосвала одному из наших чуть не придавило огромной бочкой с мазутом или еще чем-то ногу. Кто-то зацепил ее, протаскивая мимо груз, и она, грузно грохнувшись на бок, покатила вниз по сходням. Прямо на идущего вверх за очередным грузом бойца. Тот еле-еле успел отскочить в сторону, и бочка под наши матерки прогремела вниз, врезавшись в ряд себе подобных. Но по ноге она его саданула все-таки предельно. Замешкайся он чуть подольше, могла бы и отдавить своей стокилограммовой тушей. А так просто кожу чуть с колена содрала.

Пока я с тем бойцом присел в качестве моральной поддержки покурить, то увидел в группе бойцов, разгружающих соседний грузовик, подозрительно знакомую фигуру с кудряшками на голове. Присмотревшись более пристально, я вдруг узнал в той фигуре своего одноклассника из нашей алма-тинской школы. Узнал даже со спины.

— Артурка! — завопил я радостно — Братан!

Он обернулся и несколько секунд лишь смотрел на меня недоуменно. Не узнавая. Пока его загорелая физиономия тоже не расплылась в счастливой улыбке:

— Костян!? Ты? Как? Откуда? Какими судьбами?

Бросились друг к другу, обнялись как братья. Завалили друг дружку вопросами, радостно тискаая. Оказывается, его отряд и есть тот «другой» из алма-тинского архитектурно-строительного, про который мы слышали неделю назад. Мы с ним в школе особенно не дружили, хотя и были в приятельских отношениях. А тут прям как прилипли друг другу, упрашивая бригадира поставить нас в одну «упряжку» по погрузке или очистке территории.

А на перекур садились на кучу шлакоблоков или ящиков сломанных, и вспоминали школу и десятый класс, которые закончили три года назад. И все не могли никак наговориться, неохотно отрываясь друг от друга под вечер. Просто увидеть знакомого из Алма-Аты, здесь за тысячи километров от дома уже было удачей. А тут еще одноклассника! Эта встреча меня тогда сильно поддержала, особенно морально, так как под конец я, не привыкший к таким физическим и прочим нагрузкам начал было «подкисать».

Удивительно, но я до сих пор, через тридцать лет после школы помню фамилии почти всех моих одноклассников. И лица тоже многие помню. Видимо детская память особенно крепкая, отпечатывает в себя навечно образы тех, с кем ты так долго сидел за партой, потел у доски, не зная правильного от-

вета, сбегал с уроков. Многих однокурсников я, например, сейчас бы точно не узнал. А школьных друзей, и не только друзей — помню всех.

Так, в разговорах и работе прошло еще два дня. На третий их отряд передислоцировался, говоря военным языком, на другой участок. Приехал Артур со своим отрядом на несколько недель позже нашего. Так что домой лететь ему пока не «светило». К тому же он оставался «камикадзе», так называли бойцов, остававшихся после того как все остальные члены отряда отправлялись домой. Типа квартиреров, только наоборот.

Только попрощались, чуть ли не со слезами, хотя в Алма-Ате со школы вообще не виделись и ничего, пришла еще одна весть, радостная. За то, что мы дома так быстро построили, и вообще, за то, что мы такие ударники труда, наградили нас, то есть, весь казгушный отряд, трехдневной поездкой в Москву. Включая гостиницу и питание, экскурсии на Красную площадь и в мавзолей Ленина, Горки и Звездный городок. Видимо, опять наш комиссар постарался. Зря, видно, я тогда в начале на него бочку катил...

Так что мы хоть по-прежнему, автоматически еще вставали как-то по утрам в продрогшей палатке, тряслись в разбитом автобусе и чего-то там на стройплощадке, волоча ноги, делали. Но в голове и, наверное, не только у меня, с утра до вечера, вертелось, как прямо у тех чеховских сестер:

В Москву! В Москву!

А перед этим были немножко суетливые сборы, таскание разобранных коек из палатки в каптерку завхоза. Был таким непривычно опустевшим наш палаточный лагерь. Хмельницкие и львовские студенты тоже уехали, предыдущей ночью. Так же собрались, сели в автобус и отбыли к себе на запад. Мы с ними толком и не попрощались. Да и мысли у нас уже были только про обратную дорогу. Хотя, как оказалось вскоре, не только про это.

Перед отправкой в Москву каждому из нас выдали, наконец, наши заработанные на стройке деньги. Обсуждать тот вопрос негласно бойцы начали за неделю-две до расчета. Кое-кого мучали неясные подозрения, которые позже к неудовольствию их, оправдались. Может быть тоже типичная черта стройотряда, гадать, получит ли твой напарник больше тебя? А может, просто, человеческая природа?

Получил и я за два месяца тяжелой работы — аж семьсот советских рублей! Как потом узнал от всезнающего Валихана — почти меньше всех в отряде, как молодой и без специальности. Больше всех получили каменщики и бригадиры. Что и породило разговоры среди остальных бойцов. С той поры как черную кошку между нами запустили, вплоть до самого конца поездки. Были недовольные, что им не доплатили за их тяжелый труд, хотя получили они почти по тысяче рублей. Казалось бы, дружный до этого отряд, теперь незримо раскололся на завидующие и считающие чужие деньги группировки.

Что проявилось позднее и в поездке по Москве и по дороге в Алма-Ату. Не разошлись, видать, до конца тени те черные, из рожицы, простым взглядом невидимые. Я, кстати, не роптал, опять же, один из немногих. Во-первых, для меня такой хозрасчет был в новинку: то, что я получил, казалось мне деньжищами громадными, которые я ни до ни после того лета в руках-то не держал. Во-вторых, та усталость, навалившаяся на меня с середины августа, к концу стройки просто одолела меня физически и морально, и мне было абсолютно все равно, кто и сколько заработал.

Но слышал, как недовольны были и Мурат с Булатом и другие парни, то ли тем, что кто-то заработал больше их, то ли тем, что кто-то их за это осуждает. А то, что деньги, как и квартирный вопрос портят людей, я слышал и раньше.

Потом по пути в аэропорт Борисполь опять была короткая остановка в Киеве. Школьный год уже начался, и детей на улицах стало больше. Люди, прохожие, нас как будто узнавали даже улыбались, в магазинах продавщицы старались отвесить кусок торта побольше, а не наоборот.

Перед самым самолетом пронеслись с короткой экскурсией по местным достопримечательностям. Прошлись по оживленным коридорам Киевского Госуниверситета имени Тараса Шевченко. Посмотрели мощи умерщвленных монахов в Киево-Печорской лавре, бросили в последний раз взгляд на широкий сине-голубой как само украинское небо Днепр, прошлись, торопясь, по все еще немногочисленному Крещатику с фонтанами и — прощай, Киев!

Прощай, Украина! Дай бог тебе и людям твоим пережить этот страшный год!

## IX

Москва встретила нас осенними дождями и очередями. Город, в котором никто, никогда и никого не ждет, жил той ранней осенью 1986 года своей обычной суетливой жизнью, мало реагируя на то, что происходило в стране. По крайней мере, понаблюдав за москвичами из окон автобуса да во время коротких пешеходных прогулок от одной достопримечательности к другой, у меня сложилось именно такое впечатление.

Очереди в то лето и осень были не только за спиртным. Хотя и опоясывали винные магазины столицы «петли Горбачева», как эти очереди тогда называли, ощущалась нехватка и прочих предметов первой и не очень необходимости. Стояли в очередях не только за «литром яблок», как тогда в шутку называли вино и водку, но и за туалетной бумагой, мебелью, сметаной, глазированными сырками, тортами и пирожными.

В одном из магазинов, возле которого остановился наш автобус, стояла довольно внушительная очередь за шоколадными конфетами. Хорошо одетые и холеные, но хмурые и неприветливые тетеньки средних лет, преобладающие в той очереди, мрачно обсуждали нехватку всего и косились в сторону нашего автобуса, возле которого стали скапливаться выходящие стройотрядовцы: Понаехали, тут...

Вечером, после многочисленных экскурсий решили мы отметить свое возвращение и путь домой и собрались в гостиничном ресторане на первом этаже. Не сказать, что Метрополь или Интурист, но сверкающие люстры, белые фраки официантов и блестящий хрусталь все же немного подавили нас своей роскошью. Да и публика была одета под стать, знойные южные мужчины в летних белых костюмах и остроносых рыжих туфлях, шелковые рубашки стоимостью в половину тех денег, что мы заработали на стройке за лето и, под стать им, тонконогие девицы в мини или полупрозрачных воздушных платьях. Их раскрепощенное поведение и уверенность выдавали в них завсегдаев подобных заведений.

«Сухой» закон и здесь, как и в Киеве соблюдали строго. Из преysкурантов цен напрочь исчезли горячительные напитки, а в баре торговали лишь соками и минеральной водой. Хотя и хитрили. Можно было договориться с кем надо, и водку тебе подадут в запечатанной бутылке «Боржоми», а армянский коньяк принесут в керамическом чайнике или кофейнике. Кое-кто из клиентов, я думаю, пригубили не один такой чайник, судя по громкой их речи и оживленному поведению.

Потом погас свет и начались танцы с дискотечной мигалкой. Заиграл хит того лета: «Братец Луи» в исполнении «Модерн Толкинг» и публика с визгом бросилась отплясывать. Причем несколько парней и девушек делали это

очень красиво, в ритм, почти профессионально. Мы только челюсти нижние опустили, и закрыть их до конца вечера не смогли. Кто-то из бойцов нашего отряда тоже вроде припустился в пляс, но скромненько так, на краю мигающей и грохочущей танцплощадки.

Вспомнилась почему-то фраза Остапа Бендера: «Мы чужие на этом празднике жизни». Действительно, как-то нелепо и жалко смотрелись мы в своей парадной, вылинявшей от стирок и выгоревшей на солнце стройотрядовской форме среди этих пляшущих, жующих и орущих «мажоров». Такие ловкие и сильные, карабкающиеся на стену и балансирующие с тяжелеными ведрами раствора на стропилах, или прыгающие без страха через вагоны бойцы смотрелись сейчас, здесь, на залитом огнями танцевальном поле нелепо и неуклюже. Как родители на набирающей «обороты» подростковой вечеринке. А костюмы те, стройотрядовские, я подозреваю, вообще были сшиты, чтобы бойцы в них выглядели как можно уродливей. Я лично никогда не видел, чтобы они кому-нибудь шли, от огромной, мешковатой куртки-робы, до пузырящихся штанов нелепого защитного цвета. И стало ясно в который раз, как от очередей до ресторанов Москва жила своей, отдаленной от всех, жизнью. И не было ей дела ни до Чернобыля, ни до перепуганных бездомных беженцев, ни до тех, кто отчаянно пытался им помочь.

Опять закололо то ощущение нашей инородности, какое иногда посещало меня уже до этого на Украине за прошедшие два с небольшим последних месяца. Хотя, покидая Киев и останавливаясь в его университете имени Шевченко, кафешках и магазинах на пути в аэропорт Борисполь, или же просто прогуливаясь у фонтанов в центре города, я заметил, что люди относились к нам хорошо. Благодарить не благодарили впрямую, но улыбались, разговаривали, расспрашивали. Так что Киев я покинул с размягченным сердцем. И вот опять это чувство своей ненужности, нездешности вновь охватило меня теперь уже здесь, в сытой и равнодушной Москве.

Скрасила немножко эту горечь поездка в Звездный городок в 25 километрах от Москвы, где мы посетили Музей советской космонавтики, планетарий и Центр подготовки космонавтов, поглазели на макеты «настоящих» спутника и сцепившихся в вечных объятиях космических станций «Союз» и «Аполлон».

А когда побывали в ленинских Горках, то совсем было развеселились, укладкой от экскурсовода скользя как на лыжах и устраивая гонки в огромных белых матерчатых тапках-калошах, выдаваемых каждому посетителю, чтобы не испачкать полы, по которым ходил когда-то сам Ильич. Горки вообще запомнились мне своей белизной чехлов, накинутых на мебель, книги и даже посуду и чистотой, несмотря на наплыв туристов.

Возле мавзолея очередь не меньше, чем перед магазинами. Но идет быстро: заняв свое место в конце длиннющего «хвоста», опоясывающего Красную площадь, мы через полчаса уже почти перед дверями, из которых безостановочно входит-выходит народ. Удалось посмотреть и смену почетного караула. Само по себе зрелище увлекательное, когда одни разводящие, оттягивая носки лакированных, блестящих сапог до уровня груди, сменили как в немом балете других. Народ смотрел, открыв рот в восхищении.

А в сам мавзолей толпа входила, опоясывала полукруг вокруг усопшего вождя, сильно усохшего в бесконечных бальзамированиях и так же благоговейно и в то же время с недоумением (и это все, что ли?) выходила через не закрывающиеся громадные двери. Почудился какой-то таинственный обряд, что-то вроде плясок племени у костра. И мы как часть того племени.

А в стройотряды я с той поры больше не ездил. Не потому что не хотел, просто не вышло, были другие дела. Большинство же наших ребят с того от-

ряда 1986 года, уверен, ездили и не раз, отстроив на «отлично» еще множество кошар и коровников. Но не жилых домов. Те дома, площадки детские и даже злосчастный забор по грудь вышиной остались у каждого из нас в памяти как единственные. В принципе, все завершилось хорошо. Те, кто хотел заработать — заработали. Те, кто хотел сделать на этом карьеру — сделали. Но то были результаты сиюминутные, в историческом смысле мелкие и незначительные. Что-то мы тогда сделали более крупное, до сих пор, тридцать лет спустя неосознанное нами и неизвестно, оцененное ли когда-либо. Да и не нужно это. Оставим громкие слова, как говорится, для потомков или для отчетов на комсомольских или партийных конференциях.

Кстати, нам потом, уже в Алма-Ате рассказали, что улицу, на которой те три дома были построены, назвали то ли Казахстанской, то ли Алма-атинской. Уже и не помню точно какой. Да и не так это сейчас важно, после стольких лет. Для меня важно лишь, что дома построены, и в них и по сей день живут люди, которые тогда и сейчас в них сильно нуждались. Если же, когда-нибудь, вспомнят те жильцы нас, строителей-будивильников из далекой Алма-Аты добрым словом, то и уже хорошо.

Киев – Алматы — Вашингтон  
Июль 1986 — Июнь 2016

**Новая книга Григорий Пруслина**

**состоит из избранных произведений**

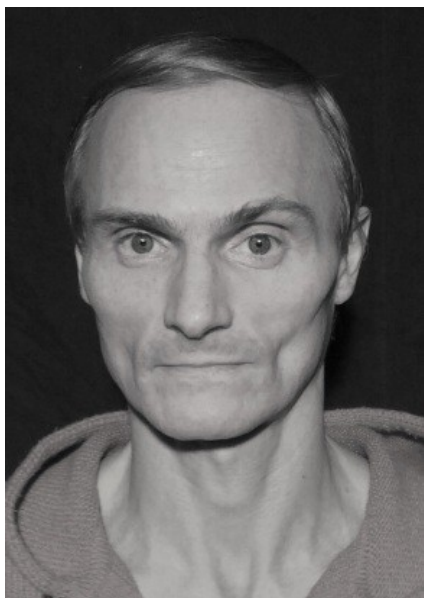
**автора — рассказов, очерков,  
интервью,  
написанных в Кельне,  
где он живет уже 18 лет...**



ЛИТЕРАТУРНОЕ **zaza** ИЗДАТЕЛЬСТВО  
VERLAG



## Олег Вацаев. Жизнь была разминкой... Стихи



Олег Александрович Вацаев. Родился 14 февраля 1970 года в Норильске. В 1998 году окончил Московский Литературный институт им. А. М. Горького, поэтический семинар Евгения Борисовича Рейна. С 2009 года проживает в Санкт-Петербурге. В 2012 году в красноярском журнале «День и Ночь» и альманахе «Енисей», были представлены стихотворные подборки Вацаева.

*Авторские строки, когда читаешь много и из разного времени, звучат многопланово, то резко, жёстко, то вдумчивым плавным текстом. Самое главное, что у Олега Вацаева строки, словно коды. Словосочетания, малые вкрапления их, рождают ассоциации той жизни, которой живёт автор, живём мы. Они выдёргивают из размеренного, возможно, уютного пространства. Проявляют звучание крика, закрытого ладонью —*

*так ломается хребет и рождается Слово.*

*Ирина Жураковская*

Грандиозна, грациозна, не видна,  
как струна, как тетива и тишина.  
То натянута, направлена: смотри!  
Отойди в сторонку и перекури.  
То ослаблена, прикрыта, не найти.  
Ты вдохни её, как дым и пропусти,  
угольком по многослойному холсту,  
сквозь свою и сквозь чужую теплоту.  
Обнажаясь, точно лезвие ножа,  
остывает обожжённая душа.

03.06.16

Карта легла рубашкой,  
карта легла картинкой.  
Жизнь была затяжкой,  
жизнь была разминкой.  
Парился на приколе,  
жарился на припёке.  
Питерские гастроли  
вымучены в бард-роке.  
Бычился, драл глотку,  
будто один в поле.  
Приняли негромко,  
дали по полной.  
Гостем, потом изгоем  
чалился и скитался.  
Не воевал строем,  
но и не зарекался.

Лакмусовой бумажкой,  
корочкой и начинкой,  
выстрелом и промашкой,  
выделанной овчинкой.  
Жизнь была дялянкой,  
Жизнь была заимкой.  
Скатертью-самобранкой,  
шапкою-невидимкой.  
20.02.2015

\*\*\*

Жизнь вертела меня на пальце,  
что крутышку в дрянной оправе,  
и высчитывала за яйца,  
равнозначно грядущей славе.  
За былые мои услуги  
и благие мои сомнения.  
Отдавала в чужие руки,  
не из мести, а для сравнения.  
Редко делала одолжения,  
часто ведала, что творила.  
— Подскажи мне моё решение,  
чтобы сразу всего хватило.  
Закормила меня мечтами  
и надеждами опоила.  
— Хорошо ли тебе?  
— Местами.  
— Исповедуйся. Я — могила.  
Вроде, спишь. И не видишь, вроде.  
Не "в ударе" и не в экстазе.  
На подходе, потом на взводе.  
Жизнь держала меня «на связи»,  
как на привязи. Не сдержала.  
Удивляла, не удивила.  
Ухватила за причиндалы.  
Удаляла — не удалила!  
Угощался "не по карману".  
Разбирался — до первой крови.  
Потакала, как графоману,  
и ловила на честном слове.  
И держался на честном слове.  
Сколько можно, пока не "спёкся".  
Обознался на минном поле,  
еле спасся, а не зарёкся.  
И несёт напролом, галопом,  
в мыле панка и пене шейка.  
Три копейки — вода с сиропом,  
Без сиропа — одна копейка.  
01. 2016

\*\*\*

Нас купили оптом под магазин.  
Согласиться не хочется, но придётся.

Виноваты все, а не ты один.  
Расскажи, что знаешь. Тебе зачтётся.  
Рассказал, что помнишь, и не болтай.  
Установят связи, замесят в базу.  
Не ложись на рельсы и не толкай.  
Не бывает так, чтобы всё и сразу.  
Но, когда заплатят, из тридцати  
отсчитай за хлопоты землекопу.  
Потому что ближе не подойти,  
Потому что дальше метаться глупо.  
Захотят — заруют. Учти, пригнись.  
Засосёт, и выжмут, чего не знаешь.  
Расскажи, что помнишь, и откажись.  
Адвокат – не лох и судья— не фраер.  
16. 12. 2015

Не читаю депеши с пометкой "срочно".  
Я писал такие и знаю точно,  
что имеют в виду телеграф и почта.  
Опасаюсь, сверяю знаки.  
Посети "наброски" у Андрияки  
в Москве, а в Питере – на Марата.  
Искусство требует жертв,  
но Искусство – свято.  
Бросаю всё и внезапно еду.  
Начну разговор, поддержу беседу.  
Ложка дёгтя тогда хороша к обеду,  
когда пресытился очевидным,  
привычное кажется ненасытным,  
обычное скучным, и глаз замылен.  
Диск души затёрт, запылён, запилен,  
как лучшие записи на виниле.  
Душа всегда остаётся в силе.  
Присмотрись и прислушайся. Осторожно.  
Иногда нельзя даже то, что можно.  
15.06.16

Могила Хлебникова на Валдае.  
Метафизический эссеизм Розанова.  
Сошествие Белого  
По золотому сечению пирамиды – с ума.  
Немое кино. Мейерхольд. Маяковский играет Базарова.  
Платоновский гений, не спасший рая, которым была Москва.  
Куколки и птицы Ольги Афанасьевны Глебовой-Судейкиной,  
Наводящие ужас, внушавшие жуть, убивающие на месте.  
"Александрийские песни" Кузмина, Николай Гумилёв.  
Осип Мандельштам, Марина Цветаева...  
Охрани и помилуй их, Господи!  
Земля такая маленькая, но есть ещё, где укрыться.  
Но не укрыться.  
И не слышит Председатель Земного Шара.  
Только Валдайские колокольчики над крестом — тише.

## Сара Бендетская. Шанс. Профессор идиша. Два рассказа



Сара Бендетская родилась в Москве. В шестнадцатилетнем возрасте переехала в США, затем в Канаду и в Австралию. Работает журналистом и редактором в благотворительной организации г. Мельбурна, пишет рассказы и ведет блог «Baggage of Thoughts».

Публиковалась в газетах и журналах Австралии, США, Канады, Израиля, Германии и России.

Имеет степень бакалавра в области английской литературы и коммуникаций, а также степень магистра в издательском деле и связях с общественностью.

Несмотря на очки и статус мамы двоих детей, продолжает охотиться за шоколадом и верить в чудеса — большие и маленькие.

### ШАНС

*«Шанс» — рассказ об иудейской Пасхе в США, о девушке, приехавшей туда, видимо, по обмену, на учёбу. Интересны детали рассказа, свидетельствующие об авторской манере С. Бендетской. Здесь всё в проговорке, всё в мелочах. Это и обрывки разговора с новой знакомой, и мысли о том, что ещё в начале нулевых печатали фотографии ушедших из жизни родственников...*

*Мне нравится то, что написано автором. У неё есть свой голос, собственная манера... Но всем известно, что проза требует ещё и «массы», критической массы! Потому и жду от автора новых интересных рассказов и открытий...*

*Инна Иохвидович*

В Техас я попала случайно. Наступали пасхальные каникулы, и моя одноклассница Хана предложила провести праздник у ее родителей, аж на другом конце страны.

За год учебы в Штатах, кроме строгого Питтсбурга, где располагалась школа, да праздного, но далекого Нью-Йорка, я не видела ничего. И хотя меня жутко тянуло к родным в Москву, я понимала — Техас тоже дело. Не сидеть же мне в семнадцать лет все каникулы в общежитии?

Накануне отъезда я наскоро побросала одежду в сумку, но от волнения долго не могла заснуть. Интересно, как там в Хьюстоне, у Ханы?

Наверное, жарища, кактусы, ковбои в сомбреро — все же дикий Запад! — горничные-мексиканки, текила, испанская речь... Засыпая, я представляла, как в аэропорту встречу Чака Норриса, но разумеется, сделаю вид, что знать его не знаю, а он назовет меня сеньоритой и галантно погрузит в такси мой чемодан...

Вместо Чака нас встретил папа Ханы — лысеющий мужчина средних лет с красными глазами и усталой улыбкой. В руках он держал пакет со свежими булочками и две бутылки мангового сока.

— Привет, пап! — кинувшись отцу на шею, закричала Хана. — Ты что же, прямо с дежурства?

— Ну да, — ответил он с едва заметным бразильским акцентом и протянул нам еду, а сам подхватил чемоданы. — Ничего, отдохну попозже, а вы ешьте. С этими дешевыми ранними рейсами разве успеешь позавтракать?

— Папа — хирург, — с набитым ртом шепнула Хана. — Он постоянно на работе... Но ты не волнуйся, на праздники дома полно народа. Вот увидишь.

И действительно, уже у порога нас встречала многочисленная, шумная семья Ханы — мама в ярком фартуке, долговязые братья и веснушчатые сестры — человек шесть, не меньше! — тетя, дядя и парочка племянников из Бразилии, бабушка в инвалидном кресле и соседка с фикусом в руках. Все они говорили, спорили и смеялись одновременно, но стоило нашей машине припарковаться у дома, поспешили к нам навстречу.

Я не ожидала подобной реакции. Мама Ханы отвела меня в просторную светлую столовую, накормила тыквенным супом, а затем протянула телефон и предложила позвонить родителям в Москву, чтобы они не волновались. Казалось бы, где семья Ханы, а где я, чужая девочка из России с ломанным английским?

В канун Песаха\*, мы с Ханой, ее мамой и остальными женщинами почти не выходили из кухни, ведь предстояло перечистить несколько ведер овощей и приготовить тысячу и одно блюдо. Мужчины заносили все новые коробки с мацой и вином, а бабушка Эстер рассказывала с каким размахом отмечался праздник в ее родном штетле\* под Рио де Женайро до переезда в Америку.

Я слушала с открытым ртом. До чего же ее истории походили на рассказы моего деда! Вот только в украинском местечке вряд ли можно было приготовить к празднику кокосовый пирог и мусс из авокадо на десерт...

\*\*\*

Первый день Песаха пришелся на субботу. Проснувшись часов в одиннадцать, мы с Ханой все же решили сходить в ближайшую синагогу, находящуюся в пристройке торгового центра.

Белоснежный храм торговли благоухал духами; пестрые, кричащие витрины зазывали посетить самые выгодные распродажи сезона. Вокруг суетились люди, обвешанные покупками.

Мы свернули направо и оказались у входа в синагогу. На обшарпанной двери висела с любовью вырезанная деревянная звезда Давида.

В маленькой комнате собралось человек тридцать. Молитва подходила к концу. Мужчин и женщин разделяла мехица\* — перегородка-жердочка с хлипкой шелковой занавеской. Хана встретила знакомых и побежала общаться.

В поисках места, я обратила внимание на пожилую женщину в косынке. Она не отводила глаз от пожелтевшего сидура\* с вязаной закладкой. Набухшим от артрита пальцем женщина водила по строчкам и тихо напевала текст молитвы, редко попадая в такт мелодии:

*"Эйн кэлой-хейну, эйн кадой-нейну, эйн кэмалкейну, эйн кэмойшиэйну"...\**

Я сразу узнала русский акцент и села рядом. Женщина подняла голову, поправила косынку и широко улыбнулась.

— Добро пожаловать в Хьюстон. Я Полина, — сказала она. — А вас как зовут?

— И я Полина, а по-еврейски Сара. Только как вы поняли, что я говорю по-русски? Я же ничего не успела сказать? — удивилась я.

— Сара — какое хорошее имя! Интересно, мне бы тоже подошло? — засмеялась Полина. — А что касается русского языка, ваши золотые "вишенки" говорят за себя. — Видимо, вам их подарила мама или бабушка. Такой дизайн не встретить в Техасе. Точно такие же сережки я привезла из Союза

тридцать пять лет назад. Я хотела подарить их моей внучке Джессике, но мой сын считает их несовременными...

— Вы очень проникательны, — признала я. — Это подарок моей бабушки. Ее уже нет в живых...

— Это все условности: жизнь, смерть... По-настоящему близкие остаются рядом. Сначала их видишь, потом чувствуешь изнутри... Так говорил мой Боря, царство ему небесное, и как всегда был прав, — Полина вздохнула и убрала молитвенник в сумку. — А впрочем, давайте не будем о грустном. Вы сегодня очень заняты? Часиков в пять? Приходите ко мне в гости на чай. Я живу недалеко, в "программной"\* высотке. Можете не сомневаться, у меня дома все "глат кошер"\* по самым строгим правилам.

Хана стояла за спиной Полины и знаками показывала, что пора идти. — Хорошо, приду, — кивнула я, поднимаясь. — В какой квартире вас искать?

— В 255-ой. На тринадцатом этаже. Не слишком устанете без лифта?\*

Внутри что-то екнуло. В это самое время, за тысячи километров от Техаса, в 255-ой квартире на тринадцатом этаже праздновали Песах мои родители.

\*\*\*

Дом Полины я нашла быстро. Многоэтажка выделялась на фоне гладких современных коттеджей темной кирпичной кладкой и старыми решетчатыми окнами. Подъездов в доме было восемь; указатели номеров квартир отсутствовали.

Наугад, я зашла в душный подъезд и поплелась на тринадцатый этаж. Лестница была исписана граффити; на третьем этаже ступени были усыпаны осколками битого стекла; на девятом подростки курили траву. Один из них присвистнул мне вслед; я ускорила шаги.

Наконец, я оказалась на тринадцатом этаже. Колени ныли, пот струйкой тек по позвоночнику. Квартиры 255 не было и в помине.

«Хьюстон, у нас проблемы!\*

... Во дворе я увидела Полину. Она сидела на лавочке у соседнего подъезда и читала потертый томик Псалмов\*.

— Вот вы где! — запыхалась я. — А я уже думала, что не найду...

— Да, тут многие теряются, — улыбнулась Полина. — Дом большой, а мы маленькие. Я специально вышла встретить вас, Сарочка. Спасибо что пришли.

Я вновь очутилась на лестнице. Полина держалась за перила и часто оттаивалась. Во время передышек, она рассказывала о доме и жильцах:

— Вот тут живет плотник Хосе, тоже эмигрант, как и мы с вами. Замечательный мастер, талант! Это он вырезал магендувид\* для нашей синагоги. Копейки не взял, а сам живет на одни фудстемпы\*... — А вот здесь прекрасный вид на панораму города! Хотите посмотреть? Нет? Ну чуть позже, до заката есть время... А там — мои друзья, Зоя с Милей. Зоя — учительница музыки, а Миля садовник. Если б вы знали какие розы он выращивал раньше! Месяц назад их сын Гоша погиб в Афганистане... Единственный ребенок... Такой цурес\*, не приведи Господь...

Окна в Полининой квартире были распахнуты; по коридору гулял теплый весенний ветерок. Миниатюрный круглый стол в гостиной был накрыт белой клеенкой. В центре стояла вазочка с искусственными незабудками. Вдоль стен висели фотографии детей и внуков — черно-белые и полароидные; с выпускных, свадеб и дней рождения. В 2002-м, мы еще печатали фотографии близких...

Полина переоделась в тапочки и поспешила на кухню. Я пошла следом.

Столешницы и кафельный фартук напоминали одеяло из лоскутиков. Не-ряшливые, кривые заплатки из фольги и изоленты сияли серебром\*.

— Простите если что не так, Сарочка, — опустила глаза Полина. — К Песаху я готовилась сама, очень старалась все сделать как надо, но возраст уже не тот, руки трясутся... Не постоянно, слава Б-гу, но все чаще... А так, конечно, можно было и поаккуратнее заклеить.

— А... как же сын? — зачем-то спросила я и сразу пожалела. Вот кто меня тянул за язык?

— Сын... Он очень занят, — вздохнув, ответила Полина. — И по правде... считает меня немного того... Мы сами виноваты. Не привили детям интереса к своим корням. Кричали о важности образования, эмиграции, свободы слова... Смеялись над старческими выдумками и ритуалами. Чего уж тут ждать теперь на собственной старости...

— А как же вы сами?..

— А что я? — пожала плечами Полина. — Что я могу понимать? Если ли Б-гу дело до зазубренной молитвы какой-то старухи? Ее застираной, съезжающей на лоб косынки?.. Сикось-накось заклеенной кухни в Техасской квартирке на тринадцатом этаже? Влияет ли это на что-то? А может, я просто даю шанс моим родителям, бабушкам и дедушкам или даже самому Б-гу оставаться в живых?..

Время покажет. А пока... пойдете пить чай. У меня есть отличное яблочное повидло. Сарочка, будьте добры, достаньте розетки из буфета.

*Мельбурн, 2016*

---

\*Песах — Один из центральных еврейских праздников года. Посвящен освобождению еврейского народа от египетского рабства.

\* Штетл (идиш) — небольшое, как правило, поселение полугородского типа, с преобладающим еврейским населением.

\* Мехица (ивр.) — барьер, разделяющий мужскую и женскую части в синагогах, согласно требованиям еврейского закона. В роли мехицы может выступать балкон, стена, невысокая ограда или занавес.

\* Эйн кэлой-хейну (ивр.) — еврейская поэма-молитва, возвеличивающая Всевышнего.

\* Программная высотка — субсидированное жилье для малоимущих в США много лет распределялось по особой "восьмой программе."

\* Не слишком устанете без лифта?\* — В Шабат ограничено использование электричества и нажимание электронных кнопок лифта попадает под запрет.

\* Глат кошер — термин, означающий наивысший уровень кошерности.

\* «Хьюстон, у нас проблемы!» — известная фраза из фильма "Аполлон-13"

\* Магендувид (идиш) — звезда Давида.

\* Фудстемпы — от английского "Food stamps", продовольственные карточки для малоимущих в Штатах.

\* Цурес (идиш) — несчастье

\* Томик Псалмов — имеется в виду книга Псалмов Царя Давида.

\* Неряшливые, кривые заплатки из фольги и изоленты сияли серебром — на праздник Песах во многих ортодоксальных общинах принято покрывать фольгой плиту и столешницы кухни, чтобы избежать любого возможного прикосновения с квасным, запрещенным к употреблению в праздник.

## ПРОФЕССОР ИДИША

*Прототип героя рассказа — профессора языка и литературы на идиш — профессор Ливиу Либреску, знаменитый американский профессор технических наук и механики Вирджинского Политехнического Института. Румынский еврей, переживший Холокост, он ценой своей жизни помог спастись в теракте двадцати своим студентам. Это произошло в 2007 году.*

*Профессор идиша Хэльд, как и Либреску пережил Холокост. Теперь он преподаёт родной язык своим студентам. Для него идиш — живой язык, хотя его носители, обитатели европейских местечек — штетлов, погибли. Сам профессор, старый и одинокий пытается передать студентам волшебство и очарование языка, рассказать о книгах, написанных на нём.*

*Рассказ одновременно и трагичен и, несмотря ни на что, светел! Недаром старый профессор так часто думал о своих единоверцах, что погибали, осылая имя Всевышнего!*

*Инна Иохвидович*

*Посвящается профессору Роберту Вулфу  
и профессору Ливиу Либреску\*, светлой памяти.*

Здание еврейского университета находилось на западной стороне города. На втором этаже этого массивного сооружения располагалась кафедра иностранных языков, истории и литературы. В самом конце коридора, на дверях маленького кабинета, висела скромная, выцветшая табличка: «Класс еврейской литературы и языка идиш».

Два раза в неделю дверь этого кабинета открывалась рукой профессора Арье-Лейба Хэльда, семидесятишестилетнего сутулого мужчины, с глубокими глазами человека, пережившего Холокост.

Он заходил в аудиторию шаркающей походкой, кротко улыбался немногочисленным студентам, поправлял громоздкие очки в коричневой роговой оправе и неизменно приветствовал присутствующих баритоном с легким румынским акцентом:

— Шолом Алейхем\*, класс!

Затем он снимал потрепанное бежевое пальто и фетровую шляпу и садился за стол.

Профессор Хэльд прижимал к груди пухлый, выдавший виды портфель, всегда набитый всякой всячиной. Когда он открывал его чтобы достать учебник по еврейской литературе, из глубин появлялись пожелтевшие номера некогда популярной газеты «Форвардс», старый зонт с поцарапанной деревянной ручкой, смятый бутерброд с сыром, завернутый в полиэтиленовый пакет... да, чего только не хранилось в этом бездонном портфеле!

Наконец он извлекал увесистую книгу и, вздохнув с облегчением, принимался листать наизусть заученные и испещренные неровным почерком, страницы.

В эти моменты профессор ощущал особую торжественность. Ведь именно ему, Арэле Хэльду, посчастливилось приближать молодое поколение к творчеству великих еврейских писателей — Шолом Алейхема, Менделе Мойхер Сфорима, Бабеля, Переца.... От этих имен у него по-прежнему захватывало дух, и смущаясь столь бурной эмоциональности, он быстро отходил к окну.

Перед его глазами простирался ухоженный американский мегаполис. Небоскребы, выгнув спины, стремились дотянуться до небес и у них это почти по-



лучалось. “Вот они... дети Вавилонской Башни,” сцепив за спиной руки, размышлял вслух профессор, на мгновение позабыв о собравшихся учениках.

Студенты с усмешкой наблюдали за неуклюжим, медлительным профессором. Многие записывались на его предмет лишь потому, что профессор Хэльд не требовал стопроцентной посещаемости, верил в любые оправдания и не “напрягал” зубрежкой текстов.

Профессор догадывался о настроениях класса, но старался не унывать. Все-таки до конца семестра оставалось еще больше половины. А значит он еще успеет привить им любовь к идишу, афцелохес\* втоптавшим его в грязь, в забвенье, в прошлое... И конечно, студенты осознают всю горечь Бончи-Молчальника\* и полюбят балагура Хершеле-Острополлера\*. А иначе как жить, не помня собственной истории? Без языка и культуры, связывающих нас на протяжении тысячи лет... Не бывать этому! Нет и нет!

...Арье-Лейб отчетливо помнил как его папа, олов ашолом\*, сидел за субботным столом, смакуя остроты Тевье-Молочника. В одну из таких суббот, его и забрали на «работы».

«Арэле, человеку очень важно не сидеть без дела и работать, — виновато пряча глаза, говорил отец, собирая нехитрые вещи. Господи, Господи, как давно и недавно это было...

Об этом думал Арье-Лейб, в очередной раз, ожидая студентов в пустой аудитории.

В эти минуты он позволял себе выпить пузатую чашку горячего, крепкого чая с кусочком рафинада, который всегда хранился у него в кармане пиджака. И хотя врачи запрещали пожилому профессору злоупотреблять сладким, он не мог найти в себе сил отказаться от детской привычки.

Много лет назад, приходя из хедера\*, маленький Арье-Лейб получал рафинад в качестве награды за хорошую учебу от мамы. Невысокая женщина в ситцевой косынке, она доставала морщинистую деревянную доску и, положив на нее крупный кусок сахара, раскалывала его на мелкие кубики. Мальчик радостно подставлял карманы и, наскоро целуя маму в щеку, убегал играть во двор.

Наконец, в открытую дверь заходили студенты. С гордо поднятой головой и белоснежной улыбкой они занимали места за последними рядами парт. Профессор Хэльд приподнимался с места и, поправив пропахший нафталином галстук, начинал занятие.

Шагая между рядов, он рассказывал о трудностях жителей местечка, об их мечтах и радостях, о традициях и страхах. Одной рукой он прижимал к себе учебник, на страницах которого была запечатлена вся его жизнь, а другой активно жестикулировал, когда ему не хватало английских слов, чтобы выразить все накопившиеся в душе чувства. Порой, войдя в раж, он не замечал откуда ни возьмись возникшего перед ним стула и натыкался на него, разводя руками в изумлении.

Студенты снисходительно терпели причуды старичка, и пользовались его добрым нравом, листая очередной глянцевоый журнал, повествующий о разводах преуспевающих голливудских звезд, в то время как профессор описывал пересечение двух миров в «Диббуке» Анского, первую любовь «Блуждающих звезд» Шолом-Алейхема, мистицизм Зингера и стихи детей Терезинского гетто...

Надвигалась сессия, а успеваемость в классе еврейской литературы и идиша оставляла желать лучшего. На профессорском собрании, декан строго высказал профессору Хэльду, что он слишком мягок, что пора бы вспомнить о дисциплине и дать понять студентам, что это университет, а не песочница. Да, они вряд ли обрадуются такой резкой перемене. Ну что поделаешь —

придется пожертвовать их комфортом, — строго выговаривал декан, размахивая отчетом о неуспеваемости класса.

Погрустневший Арье-Лейб беспомощно кивал головой в знак согласия. Конечно, комфорт, наверное, не так важен. И надо пожертвовать. Проявить твердость...

Двенадцатого апреля\*, в День Катастрофы, профессор Хэльд как всегда пришел в класс пораньше. Он достал из портфеля закрученные по бокам черно-белые снимки погибших членов его семьи и разложил на столе.

Вот отец величественно сидит в черной ермолке и сюртуке, в кругу семьи в гостиной их дома. А рядом мама, умело обхватив двух ребятишек, улыбается своей озорной улыбкой нашкодившей девчонки. А вот и он сам, еще румяный жених Арье-Лейб, гордо держащий под руку свою невесту Злату, совсем молоденькую и хрупкую, смущенную объективом фотоаппарата.

Воспоминания относили его в мир прошлого, где голоса ушедших вновь оживали, где мама с папой вместе выбивали ковер хрустящим январским утром под руководством деда Хаима, где Злата жаловалась на свои первые пригоревшие халы, где старший брат-коммунист Зяма доказывал Арье, что нет смысла убегать из своей страны, что все образуется и надо верить...

... До урока оставалось несколько минут. Предстояло собраться с мрачными мыслями, давящими на рассудок с самого утра. Запульсировали жилки на висках. Эх, Арэле... А ведь ты обещал декану проявить строгость и собранность.

Прозвенел звонок, и в кабинет не торопясь вошла группа студентов. Они весело переговаривались и как всегда шутили, обсуждая планы на будущие выходные. Профессор Хэльд обвел усталым взглядом класс, тяжело вздохнул и подошел к доске.

— Прошу минутку внимания! — хрипло начал он. — Как вы знаете, сегодня День Катастрофы, и я хотел бы посвятить наше занятие памяти тех, кто отдал свою жизнь за право быть евреем, — произнес пожилой профессор, украдкой посмотрев на фотографии.

Лампы наполнили звенящим гулом пространство маленького кабинета. На морщинистом лбу профессора выступил пот. Он посмотрел на крепкого, кареглазого bruneta, сидящего у окна:

— Браен, будьте любезны, приоткройте форточку.... Что-то душно.

Итак, тема сегодняшнего урока — Кидуш Ашем\*, или освещение имени Бога в произведениях еврейской литературы... Но прежде чем приступить, давайте почтим память погибших минутой молчания. Я вас очень прошу... — хрипло сказал профессор.

Притихнув, студенты встали со своих мест. Впервые никто не шептался и не смеялся. У каждого имелись близкие, потерявшие жизнь в ту страшную войну. Общая боль объединила их, и даже чудаковатый профессор больше не казался столь комичным.

Арье-Лейб прислонился спиной к входной двери, прикрыв глаза. Воспоминания, как ядовитые змеи выползали из самых дальних уголков его подсознания. Вот он и его беременная жена Злата стоят у края ямы. Им зябко на рассвете и они крепко держатся за руки. Она в последний раз прикасается к его плечу своими холодными, бледными губами.

Гулкие выстрелы. Они летят вниз... Арье почему-то впереди, бездыханное тело Златы его прикрывает... А потом еще выстрелы. Еще и еще...

Неожиданно, размышления профессора были прерваны громкими криками из соседнего кабинета истории. Послышались выстрелы. Звон битого стекла. Оглушительная тишина. Стоны.

«Смерть...совсем близко» — молниеносно пронеслось в голове у профессора Хэльда.

Его собственные студенты заметались в панике, рыдая и крича «на помощь».

Профессор Хэльд набрал в грудь воздуха, скомандовал «В окно! Я задержу!» и изо всех сил навалился грудью на дверь.

Взявшись за руки, студенты стремглав прыгали вниз...

В течении секунд в кабинет истерично постучали. Убийца легко протаранил дверь ногой, отбросив профессора на пол.

Класс опустел. Последняя студентка, веснушчатая хохотушка Дженни, застыла на подоконнике.

Террорист грязно выругался и решительно нацелился на девушку, но вдруг, профессор Хэльд трясущейся рукой бросил в спину налетчика тяжелый учебник идиша.

Он резко обернулся, сузил глаза и тяжело посмотрел на старика.

— Это конец, — почему-то совершенно спокойно подумал Арье-Лейб. — Златочка, подожди, я скоро.

Краем глаза, он успел заметить как Дженни благополучно спрыгнула вниз.

Профессор закрыл глаза и прошептал «Шма Исраэль». Раздался выстрел.

Нью-Йорк — Мельбурн, 2008

---

\* Ливиу Либреску — румынский математик, специалист в области аэродинамики, профессор факультета технических наук и механики Вирджинского Политехнического Института. Еврей по происхождению, переживший Холокост. Пал жертвой массового убийцы, заслонив собой вход в аудиторию, что позволило студентам покинуть её через окно — тем самым он спас жизнь двум десяткам человек. (Википедия)

\* Шолом Алейхем — дословно “Мир Вам”, здравствуйте.

\* Афцелохес — назло (идиш)

\* Бонча-Молчальник — герой рассказ Ицхака Лейбуша Переца.

\* Хершеле-Острополлер — Еврей из Острополя, живший в 18 веке и прославившийся своими выходками и ответами, и ставший одним из главных героев устной традиции, в частности шуток и анекдотов восточноевропейских евреев.

\* Олов ашолом — Мир ему (иврит) — фраза, означающая, что речь идет об умершем человеке.

\* Хедер — начальная еврейская школа.

\* Двенадцатого апреля — Национальный день траура в Израиле и за его пределами, установленный в 1951 году. День, в который по всему миру вспоминаются евреи, ставшие жертвами нацизма во время Второй Мировой Войны.

\* Кидуш Ашем — Освящение Б-жественного Имени (иврит)

## Георгий Тарасов. Эмбрион. Рассказ



Родился в 1958 году в Ленинграде, после школы поступил на физфак ЛГУ, несколько раз был отчислен, служил в армии, восстановился, работал по специальности в «ящике» до конверсии. Потом Кировский завод, яхт-клуб, много всякого, работаю до сих пор и конца и края этому не видно. Живу в РФ, в Питере. Писать начал лет шесть назад, в основном, в стол. Иногда выкладываю что-то в интернет, пишу от злобы статейки на Фонтанке ру. До моего прихода в «Зарубежные задворки», на бумаге печатался только в журнале «FloriDa», Майами, США, где числился постоянным автором. В РФ не издавался. Заслуг, званий, наград не имею никаких. В апреле 2013 года в издательстве Za-Za Verlag (Дюссельдорф) вышла моя первая книга «Пьяные саги. Повести и рассказы». Сейчас

в том же издательстве готовится к изданию моя шестая по счету книга.

*Устройство земной жизни, как ни вгрызайся в плоть вещества, как ни разгадывай пульсацию времени, как ни измеряй, вдоль и поперек, пока непознанное необъятное пространство, как было загадкой, так загадкой и остается.*

*И лишь в искусстве мы можем позволить себе достигнуть разгадки.*

*Эта разгадка не тотальная. Мы всегда видим только кусочек пирога природы. Верхушку айсберга, выражаясь классически.*

*Фантастичен ли текст Георгия Тарасова? Ровно настолько, насколько фантастична сама жизнь, что может преподнести нам такой сюрприз, о котором мы и не мечтали.*

*И не только мы, но вся когорта земных гениев — от Галилея до Эйнштейна, от Коперника до Оппенгеймера.*

*Мы только прикоснулись к Большому Космосу — а нам уже обожгло руки, глаза и разум.*

*Рассказ Георгия Тарасова — о том, как человек пытается залечить этот ожог, а он пожизненный, как родинка.*

*Мы так устроены, что мы идем вперед. Когда-то Мариэтта Шагинян сказала: "Человек, когда смотрит назад, он смотрит назад, как вперед".*

*Время умеет делать петли. Время захлестывает нас волной. Этот прибой ритмичен и вечен. Окунитесь в открытие — и вы уже не вынырнете из него.*

*Елена Крюкова*

— Когда-то это были просто спектрограммы...

Перед Сергеем Николаевичем медленно поворачивалось несуразное радужное облако. Он хмыкнул, шевельнул рукой, облако заколыхалось и стало похожим на бегемота. Он протянул к нему ладони, пальцы вздрогнули, бегемот улыбнулся. Стукнул костяшкой пальца по плате — бегемот замер. Откинулся в кресле, крутанулся раз, другой, закинул голову, потом скосил глаза на иллюстрацию. Хмыкнул:

— Не, не пойдет. А жаль, красивая зверюга. Ладно, вали в зоопарк, — он ткнул «Save», — может, кто и полюбуется...

Руки вошли в панель, пальцы дрогнули, иллюстрация приобрела вполне себе академический вид, достойный работы маститого профессора, кандидата в членкоры и прочая, прочая. Работа была промастная, так, одна из сту-

пенек бесчисленных лестниц, по которым всю жизнь, и, надо сказать, не без удовольствия, лазил Сергей Николаевич. Большинство из них еще и сам строил. Это, само собой, и было самым интересным.

Он пролистнул макет статьи, от чопорности внешнего вида его своротило, вычитывать уж совсем было муторно, оставалось только плюнуть, взять куртку подмышку и выкатиться из кабинета. Что он и сделал.

Вы любите ходить по коридорам институтов ближе к полуночи? Заметили, что нет одинаковых? Даже похожих? Есть мнение, что стены в таких заведениях очень быстро впадают в вампиризм и всасывают все, чем богаты головы тех, кто имел неосторожность шляться по этим лабиринтам.

Лаборатории — особая статья, те по прожорливости бьют все заколдованные замки, как хотят, там даже привидения чокнутые. Бормочут что-то свое, стены иной раз пройти не могут, натываются на светильники, приборы, путаются в проводах, ходили слухи, что особо задумчивых даже током било. Их вина, ТБ они не читали и не сдавали, но немного жалко, конечно...

Да, честно говоря, и не до них.

Хотя стоп, один нюанс на их примере объяснить можно. Точнее, обозначить. Привидение из оптической лаборатории никогда не поймет химического духа. Радиофизика — да, хоть и с пятого на десятое, они на одном наречии говорят, волновом, а вот химика — фига. Знаний у них полно, нахватались, орудовать вот только ими не умеют. Но это духи, что с них возьмешь...

Поэтому набитые духами стены коридоров все разные. Ну, и коридоры, соответственно.

Люди — другое дело. Не надо думать, что математик, попав в астрофизическую лабораторию, станет бессильным, как эфиоп, которого занесло в китайскую библиотеку. Самые интересные идеи возникают на стыке наук. Это как числовая ось — между двумя рациональными числами умещается бездна иррациональных. Черпай — не хочу.

Что, собственно, достаточно грамотные люди и делают.

Свет из-под одной из дверей Сергей Николаевич сначала проигнорировал, как откровенно душный, привидевшийся, но метров с двадцати определил его как самый что ни на есть реальный. Из-за двери кто-то матернулся, вяло и невыразительно, но духи и так-то не могут. Человек.

Он валялся на столе, повернувшись боком к панорамной стене, по всей лаборатории сверкала какая-то отороженная астрофизика, подстанки проносились с бешенством электрички, меняя картину то тут, то там, и облако размышлений полуночного экспериментатора становилось от этого еще более невменяемым. Того и гляди, рванет, как Большой Взрыв, родоначальник всего сущего...

— Студент, к полуночи дело, побойтесь Бога...

От стола послышалось вялое:

— Его-то зачем?

Сергей Николаевич шагнул в лабораторию, сел в кресло у стола, надел чеканное лицо А-Януса и уронил на пол семитонное

— Так. Филологов мне тут не хватало...

Лаборанта сдуло со стола, он вытянулся и сглотнул:

— Извините, шеф. Заело...

Сергей Николаевич окинул взглядом навороченный «студентом» вселенский хаос, заинтересовался, развернул и чуть сжал.

— Ага. Ядро. Наше, вроде. Или М-31?

— Наше. Млечный путь.

— И в чем затык? Эээ... Виталий, кажется?

— Виктор.

— Извините. Итак?

— Да вот.

Виктор подтянул и распахнул середину. Он быстро задвигал руками и его понесло:

— Всю картину держим в уме. Теперь вот это — он обвел границы скопления, обнял его ладонями и вывернул наизнанку — снимаем возмущения от рукавов, за-мыкаем...

Он шагнул назад и свернул шар, вывернув его еще раз, в ладонях обозначилась пустота.

— Картинку сравните.

— Как была.

— Ага. А вот это как вам? — Виктор еще раз вывернул пустоту, резко раздвинул руки, она заполнила весь объем лаборатории, в районе дальнего стола светилось маленькое фиолетовое пятно.

— Не понял. Про мусор не спрашиваю, ты ж давно с этим, я думаю.

— Это не мусор, точно. Со всех ракурсов пробил, есть оно.

— Считал?

— Вещество.

— А ну, картинку назад.

— Да сколько угодно.

Шеф повертел картинку. Почесал бровь.

— Неоткуда ему тут взяться. Это онлайн? Вчера это было?

— Но не здесь, парсека три.

— А...

— Шеф, я за сто сорок лет статистику поднял. Ну, там в цифирях все, но везде есть эти возмущения. Подставить вещество — все в идеале.

— Может, скажешь, какое?

— Ну, это вы уж...

— Кончай дуться, не экзамен. Рассказывай.

— Да нечего рассказывать. Математики не хватает.

— Ну, законы сохранения опрокинуть — это хорошо надо науку вперед толкнуть. Дерзай...

— Спасибо, что разрешили. А то я все мялся, не по чину, вроде...

— На что только ни пойдешь ради хорошего человека. Только б завхоз не узнал...

Шеф поднялся и пошел к двери, Виктор тихо бросил ему вслед:

— А ведь спасибо, Сергей Николаевич...

Профессор обернулся, долго смотрел на «студента», почесал бровь.

— Знаешь, может, ее не вперед толкать надо. Вбок. Какой-нибудь...

— А я что собираюсь... — проворчал Виктор.

— На сборы для начала — пять минут. Выметайся отсюда. Час ночи, Лаплас...

Сергей Николаевич закончил доклад, смахнул картинку, грохнули овации. Приложил руку к сердцу, сдержанно поклонился, сошел в зал. Эээ... Снизошел, вот. Пока он раскланивался в зале и отвечал на приветствия, на кафедру взобрался следующий ммм... Оратор. Послышалось «прорыв в науке», «новое видение мира», «широкие перспективы для развития энергетики»... Шеф поморщился и тоскливо обвел глазами зал, взгляд зацепился за огненную шевелюру над зеленым платьем. Он раскланялся с окружающими, и пошел прямо к ней.

— Сережа, по-моему, ты выдохся.

— Как была стервой... Серьги не в тон.

— Подонок. Разведись я с тобой на пять лет раньше, сейчас вот с ума б по тебе сходила. Наглее твари не встречала. Сам-то как думаешь?

— Да ересь, конечно, Викуся. Самому тошно.

— Тогда зачем?

— Игра такая. По правилам. Меня постоянно гнобят за утечку мозгов. Моих. Надо ж что-то на родине оставлять...

— И оставляешь отходы. Не любишь ты родину.

— Ну, не доходы ж оставлять. Если я тут свое зарегистрировать буду, оно станет собственностью государства, ляжет в стол чинуши от науки, что с этим делать, он понятия не имеет, ну и продаст за грошовую взятку в Калифорнию. Так пусть останется в той же Калифорнии, но моим, а не собственностью Беркли.

— Я ж говорю — эгоист и подонок.

— Полегче, сама-то что в своей Дании годами делаешь? Только не говори, что там оптические столы лучшие в мире, сам знаю...

— Любовь у меня там. Большая и толстая.

— Пиво вместе пьете?

Вика расхохоталась:

— И даже не датское, а бельгийское, что интересно. А он — немец. Полный интернационал.

— А меня, зараза, выгнала, когда я к тебе в общагу с трехлитровой банкой «Жигулевского» пришел. Кто еще из нас патриот...

— Цветочек надо было к баночке, деревня... Хоть лепесток...

Сергей Николаевич посмотрел поверх голов, отстраненно прошептал:

— Н-даа, лепесток. Фиолетовый...

— Э, э, псих, в чем дело?

— Да показал мне тут один сопляк...

— Тот самый лепесток?

— Пока не знаю.

— Бедный сопляк. Похоже, ты опять гадость какую-то вынашиваешь.

— Молчи, женщина. Не твоего ума дело. Изба загорится — позову. Или кони разбегутся...

— У тебя б да не разбежались...

Она провела рукой по его щеке.

— Иди Сережа, нефиг тут. Старые мы, времени в обрез. Хочешь, прикрою?

Рука ее скользнула вверх и вперед, обвила его шею, она чуть повернулась, да так ловко, что талия легла в его руку.

— А? — она томно подняла веки и впилась в него совершенно отвязным взглядом. Он прижал ее голову к груди, чмокнул в лоб и щелкнул пальцем по носу.

— Змеюга. Спасибо, Викуся, пошел. Ты их тут того... Только не насмерть.

— Как скажешь. Вали, привет сопляку...

— Так. Ну это уже, господа, ни в какие ворота... — Сергей Николаевич стоял в двери, его тяжкий взгляд накалял лабораторию — Аркадий, я так понял, все тайны мироздания открыты, есть что отметить. Отчет извольте.

Завлаб встал, перекрестился и положил голову боком на стол, как на плаху. Чуть скосив глаза на начальство, прогудел со стола:

— Секите, шеф. Отчет еще не готов, комп завис, памяти даже на оглавление не хватает. Как-никак, история мироздания. Полная.

— Знаете, Аркадий, почему я категорически против смертной казни? Вы, к примеру, ее заслужили многократно. И дай Бог мне так жить, как вам это самое жить совсем не нужно. В еврейской семье — сын п`яница, это такое горе, шоб вы знали, но кому-то придется голову вам таки отсечь. Вы остане-

тесь там, где были, немного без головы, а он так себе и пойдет, и звать его будут после этого палач, и он таки такой и есть. А зачем в этом мире палач, и без него есть с чего расстроиться...

Разглагольствуя таким образом, Сергей Николаевич неспешно прошествовал к накрытому столу, по пути небрежно смахнув голову завлаба со стола, отчего тот чуть не упал, шеф же, не изменяя траектории движения, уперся в стол и взял водочную бутылку двумя пальцами за донышко и горло, как криминалист. Посмотрел на свет, хмыкнул и продолжил:

— По разбросу гильз и качеству напитков нетрудно определить, что застолье спонтанно. То, что начальство трясет перьями на симпозиуме, и там, скорей всего, застрянет, вам было известно. Если бы это было причиной, лучше бы подготовились. Стало быть, повод.

Он уселся в кресло, вытянул ноги и свел ладони палец к пальцу.

— Аркадий, дорогой, ваша карьера висит на волоске, потрудитесь озвучить причину. Время пошло.

Аркадий вытянулся во фронт и начал рубить:

— Так что это ваш сковородь, от имени и по поручению, нижайше...

— Глазками, глазками начальство кушать надо, истово и верно, а в таком заведении еще и вдумчиво. Продолжай.

— Есть! — Аркадий замер.

— Что?

— Все.

— Не понял.

— Совсем все.

— Совсем не понял. Даже не догадался.

— По списку, Ваш благородь — премии, дачи, машины, путевки, всемирная слава, бананы на завтрак, и все, что потребуется впредь — Аркадий не выдержал, и кинулся к пульту — Вы только гляньте!

Вспыхнула картинка.

— Полгода назад мы вляпались вот здесь — он протянул руку — и встали мертво. Все упиралось в недостаток данных...

— А ты знаешь, я в курсе, как ни странно. Три раза за эти полгода из-за вас, мракобесов, NASA в ноги кланялся, не считая мелких адюльтеров по всему свету.

— Не нужны они были, оказывается, и без них можно обсчитать. С любой степенью точности — Аркадий сунул руки в панель, бормоча — это ж все вчерашний день, а сегодня... Ох, сегодня... Вот! Как вам?

Сергей Николаевич с минуту рассматривал картинку, потом резко толкнул кресло к панели и стал вертеть расчет.

— Ни черта не понял — бурчал он — а ну еще раз... А так... Нет, он отсюда... Хе. Нет, не прет... Аааа... Нет, да что я за дятел... Стоп, смыли, еще раз... Ого! И никакой многозначности... Ну и ну...

Он толкнул ногой в пол, кресло откатилось, и поднял глаза на завлаба.

— Однааааааа... Но это не ты.

— Само собой. Это Витя. Понимаете, это его какой-то промастной результат, совсем по другой теме, мы входим утром, он на столе валяется, а тут витает по всей лабе, понимаешь... Блин, я чуть не смахнул, потом смотрю, математика какая-то уж слишком заумная, мы всем кагалом часа четыре въезжали, о чем это, собственно... А когда дошло, к нашему приложили, на раз все сошлось. Только знаете, господин директор, есть мнение, что мы микроскопом гвоздь забили. Да и гвоздь-то не из сложных. По сравнению с вот этим...

— Так. Стоп. А сам он где? За пивом погнажи, как самого молодого?



— Вы только не волнуйтесь, шеф, с ним все в порядке, в санчасть мы его откатали. Там сопит, еще часа три, примерно, на реабилитацию надо...

— Что с ним?

— Истощение. Немудрено, он же такое выдал... Нобеля б ему, да кто даст...

— Свою отдам, не все еще просадил. Нет, но какой уровень!

Сергей Николаевич не выдержал, опять подкатил к панели и повертел вычисления. Откинулся назад и обвел взглядом сотрудников:

— Знаете, что в этом самое интересное? Он как будто четко знал, что нужно делать и как это должно выглядеть. А ведь такого почти не бывает. Аркаша, зайчик, объясни-ка мне одну вещь. Ты хоть что-нибудь из того, что он нагромоздил, на свой язык переводил? Нет ощущения, что он применительно к вашей задаче колдовал? Не может же быть такой универсальности, у него абсолютно другая тема. А ты увидел, и начал скрипеть. И ты понял, как это воткнуть в твою задачу. Понял ты, прикладник, а это теория высочайшего полета! Где ж он такого нахватался-то?

— Так он к нам с матфизики попал.

— А ну-ка...

— У него с завкафедрой после магистратуры какой-то хипеш вышел, кто-то хлопнул по столу, кто-то дверью, он у нас и оказался.

— А я где был?

— В НАСе. Ходят слухи, что не одни, поэтому так долго. Майами, пляжи, крокодилы, сёрфинг...

— Еще и сплетник. Давить вас всех, как клопов...

— Да хоть сейчас! Вас бы не задавили... Контракты подписаны, и на ходу, а данные-то уже не нужны. С нашими-то отзовем, они только спляшут на радостях, а индусы, австралийцы? Про Хаббл вообще молчу...

— Лишних данных не бывает. Вы мне за это единую теорию поля, и все прощу. Даже пьянку в рабочий день.

Аркадий сел за стол, поднял руку с локтя, как школьник, и скривился:

— Дяденька, а можно я просто пол подмету?

— Вымоете. Все вместе. И в коридоре. Все, я в санчасть пошел. Интересного мне аспиранта подкинули, слов нет...

— Ой, Сергей Николаевич, добрый вечер! — медсестра вскочила из-за стола, ее правая рука вслепую ерзала в панели допотопного компа.

— А вот вы, милочка, сейчас мне все про доброту и расскажете. Как там Ленц? Виктор?

— Сытый, полусонный, часа два еще.

— Добро. И вечер, соответственно... Я зайду?

— Эээ, понимаете...

— Я зайду.

— Конечно.

Шеф не удержался и прошептал доверительно:

— Ваших планов не нарушаю?

— Ваша скверная репутация, уважаемый Сергей Николаевич, сильно приукрашена, вы еще хуже, чем рассказывают. Считайте, что я покраснела.

— А вам идет. Здоровый такой румянец. Спасибо, дорогуша...

Шеф подмигнул и шагнул в реанимацию.

Виктор лежал в «гробу», но уже до пояса из него выкатился, видимо, невоготу было смотреть на крышу реанимационной камеры с ее лампами, кишками и прочей медицинской мутью. Сергей Николаевич и сам дважды отлеживался в «гробу», и вынес мнение, что дизайнеры сего устройства были

отменными психологами — пациент готов признать себя четырежды здоровым, лишь бы не любоваться изнутри на этот кишечник...

— Как дела, студент? Бога видел?

— Не дошел — вяло отозвался Виктор.

— Не дали, или сам убоился?

— Трудно сказать. Я как раз над этим размышляю.

— И?

— Какой-то я слишком дурак еще, не шьется никак...

Сергей Николаевич тем временем взял планшет пациента и рассматривал диагноз, анамнез, и все, что с Виктором творили. Почесал бровь, поднял на Виктора глаза:

— Исходя из этого — он слегка качнул планшет — ты довольно прилично умер в этот раз. Должен был узреть.

В глазах «студента» мелькнула злость:

— И здесь не прет. Мизер какой-то при пяти тузах...

Шеф катнул кресло так, чтобы смотреть прямо в глаза собеседнику:

— Кто вы, Виктор Ленц?

— Солдат, блядь...

— Ругань спишем на остаточный медикаментозный эффект. Итак? Подкрутите организм, я серьезно.

— Простите, шеф, что-то я действительно, того... Вам подробно?

— Схему.

— Учился, раздолбайничал, выгнали, служил. Вернулся, сначала было на все начхать, потом стало интересно. Потом...

Виктор замялся. Сергей Николаевич тихо продолжил, глядя поверх собеседника:

— Потом стало неинтересно все остальное...

— Да.

— Этот лепесток я видел до вас. Не спрашивайте, где. Мне очень нужно знать, что это не помехи.

— Понимаете, там все в пределах флуктуаций, даже если я добыю результат, он будет ненадежен, там...

— Я видел, как ты шел, и тоже знаю, что с Земли ничего не выйдет.

Виктор перебрал локтями по матрасу, подушке, сел.

— У вас что-то есть?

— Как думаешь, с орбиты Нептуна есть шанс?

— Если перпендикулярно плоскости эклиптики, то гораздо раньше, за Юпитером, примерно. Так что у вас есть?

— Не у меня. К «Орбите» пристыкован «Шаттл 4М», оружие с него сняли еще два года назад, в тридцать пятом, сразу после Договора. На данный момент он набит под завязку оптикой всего доступного диапазона, и всем, что прилагается. Ну, мировая библиотека еще...

— В полном объеме?

— Само собой. Пилотское, жизнеобеспечение — полный автомат, как на тренажере.

— Я в курсе, знаю эту модель. Гибридный двигатель, заправка — парсек и обратно.

— Ого. Это кто это тебя просветил?

— Я в аэрокосмических войсках служил, на «Стриже» летал, штурманом, но пилотские права есть. Только на гибрид, но больше ж и не надо.

— Вообще-то и они не нужны. Однаааааа... Не бывает, чтоб так везло.

— Так это не везение.

— Ну-ка, ну-ка...

— Вы «Glory Road» читали?

— Ну, ты наглец! Считаешь, что Императрица тебя к этому готовила?

— Нет, конечно. Но видите, как славненько вышло, ничего-то вам объяснять не нужно...

— Пожалуй... — Сергей Николаевич сложил руки на животе и покрутил большими пальцами сначала в одну сторону, потом в другую — И как же ты называешь подобное... Ээээ... Стечение обстоятельств?

— Как Дирак, Ньютон, Шрёдингер. Бог.

— Емко — шеф глянул на часы — У нас больше часа. Давай так. Перед тобой сидит бревно, уверенное в том, что Бог начинается там, где кончается знание. Разъясни-ка ты этому дереву, с какой стороны помянутое тобою высшее существо можно прицепить к процессу познания. И, главное, зачем.

— Все дело в границе. Вот дошел ты до нее, дальше — никак. Бьешься — все по нулям, всех знаний человечества не хватает. Дирак об этом четко сказал — можно уверовать и успокоиться, принять, как есть. Но мы знаем, что мироздание живет по законам, вон мы их сколько открыли. А кто их сложил в ларчик и закрыл? Их же кто-то установил, и, как писал Дирак, использовал для этого совершенную математику. И если ты не понимаешь закон, значит, надо найти того, кто его создал, ну, чтоб растолковал, скажем... И ты шагаешь через границу в поисках создателя законов. Пока случалось так, что находили следующие законы, но, в бесконечной перспективе можно добраться и до создателя. Если веришь, что он есть, то будешь снова и снова шагать через границу.

— Софист. Но красиво. Вера в Создателя двигает науку. Занятный перевод, кстати, дословно не помню оригинал, но с твоим переводом Дирака не поспоришь. Не хочу, по крайней мере...

— Даже если будете спорить, я только улыбнусь. Меня такой расклад устраивает, а вера — личное дело каждого, согласитесь...

— Я так понимаю, что через границу ты шагать прямо рвешься...

— Когда? — Виктор приподнялся.

— Ну, не завтра. Но полетишь, обещаю. NASA все равно кого в пилотский кокон пихать, а мне они с некоторых пор хорошо должны, так что и тут Господь подсуетился. Полгода без тебя планета Земля обойдется?

— Она и раньше без меня обходилась... — сонно пробормотал Виктор.

Сергей Николаевич почесал бровь, и кинул на Ленца короткий взгляд. Потом посмотрел пристально. Отвел глаза. Пауза длилась минут десять, Виктор смахнул с лица застывшее выражение, и повернулся к шефу:

— Извините. Дааа, еще раз извините, про лепесток не скажете?

— Нет. И дело не только в чистоте эксперимента. Я суеверен, так что... Сам, короче...

— Ну, сам, так сам. Так даже интереснее...

— Вот именно...

— Как ощущения, студент?

— Потрясающее корыто, честно говоря, понятия не имел, что мы так далеко ушли.

— Кто это мы, позвольте полюбопытствовать?

— Земляне.

— Аааа, это... Ну да, ну да... Так все-таки? Вам же есть с чем сравнивать?

— Я подписку давал о неразглашении. Так что сравнения только с пустотой... — Виктор хмыкнул.

Сергей Николаевич, оставшийся после старта «Шаттла» на «Орбите», в свою очередь, просто расхохотался. Отсмеявшись, продолжил сеанс:

— Студент, дорогой, часть землян ушла немного дальше других жителей этой планеты. Если нас подслушает даже Господь Бог, то услышит лишь ваши скупые доклады, касающиеся исключительно телеметрии и жизнеобеспечения. Слегка напряженным и чуть героическим голосом. А подписку, сами знаете, дают для того, чтоб супостат не узнал, до какой степени наша техника небоеспособна...

— Да мне, честно говоря, по барабану. Это ж сколько шкур сдерут с того, кто сшибет эту телегу? Пусть даже и с дезертиром на борту. Совершенно невысказанный вариант, так что бояться мне нечего. Кто разобьет золотой орех, чтоб достать дохлую белку?

— А когда вернешься?

— Нууу... Где я, а где завтра...

— Виктор, а вы не хорохоритесь?

— Нет, Сергей Николаевич. Так уютно мне еще ни разу в жизни не было. По блоку развлекух я поерзал, по-моему, он бесконечен. Оптика — с ума сойти можно, комп — мощь, со жратвой полный цимес — впечатление, что в ресторане насыщаюсь, захочу, так и бокалы позвякивать будут. На «Стриже», помнится, руками тубики в рот выдавливали...

— Ну, сейчас и на наших, примерно, как здесь...

— Ну и слава Богу. Мы после каждого дежурства мечтали конструктора кокона в лапы заполучить, чтоб хоть в узел его завязать, для начала. Кокон, кстати, «Прокрустом» звали.

— До чего ж грамотная солдатня пошла, слов нет. Так обзывать — это не матом обложить. Перегрузка не мешает?

— Вообще не чувствую. Даже не верится, что полтора «G».

— Можно скинуть.

— Давайте сразу в баллистику. Лет на десять растяну отпуск, а то и насовсем...

— Все-таки хорохоришься.

— Нет. Действительно, нет. Действительно, класс машина. Меня тут в связи с этим одна крамольная мысль посетила.

— Одна?

— Крамольная — одна. Дело в том, что я тут пробежался по устройствам, некоторые до боли знакомые. Не то, чтоб копии, но как бы следующий уровень. Но база-то наша. А я знаю, что наши были — оригинал. Ну, почти. Наши у супостата вроде, как тему сперли, раскрутили, внедрили. А тут — бац, стоит девайс, нашенький с ног до головы, но уже заточенный намного лучше.

— И что с того? Банальные шпионские игры. Вор у вора дубинку спер...

— Ну, да... Только почему оказывается, что в итоге у них все лучше? Может, нашим шпионам просто сливают то, что самим невыгодно разрабатывать? А наши им потом результатик взад, за долю малую...

Сергей Николаевич аж хрюкнул от неожиданности:

— Ого! Это хуже, чем крамола. Намекаешь, что наши «ящички» — филиал «Дженерал Дайнемикс»? Экого я изверга в огород пустил...

— Не, ну по логике... Да плевать, в конце концов... Слушайте, шеф, а что если я тут немного того... Ну, поразмышляю? Грех же не воспользоваться, такое богатство, прости, Господи. Вот только доклады...

— Ох, нужны они, как зайцу стоп-сигналы. Все, что требуется для отчетов, с тебя и так снимут, можешь вообще рта не открывать.

— Ага... Ну, ладно, тогда я пошел.

— В смысле?

— СК, говорю.

— Еще раз, и по-человечески, солдафон!  
— Связь кончаю! Перехожу на режим бдя.  
— Ааа, ну спать, так спать. Бока не отлежи, космонавт...  
— «Он сказал поехали! Он взмахнул рукой...» — героическим голосом пропел Виктор, погрузился и пробормотал отрешенно — Тоже ведь балласт был, по большому счету. А я-то совсем кролик...

Сергей Николаевич отозвался мгновенно, зло и напористо:

— Тогда прям сейчас и начинай шерстью обрастать! Жри и шевели ушами. Капусты навалом...

— Простите. Зря я это...

— Ну, зря, так зря. СК.

— СК.

Симулятор, он же тренажер, был потрясающий — Виктор и по всем лесам планеты нагулялся, и в морях поплавал, и по скалам лазил... Поначалу только этим и занимался, и с грустью отметил, что он почти ничего не знал про свою планету. Да, иллюзия, но разницы-то не чувствуешь. Вообще! Живешь сказочной жизнью совершенно реально...

После старта пару дней ушло на то, чтоб освоиться, он даже застенялся своего восторга, когда до него дошло, что за мощь у него в руках. Точнее, в голове. Кокон был фантастически удобен, отрешаться удавалось мгновенно, даже работа по ночам в пустом институте ни шла ни в какое сравнение с теперешними удобствами. Ни о чем — ни о еде, физиологии, недомоганиях, думать было не надо, кокон сам все делал — лечил, кормил, тренировал тело, чтоб не завяло. Только думай.

Так еще было чем думать, доступ к инфе был мгновенным и беспрепятственным. Мало того, оптика поражала — картинку звездного неба выдавала со всех ракурсов, во всех диапазонах, с любыми мыслимыми комментариями. И если б только ее...

Все, до чего дотянулось человечество на данный момент, было в его полном распоряжении. И даже руками шевелить не надо, все управление со шлема шло.

Ясное дело, разобравшись с устройствами, Виктор налег на пятно. И вот тут возникла несуразность. Точнее, помеха. Не то, чтоб странная, странен был алгоритм этих помех. «Шаттл» пер строго перпендикулярно планетарным орбитам, расстреливая мелкий мусор по курсу, и уворачиваясь от крупного. По идее, таких встреч по мере удаления должно становиться все меньше, так нет...

Астрономические наблюдения — дело долгое и вдумчивое, на Земле рядом с обсерваториями и дорог-то нет, чтобы исключить даже малейшую вибрацию, а тут наблюдатель рыскает от каждого мусора. И стабилизация изображения почему-то запаздывала. И вспышки от расстрелов иной раз заставляли серверы оптики перезагружаться. А это минута, а то и две.

Он несколько раз пытался установить хоть какую-то закономерность в появлении мусора, но вынужден был опустить руки, полный хаос. Как будто попал в хвост какой-то древней кометы, но такая дикая мысль сразу разбилась о теорию вероятностей. Более здравых мыслей в голову не приходило. Хотя очень старался.

А, нет, одну закономерность установил, причем, почти сразу — мусор появлялся, когда он начинал проводить наблюдения. Ну, эту-то закономерность знает любой ученый, это закон Мэрфи. С ним никто никогда за всю историю земной науки поделаться ничего не смог. Если предполагается нежела-

тельное событие, то оно случается с вероятностью 100%. Точка. И не рыпайся.

Именно поэтому он не занимался делом, как хотел бы, а довольно часто носился по скалам и нырял в водовороты, нагружая тренажер на всю катушку. Но и это через неделю надоело.

Челнок отлетел уже на миллион километров, связь шла с задержками по семь-восемь секунд, говорить было почти невмоготу. Да и желания не было, Виктор плюнул на наблюдения, доверив их автоматике, загнал картинки в обзор и стал его обсчитывать. Точнее — осмысливать. Неожиданно проявился шеф.

— Завис, студент? В чем проблема?

— Пока из мусора не выскочу, нечего и дергаться. Пусть статистику набирает.

— Он-то наберет. А ты спать?

— Да нет, есть идеи. На грани бреда.

— Поделишься?

— Встречное вращение, виманы с чего-то вспомнил...

— Это... «Махабхарата»? Нагуглил?

— Огорчу, я на санскрите говорю. Первоисточник.

— Хе. У Арджуны появился наконец-то достойный наследник, да еще прямо вот на его школьной парте на третьем небе. И двадцати тысяч лет не прошло...

Ленц опешил и замер.

— Заснул, студент?

Виктор выдохнул, и бросил пробный камень:

— Тексту, говорят, три тысячи лет. Событиям — шесть.

— Ага. И Витя рядом стоял с секундомером. Но сто сорок веков проспал.

— А вы откуда про двадцать?

— Интересно было. Очень. Историкам не проговорись, порвут, я пробовал. Что делать собираешься?

— С какой-нибудь элементарщины начну. Электромагнитное, к примеру. Даже сверхпроводимость, я думаю, не понадобится, золотом обойдусь. Виманы на дисках же каких-то... Ну, в смысле, можно и так перевести...

— Это если только для начала. Хотя... Прыгаешь с шершавого трамплина, а влетаешь-то все-таки в воду, чистую и прозрачную. Ну, и скопировать не выйдет, инфы мало. Надо заново велосипед...

— Н-да, велосипед... Складной.. Одно колесо в одну сторону, другое — в другую... — Виктор хмыкнул — все, я пошел, Сергей Николаевич...

— Да хоть побежал...

— Да-да, конечно...

— Не завязни, взлетай иногда, порхай над ядром, отрезвляет.

— Да-да... Само собой...

— Эк тебя... Ну, дерзай...

Господи, как красиво...

Красиво то, что я вижу, красиво то, что я теперь знаю. Наверное, это божественная красота — знать. Не просто видеть, а знать, как это...

А ведь я могу теперь все это менять. Другое дело, что не стану, это же совершенство, но ведь могу же... Ох, теперь так в узде себя держать надо... Я же... А кто я, кстати? Я... Хм. Всплыло слово «аватар». Санскрит... Слово на языке... Это откуда? Язык, слово...

На фоне сверкающего ядра поплыли мутные тени — коридор, вспышки слабого света над тобой, звуки... Звуки? А, да, компрессионная вибрация... Во, костыли-то, можно ведь и так, звуками-то зачем? Костыли, человек в инвалидной коляске, серый камень, дождь, пыль, застилающая солнце. Солнце? Эээ...

Дробится свет его в окне, стекла каприз и вдохновенье... Вдох? Дышать... Грудь, легкие, сердце, тело...

Человек.

Стоп, я — человек, Виктор, эээ...Ленц. Сейчас, сейчас...

Он очнулся скачком, мгновенно осознав, что лежит в коконе корабля, у черта на рогах, почти за пределами Солнечной системы, и так его с этих дел своротило, что он плюнул, несмотря на полную бессмысленность этого действия. И тут же панически испугался того, что выпал из того, что нашел.

— Назад!!!

Нет, вперед, вверх! Стоп. Спокойно. Так не выйдет. С чего я начал? Тогда, там? Ага, фиолетовый лепесток...

Погнали...

Последней вспышкой мысли он включил механический таймер.

На этот раз он выпал из нирваны более-менее осмысленно, и тут же щелкнул таймером. Ого, почти неделя по земному времени.

А ну, еще раз...

Вернувшись в себя, Бог знает в какой раз, он сообразил, что туловищу неплохо бы и поспать. Было чуть страшно засыпать, а ну, как сон разума породит таких чудовищ...

Но рискнул.

Обошлось.

Просто Mind Games. Не опасно.

Уяснил главное — выход из человека требует божественных усилий, возвращение же просто, как стул — заставь себя не думать, и пожалуйста...

Ну, в общих чертах. Но и тот и другой переход освоил уверенно.

Пора на Землю.

Он поискал глазами навигацию, намереваясь начать разгон к Земле, что-то щелкнуло, кокон раскрылся, перед ним стояла женщина лет семидесяти, все еще потрясающе красивая.

Рыжая, как лиса из сказки.

Виктор Ленц хлопнул глазами, но сказать ничего не успел.

Сказала она:

— Сережа назвал вас солдатом. Это так?

— Да.

— Тогда легче, может, и получится. Молчать. Идем.

Она гнала по степи от Байконура на восток на предельной скорости, Виктор спал. Перелет с орбиты после челнока вымотал его донельзя, ему даже снилось, что его просто сбросили с неба в железной бочке. Он только успел вяло подивиться, насколько стоически все это перенесла рыжая дама, сел в ее машину и тут же заснул.

Очнулся уже где-то около озера, поднял вопросительный взгляд на спутницу. Та кивнула головой:

— Можно. Это Балхаш. А мы в Алма-Ату.

— Не бывал... Как к вам обращаться?

— Тебе можно Фокся. А так — Виктория Ивановна. Джоновна, если точнее, папа у меня канадец был.

— Аааа, вы — бывшая жена Сергея Николаевича?  
— Бывших жен не бывает. Особенно, когда изба загорится.  
— А она горит?  
— Полыхает. Лошади уже все разбежались. На, смотри — она ткнула телевизор.

Ленц вникал минут двадцать, щелкая программами, выключил ящик, и откинул затылок на подголовник:

— Интересное кино...  
— А то. Рецензия будет?  
— Формально я в курсе, откуда он извлек это потрясающее открытие, из моей башки. Теперь вся энергетика планеты у него в долгу.

Виктория треснула кулаком по рулю и зло прошипела:

— Вот именно! А кто любит долги отдавать... Нарвался, придурок, вечно ему на рожон надо...

— Да ладно вам, еще одного Нобеля отхватит...  
— Ты что, не понял??? Через неделю все будут смеяться над фейком, а Серегу умрут от сердечного приступа!!! Ну, вы, мальчишки, и кретины, про-сти, Господи...

— Еще интереснее. А без нервов можете? Моральный аспект пока оставим в стороне.

— Без нервов тебе??? Аспект? А ну-ка, начни с него. Обещаю, когтей не отведешь.

— Талантливый молодой аспирант, сделал потрясающее открытие, разработав математическую модель, позволяющую сконструировать безопорный двигатель. Мало того, из модели следует, что он еще и бестопливный, черпай себе вселенскую энергию вволю, причем, в любом масштабе — хоть для фонарика, хоть для звезды. Не обожжешься. И безопасность абсолютная. А мудрый руководитель все это попятил у аспиранта из башки, и обнародовал под своим именем, пока аспирант в космосе болтался. Да и то там не был. Вы меня на веревочке вокруг «Орбиты» год с лишним вертели, да?

— А тебе-то какая разница? По твоим-то воспоминаниям что выходит? Летал?

— Еще как. Прямо «Возвращение со звезд»...  
— Ну, и чем недоволен?  
— Да враньё все-таки...  
— И это мне физик??? Все надеешься по чужой планете босиком пробежаться? Звезду ногтем поковырять, чтоб без перчаток? Ох, мать, и чему вас учат...

— Материализму.  
— Вот всегда говорила, что не тому учат. Комментарии к моральному аспекту будут?

— Как без них... Неблаговидно. Но, надо отдать должное Шефу, так все это воплотить в реальность я б не смог. Прикладник он все-таки потрясающий.

— Дебил он потрясающий!!! Да и ты...  
— Да что вы беситесь? Хвост подожгли?  
— Витя, зайчик, сколько народу кормится с традиционной энергетике? И как вкусно они это делают? Ну, меньшинство из них, а? Что вам будет за то, что вы у них конфетку стибрили?

Ленц задумчиво поскреб подбородок:

— А ведь убьют...  
— Насчет тебя дебила беру обратно. Но Серега безнадежен, старый пень... Мало ему одного раза было...



— В смысле?

— Ни один из тех, кто в курсе изобретения и внедрения этим идиотом гибридного двигателя, не понимают, каким манером он тогда жив остался. Никто! Да и сам он, я думаю, тоже. Он знал, что единственный выход — нефтяников и прочую шушеру друг с другом стравить, и очень грамотно шевелился на эту тему, интриган он все-таки божественный. Но как это получилось, никто не знает. А уж почему без ядерного обошлось — вообще загадка. Всего три локальных войны, Договор, и тишина.

— А сейчас чем хуже?

— На гибрид — монополия. Некого стравливать. Вот теперь точно убьют...

Виктор замотал головой:

— Сон какой-то. Бред. Да ведь это же... Блин, «счастье для всех, даром, и никто не уйдет обиженный!». Какой дурак может этого не понять??? Вся вселенная в руках, всем будет в кайф, и не за чей-то счет! За какие гроши, за какие бумажки стоит цепляться при таком раскладе? Они ж уже ничего не значат. Что за ахинея???

— И ничего не будет значить тот, у кого много бумажек, Витя. Даже за призрак такой перспективы они мир спалят. И не в первый раз...

— Это вы о мировых войнах?

— Они — разминка. А вот в Мохенджо-Даро именно эта коса на камень нашла...

— А я знаю от кого вы такого набрались.

— Ничего ты не знаешь. Все наоборот. Это я на санскрите говорю.

Машина тем временем проскочила Ату и остановилась на серпантине, на полдороге к Медео, перед небольшой виллой. Виктория Ивановна гуднула раз, другой, и заорала из окна:

— Гулька, чудище, открывай!

Ворота откатились, они въехали под зеленый свод карагачей и винограда с плющом, обвившими проволочную сетку над головой.

Из дома вышла женщина лет пятидесяти в джинсах и просторной рубаше, лицо было совершенно каменным. Она шагнула с крыльца, протягивая вперед телефон:

— Вика...

— ....

— Самолет сбили. Сергей Никола...

Вика вцепилась зубами в руку и закрыла глаза.

— Вика... — Гульмира сделала шаг — Вика...

Виктория повернулась и пошла в сад, туда, где тень была гуще. С опущенной левой руки капала кровь, оставляя на серых каменных плитах лаковые пятна...

Гульмира присела на крыльцо, уронив руку с телефоном, и тихо позвала:

— Берген!

Из дома вышел казах, жилистый, с тонким лицом, глаз было почти не видно, как будто две черные черточки на лице. Странное дело, они даже не блестели, но лицо освещали. Он безучастно посмотрел на машину, на Виктора и повернулся к женщине:

— Это он?

— Да.

— Куда ему в Непале?

— До Аннапурны доведешь, дальше он сам...

— Хорошо. Через час.

Берген повернулся и вошел в дом. Виктор смотрел на происходящее и понимал все, но принять это не мог. Совсем не мог. Ведь можно же все изменить, теперь запросто можно! За ним такая сила, что...

Хотя...

Он шагнул к саду, но Виктория уже вышла ему навстречу.

— Вот так-то Витя...

Она потрепала его по плечу, сунулась в машину и достала небольшой пакет:

— На. Привет тебе с того света.

— Вик...

— Тут кредитка, на ней то, что от Серезиноного Нобеля осталось, нотариальное заявление на твои права на открытие, ну, прочая лабуда. Только думай сто раз, прежде, чем решишься это засветить. Ааа, паспорта еще, твои — немецкий, хорватский, канадский. Свой лучше здесь оставь. Знаешь, где забрать, когда понадобится.

— Вика...

— Игра такая, Ленц. Я обязана сказать, ты обязан выслушать. Так Сергей просил, на случай, если ты захочешь остаться человеком. Мир так устроен, Витя, боги не могут без жертв. А уж при родах... — она слизнула кровь с руки — И на алтарь идут лучшие. Сами. И надо ж было, чтоб он...

Она плюнула в сердцах, кровью, прямо на плиты двора. Дернула головой в сторону Хан-Тенгри:

— Берген проводит, иди к своим.

— Вы не поняли, Виктория, я могу...

— Это ты еще не понял. Я знаю, что ты можешь, но ты этого еще не умеешь. Учись. Я знаю, кто ты теперь, иди.

— Почему???

— Богам среди людей нельзя. От этого они перестают быть богами. А людям без них никак.

Иди, пожалей людей...

2 книги **Игоря Хайкина**:

### **Ebenda**

*О том, что человечество делится на врачей и пациентов.*

Книга не только о медицине, она — о людях, родившихся в СССР...

### **Блошинный рынок**

*Книга — попытка понять, как меняемся мы и что меняется в нас — в изменяющейся жизни. Что мы находим, что теряем и с чем остаемся. И что остается нам на память.*



ЛИТЕРАТУРНОЕ **zaza** ИЗДАТЕЛЬСТВО  
VERLAG

## Сергей Кузнечихин. «...Что нещаднее колышет Душу – совесть или честь? Стихи



Рожден 14 июля 46 года в поселке Космынино, под Костромой. Окончив химфак Калининского политехнического института, уехал в Свирск, потом переехал в Красноярск. За двадцать лет работы инженером-наладчиком изъездил Сибирь от Урала до Дальнего Востока, от Тувы до Чукотки.

Выпустил поэтические сборники: "Жесткий вагон" (79), "Поиски брода"(91), "Похмелье"(96), "Неприка-янность"(98), "Ненужные стихи"(2002), "Местное время"(2006), "Дополнительное время"(2010) "Уходящее время"(2016) — все в Красноярске, и пять книг прозы, первую ("Аварийная ситуация") — в изд-ве "Советский писатель" в 90-м году, затем "Омулевая бочка"(94), "Где наша не пропадала"(2005), "Забавный народ"(2007) – в Красноярске и "Бич-рыба"( ЭКСМО, 2014). Печатался в "Литературной газете", в журналах: "Дальний Восток", "Сибирские огни", "День и

ночь", "Предлог", "Радуга", "Арион", "Дети Ра" и др. Принимал активное участие в подготовке поэтической серии "Поэты свинцового века", был составителем сборников А. Барковой, А. Тинякова, Н. Рябеченкова, А. Кутилова. Составил антологию интимной лирики «Свойства страсти» (эту книгу можно бесплатно скачать в библиотеке электронных книг «Зарубежных задворок» – <http://za-za.net/ebooks/svoystva-strasti/>).

В политической жизни участия не принимал, ни Ленинских, ни Сталинских, ни Букеровских премий не получал.

*Стихи автора болят. Мир болен, вот и сердце авторское болит, и замирает душа над пропастью. Из неба да над землёй – хорошо видно. Сергей Кузнечихин знаком с реальностью Сибири, суровой и потрясающей природой её не понаслышке. Но в этих стихах больше иного звучания. Наверное – памяти, усталости от вечного движения «чёрных воронок», и тоски, которая русскому человеку, как неснимаемая рубаха, дарована судьбой.*

*Ирина Жураковская*

xxx

*А наше Солнце – в лишаях  
Аркадий Кутилов*

Как превозмочь постылую тщету?  
Советчики благи в словесном вздоре.  
Пожизненная ссылка в нищету –  
Вердикт не самый страшный в приговоре.  
Страшней, когда и завтра и вчера  
Ты весь во власти непонятной боли,  
Когда вокруг и сплошь одна «вохра»,  
А ты еще не в зоне, а на воле.  
Страшней, понять – иного не дано.  
Одна причина, остальное – свойства.  
Что на тебе родимое пятно  
( а не клеймо или печать) изгойства.

## **Черная пурга в Норильске**

*Алитету Немтушкину*

С похмелья Алитет молчун,  
Но знает кто за все в ответе.  
Наш девятиэтажный чум  
Раскачивает хриплый ветер.  
Накурено и воздух сперт,  
А форточку открыть опасно –  
Пурга. Закрыт аэропорт.  
Когда откроется – неясно.  
Страдает пожилой тунгус,  
Тоскливо хворому поэту.  
Пусть холодильник наш не пуст,  
Но выпить, к сожалению, нету.  
Пурга, все злые духи с ней,  
А кто же с нами – непонятно.  
Успевший приземлиться снег  
Пытается взлететь обратно,  
По окнам шарит, дом слепит,  
Ползет, цепляясь за антенны,  
Срывается и вновь летит,  
Бросаясь в бешенстве на стены,  
Но железобетонный кров  
Пока что терпит и спасает.  
Вот если б в тундре и без дров...  
Подумаешь, и в жар бросает.  
Такого страху нагнала,  
Тоски тупой и обреченной.  
Везде пурга белым бела,  
Но здесь ее назвали черной.  
А в доме теплый туалет  
И риска нет поймать простуду.  
Я спрашиваю:  
«Алитет,  
Скажи за что ты любишь тундру?»  
Тунгус не прост, тунгус не трус,  
Не уклоняется от справки.  
«Люблю за холод и за гнус...  
И за полярные надбавки.»

## **Пиковый валет**

Мечта устала догонять,  
Ну а надежда ждать устала  
И память стала изменять,  
Гуляет, падла, с кем попало.  
То не дозваться, то придет,  
Когда ты чем-то важным занят  
И с ней какой-то идиот  
С подслеповатыми глазами.

Рассядется и будет мне  
Плести дремучую дурнину,  
Как будто мы в Дарасуне  
Делили лаборантку Нину.  
Что Дарасун – дыра без дна  
И гастроном без бакалеи.  
Его? Не знаю! А она  
Была, мне кажется, в Балее.  
Брюнетка. Черное белье.  
Уединиться было сложно.  
И, вроде, не делил ее  
Ни с кем, а впрочем, все возможно.  
Лиса, но вовсе не змея.  
Бывали и большей измены.  
Не только женщины – друзья,  
Родные люди, даже стены.

Смешно подумать – столько лет  
Прошло, как в прорву улетело.  
Но этот пиковый валет  
Облезлый, мятый...  
А задело.

### **Южный романс**

На вечерних прогулках  
Нам кукушки кричали,  
И аукалось гулко  
Между гор их вещанье.  
Все приметы пригодны,  
Чтобы верилось легче  
В безоглядные годы,  
В бесконечные встречи.  
А кукушки летали,  
Заверяя нас в чем-то.  
Ну, а мы – все считали  
И сбивались со счета.  
Только где их поруки?  
Не кукушки – сороки.  
Подхватили под руки  
Нас две разных дороги,  
Развели, многогрешных,  
Словно пьяных с пирушки.  
Навсегда.  
И, конечно,  
Виноваты кукушки.

xxx

Уже назад не отберешь,  
Остановиться не упросишь.

Сквозь изумруд осенних сосен  
Летят прожекторы берез.  
И остаешься ни при чем,  
И остаешься без ответа.  
Покачивается тихо ветка,  
Задетая ее плечом.  
Беги вдогонку или плачь.  
Ах, если б это удержало!  
Последним языком пожара,  
Метнулся в соснах алый плащ.

xxx

Велеречивый крючоктвор юрист  
И все-таки (морали не касаясь)  
Случается и брачный аферист,  
Не половой гигант и не красавец,  
А все ж находит нужные слова,  
И безрассудно тратит на поганца  
Коварная и тертая вдова  
Не только лишь телесное богатство.  
Ему не надо качественных слов  
И первородных, что б сдалась невеста.  
Как рыбаку в надежде на улов  
Важна не снасть, а важен выбор места.  
К чему веду – язык не виноват,  
Что с двух сторон шлифован и заточен.  
Иной поэт неряшлив, пошловат.  
А почему-то любят??! Даже очень.

xxx

Очень просто было Берии  
Сеть коварную плести.  
А мошенник на доверии  
Вынужден себя блюсти  
В рамках такта и приличия  
Быть уступчивей, нежней  
И лицом посимпатичнее,  
И фигурой постройней.  
Ни надменности, ни грубости –  
Пониманием пронять.  
И ни в хитрости, ни в глупости  
Простаков не обвинять.  
Тыкать в тело папиросами,  
Трехэтажным матом крыть...

Не допросами – расспросами  
Душу слабую раскрыть.  
Очень тонкая материя  
Соблазнить и развести  
Ну а Вы, товарищ Берия,  
Шли по легкому пути.

## Заклинание

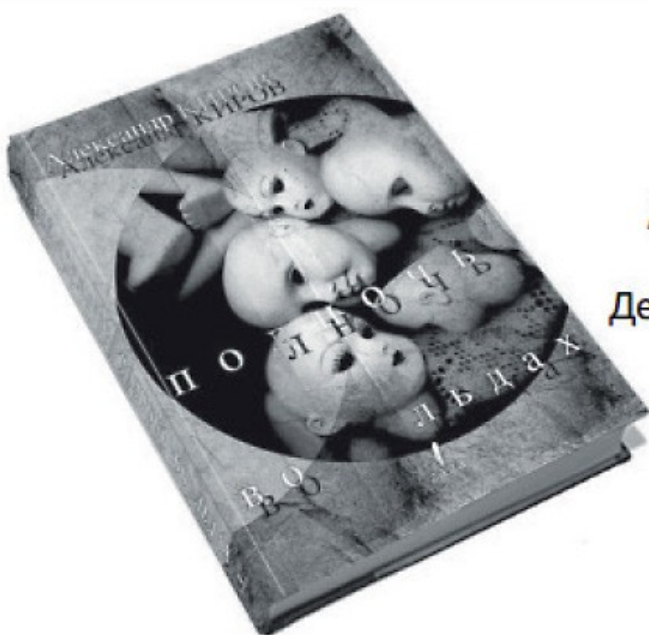
Собственной прокуратуре  
Бесполезен адвокат.  
И следы кнута на шкуре  
Всех грехов не искупят.

Что нещаднее колышет  
Душу – совесть или честь?  
Может Он тебя услышит  
Если Он и вправду есть?

Чтобы боль твоих молений  
Не унизила мольба,  
Кайся не щадя коленей,  
Кайся не жалея лба.

Шепелявь и заикайся,  
Кровь размазав по губе.  
Кайся. Кайся. Кайся. Кайся.  
Есть в чем каяться тебе.

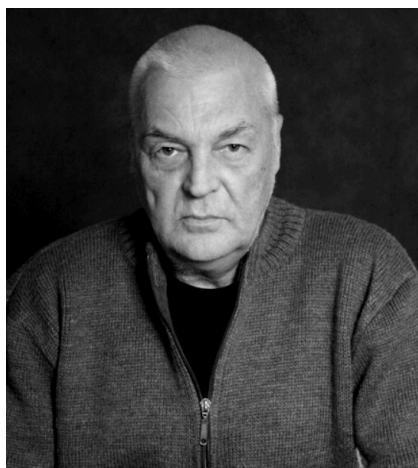
И прощение у Бога  
Заслужи, а не проси.  
Близость храма и острога  
Неслучайны на Руси.



## ПОВЕСТЬ «Полночь во льдах» Александра КИРОВА

Действие повести происходит  
во время **ВОВ**  
в санатории  
для детей, страдающих  
**КОСТНЫМ** туберкулезом.  
Главный **герой...**

## Алексей Зикмунд. Куклы Фараона. Рассказ



Алексей Зикмунд — литературный псевдоним Алексея Константиновича Гаврилова. Родился он в Москве 9 июля 1959 г., окончил исторический факультет МГУ, а также ординатуру в Пражском университете. Является автором нескольких художественных книг, в том числе, изданных в Москве, также имеет публикации в Вене, Зальцбурге, в Праге, в том числе: в журнале «Новый мир» №7 2001 г. повесть «Герберт»; в издательстве «Авалон» 2005 г. «Трансформация»; в издательство «Авалон» 2009 г. «Лёд и пламя». Два рассказа А. Зикмунда «Воздушный вагон» и «Зеркала Иды Равич» были опубликованы в журнале Za-Za №22, повесть «Солнце Иерусалима» в журнале Za-Za №25, а повесть «Битва Августа» в журнале Za-Za №32.

*Попытка объяснить историю древней мистикой...*

*Попытка связать воедино реальность и ирреальность...*

*Попытка сказать, внятно, строго и ясно, о том, что мир, жизнь и гибель принадлежат не только людям, но и тем, кто только таинственно сохраняет, копирует людские фигуры, тела...*

*Душа. Дух. А что над духом? По буддийскому учению, у человека несколько невидимых тел. Египетская "Книга Мертвых" говорит нам о путешествии в Мир Иной, и не все мы превращаемся в ушебти — потусторонних существ, навсегда забывших Нил и пирамиды; возможно, кто-то живет и по сю, и по ту сторону реальности, да еще и царственно, властно влияет на ход событий. Объяснить успехи Сталина воздействием на людей и пространство кукол Фараона — царских подарков, вытщенных из хранилищ Кремля при смене российской власти, было бы слишком просто. Рассказ Алексея Зикмунда "Куклы Фараона" — о другом, не только о прямой связи загадочного древнеегипетского колдовства и суровой и жестокой реальности железных сталинских буден. Он — о том, что архаический символ-знак часто сильнее слабого человеческого желания; о том, что мы забыли язык времени и говорим на языке сугубого быта.*

*А иероглифы времени нечитаемы.*

*"...скоро будет Новое Время и Новая Земля".*

*Так оно обычно и бывает после трагедий и катаклизмов.*

*Так было всегда.*

*Елена Крюкова*

В феврале семнадцатого года Москва утопала в грязном снегу. На улицах толпы с транспарантами. У солдат и офицеров в петлицах красные ленточки. Все целуются и обнимаются, как в Христовый праздник. От радости дворники перестали убирать снег, из будок исчезли городовые.

Штабс-капитан Иртенев посмотрел в окно, где революционные студенты бурно отмечали отречение императора. Отец его, сильно пожилой человек, в прошлом генерал от инфантерии, сидел в кресле и раскладывал пасьянс длинный, очень сложный с многочисленными перемещениями.

— А вот звездочка, Илья Иваныч, в третьем раскладе звездочка. Всем нам скоро конец.

Иртенев курил папиросу и смотрел в окно, привычно не обращая внимания на глубокомысленные выводы родителя. Теперь его занимали две кур-



систки в расстегнутых шубках, которые куда-то вели студента. Студент, по всей видимости, был пьян, и все время пытался упасть. Под мышкой он нес свернутое в трубочку красное знамя. Оно мешало, но бросать его было нельзя. Кто им этот пьяненький, брат, жених? Жених... Иртеньев усмехнулся и потушил папиросу.

Крупный снег, большими белыми, хлопьями ложился на подоконник и тут же превращался в воду.

— Теперь уже скоро, — сладострастно шептал, отец, засовывая карты в коробку.

Отпуск Иртеньева подходил к концу, и надо было возвращаться на фронт. Пройдя к себе в комнату, он стал собираться в дорогу. Проверил, несессер, бритву, оружие. Когда он застегивал ремень на дорожном саквояже, зазвонил телефон. Войдя в большую комнату, где стоял аппарат, он снял трубку.

— Иртеньев Илья Иванович? — спросила трубка.

— Так точно, — ответил тот.

— Вас беспокоят из комендатуры Кремля. Мы знаем, что Вы по образованию искусствовед.

— Да. Это так.

Голос в трубке сделал паузу.

— Мы тут разбираем кое-какое имущество, составляем опись. Было бы желательно, что бы Вы приехали.

— Но мне завтра на фронт, отпуск заканчивается.

— Ну, об этом не беспокойтесь. Так мы договорились?

— Ну, если Вы настаиваете...

— Тогда, завтра в десять у главных ворот.

Илья Иванович положил трубку и осмотрелся. На столе скатерть чистая, но мятая, на полу горшки, пальмы, фикусы, в центре стола фарфоровое блюдо с серебряной мелочью. Над столом люстра с тонкими стеклянными висялками. Иртеньев помнил эту комнату в пять лет в семь и в двенадцать и ничего в ней не поменялось. На стенах те же картины, неважные копии русской классической школы. Эти обои из зеленого шелка... Я их помню всю жизнь, и пустую клетку без канарейки, и узкое окно без шпингалета, которое на моей памяти ни разу не открывалось. Все эти предметы по многу лет на своих местах, и они неподвижны.

В десять часов утра Иртеньев уже был у кремлевской проходной. Проход в Кремль охраняли юнкера, веселые, улыбочивые, с красными революционными бантиками, они еще и не представляли, какое событие ожидает Москву, да и всю Россию.

Встречал Иртеньева маленький низкорослый, полковник с седыми висками и с треугольным бушлатом за спиной. У него была странная манера разговаривать. Сначала он произносил несколько слов, затем делал паузу и потом: «хм – хм», словно он над чем-то размышлял. Он представился: «Полковник Морозов», и снял с руки маленькую серую перчатку. Иртеньев увидел, что рука полковника обожжена кислотой или огнем.

Они миновали посты и прошли в Кремль. Занесенные снегом наполеоновские пушки мирно тарасились в пустоту. Пройдя несколько александровских зданий, они повернули и остановились напротив кирпичного терема. Под массивным крыльцом дубовая дверь. Полковник постучал, им открыли. Спустившись в подвал, они долго шли по подземным галереям. Иртеньев и не предполагал, что лабиринты под Кремлем могут быть такими длинными. Ступени то сбегали вниз, то поднимались, пока, наконец, они не оказались в большом зале с кирпичными сводами, в глубине которого находилась огромная, обитая железом дверь.

Полковник зажег электрический фонарик и вставил большой ключ в тяжелую эту дверь. «Помогите пожалуйста», — попросил он.

Так, толкая, подвинули они гигантскую эту створку. Запахло мышами и вековой пылью. Полковник нагнулся, взял с полу керосиновую лампу и протянул ее Иртеньеву. «У вас есть спички?», — спросил полковник. Иртеньев вытащил зажигалку. Лампа осветила очень большое помещение, уставленное обернутыми в мешковину предметами. Иртеньев и полковник еще немного, поднажали на дверь, и теперь слабый электрический отблеск разбежался по всему этому пространству. Прикинув размеры помещения, Иртеньев понял, что оно едва ли не больше двухсот метров. Далеко во тьме угадывались кирпичные своды. Подняв лампу повыше, он увидел, что все помещение заставлено различными предметами, часть которых прикрыта материей. С поднятой лампой он прошел дальше и остановился.

— Так, что вы от меня хотите? — спросил он, оборачиваясь к полковнику — Охарактеризовать художественную ценность этих вещей при помощи керосиновой лампы я не могу. Нужен свет, много света.

— Завтра будет свет.

— А вообще, что это?

— Ну, скажем так, это подарки царям. В разное время царям дарили подарки, и они оставляли их здесь, не все, но многие. У меня есть описи, составленные в разное время с номерами и подписями. Но, увы, многое не совпадает. Комнат, таких как эта, тут три. Из одной можно пройти в другую. Завтра придут электрики, проведут свет.

— Только мне завтра на фронт.

— Ну, что вы волнуетесь милейший Илья: Иванович. От имени коменданта Кремля мы дадим вам бумагу, что вы, выполняли для нас важное государственное поручение. Приходите завтра, часам к двенадцати, все будет готово.

На следующий день Иртеньев сам нашел дорогу. Электрики собирали ящики с инструментами, освещение было, как дневное. Скинув шинель и китель, Иртеньев расстегнул ворот гимнастерки и огляделся. Он не знал, с чего ему начинать. На огромном сундуке, окованном медными пластинами, лежали книги с описями царских подарков. Некоторые были такими, старыми, что кожаные переплеты их были изъедены червями. Страницы у них буквально осыпались от ветхости. Многие номера были вымараны, это могло значить лишь то, что они, либо были кому-то передарены, либо украдены в период очередного российского лихолетья. К вечеру Иртеньев здорово устал.

Помимо различной мебели: клавесинов, ломберных и шахматных столиков, он обнаружил мечи и арбалеты со стрелами, и серебряные византийские вазы и еще множество уму непостижимого имущества: и персидские побитые молью ковры, и горы оружия: охотничьи ружья, богато отделанные камнями и перламутром, кремневые пистолеты, шпаги, рапиры, сабли, и даже мечи времен крестовых походов и позднего Рима.

На третью неделю трудов Иртеньев вплотную придвинулся к третьей комнате. Блокнот его раздулся от записей. Сначала, он схематично описывал предмет, присваивал ему номер, и приблизительно, на глазок, реальное время, эпоху, в которую тот был произведен. В третьем зале хранилища были костюмы разных эпох, дамские и мужские платья и множество детских игрушек. Куклы фарфоровые, деревянные, говорящие и нет с ключами в спине и с металлическими шарами катающимися внутри. Всем этим, когда то играли венценосные особы. Одна кукла особо поразила Иртеньева.

Это был воин в египетском платье почти в человеческий рост. Роскошные одежды и фарфоровая бледность лица, все это придавало ей большую выразительность, даже неотразимость. При всем притом, было в ней что-то не-

уловимо неприятное, что Иртеньев не мог объяснить. В руках кукла держала короткий меч. Взгляд ее, устремленный в одну точку, сам напоминал лезвие, застывшее, неподвижное в мысленном ударе. Подойдя поближе, он стал разглядывать ее. В ушах треугольные серьги. Причем, одна острым концом опущена вниз, а у другой острый конец направлен вверх. На груди круг, в него вписан квадрат. В квадрат в свою очередь вписан другой квадрат, поменьше. Руки ее в перчатках. Если на других игрушках взгляд Иртеньева долго не задерживался, то эта приковала его к себе и долго не отпускала. В этой игрушке была тайна, но какая — этого он объяснить не мог.

В подземных хранилищах Мемфиса было спрятано много чего — карты географические и натальные, золотая посуда, благовония и медицинские инструменты. Один коридор охранялся особо. Старый Птех, жрец, на голове которого давно ничего не росло, как то сказал молодому Асану:

— Это путь к Богам. В Египте Боги были везде, их можно было встретить на каждой улице и в любом дворе, они были не больше и не меньше себя и нравились людям. Со временем Боги потеряли всякую осмотрительность и стали принадлежать к предметам домашнего обихода. Утром они приветствовали пробужденного, вечером сопровождали его ко сну. В течение дня и ночью они не спящие наблюдали за человеком. В конце концов, сделали его, человека, частицей себя. Но это было давно, теперь же все по-другому, — сказал старик тяжело вздохнув.

Через некоторое время Птех уплыл на лодке Ра к Богам, а молодой Асан, со временем сделался не молодым. И хотя он уже давно был приобщен к самым высоким таинствам, еще ни разу он не путешествовал по лабиринту, ведущему к Богам.

Однажды верховный жрец Эфер вызвал его к себе. Слуга передал Асану медную пластину. Это означало, что тот должен явиться в главное здание Мемфиса.

На острове, в середине большого водоема, находился священный крипт Эфера.

— Империи нужны куклы.

— Какие куклы, достопочтенный Эфер? — в свою очередь поинтересовался Асон.

— Империи нужны куклы богов. Последние были утрачены во время второй династии. Голод и поражения в войнах. Египет теряет земли.

— Я не совсем понимаю Вас, достопочтенный Эфер.

— Скоро поймешь. Завтра утром мы отправляемся в пантеон Богов.

— В какой? — достопочтенный Эфер.

— Египет — их пантеон. Туда не могут входить те, кто усваивает не мудрость для всех.

— Я повинуюсь Эфер. Но вопросы мои молчат.

— Тогда пусть заговорят Боги, — сказал главный жрец и повернулся к нему спиной.

Эфер и Асон, долго шли по петляющим под землей коридорам. По дороге один факел погас, и они зажгли новый. Огонь, то сжимался в ниточку, то подпрыгивал вверх, воздух поступал неравномерно. Лабиринт, по которому они шли, становился все уже, а потом и все ниже. Теперь они продвигались, задевая руками за сухие пыльные стены. Воздуха становилось все меньше. Асон почувствовал, как у него начинает кружиться голова. Он был близок к обмороку.

Вот узкий коридор закончился, и они оказались в квадратном помещении, отделанном базальтовыми плитами.

Пламя факела пошло вверх. Вокруг, был воздух, много воздуха. Теперь дышалось легко. Они стояли напротив каменного блока. Эфер поднял руку и просунул ее в едва заметное углубление. Блок плавно отъехал в сторону. Они очутились в ярко освещенной зале. Нельзя было определить источник света. Это были не факелы, а что-то иное, похожее на свет дня. Странные, никогда не виданные предметы открылись взору Асона.: Троны с ремнями, круглые шлемы. Больше всего Асона поразила огромная прямоугольная доска, которая вся светилась разноцветными огоньками. Эфер посмотрел на него испытывающим взглядом и сказал:

— Они, оставили много того, что мы не можем понять. Однако, даже того, что мы знаем, вполне достаточно, чтобы сотворить новое из прежнего материала. Увы, время людей, почти все — да только их время. Они, люди, исчезают в нем и, как правило, не попадают в пространство вне времени. Круговорот возникновений и исчезновений бесконечно велик. Богам не нужно завоевывать время для понимания. Они вне категории доступного нам смысла. Поэтому, что-то они нам могут объяснить, то на что мы способны. Мы же не можем им дать ничего кроме смерти, из которой переходим обратно в жизнь. Если жизнь — это вход в смерть, а смерть — это вход в жизнь, тогда ни того ни другого нет. Но что есть для нас во временном мире, где только здесь и сейчас? Вот видишь, Асон, это таблица, Эфер указал рукой на длинный прямоугольный стол.

На большие квадратные листы из белого металла были нанесены рисунки, изображающие двух кукол — женскую и мужскую.

— По-существу они мало чем отличаются друг от друга. Разве, что мужская — несколько побольше женской. Теперь самое главное, чтобы изготовить этих кукол, тебе понадобятся семь юношей и семь девушек, — Эфер сделал паузу и внимательно посмотрел на своего собеседника.

— Я не понимаю, достопочтенный Эфер.

— Ну, как бы получше тебе объяснить? Тебе понадобятся только их головы и сердца. Семь женских и семь мужских тел, вот, что нужно для изготовления.

— Я должен их убить?

— Получается так.

Асон был в растерянности, он думал, как дальше построить этот не простой разговор.

— Эти юноши и девушки, они преступники?

— В том то и дело, что нет. Я скажу больше, они должны быть чисты и невинны. Но самое главное, их надо лишить жизни так, чтобы они не успели испугаться. Смерть должна быть для них совершенно неожиданным событием.

— Но я, достопочтенный Эфер, никогда не убивал людей.

— Ну, что же, все когда-то случается.

— Но, достопочтенный Эфер, ведь вы, могли выбрать более достойного.

— Я думал об этом. Лучше тебя, Асон, никого не найти. Я стар, рука моя уже не верна, а ты, ты справишься. Думай о них так, будто они уже мертвы. И вот еще, все девушки должны быть невинны.

— Я могу отказаться?

— Нет.

— А если я все же откажусь?

— Тогда ты умрешь.

— Но почему?

— Потому, как в изготовление кукол может быть посвящен только один. Отнимая у них временную жизнь, ты даешь им нечто большее. Ты дашь им

власть над бранным миром форм. Скорее всего, никто из них не станет ни известным писцом, ни военным начальником, ни жрецом. Всех их ждет скучная жизнь и вполне обычная смерть. Конечно, ты скажешь, что девушки способны родить героев. Даже если это случится, и их дети прославят Египет и его фараона, то и тогда пользы от них будет меньше, чем от кукол, на изготовление которых пойдут их головы и сердца! А герои... они все равно произойдут, от других тел... — Эфер сделал паузу. — От тех, о которых ты ничего не знаешь. Ибо ни одно событие и не один герой не могут произойти, если это не угодно Богу. Никто не может помешать нам помогать ему.

Асон стоял и смотрел на свет, льющийся из закрытых окон. Он думал о том, что Боги мало говорят, но много делают; что успех людей, это не их успех, а только то, что предопределено.

Полгода Асон изучал чертежи. Он присмотрел несколько десятков живых голов и теперь думал, как осуществить свой план. И такой план он придумал. Встретившись с Эфером, он попросил его приготовить четырнадцать папирусов с подписью Эхнатона и с его печатью.

— В них будет сказано, что все они приглашены во дворец, на праздник разлива. Их отведут в купальню, расположенную недалеко от дворца. Рядом с купальней комнаты, в которых всех можно разместить. Каждая комната перед купальней имеет вход и имеет выход. Стражники фараона должны мне помочь. Отнять жизнь у стольких сразу — предприятие не из легких.

— А, будет ли эта их смерть неожиданной? Ведь мы не можем использовать яд. Он может повредить делу.

— Яд — нет, но их можно усыпить. Я дам им сильное средство и они уснут, а потом все остальное, почтенный Эфер.

Итак семь юношей и семь девушек, их звездные знаки соответствуют, семи планетам, семи металлам и семи камням. Ночью, в полнолуние, перед праздником, все выпили снадобье, чтобы никогда не проснуться. И в эту же ночь жрец Асон аккуратно отделил головы от тел и удалил из грудных клеток сердца.

Теперь имелся материал для кукол. Можно приступать к их изготовлению. В процессе работы черепа подвергли тщательной обработке. Мозг из них был удален, вместо него было вставлено сердце. Камни и металлы соответствовали рождению и должны были дать кукле почти вечную жизнь. Собственно, сама кукла представляла из себя маленькую вселенную. Шесть черепов помещались в корпусе куклы, седьмой становился ее фактической головой. Из семи женских и семи мужских тел отобрали наиболее изящные кисти и ступни. Через полгода они были готовы. Богатые одежды с традиционными рисунками и украшениями сделали их почти совершенными.

В особенный день их показали фараону. Солнце находилось в зените. Молодой правитель сидел на высоком троне в окружении воинов и слуг. Кукол принесли на носилках и поставили перед тронном. В темень мужской и женской куклы были вставлены большие бриллианты. Кукол поставили напротив друг друга. Молодой Эхнатон поднялся с тронного кресла. Когда стрелка солнечных часов оказалась в надире, куклы пошли навстречу друг другу. Шли они совсем медленно, так могут ходить только маленькие дети. Руки их встретились и переплелись. Теперь можно было сказать, что они застыли в объятиях друг друга.

После того как куклы были приведены в движение, Египет семь лет не знал голода и болезней. Семь лет подданные благоденствовали. Однако все когда-то кончается.

Постепенно власть кукол над обстоятельствами стала слабеть и на двенадцатом году иссякла совсем. А гиксосы разрушили храмы и дворцы Египта и Нил наполнился кровью.

Куклы же были увезены в пустыню и изъяты из небытия захватившим казну гиксосов Сципионом. На самого Сципиона куклы не произвели никакого впечатления. Но вот Гракх, его стряпчий, рассмотрев их повнимательнее, пришел к выводу, что надо бы послать гонцов и привести жрецов. «Эти куклы священны для Египта, если мы их вернем, наши отношения станут лучше», — сказал Гракх. Сципион отправил гонцов.

Дело это было не быстрым. Наконец, жрецов привезли. Осмотрев кукол, они долго восхищались столь тонкой работой. Говорили, что в нынешнее время на такое уже не способны, что кругом забвение мастерства. Узнав, что Сципиону предстоит сражение за Карфаген, они предложили помощь. На что тот только усмехнулся.

— Ваши боги мертвы, — сказал он жрецам. — А мои живы и здоровы, так чем же вы можете мне помочь?

— Мы знаем, что тебе предстоит битва за Карфаген. В полнолуние мы сможем призвать к тебе победу.

— Ну ладно, склоняю свою седую голову перед вашими игрушками.

Во время полнолуния куклы пошли навстречу друг другу, и это обеспечило Сципиону победу при Карфагене.

Затем след их теряется. Во время крестовых походов куклы появляются во Франции, но вот используют ли их по назначению? Сие неизвестно.

В 1799 году кукол этих преподносят в дар Наполеону. Совершенно точно известно, что он использует их по назначению. В этом ему помогают мартинисты, египтологи и масоны, которых он не жаловал и не любил. Феноменальные победы императора и завоеванный мир, не следствие ли это их, кукольных отношений? В 1815 году войска русского императора Александра занимают Париж. Одну из кукол привозят в Петербург. Следы второй теряются. Эту-то куклу Иртеньев и нашел в хранилище под Кремлем.

Опись, составленная Иртеньевым, попала к большевикам. Там ее изучили и сделали выводы. Большинство царских подарков предстояло пустить с молотка. Иртеньев, мобилизованный в Красную гвардию успел к ней привыкнуть. Все-таки это была армия. В двадцать четвертом он занимал крупную должность в наркомате обороны. В январе двадцать пятого года его вызвал Блюхер.

В кабинете находилось еще несколько человек: секретарь Сталина Поскребышев, чекист Блюмкин и какая-то дама в очках ярко выраженного еврейского происхождения.

— Доброе утро, Илья Иванович, — сказал Блюхер, встал из-за стола и протянул руку.

— Доброе утро Василий Константинович.

Раньше Иртеньев и Блюхер встречались на фронте и у них сложились, хорошие доброжелательные отношения. На гимнастерке Блюхера сверкали аж три ордена Боевого Красного знамени. Все-таки он Командарм и настоящий герой гражданской. Наверное, три ордена это нормально, учитывая его заслуги перед республикой, — подумал Иртеньев, пожимая протянутую Блюхером руку.

— Садитесь, пожалуйста, мы тут, Илья Иванович, вот по какому случаю...

Знает мое имя и отчество. Не может быть, что бы помнил, кто-то подсказал, подумал Иртеньев. Блюхер взял с края стола папку и подал ее Иртеньеву.

— В феврале семнадцатого Вы составляли опись царских подарков?

- Да. Такую опись я составлял.
- Вы все предметы вносили в реестр?
- Да. Я вносил туда все, что находилось в хранилище.
- Откройте, пожалуйста, папку.

Иртеньев открыл.

- Посмотрите внимательно. Где Ваша рука, а где чужая?

— Когда я составлял опись, там было свыше восьмисот единиц хранения. Теперь только шестьсот семьдесят пять. Все номера, написанные моей рукой, переправлены. В чьем ведении были все эти вещи и предметы с того и спросите. Я с четырнадцатого на фронте, опись составлял, находясь в отпуске.

— Дорогой Илья Иваныч, Вас никто и ни в чем не обвиняет. Мы просто пытаемся кое-что понять, — сказал Блюмкин.

— Подождите Яков Григорьевич, рано делать какие-то выводы. Я хочу знать, как так вышло, что государственное имущество было расхищено? — спросила еврейка.

- Ну, не мной же, — парировал Иртеньев.

Женщина кинула на него холодный и колющий взгляд, в котором отразилось абсолютное недоверие и почти нескрываемая злоба.

— Вы до семнадцатого года, товарищ Иртеньев, принадлежали к имущему классу. Я выяснила, что по происхождению вы дворянин. У Вас была усадьба в Тульской губернии?

Но тут в разговор вмешался Блюхер, он говорил с иронией, но не менее зло.

— Товарищ Марон, я знаю товарища Иртеньева по гражданской. Он боевой командир, неоднократно награждался Реввоенсоветом. Я не вправе сомневаться в его порядочности. В разговор вступил доселе, почти молчавший Блюмкин.

— Не суетись, Эсфирь. У тебя все возможные рычаги, ты отыщешь похищенное.

- Как? Как я сделаю это?

Блюхер снова перебил даму.

— Я вызвал сюда товарища Иртеньева по вашей просьбе, товарищ Марон. С февраля семнадцатого он не занимался этим вопросом. Где искать похищенное, не знает. Но у Вас есть полномочия ЦК.

— Да. У меня есть полномочия, но я не знаю, что я должна искать. Того, что было в этой описи, — Эсфирь потрясла в воздухе папкой. — Того, что исчезло, как бы уже нет на свете, — голос ее сорвался на крик.

- Мой кабинет, товарищ Марон, не место для женских истерик.

— Эсфирь, Василий Константинович прав. Но, я помогу тебе в этом вопросе, — сказал Блюмкин, и, взяв Эсфирь под руку, подтолкнул ее к выходу.

— Что ты набросилась на Иртеньева? Он тут не при чем. Ведения произошли не в семнадцатом, а позже, уже при нас. Странно только, что эту опись не уничтожили, а только изменили номера. Что и когда продано на аукционах? Выясни это. И еще, кто был комендантом Кремля после октября семнадцатого?

- Ты думаешь?

— Я не думаю, Эсфирь, я действую. Я ставлю семь месяцев временного правительства, против семи лет нашего, и знаешь, второй аргумент весит больше. Ну, подумай? При временных царь с семьей был еще жив, симпатии общества не определены, великий князь мог взойти на престол. У Романовых много родственников, все могли претендовать на него. Без сомнения, вещи украдены при нас, при нашей власти, — сказал Блюмкин, и, вытащил золотой, украшенный бриллиантами портсигар.

— Блюмкин, откуда у тебя такая дорогая вещь? — наивно спросила Эсфирь и вытаращила на него свои коричневые глаза.

— А пустяки, — сказал знаменитый чекист и достал спички.

Затянувшись, он глубокомысленно посмотрел на крыши домов и сказал: «Не знаю, все ли, но что-то, я найду. Это точно».

Много часов и дней Блюмкин прокручивал, в голове эту историю с царскими подарками. Кто их мог взять, после октября семнадцатого года? Ответ приходил сам собой. Их мог взять кто угодно. С чего-то надо было начинать, и Блюмкин отправился в протокольный отдел Кремля, где хранились личные дела сотрудников.

Все дела лиц, близких к комендатуре в советский период, были безупречны или почти безупречны. Мальков, Петерс, люди легендарные. Но вот, с марта девятнадцатого, по июнь того же года исполняющим обязанности был назначен Золотицкий Вульф Лазаревич. Кто он? Сведений почти никаких рекомендательное, письмо Свердлова. Домашнего адреса нет. Оставь я эту дурю Эсфирь одну, она таких дров наломает. А кому это нужно, у нас и так, непонятно, что начинает происходить.

Дома Блюмкин разогрел ужин оставленный домработницей и стал кормить кота. Кот был своенравный, сибирский, средней пушистости с горбатым носом. Порезав на тарелочку мясо, он стал наблюдать за котом.

Кот не спешил. Сперва он обнюхал продукт, потом пошевелил его лапой, и, только потом стал есть.

— Мне надо действовать так же, — думал умный Блюмкин, — надо быть внимательным и осторожным. Он с опаской поглядел на бутылку водки. — Конечно, я люблю выпить, но я и пьяный работаю, как зверь. А что мне мешает бросить ее? Привычка или нервы? Вероятно и то и другое.

Кот доел мясо и стаи умыться.

Блюмкин не был бы Блюмкиным, если бы не нашел его. Теперь Золотицкий владел издательством и десятком книжных магазинов. Это был маленький мужчина с круглым лицом и короткими ручками, он сидел за большим столом и что-то писал, постоянно макая в чернильницу деревянную ручку.

— Я к Вам, Вульф Лазаревич, моя фамилия Блюмкин. В данный момент я занимаюсь хищениями из хранилищ Кремля.

Вульф Лазаревич Золотицкий сначала побледнел, потом покраснел и снова побледнел, теперь он стал таким белым, каким бывает покрытая мелом стена. В Москве все знали кто такой Блюмкин.

Вульф Лазаревич от всего отказывался, отвечал невразумительно, и, Блюмкин понял, что это нужная ниточка. За Золотицким следили несколько дней.

В двадцать пятом году сотрудники ГПУ уже обладали виртуозной техникой слежки.

В воскресный день подозреваемый зашел в дом своего двоюродного брата и долго не выходил. Сотрудники наружного наблюдения донесли Блюмкину, что в доме разговаривают на повышенных тонах. Под вечер оба вышли на улицу, взяли извозчика и отправились в Марьину рощу. У доходного дома извозчик остановился. Братья вошли во двор и стали стучаться в дверь флигеля. Затем дверь отворилась, и они прошли внутрь. После этого Блюмкин отдал приказ об аресте. В этом неприметном доме было обнаружено девять предметов, похищенных из кремля. В их числе была и кукла фараона.

Найденное доставили на Лубянку, где все тщательно осмотрели эксперты Госхрана. Похищенные вещи не представляли особой художественной ценности. Судьба их должна была решиться на ближайшем аукционе. Иное дело, кукла. Египтолог Тураев, осмотрев ее, пришел к выводу, что она очень



древняя, и, изготовлена в очень далекие времена. Обнаружив золотые таблицы под платьем, Тураев был поражен правильностью и сложностью геометрических фигур, изображенных на них.

— Вы посмотрите, какая чистота линий, какая безупречность рисунка, — говорил он своей секретарше Волошиной, молоденькой студентке.

Та, в свою очередь, очень ненатурально хлопала ресничками, и совсем ни за чем передвигала на столе разные случайные предметы.

— Эту куклу продавать нельзя, — авторитетно заявил Тураев, и вопрос был закрыт.

Для нее изготовили деревянный ящик. Дали инвентарный номер и упрятали в темный подвал, вроде бы как на далекие годы. Однако все сложилось иначе.

В 1925 году ГПУ, решило отправить Блюмкина за границу, на Тибет. Цели — вполне политические. И Яков Григорьевич подошел к этому заданию более чем ответственно. Он бросил пить (на время). В библиотеках он брал книги по буддизму. Читал, и, не просто читал, но и конспектировал их. За несколько месяцев Блюмкин, проявив огромную работоспособность, прочитал много чего. Читал он и газеты. Из одной из них он узнал следующее.

Китайский император преподнес тибетскому ламе несколько кукол в богатой одежде — индийскую, китайскую и египетскую. Узнав об этом, Блюмкин решил, поближе рассмотреть куклу. Он позвонил Тураеву и попросил его приехать. Они встретились у входа в хранилище.

Тураеву не был заказан пропуск, но с Блюмкиным он мог пройти куда угодно, тот был член коллегии ОГПУ. Факт этот открывал ему все возможные двери. Они подошли к ящику, открыли его и поставили куклу под яркую лампу. Блюмкину показалось, что она ожила. Он почувствовал, как она дышит. Чтобы наваждение это исчезло, он крепко зажмурил глаза.

— Вы знаете, в ее грудной клетке шесть человеческих черепов, а внутри золотые пластинки, с астрологическими символами и с какими-то значками, явно не египетского происхождения.

— Как Вы думаете, когда эта игрушка попала в Россию? — поинтересовался Блюмкин.

— Я точно знаю, что ее захватили казаки Платова, а до этого она была в сокровищнице Наполеона.

— Захвачена в Египетском походе?

— Наверяд ли. Но вот, что пишет Лафайет в письме, адресованном императору. Тураев достал из внутреннего кармана листок бумаги и развернул его. — Жозеф де Балю привел в движение кукол. Это было забавно сир, они медленно подошли друг к другу и будто бы обнялись.

— О каких куклах идет речь в этом письме?

— Неизвестно, подробности отсутствуют. Но вот, турецкий султан на несколько веков ранее оперирует какими-то куклами. История мамелюков пишет, что их привели в движение, для славы и побед султана. Не одни ли те же эти куклы? Их перемещали по миру, они оказали влияние, или попробовали оказать влияние на ход мировой истории. Вот одна из них здесь, а вторая неизвестно где.

— Возможно, я знаю, где вторая кукла, — сказал Блюмкин, вынимая пачку папирос.

— И где же?

Тот усмехнулся.

— Какой вы нетерпеливый товарищ Тураев. Бог действует медленно. Вот и мы не будем спешить, не будем торопиться. Если эта кукла будет похожа на

нашу, я Вам ее покажу. А если не будет похожа, то я не буду пытаться ее привезти.

Незадолго до начала экспедиции Блюмкина вызвал к себе Глеб Иванович Бокий и поставил перед ним следующую задачу:

— Среди тибетских лам существует симпатия к нашему строю. Надо разыграть политическую карту. В случае успеха, контроль над сектами и обновленцами на территории Советской России будет совсем решенным вопросом. Если возникнут близкие связи, и мы сможем сориентировать Лхасу на посольство, все это станет прямой политической победой. Но мне бы сейчас хотелось поговорить о другом. Несмотря на большие трудности с получением виз для европейцев, немцы каким-то образом проникают на Тибет. Об этом мне сообщил агент-бурят, в прошлом белогвардеец. Еще в двадцать втором, антропософское общество Штайнера, с целью поисков Шамбалы. Вы вообще, Яков Григорьевич, в курсе? Нынешнюю экспедицию финансирует немецкий генеральный штаб!

Блюмкин покачал головой.

— Кое-что мне известно, но мало. Ну, так вот, по преданию, есть вход в центр мира, об этом пишет Шамполион. Он рассказывает об одном французе, фамилия которого Розиньяк, и что, тот, побывав в Шамбале, невероятно помолодел, и прожил почти до ста лет. Говорят, что раса волосатых гигантов, следы и стоянки которых находят в Гималаях, это деградировавшие жители этой вечной страны, забывшие обычаи и традицию. О них упоминает путешественник Миклухо-Маклай, — Блюмкин закончил.

— Не густо, — сказал Бокий. Затем встал из-за стола и заходил по кабинету. — Впрочем, и мне известно не больше вашего. Я знаю следующее. Немецкий генеральный штаб, и, совершенно неизвестное мне общество «Туле» под предводительством барона Заботендорфа, два дня назад отправили на Тибет экспедицию. Сейчас они движутся по нашей территории в нашем «восточном экспрессе». Путь их лежит до Пекина, а дальше как — я не знаю. Не думаю, что они испытывают недостаток в денежном обеспечении. Вы, будете добираться туда по другой дороге. Сначала поедете до Улан-Батора, а дальше по горным тропам на лошадях. С Вами поедет художник Святослав Рерих. Он окажет помощь в различных деликатных вопросах.

До Улан-Батора Блюмкин ехал во фраке. Воротничок натирал шею. Вентиляция работала неважно, в купе он открыл окно, и на мгновение высунул голову. Черная паровозная копоть сразу же сделала белый воротничок серым. В купе он ехал один. Противоположная полка была пуста, на ней лежали его саквояж и стопка газет. Мучительно медленно ползли вагонные часы. Блюмкин знал, что рядом едет художник с женой. Хоть и перед отъездом их познакомили, он, тем не менее, на самостоятельное общение не решился. Достав из саквояжа бутылку коньяка, Блюмкин взял стакан, стоявший на столике, тщательно протер его. Налил грамм сто пятьдесят коньяка и выпил. По телу пробежалось приятное тепло. Есть он ходил в ресторан, который находился сразу же за его вагоном. Он видел Рерихов, видел их косоглазую прислугу. Однако никакого общения не было, они только здоровались. К концу поездки под диваном в купе лежало девять пустых коньячных бутылок. Все, больше ни капли, решил он, и слегка укусил себя за кисть правой руки.

В Улан-Баторе, в советском посольстве им отвели специальную комнату.

Встретить их приехал отец Святослава — художник-эзотерик Николай Константинович. Он обнял сына и поздоровался с Блюмкиным.

Путь в Лхасу через Монголию был не из легких. Сначала, сколько возможно, ехали на машинах, затем пересели на лошадей. Пошла бесконечная горная тропа, неуклонно поднимающаяся вверх. Через несколько часов идти стало трудно. Пришла ночь, и путешественники расположились на ночлег. Над костром свистел металлический чайник. Блюмкин лежал на спине, и огромные звезды, смотрели на него, как смотрят на очарованного ребенка озаренные свечами елочные шары. Тихий, почти прозрачный месяц замер в углу той, всегда волшебной картины. Была полночь, когда чекист заснул, ему приснилась египетская кукла и веселый улыбающийся Блюхер.

С рассветом они тронулись в путь. Маленькие мохнатые лошади шли очень осторожно. На вершине одна из них споткнулась и покатила вниз, ей мешала поклажа. Лошадь покалечилась, ее пришлось бросить, а груз переложить на других. И опять целый день пути, и опять ночлег на вершине. На ужин жесткие макароны и пахнущая нефтью колбаса. Блюмкин любил комфорт, ему нравились дорогие коньяки и хороший табак. Красивые дамы ему так же бывали безразличны. Долгий переход измотал экспедицию, и когда, наконец, они увидели древние стены и заветные кривые крыши, у всех вырвался вздох облегчения. Целых несколько часов усталые путешественники ожидали, когда же их впустят в город. У ворот охрана в чудной старинной одежде с современными карабинами. Поселили их в гостинице, где обычно располагаются иностранцы. Бедная еда, жидкий чай, и почти полная невозможность что-нибудь купить!

Отыскав людей Бокия, Блюмкин провел с ними обстоятельную беседу, поставил перед ними задачу, снабдил деньгами. Так, как дело его обещало быть долгим, то он решил запастись терпением, как можно больше разузнать и про этот чудесный город, и про загадочную Шамбалу, и про кукол, о которых прочитал в старой английской газете. Чем больше Блюмкин интересовался загадочным подземным городом, тем больше недоумения и даже возмущения выражали лица его собеседников. Наконец, попался ему один полуангличанин.

Выслушав ряд хорошо сформулированных вопросов чекиста, тот в свою очередь поинтересовался — знает ли он, для чего на индийских пагодах нарисованы мужской и женский половые органы, да и не только они, а разные позы при совокуплении.

Блюмкин растерялся и стал говорить что-то про традиции индуизма. Тогда полуангличанин прервал его.

— Все просто, люди, которые приходят в храм, должны помнить об обычной жизни, о жизни, порождающей смерть. Ибо в большинстве своем они совсем не готовы к встрече с божеством. Те же, кто готов, не обратят на эти картинки никакого внимания. А Вы спрашиваете о Шамбале, будто это, какая-то вещь, хорошо запрятанный предмет. Найди его и все преобразится! Шамбала сама находит тех, кто достоин ее. Все же остальное, то, что от головы, приводит совсем не туда.

— Ладно, Шамбала, судя по всему, дело сложное. Но куклу, ее-то я должен найти.

Через несколько дней он перевероршил весь город и нашел ее. Оказывается, у далай-ламы была целая коллекция кукол. Они были заперты в отдельном помещении, расположенном на территории дворца. Перед людьми Бокия Блюмкин поставил задачу, во что бы ни стало провести его на территорию дворца и открыть ему доступ к куклам. Фотографировать в Лхасе было запрещено, поэтому Блюмкин ходил по городу, строил планы, однако ничем конкретным не занимался. Прошла неделя, заканчивалась другая, когда пришло известие от его агентов. Они сообщали, что достигнута договорен-

ность со зрителем дворца, и кукол можно повидать в ближайший вторник. Все это приключение обойдется ему в двести долларов. Для Блюмкина, это были решаемые деньги, и, он стал ждать, когда наступит вторник.

В десять вечера, переодевшись в одежду монаха, он был у западной калитки дворца. В назначенный срок дверь отворилась, и его повели вдоль длинного забора к стоявшей одиноко постройке, похожей на чайную комнату, но без украшений. Это было достаточно большое помещение, с маленькими узкими окнами. Все оно было заставлено разнообразными куклами, которые стояли и сидели прямо на полу. Было темно, и, Блюмкин зажег электрический фонарик. Куклы в самых причудливых нарядах, с разными выражениями на лицах предстали перед ним. Но он искал похожую на московскую, и нашел ее. Она стояла в углу, повернувшись лицом к стене. В этот момент Блюмкин подумал, что она спит. Почему, ему пришли мысли о кукольном сне, этого он не знал.

— Мне нужна эта кукла, — сказал он, и показал служителю на найденный экспонат.

— Тысяча долларов — сказал тот и добавил, — Нужна замена. Найдите мне другую, я поставлю ее на месте этой. Иногда их пересчитывают, но редко, когда решают хозяйственные вопросы. Нынешний Лама равнодушен к этим старым подаркам. Поэтому проблем не будет.

Служитель довел Блюмкина до калитки и объяснил, как его найти.

Еще через несколько дней люди Блюмкина нашли ему для замены нужную куклу. Ее привели в порядок и тайно доставили во дворец, а нужную погрузили в большой кофр и под покровом ночи вынесли из дворца. Вывозя куклу из Лхасы, Блюмкин переживал, не будет ли погони, и не придется ли ему отстреливаться, как во времена его бурной молодости. Однако все прошло без помех, они спустились на равнины Монголии, и теперь никакая помеха была ему не страшна. На вокзале в Москве куклу и Блюмкина встречал Глеб Иванович Бокий.

— Ну, как поездка? Тяжелая?

Носильщики положили саквояжи Блюмкина на тележку и повезли.

— У меня есть вторая кукла, девочка.

— В самом деле?

— Да.

— В таком случае, наша беседа принимает предметные очертания. Есть человек, который понадобится нам в этом деле.

— И кто же это?

— Это Мобес — масон и мартинист. Я нашел его через свои связи.

Блюмкин усмехнулся.

— Через ваши обширные связи.

Бокий промолчал и закурил. Они разговаривали прямо на перроне. Но от этого разговор не сделался менее значительным.

— Мобес — это энциклопедия.

— А кто еще знает об этом деле?

— Тураев, из ЦК Косиор и Сталин, но они только смеются.

— Значит, в Вашем изложении эта история выглядела не очень убедительно?

— Да. Собственно и не было никакого изложения. Так, поток сознания.

— Вы с ними поделились нашими планами?

— Да, нет же! Я рассказал об том, как о курьезе, как о забавной истории.

— И они смеялись?

— Ну, да. Мы же одно дело делаем. Да, бросьте Вы, Яков Григорьевич. Я вот пытаюсь понять, есть ли еще что-то, помимо материализма. А Уншлихт и Косиор только смеются.

— Уншлихт не знает о наших планах?

— Да какая разница, все они одинаковы.

На, эту реплику пламенный революционер Блюмкин только улыбнулся.

— Что? Весело? — спросил Бокий, выбрасывая окурочек.

— А зачем гостить? Что-то происходит, и это хорошо, — сказал Блюмкин, и они пошли к павильону вокзала.

Мобесу оставили одну комнату из всей огромной квартиры. Теперь в ней жили разные люди, очень пестрые по национальному составу. Был даже один китаец, тихий, воспитанный. Ходили слухи, что он работал в ЧК.

Мобес думал, что вот, наверное, человек, который отправляет людей на тот свет, и должен быть таким, тихим, вежливым. И вот, поди ж ты, раз — и ты на небесах, а он все такой же тихий и незаметный, поедает свою лапшу.

После революции комната Мобеса стала напоминать антикварную лавочку. Беспорядочно расставленные предметы из прежнего времени. Этажерки, статуэтки, каминные часы, вазы — все остатки распавшейся жизни присутствовали тут. Комната была с камином. Иногда зимой, когда были деньги на дрова, Мобес разводил огонь, шевелил угли и тихонько стучал клещами по раскаленной решетке. Тогда его кот «Бисмарк», рискуя подпалить себе шерсть, ложился у самого огня.

Однажды его рано утром подозвали к телефону, который теперь находился в общем коридоре. Приятный женский голос поздоровался, назвал его по имени, отчеству и сообщил, что очень влиятельные люди хотят встретиться с ним. Что за ним пришлют машину — привезут и отвезут обратно. Что все это касается очень деликатных вопросов.

Интересно, что их могло заинтересовать? Мои прежние связи, или сам я с моими знаниями? Хотя, какой может быть интерес к моим знаниям у атеистического государства. На улицах звенела капель. Бисмарк урчал на коленях. Мобесу показалось, что время остановилось, что сейчас десятый год, он полон сил, впереди целая жизнь, волшебная и непредсказуемая, сулящая победы и промахи. Утром длинный, старомодный Ролс-Ройс уже ожидал его у подъезда. Мобес знал, что машина эта из царского гаража. Он понял, что понадобился какому-то очень влиятельному человеку.

Он подошел к автомобилю и сказал:

— Я Мобес.

— Мы знаем, — с акцентом ответил шофер.

Ехали долго, почему-то маленькими переулками. Где-то машина поворачивала с трудом, едва не задевая за стены домов. Пока, наконец, не оказались на набережной Неглинки. От воды потянуло миазмами. Машина подъехала к небольшому деревянному дому и остановилась. Шофер покрутил металлический звонок, и дверь распахнулась.

Мобеса провели в глубину дома. Большая, длинная комната. На стене — портрет Маркса. У стола стоит человек, невысокий, приятной, интеллигентной наружности, сорока с небольшим лет. Он разговаривает по телефону. Даже не разговаривает, а кого-то слушает.

— Да, нет, это возможно, это исключено.

Мобес оглядел казенную эту комнату. Ничего бросающегося в глаза, все безлико. Наконец, телефонный разговор прекратился. На Мобеса обратили внимание.

Глеб Иванович Бокий был человеком изящным и умным, умеющим себя вести с разными людьми не одинаково. Он знал по слухам, что Мобес — это реликвия дореволюционной, заигравшейся в оккультизм, России.

— У нас, Григорий Оттонович, к Вам большой и очень важный вопрос.

— Я слушаю, — Мобес откашлялся, провел узкой рукой по шнуру пиджака.

— Мы тут подобрали для Вас материалы и хотели бы узнать ваше мнение.

Бокий протянул ему черную картонную папку со шнурами.

— Я на некоторое время отъеду. А Вы пока ознакомьтесь. Если хотите курить, вот пепельница. Я пойду, распорядюсь насчет чая.

Через некоторое время принесли чай. Мобес погрузился в чтение. Он сразу сообразил о чем речь, и это его ошарашило. Зачем коммунистам куклы фараона? И тут его как молнией поразило: магические практики свяжут жрецов начала со жрецами конца. И те, и другие мечтают о превращении времени и цели в создающие предмет пространства. Все они мечтают об ускорении. Но цикл проявления завершен. Уроборос кусает себя, за хвост! Время ускоряется. Изменяются все качественные параметры. Любая идея уравнивается своей антитезой.

Тут в комнату вошел хозяин. Он был в приподнятом настроении.

— Ну, прочитали? — спросил он, закуривая папиросу и небрежным жестом бросая спички на стол.

— Да, я ознакомился. Кое-что я об этом знаю. Тут вы постарались, собрали много редкого материала. Вы хотите вернуть в жизнь кукол фараона?

— Ну, в общем да. Если вы поможете нам.

— Да, конечно. Только мне могут понадобиться особенные предметы. Например, нужно сто литров воды из Нила; выполненный из золота двенадцатисантиметровый анх и как минимум сто метров серебряной проволоки. Кто доставит все это в Москву?

— Ну, об этом не беспокойтесь. Найдутся люди и средства.

— Но и это еще не все. Нужен доступ к архивам российской массонерии. После смерти Новикова большая часть его находится в Румянцевской библиотеке. И еще, куклы могут сформировать такую энергетическую модель, которую при удачном запуске невозможно остановить.

— А поподробнее.

— Ну, это выглядит так... Вот, например, Вы чего-то желаете — планетарные духи формируют программу. Она увеличивает свою самооценку по мере возрастания собственных возможностей. Как ни странно, так же зависящих от Вас. Запущенный процесс остановить нельзя. Он сам может иссякнуть по причине интровертности Эона. Все начиналось с того, что активное формирующее поле Эона было экстравертным — все устремлялось в центр. Сейчас наоборот, эти силы устремлены к периферии. Раньше куклы могли быть только полезны. Теперь возможно, они станут еще и опасны.

К двадцать седьмому году НЭП стал потихоньку сворачиваться в трубочку, и, наконец, свернулся совсем. Уехавших на отдых буржуев впускали обратно, но уже никого не выпускали. Партия установила курс на коллективизацию. То же самое происходило и в промышленности. Страна собирала силы на невиданный в мировой истории технический бросок. Куклы ждали своего часа. Он должен был наступить.

В конце двадцатых Сталин изгнал из страны Троцкого, тем самым развязав себе руки. Через некоторое время Бокий встретился с ним и все ему рассказал. Тот прищурившись смотрел на рассказчика, ни разу не перебив его монолог. Он только постукивал о пепельницу маленькой трубкой. Казалось

он где-то далеко, совсем не внутри данного повествования. Закончив рассказ, Бокий устался на вождя в ожидании каких-то вопросов и реплик. Но тот не спешил. Он вообще все делал не торопясь. Выковырил пальцем из трубки золу, сломал папиросу и, высыпав в трубку табак, тщательно примял его. Глебу Ивановичу показало, что в комнате остановилась время. Бокий молчал и смотрел на циферблат наручных часов, где внизу, в маленьком круге, бегала секундная стрелка. Прошло пять минут, а вождь все молчал. Наконец, он медленно выполз из кресла и подошел к окну. Постояв немного у окна, он сказал:

— Мне кажется, что в старой России дворники работали лучше.

Бокий не знал, что ответить на это.

— Ви как думаете, товарищ Бокий?

— Я думаю, товарищ Сталин, что все зависит от человека.

— А мы — большевики, сможем создать, этого человека?

— Должны, товарищ Сталин.

— Вот и я думаю, что должны. Иначе мы не сможем двигаться вперед. Что касается Ваших фантазий с куклами, то это подойдет. — Он остановился посреди кабинета и махнул рукой с трубкой. — Запускайте.

Подписав бумагу у Сталина, Бокий довольно быстро выколотил деньги на спецпрограмму, и работа пошла. Мобес рисовал карты, вычислял день, который бы лучше всего подошел для оживления. Блюмкин организовал техническую поддержку. Выбрали подмосковный полигон во Фрязево. К ноябрю 1929 года все было готово.

На полигон всех, в том числе и кукол привезли в закрытых грузовиках. Охрана была посажена в барак и видеть ничего не могла. Офицеры ГПУ перекрыли все возможные подходы на полигон. Вокруг кукол было проволочное кольцо, между ними золотой Анх. Ровно в двенадцать ночи все заметили странное движение вокруг неподвижных фигур. Огромные серо-черные тени, такие высокие, что, казалось, они касаются самой луны, организовали вокруг кукол торжественную процессию.

— О, Сэт, повелитель бранных времен! О, Гарпократ, о, великий Пан! Дайте нам силы совершить предначертанное от начала времен! — завывал почти впавший в транс Мобес.

Ироничный Блюмкин, косился на него и думал, сколько же людей отправил он на тот свет, а вот такого, с тенями, ему еще видеть не приводилось.

Процессия из давно ушедших времен проходила сквозь кукол и исчезала во тьме, отдавая им свою вечную кровь и силу.

И вот фигуры медленно пошли на встречу друг другу. В лунном свете их лица сверкали, как антрацит. Вдруг все увидели, как над золотым Анхом вверх поднялась маленькая радуга и замерла прямо над куклами. Из-под платья мальчика выскочил фаллос, а в женской фигуре открылось отверстие для входа. Куклы заключили друг друга в объятия. Черно-серебряная луна буквально опустилась на их головы. Теперь это был гермафродит, для которого не было ничего невозможного.

В конце двадцатых начинается колоссальная Беломорско-балтийская стройка. Тысячи людей отрываются от своей земли и начинают рыть огромный канал. Люди работают до изнеможения и падают без сил, чтобы утром вновь взять в руки кирку и лопату. Предприятие сие сравнимо разве что со строительством пирамид. Пригнанную из под Тамбова бригаду раскулаченных инструктировал молодой и веселый гэдэушник, державший в зубах соломинку. Мужики, если кто будет отлынивать, не работать, того мы сразу пускаем в расход. Мужики с революционной поры знакомые с этим страш-

ным словом, понуро опускали головы. Бежать было некуда. Они приступили к работе. Около двенадцати работы остановили, и люди отправились спать. Тимофей Самохватов, готовясь ко сну, сказал своему напарнику молодому Андрею Коврижину:

— Знаешь Андрюха, работа адова, а я совсем не устал! Странно это. Если бы я дома так сработал, то два дня лежал бы пластом. А тут, хоть бы хны.

— И я тоже, Тимофей Силыч, совсем не устал.

— Ну, ты, Андрюха, еще молодой! Вот и не устаешь. А мне-то уж за пятьдесят. Должен устать. А вот, поди ж ты, о бабе задумываюсь. Хотя, какие уж тут бабы, — он заворочался на топчане, подминая седой головой узкую и тощую соломенную подушку.

На трудовой лагерь опустилась египетская ночь. Давно умершие встали над постелями живых, чтобы утром дать им новые силы, или забрать их совсем. Так, ударным путем продвигалось строительство. Но в один день Андрей и Тимофей не смогли подняться с кровати, у них совсем не было сил. А человек в ГПУ был рассчитан на четыре месяца. Поэтому их под руки дотащили до оврага и пристрелили за саботаж. Канал был достроен в рекордно короткие сроки, а о мертвых уже никто и не вспоминал.

Когда в тридцать втором Каганович озвучил закладку первых очередей советского метро, то никто и не предполагал, с каким размахом будут вестись эти сложнейшие, дорогостоящие работы. Проект постройки начал обсуждаться в ЦК еще с середины двадцатых. Бухарин и Рыков настаивали на том, чтобы метро было универсальным, без излишков, в целом в модном всеевропейском стиле Арт-Деко. В этом стиле в Европе доминировал Ле Корбюзье, а в Советской России — Константин Мельников. Но Кагановичу и Сталину эта идея не понравилась. Они продавили свою, абсолютно глобальную — метродворцы, то есть станции, должны погружать советских людей и гостей в атмосферу будущего. Оно, это будущее, должно вдохновлять на подвиг и самопожертвование ради высоких задач.

Первая очередь московского метро, от парка Сокольников до Парка Культуры была представлена в относительно скромном ключе. Но это была только «проба пера».

В дальнейшем станции становились все шикарнее. Чтобы обеспечить такую роскошь при нехватке облицовочного материала, использовали могильные плиты. К 1933 году выдающимся советским конструктором Требелевым был изготовлен подземный комбайн, или, как его еще называют «подземная лодка Требелева» — три титановых бура вгрызаются в породу и отваливают ее на транспортер, а тот в свою очередь нагружает прицепленные сзади вагонетки. Сия конструкция просуществует не одно десятилетие, а в конце пятидесятых она уже будет работать на ядерном топливе. Для сохранения секретности к ней приделают табличку: «Немецкая землероечная машина». Параллельно с первой очередью в Советском Союзе строится секретное метро, так называемое «метро два». Первая очередь «метро два» соединяла Лубянку с Кремлем и уходила на дачу Сталина, в Кунцево. Впоследствии ветка была продолжена до поселка Жуковка и дальше, до дачи Микояна, а потом аж до самого Звенигорода. Но все это было уже после войны. Люди, работающие на Империю, ставили невероятные, нечеловеческие рекорды. Все строившие первую очередь метро два, так же не уставали, а потом падали замертво. Впоследствии следы этих людей теряются.

После войны у победившего СССР возникла проблема. Этой проблемой была американская атомная бомба. Не решив ее, нельзя было чувствовать себя в безопасности. Потому, сразу после войны, руководство страны стало



еще глубже зарываться под землю. Теперь «метро два» строили с гигантским заглублением. Проходка шла в скальных породах, что делало ее чрезвычайно сложной.

Уже после подписания капитуляции перед советскими войсками сложили оружие целых две отборных дивизии СС. Как правило, такие войска не сдавались, потому как их сразу расстреливали, но тут — капитуляция. Так вот, эти две дивизии великолепно справлялись с поставленной перед ними задачей. Это были рослые мужчины, физически очень выносливые. Как вы понимаете, работали они тоже недобровольно. Они так же удивлялись своей феноменальной выносливости. После окончания второй очереди «метро два», часть из них была ликвидирована в Советском Союзе, а часть — на урановых рудниках в Чехословакии. Из этих людей домой не вернулся никто!

За две пятилетки, с 1929 по 1939, Советский Союз стал ведущей державой мира. И в этом ему, вне всякого сомнения, помогли куклы фараона. Рассчитанное на двенадцать лет, воздействие кукол к сороковому году стало слабеть.

Еще СССР выиграл битву при Халхин-Голе. Но, по сути, проиграл четырехмесячную — финскую кампанию.

В сороковом Советский Союз занял Западную Украину, часть Польши и страны Балтии. Силы кукол были уже на исходе, и в этих странах периодически возникали очаги сопротивления.

Тогда же Сталин, знавший о куклах по отчетам Бокия, вновь подумал о них. Но, в сороковом и сам Блюмкин, и Бокий, и Мобес были уже расстреляны. Заставить двигаться их мог только специалист очень высокого уровня. К сороковому году такого специалиста в Советской России уже не было.

В сороковом Сталин был озабочен идеей поиска махновского золота. Теперь Галиполия и Буковина были советскими и, вероятно, сокровища можно было найти. Бывшие махновцы даже при допросах с пристрастием ничего не рассказывали. Видимо, они ничего и не знали. И тогда вождь дал Эйтингону задание привести в Москву Фулканели — последнего алхимика и мага двадцатого столетия. Он-то и должен был отыскать махновское золото и завести кукол. Фулканели прятался от американцев и немцев, и вовсе не предполагал, что понадобится русским.

После блестяще выполненной работы по устранению Троцкого вся интеллектуальная мощь нашей разведки была брошена на его поиски. След его отыскивался в Швейцарии, где он жил под чужим именем, трижды изменив внешность пластическими операциями. Теперь он вовсе не имел сходства со своими прежними фотографиями. Но советская разведка не была бы советской разведкой, если бы не отыскала его. Теперь Фулканели не занимался волшебством, а работал инженером в агрофирме. Утром в его маленький дом хулиганы бросили камень и разбили витраж. Такое в тихой Швейцарии было делом почти невероятным. Когда он вышел на крыльцо, неизвестный быстро сделал ему укол в плечо. Сильнодействующее снотворное буквально за секунду обездвигило мага. Остальное было уже делом техники. В себя он пришел уже в самолете. Вокруг все качалось и плыло. Правая рука его была пристегнута к рукоятке кресла. Рядом сидел мужчина в сером, полосатом костюме и читал журнал «Лайф». Заметив, что пассажир очнулся, он положил журнал на соседнее кресло и спросил по-английски:

- Желания, просьбы?.
- Где я? — спросил маг.
- Вы в самолете.
- Это понятно. А Вы кто?

— Вы все скоро узнаете. Желания, просьбы?

— Тогда, стакан воды.

Мужчина встал, открыл дверь в кабину пилотов и через минуту вернулся со стаканом воды.

— Меня похитили?

Ответа не последовало. Мужчина вновь погрузился в журнал.

После того как самолет приземлился, двери в салон долго не открывали. Наконец открыли. Вошли еще двое высоких, хорошо сложенных мужчин.

Один из них подошел к Фулканели и, отстегнув его от кресла, застегнул второй браслет на своей руке. «Пожалуйста, встаньте», — негромко сказал он по-английски и повел Фулканели к выходу.

Наружная дверь в корпус машины распахнулась. Он увидел, что самолет находится в большом ангаре. Рядом с трапом стоит зеленый автобус с красным крестом и с репродуктором на крыше. Боковые стекла автобуса были замазаны белой краской.

Двое мужчин провели Фулканели в салон и, усадив его, расположились на соседних креслах. Тут же машина поехала! Ехали долго, возможно часа полтора. Наконец автобус остановился.

Фулканели вывели из машины. Он увидел перед собой большой каменный дом с алебастровыми цветочными клумбами и высоким крыльцом. Была ночь. В окнах здания горел свет. Вокруг высокий, почти трехметровый забор и уходящие в самое небо высокие сосны.

Его провели в дом. Освободили от оков и предложили отдохнуть. В комнате диван, несколько кресел, торшер и длинный книжный шкаф с огромными томами британской энциклопедии.

— Скоро принесут ужин, — сказал мужчина в костюме и добавил: — Убежать отсюда нельзя.

Принесли ужин — ломтики осетрины с лимоном; тонко нарезанный, мягкий как пух, хлеб и крепкий чай с сахаром.

Неплохой ужин для узника. Кто же меня украл? Разные мысли лезли ему в голову. Это не янки и не немцы. Тогда кто? Болгары! Муссолини! Тут его обожгло как огнем. Деревья, много леса, дорогая рыба на ужин. Это русские. Но русские — атеисты, зачем я понадобился им?

Два дня он прожил под замком. Утром приносили великолепно сервированный завтрак. Хорошая посуда, серебряные приборы. Потом обед. Все свежее, великолепно приготовленное. В графине полбутылки вина. На десерт клубника или груша в сахаре, или малина в сиропе. Он попросил сигары. Ему принесли коробку «Ромео и Джульетты». Все было странно. На столе телефон, но он отключен. Читая британскую энциклопедию, он увидел на полях и в тексте пометки карандашом. На третий день ему надоело есть и спать, и он спросил:

— Кто меня украл и для чего?

Прислуга ничего не ответила, молча, вышла из комнаты.

В двенадцать дня, когда он читал статью про подъемные краны, дверь неожиданно отворилась. Вошли его похитители и еще два человека. Один круглолицый, невысокий мужчина в золотом, пенсне. Он разговаривал через переводчика и тот спросил:

— Вы Фулканели?

— Нет, я Фридрих Кетлер.

— Вы Фулканели, — еще раз сказал круглый в пенсне и продолжил беседу. — Вы производили золото. Нам нужно, что бы Вы нашли золото, спрятанное в земле. Фулканели молчал. Если Вы поможете нам, то мы отправим вас обратно богатым человеком. Вы сможете не работать, будете жить на

ренту, делать золото, — человек в пенсне слегка улыбнулся. — Не поможете — мы отдадим Вас немцам. Они давно Вас ищут. Думаю, они заставят Вас вспомнить, кто Вы такой?

— Что от меня требуется?

— Вот это другой разговор, — сказал повеселевший человек в пенсне.

Два дня Фулканели читал переведенное на английский. Он настолько увлекся прочитанным, что, когда ему приносили еду, он даже не отрывал голову от текста. Наконец, у него сложилась более менее ясная картина. Наиболее заинтересовавшим его фрагментом было конечно не золото, а куклы — куклы Фараона! Укравшие его люди впоследствии объяснили, что они русские, и если он будет выполнять их просьбы, с ним будут обходиться хорошо. Еще через несколько дней его на поезде вывезли в Западную Украину для поиска махновского золота.

Фулканели не использовал банальные металлоискатели. Он использовал странные предметы, которые ему доставляли из-за границы. Через две недели поисков он сказал: «Золота здесь нет. Оно в Трансильвании. Агенты НКВД в штатском грустно опустили головы.

Чудовищное поражение под Москвой. Легионы пленных, но вот колесо останавливается и начинает крутиться в обратном направлении. Советская военная машина набирает обороты. Заканчивается война. Начинает работать ядерный проект. В сорок девятом году у СССР появляется атомная бомба. Советская армия невероятно сильна. Но к пятидесяти второму году энергия кукол слабеет.

Фулканели живет на закрытой даче и все пишет прошения, чтобы его отпустили домой. Домой его не отпускают, и он теперь напоминает жирного домашнего кота. Так, в заточении, Фулканели и закончил свою жизнь. Срок его смерти нам не известен.

Пятого марта 1953 года умирает Сталин. В хранилище рядом со станцией «метро два», что на Смоленке под домом Желтовского, происходит пожар. Что там случилось, мы не знаем. Известно только, что началось сильное задымление. Сотрудники пятнадцатого управления, занимающиеся обслуживанием станции, быстро устранили очаг возгорания. Однако двух кукол фараона, хранившихся за этими геометрическими дверьми, спасти не удалось.

Вот что интересно! Когда дубовые ящики, в которых лежали куклы, открыли, то сотрудники охраны увидели совсем не тех кукол, которых они помнили. Теперь, и мальчик, и девочка лежали на боку в позе новорожденных. Тела их совсем не обгорели. Казалось, что они были живыми и просто задохнулись от дыма. Теперь колени кукол были подтянуты к подбородку. На всех семи лицах каждой из них, застыло выражения покоя и блаженства. Время закончилось. Железный век почти завершился, скоро будет Новое время и Новая Земля.

## Игорь Федоров. Есть в имени твоём. Стихотворения



Игорь Николаевич Федоров родился в 1970 году в России, в Чувашии, в г. Канаш. В настоящее время проживает там же. Образование высшее, историк, по второму образованию (по совместительству) менеджер. Работает заместителем директора филиала института. В системе образования более 20 лет. Стихи и проза — отдых для души. Публикации, в основном в интернете, а также в сборниках: библиотека журнала «ЛиК» (Ленинск-Кузнецкий), «Три желания» (Рязань).

*Стихи прописаны акварелью, множество эмоций сплетаются строками — таков в нынешней публикации Игорь Фёдоров. Рваные мысли, прошлое и настоящее. Любовь сохраняющая, хранящая оберегом. Скомканный крик невозможности жить так, как вышло. И не могу не отметить — «Тараканы». Понятное дело, они у каждого свои. Но смесь косяков рыб с последним тараканьим героем и сознанием, уходящим в странь, оказалась мне близка и мила. С чем автора и поздравляю. Но возможно у других читателей — другие вкусы.*

*Ирина Жураковская*

\*\*\*

Есть в имени твоём от пенья птиц,  
От звезд, что так загадочно смеются,  
От разных книг, что шелестом страниц  
Грустить заставят, просят улыбнуться.  
Есть что-то в нем, как вересковый мед,  
Тягучим звуком и янтарным светом,  
Оно в душе растопит вечный лед,  
Рекою станет, беззаботным летом.  
От ветра что-то есть, морской волны,  
Что берег страстно-ласково целует,  
Есть что-то от молчания луны,  
От эха, что разносит: аллилуйя!  
Есть тайна, если имя повторить  
Как вторят волны, звезды, эхо, птицы,  
С улыбкой Макошь расплетает нить,  
Чтоб в имени твоём опять родиться.

### Декабрь

Декабрь заколачивал гвозди  
В промерзшую стылость земли,  
Калины поникшие гроздь  
Тревогу с собою несли.

Не пели давно уже трубы,  
Застыл водосток до весны,  
Декабрь выворачивал грубо,  
Вгонял в беспокойные сны.

Скользили по лужам ботинки,  
Прошло туманом насквозь,  
Сюжет черно-белой картинки,  
Где души скитаются врозь.

Не гнутся озябшие пальцы,  
Декабрь о любви говорит,  
Заснувшие души-скитальцы  
Разбудят с утра снегири.

Декабрь присел у буржуйки,  
Поморщился чуть: горяча.  
А душам тепло и не жутко,  
Малина и липовый чай.

Холодные лапы расплющив,  
Декабрь бродил не у дел,  
Себя он не видел в грядущем,  
И умер, растаяв в воде.

## **Чувствовать**

Я чувствую, твое дыханье чувствую,  
Дай только на мгновенье руку мне,  
Луна над головой сегодня тусклая,  
И звезд за облаками будто нет.  
Без слов с тобой, ведь губы наши заняты,  
На коже оставляя влажный след,  
Обрывки мыслей — каплями — беспмятны,  
И пальцев поцелуй, горяч и слеп.  
Поймала в плен, и взгляд наполнен нежностью,  
Грозой пропахла, летом и рекой,  
Раскинув руки в ангельской небрежности,  
Со мною ты и будто далеко.  
Дыханье чаще, томные движения,  
Луна, смеясь, шпионит из-за туч,  
Твои колени просят продолжения,  
Поймав ее едва заметный луч.  
Спеленут мир, а мы ночными птицами  
Летим вдвоем в неведомую даль,  
Так страсть, как небо, вспыхнуло зарницами,  
Ты руку на мгновенье только дай.

## Жить

Сорван голос, криком — птицы,  
Город спит ещё,  
Перевернуты страницы,  
Проведен расчет.  
Насовсем луна пропала,  
Пряча тень в мешок,  
Время смертно, мало, мало,  
Пить на посошок.  
Суть закована в объятья  
Неизбитых фраз,  
Гаснет свечка под распятием,  
Умерло сейчас.  
По живому резать душу,  
Боль глушить вином,  
Докричатся Богу в уши,  
В сумраке ином.  
И, упасть, разбив колени  
О текущий лёд,  
Выпив память поколений —  
Вересковый мед.  
Без надежды ждать последний  
Выживший трамвай,  
Слышать как плетутся сплетни  
Ложью в кружева.  
Над отобранной судьбою  
Кружит воронье,  
Сердце жжет саднящей болью,  
Льет дождем вранье.  
Но лучом едва заметным,  
Седину круша,  
Дым сминая сигаретный,  
День летит, спеша.  
Свысока смотреть на крыши,  
Город мыть дождем,  
Рифму новую услышать,  
Знать, что Муза ждет.  
Прикоснуться к шелку кожи,  
Выпить мед до дна,  
Улыбнуться, ты мне — тоже,  
И сказать — одна.  
А потом накрыть ладони,  
Отдавая жар,  
Взглядом — взгляд, в котором тонет  
Битая душа.  
Сорван голос, криком — птицы,  
Замок в облаках,  
Перевернута страница,  
Рифмы ждет рука.

## Тараканы

Косяками рыб послушных,  
Что беззвучно время мечут,  
Облака ползут, бездушно  
Собираются на вече.  
Тараканов с ними куча,  
В голове, пожалуй, тесно,  
Всё они кого-то учат,  
Перекисло в кадке тесто,  
Ум был совестью замучен,  
Суета в картинах Босха,  
Облака созрели в тучи,  
Солнца малая полоска.  
Перевернут мир, в глазницах  
Море плещет безответно,  
Сумасшествия границы  
Знать дают дыханьем ветра.  
Клетка к клетке, окна настезь,  
Души рвутся, уши глохнут,  
Задыхаясь вдруг от счастья  
Тараканы кучей дохнут.  
Все ушли, один остался,  
Слишком весел, даже плачет,  
Судно в море левым галсом,  
Всё могло бы быть иначе.  
Ветер стих, улыбки, лица  
Косяками рыб послушных,  
Сумасшествия границы  
Как ножом пластуют души

## Антракт

Лист разбить наполовину,  
Умерли шаги.  
Верой резать пуповину,  
Помолчи, не лги.  
Не упасть, идя по крыше,  
Как июльский кот.  
Воздух пить, совсем не дышишь,  
Утро далеко.  
Слово, слово, почерк сложен,  
Не читать — легко,  
Поцелуя след на коже,  
Бинго, сыгран кон.  
Танго, в звездном поединке  
Раскален дуэт,  
Страх ознобом, льдинки, льдинки,  
Страсть — всегда дуэль.  
Не игра, под первым снегом  
Жертвенная кровь,  
Успокоенное небо,

Не зима — Покров.  
Не невинность, не порочность,  
Тихо – благодать,  
Легкомысленно, непрочно,  
Тает снег — вода.  
Театр абсурда, так однажды  
Постучался дождь,  
Тело умерло от жажды,  
Ожиданье — ложь.

Не проснуться, вечер казни,  
Проповедь как сон,  
Выше смерти, жизнь – как праздник,  
Сыплется песок.  
Непросохшие чернила,  
Даты нет, зеро,  
Без автографа: «мой милый»,  
И в улыбке рот.  
Безразличие по форме,  
Вольный перевод,  
Падший ангел страстью кормит,  
Суд вершит прево.  
В четверть лист, свеча погасла,  
Падать снегу в такт,  
На поклон, застыла паства,  
Не конец? Антракт?

### **Безрассудно**

Стыдом по безрассудной наготе,  
Да, пусть вот так — отчаянно-нелепо,  
Ничто как будто, ласковая тень,  
За шагом шаг, до безрассудства слепо,  
Разодранными пальцами стихи  
Читала накануне звездопада  
Твоей спине, и сонмом из стихий  
Отбрасывала страсть за грани ада,  
Мятежная, без формы, словно ртуть  
Соскальзывала с плеч, к ногам стекая,  
Открыты губы, с привкусом во рту  
Клубники всё шептала в небо: каюсь...  
Бедро к бедру, чуть смяты кружева,  
Разбрызганная страсть на ложе ночи,  
Твои глаза с вопросом: как, жива?  
Ушла – да, тень, разодранная в клочья,  
Не без стыда, стекло хранит печать,  
Всего три слова в выдохе нелепо,  
Нас месяц благосклонно обвенчал,  
Я за тобой... до безрассудства слепо



## Тамара Ветрова. Про школу, которая была и нету. Рассказы



Филолог (окончила Уральский государственный университет), педагог, автор книги "Свободная стихия" и многочисленных эссе, посвящённых детскому литературному творчеству. Работаю в жанрах постмодернистской, фантастической, детективной и иронической прозы. Автор книг "Кремлёвские звёзды" (Екатеринбург, "PJ-Group", 2009), "Смерть в редакции" (Киев, "Мультимедийное издательство Стрельбицкого", 2016). Постоянный автор журналов "Урал", "Человек и закон", "Магазин Жванецкого". Публикации в журналах "Зеркало", "Крещатик", "Знание — сила: фантастика", "Кольцо А", "TextOnly", "Русская жизнь", "Сетевая словесность", "Стетоскоп" и др. Лауреат премии журнала "Магазин Жванецкого" (1999). Шорт-лист премии журнала "Урал" (2011). Шорт-лист Международной премии "Русский Гофман" (2016). Живу и работаю в Париже.

*Цикл рассказов Тамары Ветровой "Про школу, которая была и нету" балансирует на грани сновидения и зыбкого воспоминания, нежной улыбки над самим собой, юным и наивным, и щемящей печали по прошедшему, а еще — по несбы-вшемуся, а еще — по настоящему, которое невольюно становится колдовскою линзой, и под ней проступают подробности канувшего времени.*

*Вообще игра с временем — одна из любимейших игр художника. Время сжимается и разжимается; Дориан Грей остается молодым, а лицо на его портрете покрывается морщинами; время сматывается в клубок, а потом внезапно разматывается, и мы ясно видим наших школьных товарищей, читаем стихи Гумилева и смутно помышляем о его расстреле (об этом запрещено говорить!); мы, в серый хмурый день останавливаемся перед облупившимся плакатом, а он вдруг распахивается в чудесный летний лес, и шелестят деревья, и уводит вдаль извилистая тропинка... Счастье? Да, это и есть счастье: неказистый плакат обернулся мгновенным счастьем, и вся штука в том, что надо иметь смелость шагнуть в него.*

*Не в прошлом. Не в будущем. Здесь и сейчас.*

*Все это происходит с героиней рассказов. Все это происходит с нами, потому что эта проза выделяет с нами непредставимые штуковины — мы превращаемся в автора, автор становится нами, и это уже трехмерная проза, в 3D, и это детство, юность каждого из нас, и здесь писатель становится тем, кем он и должен быть во все времена — волшебником, врачом, исповедником, странником по звездам.*

Елена Крюкова

### Одним апрельским днем

До того, как я стала работать в школе учительницей, мне самой пришлось окончить школу, а затем университет. Не без некоторого содрогания я пытаюсь представить, как все же получилось, что я ушла со школьного двора с аттестатом зрелости и, кажется, даже с какой-то грамотой — за что, уже не помню. За все хорошее, надо полагать...

Так, перед самым выпускным экзаменом по обществоведению либо по истории выяснилось, что я не твердо отличаю БАМ от КАМАЗа, то и дело путаю революцию февральскую и октябрьскую, а поле Бородинского сражения не-

чувствительно перерастает в моем сознании в поле Куликово... Не хочу себя оправдывать, что было, то было — но ей-богу, дело не только в моем фантастическом невежестве. Просто-напросто, как и многие мои сверстники, я стала жертвой оглушительного, ни на секунду не смолкающего радио. Ну почему его никогда не выключали? Ждали объявления о всеобщей мобилизации? О наступлении варваров? Радио гремело, как колокол во дни торжеств и бед народных. Вот я и оглохла, к тому же — потеряла способность ориентироваться во времени и пространстве. Дело между тем катилось к экзаменам. Странная апатия овладела мной. Случайные мысли, точно вражеские перебежчики, выскакивали в сознании и склоняли меня на чужую сторону. Уехать, заболеть, забыться и уснуть? Решения не было, да и откуда было взяться решению? Человек сам кузнец своего счастья, — несчастья, соответственно, тоже...

В таких угрюмых размышлениях прошел еще месяц или два. Наступил наш северный апрель — прохладный, с черным снегом на обочинах, с деревьями, лишенными листьев и даже почек.

И вот однажды, медленно и вяло ступая по бульвару Карла Маркса, я добрела до фанерного щита с лозунгом: «Все, что наметила партия — выполним». Щит был установлен на границе города, в которую упирался бульвар; дальше раскинулся покрытый прошлогодней травой, никем не опекаемый холм, который в городе называли Дунькин Пуп.

Не решив, идти ли дальше по тропинке, среди желтоватой травы и пыльных фиолетовых бессмертников — или уж повернуть назад, я замешкалась. «Все, что наметила партия — выполним», — прочитала я в который раз. Огромные буквы вблизи утратили торжественность. Оранжевая краска кое-где облупилась, видать, после зимы плакат еще не обновляли, и он выглядел так же сиротливо, как пожухлая трава и бессмертники. Молча и угрюмо я стояла перед растрескавшимся фанерным щитом. Он словно околдовал меня и погрузил в еще большую апатию, чем та, в которой я пребывала прежде. Помимо прочего, меня занимала необязательная мысль: следует ли ставить запятую после слова «партия»? или авторы плаката правы, и хватит одного лишь тире? Все, что наметила партия — выполним... Все, что наметила партия... Однако на слове «партия» заканчивается придаточное предложение, и я твердо знала, что этот финал должен быть отмечен запятой. Вначале запятой — а потом тире. В соответствии с авторской интонацией.

Русский язык у нас преподавала Нина Андреевна Вертилина, человек с чистыми руками, холодной головой и горячим сердцем. В наш класс Нина Андреевна приехала, отработав послеинститутский стаж в колонии для малолетних преступников. Что вынесла она из этого непростого жизненного опыта? Надо полагать, подобно Алексею Максимовичу Горькому, — убеждение, что труд излечивает все болезни и кроит человека на новый лад; не исключено, вообще делает из человека — человечище...

Помимо чудесных идей, Нина Андреевна усвоила ясную чеканную речь, такою же чекана шаг, манеру носить намертво заколотые на затылке волосы, превращавшие двадцатишестилетнюю женщину в мертвую старуху, и веру в то, что детки из хороших семей — с гнильцой... Я была ребенком из хорошей семьи, и этот факт, в числе прочего, делал мою школьную жизнь не особенно уютной.

Справедливость требует добавить, что Вертилина превосходно знала русскую орфографию. Правила и исключения из правил, суффиксы ОНН-ЕНН, а также АН-ЯН, правописание гласных в корне слова и непроверяемых гласных — это была ее стихия, ее мера свободы, предмет ее творческих вложений; чудесный сад из букв и звуков, предлогов и частиц, сказуемых и подлежащих. Иногда мне кажется, что Нина Андреевна с удовольствием внесла

бы в русскую орфографию идеологическое начало — но все-таки она была не товарищ Сталин. Ей явно не доставало способностей и масштаба, так что орфография оставалась орфографией, а классные часы — классными часами. Нравственный выбор советского человека стоял на одном берегу темной реки времени, а суффиксы теснились на другом.

Я говорю об этом так подробно не из соображений ностальгии по утерянному раю. Дело в том, что уроки Вертилиной, которая разбиралась в пунктуации не хуже орфографии, стали причиной удивительного события. Далекий, скованный ледком апрельский день, который я описала немного раньше, сделался в некотором смысле единственным и неповторимым.

Итак, я остановилась перед щитом с народом и партией. Стояла и ломала голову: ставить запятую? Или пусть уж будет все как есть? (можно подумать, кто-то спрашивал у меня совета! или назначил корректором...).

Тем временем погода испортилась. Над Дунькиным Пупом утвердилась свинцовая туча, обещавшая скорее снег, чем дождь. Ледяные порывы ветра подняли слабую волну на траве, покрывающей холм. Надо сказать, я отмечала эти детали автоматически. Приняла к сведению, да и все... Щит с лозунгом как будто бы несколько вырос в моих глазах, защитив меня от непогоды. Я понимаю, что это был результат долгого и пристального, более того — бессмысленного разглядывания. Никогда еще буквы, слова или фразы так мало не таили в своих недрах, обладая при этом — вот парадокс! — довольно убедительной силой. Теперешние дети называли бы эту силу магией, а я ничего такого сказать не могла. Из мировой литературы о волшебстве советские дети получали только самую проверенную, самую здоровую духовную пищу. И довольствовались «Стариком Хоттабычем» и «Королевством кривых зеркал» в пионерском галстукке. Между тем феномен, которому я стала свидетелем, имел магическую составляющую. И неважно, что ни народ, ни партия не верили в магию или считали ее вредным предрассудком. Представьте себе, это как раз не имело значения. Волшебством был не смысл или бессмысленность сказанного, а какое-то особенное соединение потрескавшейся краски на деревянном щите, букв, поставленных в определенном таинственном порядке, тире и, не исключено, отсутствующей запятой.

Постепенно щит с лозунгом как будто бы немного переместился. Теперь он то ли нависал, то ли парил надо мной. Одновременно в моей голове, как это нередко случалось, будто включили радио, и я услышала: и снег, и ветер, и звезд ночной полет... Это были слова песни, но, как и смысл слов на щите, они были словно изолированы стеклянным прочным барьером. Что все это значило, в конце концов? То есть какое-то значение, наверняка, имелось — но какое? В чем?

Надо сказать, что, слушая загадочную песню, я одновременно не отводила глаз от щита с лозунгом. И вот рядом с оранжевыми буквами проступили — покуда мутные — дополнительные изображения. Как человек опытный в подобных делах, я не особенно удивилась (говоря о личном опыте, я имею в виду такие вот бесполезные созерцания. Школьная жизнь выучила меня, что самый верный способ убежать от проблемы — посмотреть в другую сторону. Для этого достаточно выбрать точку на чистом листе бумаги... Или вон как я сейчас — читать и перечитывать «все, что наметила партия»...).

Итак, я не удивилась, но пригляделась к потрескавшейся фанере. Что на этот раз?

В мое школьное время слово «медитация», как и «магия», еще не было в ходу. А напрасно, между нами говоря. В конце концов, если они намеревались построить волшебное коммунистическое общество, ни к чему было шараться ни от магии, ни от медитации. Даже заурядное комсомольское соб-

рание — огромный и молчаливый, как Долина Павших, зал, в таинственной дали сцена и стол, накрытый красной скатертью, а за столом пять или шесть призраков с восковыми лицами, неподвижные и печальные, двигают губами не в склад и не в лад — медитация, а что же еще?!

И вот, поскольку, как я сказала, опыт этот был мне не в новинку, я не без интереса разглядывала контуры проступившей на щите картины. Это был лес, возможно, роща, пронизанная отвесным солнечным светом. Неопытный зритель принял бы открывшийся вид за полотно какого-нибудь художника, но меня на таких делах было не провести. Это была не картина, а настоящие деревья, трава и невысокий муравейник, привалившийся боком к березе. И дерево, и муравейник, и трава, и запахи поздней весны — воды, еще стоявшей кое-где в низинах, выскочивших из земли высоких тонконогих цветов с золотыми головками, потрескавшейся древесной коры — все это, повторяю, было натуральное, а не нарисованное. К тому же в воздухе гудела пчела, и гудела так громко, что радио в моей голове переросло в слабенький звук, а потом и затихло. Пчела победила певицу Ольгу Воронец, но я точно помню: исполнительница пела что-то про золотые подковы.

Кого там подковали? Зачем?

Лес на фанерном щите разрастался. Утоптанная тропа позволяла не просто любоваться природой, но и ступить на дорожку, а затем пойти куда-нибудь.

Тут, наверное, стоит отметить, что в школе нас приучали любить природу. Нина Андреевна, по своей привычке доводить всякое дело до конца, справилась с задачей. Слово «пейзаж» вызывало в душе сдержанное раздражение, словосочетание «наступила золотая осень» — стойкую неприязнь, а необходимость написать на подобную тему сочинение — кроткую покорность судьбе. Впрочем, перед нашей типовой школой росло несколько яблонь и стояла одна скамейка. На этой скамейке по вечерам курили мои одноклассники, и, в конце концов, скамейка исчезла. Возможно, ушла, поскрипывая стругаными ножками, куда-нибудь в леса...

...Картина летнего леса становилась, если можно так сказать, подробнее и рельефнее. Из-под земли выпирались кочки, покрытые молодой травой. Липы, березы и осины, словно освоившись, зашуршали листочками. И в довершение из-под камня забил тонкий родник. Короче говоря, природа пробуждалась, как в *пятерочном* сочинении! Недоставало легких перистых облаков... Или кучевых?

Что можно добавить к сказанному? Я шла по дорожке, вокруг стояли пронизанные солнцем деревья, кто-то невидимый хлопал крыльями, а другой кто-то стучал клювом по стволу. Муравьи занимались делом, и бил родник, и был день, полный солнца и беззаботности...

Конечно, в пересказе эта история выглядит легковесной фантазией. Да и рассказала я ее не для того чтобы кого-то убедить. Просто хотелось еще раз мысленно пережить переход из холодного, одинокого и какого-то безнадежного дня — в солнечный и чудесный день, полный бликов и красок.

Так что не приходится удивляться, что мой приятель, выслушав эту историю спустя десять лет после моей памятной прогулки, пожал плечами и высказался следующим образом:

— Тут ведь важно что? важен не этот лес, не тропинка твоя между елочками...

— Березами.

— Что?

— Березы. Там был лиственный лес преимущественно — березы, осины... Но ели, конечно, тоже попадались.

— Ну вот. А важен тут феномен *алефа*.

Я промолчала, хотя и читала рассказ Борхеса.

Но дружок мой, которому было приятно чувствовать себя умнее собеседника, неправильно истолковал мое молчание и пустился в объяснения.

— Алеф, — важно изрек он, — такая точка пространства, которая поглощает все другие точки пространства и позволяет видеть все, что ни есть на земле, причем со всех сторон, со всех, так сказать, позиций.

— Значит, по-твоему, этой точкой был тот лозунг? «Все, что наметила партия — выполним»?

— Очень может быть. Лозунг, или твоя эта не поставленная запятая... Да и какая разница? У Борхеса это маленький стеклянный шарик, в твоём случае — фанерный щит с лозунгом.

Помолчав, я сказала:

— Я не просто видела этот лес. Я ходила по нему. Несколько раз прикасалась рукой к деревьям. Попила из родника. Хотя, по правде говоря, не хотела пить...

— Ходила, не ходила, — отмахнулся мой дружок. — Важно, что дурацкий плакат разросся до космических размеров и поглотил пространство и время.

Думая о своем, я сказала:

— Понимаешь, я, не знаю почему, кое-что сохранила после той прогулки. Обломанную ветку с березовыми свернувшимися листьями. Они были липкими и оставили след у меня на руке.

— Ну-ка покажи, — потребовал мой знакомый и засмеялся. А затем прибавил: — Что, тью-тью? Кровь ушла в землю?

— Угу, — кивнула я и подумала: конечно, ветка не доказательство.

Но вот сейчас у меня в руке пакет со школьными тетрадками, я стою под желтоватым светом фонаря, который освещает школьную металлическую ограду, за моей спиной со слабым шумом осыпаются листья тополей, а напротив меня, улыбаясь, стоит мой знакомый и вертит в руке незажженную сигарету. И где, спрашивается, доказательства того, что мы есть, в смысле — были? Путаный, темный вопрос.

## **Изысканный жираф**

В феврале в нашу школу поступил работать Дима Двинских. Прилетел он в городок в сентябре, чтобы читать лекции в местном институте, а ближе к весне школу покинула Галя Девярых, преподаватель математики. Она сломала ногу и утратила веру в людей, хотя проработала в школе неполный год. Прыгая на костылях, с загипсованной ногой и торжествующим выражением, которое никак не вязалась с травмой, Галка высказалась:

— Ноги моей больше тут не будет.

— Сломанной? — неловко пошутила я.

— Костяной! — рявкнула Галина. А потом с неожиданной мечтательностью спросила: — Ты в зеркало давно смотрелась?

Я ответила неопределенно, а моя коллега пояснила:

— Просто человек в школе довольно быстро меняется.

— Фактор невесомости, — вторично пошутила я. — Отсутствие опоры или там притяжения...

— Точно. Болтаемся, как хрен в проруби. Но дело не только в этом.

Я заметила, что перелом сделал Галку словоохотливой. С нарастающим возбуждением она продолжала:

— Я физически ощущаю перемены, клянусь.  
Сказав так, Галина неожиданно открыла рот и ткнула пальцем в коренные зубы.

Я спросила на всякий случай:

— Болят?

— Не болят. А растут.

— В смысле?

— Растут клыки. Чего тут непонятного.

Я слабо улыбнулась:

— У меня не растут.

— Профнепригодность, — высказалась Галина без улыбки.

В общем, моя приятельница ушла и, кажется, не намеревалась возвращаться.

А на ее место — по совместительству — приняли Диму, вчерашнего выпускника столичного вуза, явившегося в город по чистому недоразумению. Чтобы в этом убедиться, достаточно было просто поглядеть на Двинских. Я и поглядела, и довольно внимательно... Причем не я одна.

— Столичная штучка, — заключила Елизавета Егоровна, учительница немецкого языка. — Ну ничего, ему тут перышки пообломают.

Я спросила:

— Зачем?

— Не «зачем», а «почему», — довольно толково реагировала Елизавета Егоровна. — Потому что таким тут не климат. Впрочем, мальчишечка симпатичный...

— Я натурально вся вспотела, — поделилась впечатлением изошница, недавно покинутая мужем и довольно молодая. — Утром чесноку наелась, а тут нате вам. Откуда я знала, что в коллективе мужик образуется.

— А Склизов? — спросил кто-то. — Не мужик, что ли?

— Он шахтер, — загадочно отозвалась учительница изо, и в учительской потянуло чесноком. — Ему только уголь рубить.

Тут все призадумались и оставили странное замечание без ответа.

— Гардемарин, — хмуро глядя в открытый классный журнал, вынесла приговор новичку Маргарита Александровна, учитель-ветеран, одинокая и принципиальная. Глядя на ее редкие, расчесанные на пробор серые волосы, я подумала с внезапной жалостью: вот, казалось бы, и принципы у человека имеются. А куда их применить — неизвестно.

Как я уже создалась, меня Димино явление тоже не оставило безучастной. Помимо тонкого умного лица, холодноватых голубых глаз, несколько хрупкого сложения и стремительной походки, Двинских обладал главным неоспоримым преимуществом: на всем его облике лежал налет чужестранца, по ошибке или недоразумению высадившегося на затерянный остров.

Затерянный остров...

Вообще говоря, школа не слишком подпадает под такое романтическое определение. Так и слышу возражение собеседника и давнего знакомца, поклонника историй о моих школьных невзгодах...

И действительно: сохраняя на лице садистскую улыбочку, он не замедлил высказаться:

— Затерянный остров, говоришь? Ну-ну. Мы с тобой, милый друг, острова в океане, — пропел он, путая разом слова и мелодию.

Потом, перестав глумиться, задал очередной вопрос:

— Ну и что же этот ваш Робинзон?

— Прости?

— Двинских, или как его...

— Робинзон, — повторила я и засмеялась.

Мне пришло в голову, что кое в чем мой приятель был прав. Двинских к своему назначению в общеобразовательную школу отнесся, конечно, как к неприятности — но и как к приключению тоже. При этом он выглядел настолько чужеродно в нашей среде, что допустить мысль о том, что имеется опасность здесь задержаться, тем более — увязнуть, никому, и прежде всего ему самому, не приходила в голову. Случайный путешественник в придорожной гостинице. В меру любознательный сноб. Слушай, друг Тряпичкин, какая со мной приключилась история...

И в самом деле, приключения были тут как тут. На второй или на третий день пребывания Димы в школьных стенах шестиклассник Ринат Гилимшин нагрубил новому преподавателю. Сделал он это не умышленно — сказать по правде, он, скорее всего, и сам не заметил, что нагрубил. В ответ на слова Двинских «прошу к доске», Ринат молча почесал щеку, а затем высказался безадресно:

— За спрос в нос.

Услыхав бойкий ответ, в классе засмеялись.

Улыбнулся и Дима Двинских.

Он явился в аудиторию в расстегнутом кожаном пиджаке, надетом поверх голубой, как у Андрея Миронова, водолазки. И вот стоял теперь перед Ринатом и, продолжая улыбаться, покачивался на узких носках ботинок. Затем, улыбнувшись еще радушнее, спросил:

— В чей?

Ринат (а это был матерый шестиклассник, со стажем, поскольку учился в шестом классе, наверное, третий год) конкретного ответа не дал, а вместо этого заныл:

— Я что ли сказал?

— Нет? Не ты? — коварно, как разведчик, уточнил Двинских.

— Неа.

— В таком случае, передай тому, кто сказал, — отчеканил новый учитель и ухватил Рината за широкий нос.

Продержав жертву, которая почти и не трепыхалась, минуты две, Дима выпустил нос воспитуемого, достал из кармана платок и вытер пальцы. Вот этот-то платок, думаю, оказался последним гвоздем выступления. Это был такой психологический выстрел, противостоять которому туповатый Ринат был не в состоянии.

— Я что ли? — затынул было он прежнюю песню, но, поймав металлический взгляд Двинских, увял и уложил голову на парту, словно внезапно заболел вирусным гриппом.

В учительской Дима появлялся не часто. Но каждый раз его явление было чем-нибудь, да примечательно: так, первый раз, усевшись на край стола, он закурил, в другой раз перепугал завуча Зинаиду словом «концептуально», а однажды был замечен насвистывающим сквозь зубы небезызвестный шлягер «Yesterday».

Маргарита Александровна, дослушав мелодию до конца, угрюмо высказалась:

— Не свистите. Денег не будет.

— У кого? — удивился Двинских.

Тут учитель-ветеран непонятно на что разобиделась.

— Ни у кого, — отрезала она неприветливо. — Просто примета такая. Обобщение векового человеческого опыта.

В голубых глазах Двинских мелькнуло что-то вроде испуга, а я подумала: вот ведь. Человек не утратился диковатого, как Маугли, Рината Гилимшина. А перед нашей Маргаритой затрепетал... Подумав так, я кое-что вспомнила.

Пару месяцев назад, когда у Маргариты Александровны был юбилей, мне поручили написать соответствующий текст. Желательно — в стихах. Я принялась за дело, но ничего, кроме «Товарищу Маргарите — пароходу и человеку», в голову не лезло. В конце концов, я отринула авторские амбиции и написала требуемое, бесстрашно рифмуя «поздравляем» и «желаем». Но «пароход и человек» застряли в памяти... Возможно, что-то этакое уловил чувствительный Двинских — и устрасился?

Примерно через две недели я зашла в класс, из которого вывалились мои девятиклассники после математики, проведенной Двинских, и уселась напротив Димы.

Несколько недель, проведенных в школе, не прошли для него бесследно. Дима немного побледнел и осунулся, отказался от кожаного пиджака и закатал рукава, как Владимир Маяковский на сцене Политехнического; но главное — в глазах появилось какое-то дополнительное выражение.

Печаль, или мне померещилось?

— У нас тут юбилей Блока, — сказала я. — Хотите поучаствовать?

В руках Двинских я заметила незажженную сигарету. На лице — выражение озадаченности. Мне стало не по себе. И чего, спрашивается, я полезла со своим Блоком? Спору нет, мне нужен был помощник — тот, кто вовремя включит, а затем выключит проигрыватель, станет за диапроектор... Но, очутившись лицом к лицу с Двинских, я неожиданно оробела — совсем как Ринат Гилимшин, схваченный за нос.

Продолжая с любопытством меня разглядывать, Дима сказал:

— Почему именно Блок? Не Гумилев, к примеру?

Я сказала хмуро:

— Где я Гумилева найду? Строчек десять, разбросанных по критическим статьям.

— У меня есть перепечатка. Принесу, если хотите.

Скорее, из упрямства, чем из интереса, я спросила:

— А чем вас Блок не устраивает?

— Юбилеем, — сказал Двинских и засмеялся. — Эпитетами «красивая и молодая». Так что, принести Гумилева?

— Еще бы.

Короче говоря, место скифов занял изысканный жираф.

Тайная и не совсем объяснимая радость овладела мной.

Завучу Зинаиде, которая ждала от меня самостоятельного мероприятия — «в зачет будущей аттестации» — я не стала называть тему. «Поэтический вечер» — мало, что ли?

От Двинских я получила тоненькую книжечку, сшитую из перепечатанных страниц гумилевских текстов и переплетенную в плотную клеенчатую обложку бледно-голубого цвета.

На первой же свободной перемене я, вместо обеда, закрылась в классе и перелистала сборник. И зачем эти тонкие руки жемчугами прорезали тьму? Мне припомнилось лицо убитого поэта — удлиненное, надменное и уродливое, с тонким графическим ртом — я наткнулась на его фотографию задолго до того, как прочитала стихи.

За дверью кто-то громко крикнул:

— Тарас! Шухер!

Затем я услышала голос Маргариты Александровны. Она высказалась довольно загадочно, назвав кого-то «человече». Что-то с грохотом обрушилось, будто заледеневший снежный ком сорвался с крыши. Потом наступила короткая тишина, а следом прогремел звонок. Я засунула Гумилева в портфель и вышла в коридор. А после уроков мы уже яростно ругались с Двин-



ских по поводу отбора стихов, оформления зала, музыкального сопровождения.

Я сказала:

— В любом случае нужен сценарий. И не мешает привлечь ребят в качестве чтецов.

— Чтение по ролям? — осведомился Двинских.

— А ты предпочитаешь собственный монолог?

В конце концов, на запах дыма — ибо, ругаясь, мы без остановки курили — явилась дежурная тетя Галя и, приглаживая рыжие локоны мокрой рукой, разразилась негодующей и невнятной речью. Я с трудом разобрала, что вот свалились мы на ее голову, сели и ножки свесили, и что видала она таких — да что там. Не просто таких, а покрепче нашего. Физкультурник с дамочкой одной тут мало что курили — еще и выпивали...

— Я на вас *закладную* напишу! — распаясь, крикнула тетя Галя.

— Что? — спросили мы хором.

— Документ, — уступила дежурная. — На имя Зинаиды Леонтьевны.

Вышли из школы мы порознь. Двинских, не прощаясь, удалился в туалет, а я пошла своей дорогой. Я испытывала досаду и грусть. Яростные нападки моего нового товарища носили довольно обидный характер. В ответ на мои попытки напомнить ему, что мероприятие адресовано все-таки детской аудитории, он вначале заявил, что — если мне это неизвестно — педагогика вообще лженаука и, соответственно, всякий носитель педагогических сентенций вроде меня — в первую очередь, недалекий человек.

— Погрязший в косности? — подсказала я уныло.

— Именно. И вообще, с какой стати подстраиваться под аудиторию? На четвереньки становиться? Это зритель должен подняться до уровня предлагаемого материала.

Я возражала вяло и неубедительно. Затем мы, как я уже сказала, разошлись по домам, и мне пришло в голову, что идея поэтического вечера захиреет. А жаль, ужасно жаль... Дима Двинских с его-то дикцией, с его надменной физиономией — пожалуй, мог бы быть очень недурным исполнителем гумилевских текстов... Схватить весло, поставить ногу в стремя... Ну и так далее.

Надо сказать, мои предчувствия оправдались, хотя и не совсем. Вечер мы подготовили, и кажется, даже неплохо. Странные стихи зазвучали на репетициях в нашем актовом зале. Тени больших кораблей, диковинных рыб, тонких переплетенных трав замелькали в луче прожектора... Мне припоминается и изысканный жираф — а как же...

— Это был не жираф, — сказал мой приятель, выслушав историю нашего миссионерского начинания.

— Да ну?

— Не жираф, а твой утонченный герой. Я уверен, это была его тень, а что. Сама говоришь, он был тонкий и все такое...

Я махнула рукой и не стала спорить. Тем более, мы так и не провели наш вечер. Десятого марта умер Черненко, и был объявлен траур. Соответственно — праздничные мероприятия отменены.

— Никаких развлекаловок, — нервно пророкотала парторг Маргарита.

— Это не развлекательное мероприятие, — угрюмо вмешался Двинских. — Тем более, Гумилев, как вы наверняка знаете, тоже умер.

Маргарита Александровна покрылась свекольным румянцем. Ревизионистская выходка Димы возмутила ее.

— Это, — сказала она, с трудом взяв себя в руки, — совершенно разные смерти. Надеюсь, понятно?

— Еще бы, — сказал Дима Двинских и, закуривая на ходу, вышел под мокрый снег.

### Научная фантастика

В моем шестом классе произошла неприятность, а за ней еще одна. Упал стенд со знатными земляками, установленный слева от входа в класс, и дежурная тетя Галя, недолго думая, указала пальцем на моих учеников.

— Орут как оглашенные, — повторяла она, как будто криком можно было сорвать со стены тяжелый стенд.

Однако неувязка в показаниях не смутила директора школы Владимира Алексеевича. Он увлек меня в свой кабинет и с участием осмотрел, как врач осматривает пациента. Я несколько раз пожала плечами, а Владимир Алексеевич сказал:

— Постарайтесь привыкнуть к тому, что оценка — превосходный рычаг в нашей с вами работе.

Я кивнула и пожала плечами. Я уже знала, что речи Владимира Алексеевича полны загадок, но не лишены смысла.

Подумав, я спросила:

— А может, стенд временно убрать под лестницу? Чтобы не было травм?

Владимир Алексеевич на минуту снял очки и тут же вернул их на место.

— Созвонитесь с Карманниковым-старшим, — наконец решил он.

— Да Карманникова там вообще не было!

— Карманников-старший — прораб, — объяснил Владимир Алексеевич. — Это для нас с вами такой стенд — праздничное украшение. А для него это будни.

Тем временем в покинутом классе произошло кое-что похуже, чем упавший стенд. В дверях меня повстречала Таня Голикова и довольно спокойно высказалась:

— Гилимшин умер.

Я остановилась так резко, словно наткнулась с разбегу на стену.

— Как так?

— Задохнулся и хрипит, — объяснила Голикова.

Я вдруг разозлилась.

— Раз хрипит, — говорю, — значит, не умер. И вообще, не стой в проходе.

На свободном участке перед доской, действительно, лежал Ринат Гилимшин. Он хрипел, пускал пузыри и смотрел закатившимися глазами в потолок. Вокруг толпились и строили версии одноклассники.

— Схлыздил, вот и упал.

— Не схлыздил. Он у Пухова забрал дневник и съел первую страницу.

— С объявлениями, — вмешался Пухов и протолкался поближе к умирающему.

Я спросила:

— С какими объявлениями?

Одновременно я, согнувшись, слегка похлопала Гилимшина по щекам. Слизнув пузыри, Гилимшин открыл глаза и заорал:

— Да вон твоя страница, я что ли ее ел?

— Там, — сказал Пухов хмуро, — только половина.

— Я что ли ел? — заныл Гилимшин.

— Он, Вера Викторовна, все названия учителей съел, — предъявил претензии пострадавший Пухов.

Таня Голикова сказала:

— Ринат не ел страницу. Он только пожевал.

Внезапно в группе объявился незванный гость класса из третьего, наверное.

— А у меня вчера кровь из носа шла, — громко и гордо объявил он.

Ринат сказал с угрозой:

— Сейчас опять пойдет.

Вечером я затосковала.

Ледяной весенний вечер, проникая в форточку вместе с лунным светом, окрашивал мою грусть в ненадежные колдовские цвета. Не исчезнет ли утром моя маленькая комната, этот дом, узкая полоска двора с песочницей и тополями — а с ними и я заодно? От отчаяния я принялась сочинять рассказ. Понятно, что меня потянуло на фантастику — причем, как бы это выразиться, — на фантастику за пределами Млечного Пути. Полета на луну мне было мало. Что луна? Мрачная логика подсказывала, что, при использовании современной техники, с луны, возможно, виден наш городок, школа и поверженный Ринат Гилимшин, пускающий симулянтские пузыри...

Итак, я сочиняла совершенно далекую от своих жалких будней фантастику. Там действовал какой-то господин Лу, обладающий невероятной, в несколько парсеков (или не парсеков? А световых лет??) длиной... Этот Лу направо и налево сыпал парадоксами и обладал, помимо прочего (и несмотря на изрядные размеры), поэтической жилкой. Поэтому в диалогах с другими персонажами то и дело сбивался на стихи...

Часа два я, не останавливаясь, печатала рассказ на машинке «Олимпия», подаренной мне год назад подружкой.

— Напишешь роман, — сказала она, устанавливая на кухонном столе машинку.

— Роман?

— «Машину времени» или что-нибудь в этом роде. Ты ведь только и думаешь, как бы свалить восвояси...

Между тем, восвояси свалила как раз моя подружка — вышла замуж за шофера-дальнобойщика и укатила с ним на его историческую родину — в ФРГ. А мне досталась печатная машинка, тяжелая и внушительная, и вот теперь я отстукивала нескончаемую историю про Лу, космического путешественника, про его многочисленное семейство, про уютный дом, утроенный напротив звезды Бетельгейзе... А на следующий день, в школе, ко мне подошел коллега и приятель, учитель физики Юра Саломата, и рассказал довольно мутную историю.

— Знаешь за Елкино небольшой лесок? На другой стороне оврага?

Я молча кивнула. Елкинцы, наши соседи, ходили в этот лес по грибы по ягоды, а меня туда однажды вывезли знакомые «на шашлыки». Однако не видать нам было в тот летний день шашлыков, мы отступили, попрятавшись в машину, от прекрасно оснащенного комариного отряда. Едва не сожрали нас комары, и Леня Глузовой, помню, орал: по машинам, ребята! Хотя машина имела только одна — «москвич 412», куда мы и погрузились второпях, наплевав на шашлыки и человеческое достоинство...

Саломата сказал:

— В этом Елкино кое-кто шарится.

— Медведь? — спросила я вежливо.

У Юры Саломаты была привычка низко наклоняться к лицу собеседника, и мне пришлось на шаг отступить.

— Причем тут медведь, — сказал он серьезно.

Тогда я опять спросила:

— У тебя что, урока нет?

— Причем тут медведь!— выкрикнул Юра и наклонился к моему лицу. Тут же выяснилось, что он завтракал пирожками с капустой, и я затосковала, как давеча, когда воскрешала Рината Гилимшина.

История, которую мне пришлось выслушать, заключалась в следующем. За деревней Елкино в смешанном живописном лесочке появились неизвестные сущности (термин Юры Саломаты). Свидетельств, если верить моему приятелю, — тьма-тьмущая. Причем весьма убедительных.

— Конечно, — горячась и дыша пирожками, говорил Юра, — без мифотворчества не обошлось. Тут тебе и светящиеся фигуры выше самого высокого дерева, сутулые...

— Наверное, это из-за высокого роста, — предположила я необдуманно.

— В смысле?

— Многие из-за высокого роста сутулятся. Вон моя Голикова из б «а»...

Саломата вдруг разобиделся.

— Не хочешь — могу не рассказывать, — сказал он и закрыл рот, причем в нем ясно читалось намерение незамедлительно продолжить историю.

— Ну почему, — сказала я.

Звонок заставил нас разбежаться по классам, а в конце рабочего дня мы опять столкнулись — на этот раз в опустевшей школьной столовой. Я ела рыбную котлету с рисом и запивала обед кипяченым молоком. Может, поэтому мне остро захотелось послушать повесть о внеземных сущностях? В конце концов, кто бы они ни были, — у них на планете, наверняка, *никто* не запивает рыбные котлеты молоком! Не сидит в школьной столовой, огромной, пустой и наполненной запахом мокрых тряпок...

— Понимаешь, — расплескав холодный чай на поднос, пустился в объяснения Юра Саломата, — там, действительно, много любопытного... Если верить свидетелям, — добавил он.

— А они что, не внушают доверия?

— В Елкино водку вместо воды пьют, — хмуро объяснил Саломата.

— Ну, тогда, — пожала я плечами, — о чем вообще разговор.

— Водку, — сверля меня глазами, повторил Юра, — там пили всегда. Не менее, чем теперь, между прочим. А *сущности* появились относительно недавно.

— Допились, — уныло заключила я. — В смысле — количество перешло в качество.

— Понимаешь, — не слушая меня, говорил Юра Саломата, и голос его то понижался до театрального шепота, то возвышался, — помимо этих серебристых фигур, там чего только не видели... Огромные грибы — раз. *Нечеловеческих* размеров! Затем огненные шары... Ну, тут уже не метафизика, как ты понимаешь.

— Шаровая молния?

— Как бы не так. Шары не просто летают, они сигналият. Правда, шифр пока, как говорится, за семью печатями...

Я посмотрела на недоеденную рыбную котлету, а затем на Саломату.

— И что ты предлагаешь? Съездить туда на каникулах?

Юра заметно оживился.

— Тебе тоже пришло в голову? — спросил он, пламенея. — Нет, ты погоди отказываться! — вскричал мой коллега. — Отказаться всегда успеешь. Ты лучше подумай, что мы можем стать первыми свидетелями неизученного феномена! Представь на секундочку, что хотя бы десятая доля этих баек — правда!

— Ну, — помолчав, сказала я и отодвинула от себя железную тарелку. — Если правда...

Легкие, труднообъяснимые мысли начали реять в моем сознании. То вдруг вспыхнула глупая надежда, что — если и впрямь прилетели инопланетяне — не придется начинать новый учебный год... Все наши усилия утратят смысл, и я уже без прежней тоски буду смотреть на серебряную луну в форточке... Хотя — сохранится ли форточка, моя комната, весь наш город, опять подумалось мне... То есть — сохранятся ли при этих невероятных обстоятельствах?

— Доедай, и идем к Грушину, — говорил между тем Юра Саломата (Грушин — наш директор, Владимир Алексеевич). — Он мужик с мозгами, поймет, что, в случае чего, это и для школы своего рода шанс...

Я спросила вяло:

— Шанс для будущей аттестации?

— Шевелись, — торопил Саломата.

В кабинете директора школы пахло дезодорантом «Красная гвоздика». Владимир Алексеевич с ласковым участием посмотрел на нас. Возможно, ему пришло в голову, что мы — вестники какого-нибудь очередного ЧП, и ему было лестно, что без его помощи никакое ЧП в школе не может быть разрешено.

Саломата довольно сбивчиво изложил наше дело.

— Командировка дней на пять, — докончил он, угасая на глазах.

Владимир Алексеевич встал из-за стола и несколько раз прошелся по кабинету. Всколыхнулись легкие светлые занавески и сильнее запахло «Красной гвоздикой». Затем директор сказал:

— Давайте сделаем так. Планы воспитательной работы на будущий год вы сдадите через неделю, а уж учебно-тематические планы, так и быть, — после майских праздников.

— А потом? — спросил Юра.

— Потом трудовой июньский десант — и в отпуск. Покрепче отдохните, — заключил Владимир Алексеевич, и мы, будто по щучьему велению, оказались за дверью.

Саломата хмуро спросил:

— Ты чего-нибудь поняла?

Я немного подумала, потом говорю:

— Я еще раньше поняла. Еще осенью.

— Ты что же, про эти явления уже осенью слышала? — оживился Юра. В голосе его, впрочем, звучала обида.

— Про явления? Нет, про явления не слышала. Просто подумала, что что-нибудь в этом роде обязательно случится, раньше или позже. Или шары огненные, или, допустим, что-то необъяснимое с телевизором...

— Например?

— Ну не знаю. Начнут программу «Время» крутить в обратном порядке. Шары опять-таки огненные...

— Ты уже говорила.

— Говорила и повторяю. Я, видишь ли, еще в сентябре поняла, что школа имеет призрачную природу. Через три года, допустим, начнешь вспоминать какого-нибудь Рината Гилимшина — и нипочем не поверишь.

Однако я ошиблась. Прошло куда больше времени, а моя школа, мой корабль-призрак, никуда не подевалась, и все качается в зыбких пепельных волнах времени, и в окошках всех четырех этажей блестят желтые огни.

*Редактор:  
Е. Жмурко (Германия)*

*Редакционная коллегия:  
Владимир Порудоминский (Германия), Инна Иохвидович (Германия),  
Светлана Лось (Канада)*

*Рецензенты: Ирина Жураковская (Украина), Олеся Янгол, Константин  
Емельянов, Наталья Борисова, Елена Крюкова.*

*Художник: Ольга Федорчук (Украина)*

*Copyright © 2013–2017 Зарубежные Задворки*

*ZA-ZA Verlag: [www.za-za.net](http://www.za-za.net)  
Düsseldorf, апрель 2017 — 278 с.  
Гарнитура «Verdana»; кегль «11»*

*Отпечатано в типографиях:  
LULU, USA и Т8 Издательские Технологии (РФ)*